

НОВЫЙ
МИР

НОВЫЙ МИР

1970

6



1970

Н[О]ВЫЙ М[И]Р

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVI

№ 6

Июнь, 1970 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ — Из книги «Кинематограф», стихи	3
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — Богатый Портной и другие, рассказ (Из цикла «Последнее лето»)	8
ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ — В том ситцевом городе..., стихи	28
ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ — Из лирики, стихи	32
АНАТОЛИЙ КРИВОНОСОВ — Простая вода, повесть	35
ВИКТОР ЛЕСИН — Взрыв, рассказ	78
ВИКТОР НЕКРАСОВ — В жизни и в письмах	88
ЛЕОНИД ГРИГОРЬЯН — Три стихотворения	101
КАМЕН КАЛЧЕВ — Автобиография, рассказ. Перевела с болгарского Л. Хлынова	103
БОРИС ПОЛЕВОЙ — В ту тяжелую зиму (Из записок военного корреспондента). Окончание	108

ПУБЛИЦИСТИКА

ЛЕВ ЮДАСИН — Мангышлакский комплекс: природа, экономика, человек	150
--	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

О. ТУГАНОВА — Протестующая Америка	165
------------------------------------	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ПИСЬМА ИНЕССЫ АРМАНД. Публикация И. А. Арманд	196
А. ШИФМАН — Лев Толстой и Махатма Ганди	219

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — За далью — даль (К шестидесятилетию Александра Твардовского)	228
СТАНИСЛАВ ЛЕМ — Мифотворчество Томаса Маина. Перевел с польского В. Чепайтис	234

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	257
Г. Березкин. По сердечному долгу.— Н. Мирова. Все по той же дороге.— И. Кунин. Из славного племени просветителей.— В. Британишский. «...Польша сказалась мне голосом поэзии».	
<i>Политика и наука</i>	271
Л. Баженов. Ленинский анализ революции в естествознании.— Ан. Васильев. Общение человека с вычислительной машиной.— Э. Рабинович. Философ революции.	
КОРОТКО О КНИГАХ — Н. Любович. — Степан Аникин. На Чардыме. ♦ В. Портнов. — Тень деревьев. Стихи зарубежных поэтов в переводе Ильи Эренбурга. ♦ Л. Розовский. — В. П. Зенкович. В дальнем синем море. ♦ В. Шаронов. — С. Львов. Эхо в веках. ♦ И. Гитович. — Мих. П. Чехов. Свирель. ♦ Е. Третьяков. — Эрих Раквиц. Чужеземные тропы, незнакомые моря	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ЮРИИ ЛЕВИТАНСКИЙ

★

ИЗ КНИГИ «КИНЕМАТОГРАФ»

* * *

Музыка, свет не ближний,
дождь, на воде круги.
Музыка, третий лишний,
что же ты, ну, беги!

Выдохлась? Притомилась?
Хочешь не хочешь — пой?
Музыка, сделай милость,
очередь за тобой.

С каждою перебежкой —
дождь, на воде круги.
Музыка, ну, не мешкай,
музыка, ну, беги!

Не дожидаясь зова,
не выбирая дня,
круг беги и снова
встань впереди меня.

Да не сочтем за муку
этот, из века в век,
по роковому кругу
замороженный бег.

Этот смиренный пафос
и молчаливый зов,
перемещенья пауз,
звуков и голосов.

Это — чередованье
флейты и бубенца.
Это — очарованье
дудочки и скворца.

Это — сплетенье вьюги
с песенкою дрозда.

Это — синицей в руки
выпавшая звезда.

Это — звезда и полночь,
дождь, на воде круги.
Этот призыв на помощь —
музыка, помощи!

* * *

Была зима, как снежный перевал,
с дымком жилья, затерянным в провале.
Но я в ту пору не подозревал,
что я застрял на этом перевале.
Была такая длинная зима,
когда любой вечернею порою
уже легко сойтись горе с горою
и очень трудно не сойти с ума.
Была зима, и загородный дом,
где в сумерках мерцает телевизор
и где гудит огонь, бросая вызов
морозам, снегопадам, январю,
всему, что нам на головы свергалось.
Дни прибывали, по календарю.
К пяти часам у нас уже смеркалось.
Когда в окно вползала чернота
и все предметы делались иными,
я видел, как подводится черта
под нашими усилиями дневными,
под нашей каждодневною тщетой.
А ниже, оставаясь за чертой,
тянулась цепь таинственных пометок,
и лес напоминал строением клеток
и всей своею сущностью прямой,
что он не только современник мой,
но и другого века однолеток
и он другие помнит времена.
Графический рисунок голых веток
напоминал при этом письма
давно существовавшего народа.
А я еще задач такого рода
не знал, я перед ними пасовал
и то и дело путался в ответах.
Да и мороз к тому же рисовал
на стеклах непонятные узоры
и всякие загадывал загадки,
которых я разгадывать не мог,
хотя и упражнялся регулярно.
А угром снова тоненький дымок
стоял над крышей перпендикулярно,
и даль передо мной была бела,
и жизнь моя передо мной была
как на ладони вся, как на экране,
и можно было с легкою душой
перечеркнуть написанное ране,

переписать строку или главу,
которая лишь сдавленно звучала,
перемарать постылый черновик
и даже сжечь, и все начать сначала.

* * *

Когда земля уже качнулась,
уже разверзлась подо мной
и я почувал холод бездны,
тот безнадежно ледяной,
я, как заклятье и молитву,
твердил сто раз в течение дня:
— Спаси меня, моя работа,
спаси меня, спаси меня!
И доброта моей работы
опять мне явлена была,
и по воде забвенья черной
ко мне соломинка плыла,
мой тростничок, моя скорлупка,
моя свирель, моя ладья,
моя степная камышинка,
смешная дудочка моя.

* * *

А вот явление грусти бесконечной,
хотя на первый взгляд и беспричинной.
На остановке где-нибудь конечной
старушка из автобуса выходит.
Ах, город, эти новые дома,
керамика, стекло и алюминий!
Какая простота и легкость линий
в меняющихся контурах его,
какая гамма цветосочетаний!
Здесь для примера я бы показал
Центральный, скажем, аэровокзал
или Дворец для бракосочетаний,
куда подъехал свадебный кортеж
с девчонкою в одежде подвенечной...
Но вот картина грусти бесконечной,
когда старушка площадь переходит.
Ах, город, все куда-то он спешит,
торопится на ярмарки, на рынки,
на свадьбы, на рожденья, на поминки,
проглатывая прессу на ходу,
прижав к себе попутные покупки,
нет-нет еще косясь на мини-юбки,
как бы стыдясь, что снова уличен
в приверженности к моде быстротечной...
Но вот картина грусти бесконечной,
и я едва не плачу в этот миг,
когда старушка площадь переходит,
в скрещенье всех событий мировых

шагает по дорожке пешеходной,
неся свою порожнюю авоську,
где, словно одинокий звук минорный
и словно бы воробушек озябший,
один лежит на донышке лимон.

* * *

Собирались наскоро,
обнимались ласково,
пели, балагурили,
пили и курили.
День прошел — как не было.
Не поговорили.

Виделись, не виделись,
ни за что обиделись,
помирились, встретились,
шуму натворили.
Год прошел — как не было.
Не поговорили.

Так и жили — наскоро,
и дружили наскоро,
не жалея тратили,
не скупясь дарили.
Жизнь прошла — как не было.
Не поговорили.

* * *

Отмечая времени быстрый ход,
моя тень удлиняется, что ни год,

что ни год, удлиняется, что ни день,
все длиннее становится моя тень.

Вот уже осторожно легла рука
на какие-то пастбища и луга.

Вот уже я легонько плечом задел
за какой-то горный водораздел.

Вот уже легла моя голова
на какие-то теплые острова.

А она все движется, моя тень,
все длиннее становится, что ни день,

а однажды вдруг на исходе дня
и совсем отделяется от меня.

И когда я уйду от вас в некий день,
в некий день уйду от вас, в некий год —

здесь останется легкая моя тень,
тень моих надежд и моих невзгод,

полоса, бегущая за кормой,
очертанье, контур неясный мой...

Словом, так ли, этак ли — в некий час
моя тень останется среди вас,

среди вас, кто знал меня и любил,
с кем я песни пел, с кем я водку пил,

с кем я щи хлебал и дрова рубил,
среди вас, которых и я любил.

Будет тень моя тихо у вас гостить,
и неслышно в ваши дома стучать,

и за вашим скорбным столом грустить,
и на вашем шумном пиру молчать.

Лишь когда последний из вас уйдет,
навсегда окончив свой путь земной,

моя тень померкнет, на нет сойдет,
и пойдет за мной, и пойдет за мной,

чтобы там исчезнуть среди корней,
чтоб растаять дымкою голубой —

ибо мир предметов и мир теней
все же прочно связаны меж собой.

Так живите долго, мои друзья.
Исполать вам, милые. В добрый час.

И да будет тень моя среди вас.
И да будет жизнь моя среди вас.



ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

★

БОГАТЫЙ ПОРТНОЙ И ДРУГИЕ

Рассказ

(Из цикла «Последнее лето»)

Богатый Портной, как и положено Богатому Портному, занимал три комнаты в верхнем этаже нашего дома. Раньше, говорят, он жил во дворе в маленькой хибарке вроде той, в которой сейчас жил дядя Алихан, продавец восточных сладостей.

Но потом, говорят, дела его пошли в гору, и он, соответственно, как думал я, перебрался на второй этаж.

Сначала в одну комнату, потом прикупил к ней вторую, потом пристроил к ней третью, и она нависала над двором, как деревянная скала, и тут уже, можно сказать, он вылупился и предстал перед всеми в своем новом обличье, а именно в обличье Богатого Портного.

Вообще-то звали его Сурен, и Богатым Портным его сначала называли за глаза, но потом, видя, что он не обижается, все чаще и чаще стали называть его так и в глаза.

— Какой я богатый,— бывало, говорил он, ласково отмахиваясь от прозвища.

Будь в нашем доме множество этажей, думал иногда я, он так и перебирался бы с одного на другой, так и поднимался бы все выше и выше. Но дом имел всего два этажа, и перебираться Богатому Портному больше было некуда, хотя стремление оставалось. Поэтому он сначала расширил насколько смог эту взлетную площадку, а потом приобрел себе земельный участок и стал строить собственный дом.

Иногда Богатый Портной со всей семьей отправлялся отдыхать на участок. Сборы были шумными и долгими. Несли с собой кастрюли, тарелки, провизию, примус. Маленький, победный, кучерявоголовый, сам он шел всегда впереди со свернутым в трубу ковром на плече.

Вечером возвращались. Богатый Портной усаживался на балконе и начинал хвалить свой участок.

— Один воздух — миллион стоит! — громко сообщал он.

— А что там за воздух? — удивлялся кто-нибудь из соседей, потому что участок этот был расположен в километре от дома, и где там взяться какому-то особенному воздуху, было непонятно.

— Речка журчит, и все время кушать хочется! — сам удивляясь, говорил он.

— Неужели все время?

— Да! — восторженно подтверждал он с балкона. — Только что покушал, опять кушать хочется — такой воздух! По сравнению с ним, Кисловодск — тьфу!

При этом Богатый Портной и в самом деле плевал с балкона, на миг помешкав, чтоб не попасть в прохожего.

На участке у него стояла сосна. Он ее тоже хвалил, как особенно красивую. Он и дятла хвалил, который иногда прилетал на эту сосну.

— Опять мой дятел прилетел,— говорил он,— хвост прижмет к дереву и долбит, долбит так, что опилки летят! Тоже кусок хлеба ищет — интересная птица!

Строительство нового дома на участке длилось множество лет и доставляло ему массу хлопот. Так, например, фруктовый сад с мандаринами, грушами, хурмой, заложенный на участке, стал плодоносить гораздо раньше, чем он выстроил дом, потому что рост растений никак не связан с добычей строительных материалов, тем более левых, не говоря уж о найме удалцов-шабашников.

Когда стали плодоносить груши «дюшес», ему пришлось купить охотничье ружье и время от времени ходить по ночам сторожить свой участок, потому что груши поворовывали.

Так как ходить туда часто он не мог, ему приходилось, видимо, для острастки тамошних соседей иногда инсценировать удачную оборону фруктовых деревьев от хулиганских набегов. По слухам, эти стычки сопровождалась выстрелами, криками и лаем дворовой Белочки, которую он хотел перетащить к себе на участок. Я пытался прятать от него нашу Белочку, но сделать это было трудно, потому что Богатый Портной был настойчив и всеислен.

— Белочка, купаться,— бывало, говорил я ей тихо, видя, что Богатый Портной собирается на вахту.

Купаться Белочка не любила и тут же забивалась в подвал или убежала на улицу. Все равно он обычно ее находил.

Через некоторое время она сама до того возненавидела эти усадебные развлечения, что если кто-нибудь при ней просто так начинал говорить про участок, то она, услышав это слово, забивалась в подвал, и вытащить ее оттуда стоило большого труда.

Иногда, уходя сторожить свой участок, он в тот же вечер возвращался домой. Посторожит часа два-три, покажется соседям, может быть, пальнет в воздух, а потом тайно уходит домой.

Однажды я видел, как ночью, возвращаясь домой, он перелезал через забор соседнего школьного двора. Тогда мне показалось, что это он делает для сокращения дороги. Но потом я догадался, что этот маневр был направлен и против ребят с улицы, чтобы и они думали, что он остался сторожить свои фрукты.

Днем в послеобеденное время он иногда приезжал с участка на мотоцикле своего кунака, известного в городе автоинспектора. Обычно он сидел в коляске, по пояс погруженный в груши и хурму, как маленький кучерявый бог плодородия.

Подъехав к дому, он кричал кому-нибудь из своих, и ему выносили корзину, после чего он часть плодов вытаскивал из коляски, а часть оставлял.

Автоинспектор в таких случаях сидел прямо за рулем, не оборачиваясь и даже стараясь не шевелиться. Чувствовалось, что автоинспектор не оборачивается и даже не шевелится, чтобы показать хозяину, что он никакого давления на него не оказывает, мол, как хочешь, так и дели. А с другой стороны, он не оборачивается, чтобы для окружающих получалось, что он и не знает, чего это там Богатый Портной возится в коляске, чтобы потом на всякий случай можно было сказать: «Ты смотри, оказывается, он там груши оставил!»

Я знал, что Богатый Портной его нарочно возил на свой участок,

чтобы показать тамошним жителям свою близость к органам наведения порядка.

Еще до того, как Богатый Портной стал ходить на участок с охотничьим ружьем и Белкой, он долго искал человека, чтобы нанять его сторожить свой сад. Кстати, все эти его ночные бдения со стрельбой закончились тем, что его самого прострелил ишиас, явно невыдуманный, хотя, может быть, и преувеличенный. Во всяком случае, теперь он ходил мужественно прихрамывая, так что со стороны для тех, кто ничего не знал про ишиас, могло показаться, что он бывший участник гражданской войны.

Тогда на участке его стояла временка, сколоченная на скорую руку, а поздней осенью ночи у нас бывают довольно промозглыми. Так что на следующий год, когда стали созревать фрукты, он купил у одного загулявшего туриста спальный мешок и уже не выходил в осеннюю сырость во время дежурства, а только время от времени, просыпаясь в спальном мешке, высовывался из него, палил куда попало и снова засыпал.

Ребята с нашей улицы, те, что были постарше меня лет на пять, на шесть, договорились было унести его ночью в этом мешке и забросить на какой-нибудь участок, где собака позлее. Но потом все же не осмелились, потому что было вполне вероятно, что он по дороге проснется и уж по крайней мере два выстрела из своей двустволки сделает и в закрытом мешке.

Все знали горячий нрав Богатого Портного. Однажды, разозлившись, он сбросил горшок с геранью на одного пацана, который дразнил его, уверенный, что, покамест тот слезет со своего балкона, он успеет убежать куда-нибудь. К счастью, горшок с геранью пролетел мимо, но пацан этот здорово испугался.

Этими горшками всех калибров — от маленьких, величиной с кружку, до больших, величиной с боценок, — в которых росли столетники, цвела герань, пламенели канны, был уставлен весь балкон.

Балкон как бы представлял из себя цветущий макет его будущей усадьбы. Здесь он обычно отдыхал, а чаще гладил, громко прыскавая водой на сукно.

Бывало, наберет в рот воды, а потом почему-то передумает поливать, а то и не передумает, да в это время что-то срочно надо ответить кому-то на улице, чаще всего Алихану, так он, чтобы не пропала вода, фыркнет ею на цветок и потом уже начинает говорить. А то, бывало, и поливать сукно не передумал, и вроде некому срочно отвечать, но так, случайно, упадет взгляд на цветок, и вдруг Богатый Портной весь подбирается, настораживается, словно село на растение какое-то зловерное насекомое или он почувствовал, что, оказывается, оно умирает от жажды, и вот он быстро наклоняется и — фырк! А потом еще и еще и, уже успокоившись, снова берется за утюг.

Надо сказать, что по мере расцветания участка цветник на балконе приходил постепенно в упадок. Возможно даже, что горшок с геранью, выброшенный на того пацана, был первым, еще не осознанным признаком его охлаждения к цветнику. После этого он еще дважды или трижды выбрасывал горшки с цветами на своих противников, но тогда уже упадок цветника на балконе был более или менее очевиден.

Семья Богатого Портного состояла из жены, тещи, время от времени навсегда ухотившей из дому к родственникам, и двоих детей — Оника и Розы.

Оник был мальчик наших лет, его Богатый Портной особенно любил и баловал. Бывало, погладит на балконе брюки или пиджак заказчика

и, поглядывая на улицу, где Оник катается на своем велосипеде, напевает песенку собственного сочинения:

Мой Оник симпатичка... (Брызг)
 Мой Оник моя птичка... (Брызг! Брызг! Брызг!)
 Мой Оник, тру-ля-ля...

Так он с небольшими перерывами мог напевать часами, пока Оник не выходил из себя.

— Ну, хватит, папа, хватит!— кричал Оник, чувствуя, что ребята посмеиваются над ним за эти нежности.

— А что, разве не симпатичка?— спрашивал он и, чмокнув губами, посылал жирный воздушный поцелуй.

Оник нажимал на педали.

Однажды Богатый Портной пришел в нашу школу, открыл класс во время урока, просунул туда голову, нашел глазами своего любимчика и, протягивая ему кулек, сказал:

— Оник, горячие пончики...

Класс, конечно, повалился от хохота. Даже учительница не смогла удержаться от смеха. Несколько лет после этого Оника в школе называли Горячий Пончик или просто Пончик.

Роза — девушка лет шестнадцати в то время, очень полная, просто квадратная, вся в маму, хотя отчасти и в папу. Сам Богатый Портной был довольно пухленький, но не толстый, я думаю, его подвижность и нервность не давали ему располнеть.

— Моя Роза — алтынчик (золотце),— говаривал он с гордостью.

Роза целыми днями играла на фортепьяно. Стрекотанье швейной машинки почти полностью заглушалось водопадами звуков, льющихся из этой музыкальной прорвы.

— Играй, алтынчик, играй!— слышался ласковый голос отца, если она вдруг замолкала.

И Роза снова играла. Поговаривали, что он ее нарочно заставляет играть, чтобы заглушить свою швейную машинку. Нашего двора и улицы он, конечно, не боялся, но, видимо, все же считал приличней, если из квартиры целыми днями доносятся до улицы звуки фортепьяно, а не стрекотанье швейной машинки.

* * *

Однажды, воспользовавшись фальшивой рекомендацией, в дом Богатого Портного проник фининспектор. Он заказал себе костюм, дал Богатому Портному снять с себя мерку, после чего уселся за стол и стал писать акт.

Богатый Портной стал ему доказывать, что все это шутка, что он его узнал, как только тот появился на углу нашей улицы. Но фининспектор ему не поверил, и тогда Богатый Портной отказался подписать акт.

— Не имеет значения, — сказал фининспектор и, положив акт в карман, стал уходить.

— Хорошо, пока не показывай, — сказал Богатый Портной и, следя с балкона за уходящим фининспектором, добавил: — Вот человек, шуток не понимает.

Минут через десять он сам ушел из дому и в тот же день приехал домой на мотоцикле автоинспектора. Потом был долгий обед, и Богатый Портной провожал своего кунака до мотоцикла. Жена, Роза и Оник стояли на балконе.

— Помни!— сказал Богатый Портной, усадив его на мотоцикл и показывая рукой на балкон.— Моя семья смотрит на тебя.

Автоинспектор уже включил мотор и вместе с мотоциклом как бы дрожал от нетерпенья.

— Знаю,— сказал он важно, но наверх не посмотрел.

— Помни!— повторил Богатый Портной еще более важно и поднял палец к небу.— Наверху — бог, внизу — ты.

— Знаю,— снова сказал автоинспектор и поехал.

Богатый Портной еще немного постоял, глядя ему вслед. Жена и Роза махали рукой. Богатый Портной вошел в дом. Жена и Роза перестали махать и тихо покинули балкон.

Три дня после этого Богатый Портной не показывался на балконе, а Онику не давали кататься на велосипеде. Роза играла какую-то грустную музыку, или, может быть, нам казалось, что музыка грустная, потому что деятельный дом Богатого Портного притих.

На третий день вечером Богатый Портной распахнул двери балкона и сказал на всю улицу:

— Рука руку моет, а свинья остается свиньей.

На следующий день уже весело стрекотала машинка, а Оник выволок на улицу велосипед.

Оказывается, автоинспектор узнал, что жена фининспектора, так удачно накрывшего Богатого Портного, работает в ларьке. Это и решило дело. Он уговорил своего друга, инспектора горсовета, поймать ее с поличным. Тот согласился.

В наших ларьках в те времена, как, впрочем, и в последующие, продавали водку в разлив. Это было выгодно и тем, кто ее покупал, и тем, кто ее продавал, и тем, кто проверял продающих, хотя, конечно, и не полагалось по закону.

И вот инспектор горсовета подошел к ларьку с одним человеком. Вернее, сам он стал сбоку у ларька, так, чтобы его не видно было, а того своего дружка подпустил к стойке.

Надо сказать, что продавщица была предупреждена, что из горсовета может кое-кто нагряться в этот день. Поэтому она была очень осмотрительна в этот день и, прежде чем наливать водку в стакан, основательно высовывалась из ларька и смотрела направо и налево. После этого она наливала водку в стакан, закрашивала ее сиропом и подавала клиенту. Так что со стороны получалось, что человек пьет воду с сиропом.

И вот, значит, этот человек подходит и просит сто пятьдесят граммов.

Продавщица что-то заподозрила и сказала, что она водку в разлив вообще не продает.

— Знаю,— сказал этот человек,— но у меня так живот болит, прямо сил нет.

Дрогнуло сердце продавщицы, да и до закрытия ларька оставалось всего полчаса, и она уступила. Выснулась из окошка, посмотрела по сторонам и налила сто пятьдесят граммов. Конечно, знай она, кто там притаился сбоку, может, прежде чем наливать, высочила бы из ларька да обжала бы его два-три раза, но тут сплеховала.

И вот она налила водку в стакан и, как водится, только хотела закрасить свой грех сиропом, как он потянул у нее стакан. Тут продавщица опять что-то заподозрила и хотела выхватить у него стакан, с тем чтобы вылить содержимое в мойку и в дальнейшем все отрицать. Но парень этот вцепился в стакан и отошел от прилавка, чтобы не расплескать вещественное доказательство.

Тут вышел на свет божий добрый молодец инспектор и, со смехом войдя в ларек, стал составлять акт, который продавщица, конечно, не подписала, ссылаясь на свое милосердие.

— Не имеет значения,— сказал инспектор и унес акт.

Дальше все было просто. Автоинспектор свел интересы обеих сторон к одному банкетному столу в приморском ресторане. Стороны, сидя друг против друга, при свидетелях обменялись актами и, изорвав их в клочья, выбросили в море.

После этого, говорят, порядочно было выпито, потому что товарищ инспектора горсовета оказался очень веселым парнем. Он никому не давал передышки и то и дело хватался за живот, крича:

— Ой, ой, живот болит, налейте!

Тут, говорят, все падали от смеха, кроме фининспектора, которому все-таки эта шутка продолжала не нравиться.

Надо сказать, что после этой истории Богатый Портной с новыми клиентами стал гораздо осторожнее. Прежде чем впустить неизвестного в дом, он довольно основательно изучал его, разговаривая с балкона.

Помню, одного хриплого толстяка он прямо-таки измучил. Тот стоял, придерживая одной рукой перевязанный шпагатом газетный сверток, в другой руке висела сетка с мушмулой. Богатый Портной, склонившись над перилами балкона, внимательно изучал его.

— Я от Гагика Марояна,— застенчиво косясь на сверток, сказал толстяк,— один костюмчик хочу.

— Нет, что ты, дорогой,— ответил он ему,— давно бросил. Пожалуйста, в мастерскую.

— Один летний, легкий костюмчик,— бормочет толстяк.

— Что ты, дорогой,— повторяет он, стараясь определить, хитрит толстяк или нет. Он рыскает по нему выпуклыми глазками, не зная, за что зацепиться, и неожиданно спрашивает:

— Мушмула с участка?

— С базара,— отвечает толстяк, обливаясь потом.— Гагик сказал — пойдй к Сурену...

— У меня тоже участок,— говорит Богатый Портной,— восемь японских корней мушмулы посадил, но пока не родит...

— Один аккуратный костюмчик...

— Что ты, дорогой!— восклицает Богатый Портной, как бы удивляясь тому, что люди еще помнят дела такой давности.— А какой Гагик тебя послал?

— Гагик Мароян...

— Ты смотри,— вдруг удивляется Богатый Портной, что этот человек знает именно Гагика Марояна, хотя тот с этого и начал,— откуда ты его знаешь?

— С братом на фермзаводе работаю,— хрипит толстяк.

— Ты смотри, правильно!— еще больше удивляется он.— Легкие тоже слабые имеет?

— Да, имеет,— кивает толстяк.— Как брата, прошу...

— Нет, что ты!— разводит руками Богатый Портной и вдруг добавляет:— А парторгом кто у вас?

— Миша Габунья,— хрипит толстяк.— Майский костюмчик...

— Ты смотри, тоже правильно!— не устает удивляться Богатый Портной.— Молодец, Миша! Растет. Время такое...

— Один летний, легкий,— тянет хрипло толстяк.

— Нет, шить не шью!— наконец сдается Богатый Портной.— Просто заходи, поговорим...

Толстяк заходит.

Вообще Богатый Портной не любил, когда на нашей улице появлялся какой-нибудь незнакомый человек. Бывало, смотрит на него сверху, потом вслед, поставив руку козырьком от солнца, потом, пожимая плечами, в недоумении бормочет:

— Третий раз сегодня проходит... Другой улицы нет, что ли...

* * *

Но я чуть не забыл рассказать, как Богатый Портной нанимал сторожа на участок еще до того, как сам взялся за дело. То ли потому, что он работу предлагал сезонную, всего два-три месяца, то ли еще почему, но так он и не смог нанять себе настоящего сторожа. Он даже объявления вывесил во многих местах.

Я сам видел одно такое объявление на электрическом столбе прямо напротив выхода из стадиона. Словно он надеялся, что после футбольных состязаний нашему болельщику ничего не остается, как пойти в ночные сторожа, тем более что наше местное «Динамо» все время проигрывало, хотя и подбрасывало всесоюзному футболу время от времени (а может, поэтому и проигрывало?) довольно значительных звезд.

Объявление это гласило: «Ищу хорошего старика для сторожения фрукт. Если будет плотник или каменщик, еще лучше. Вторая Подгорная, дом 37, балкон на улице, кричи Сурен».

То ли хорошие старики были приставлены к другим фруктовым садам, то ли еще что, но вот однажды к дому Богатого Портного подъехал на своем ослике известный в городе бродячий хиромант, человек с огненным взором и огненной бородой. Обычно он ездил на своем ослике по дворам и гадал.

— Последний русский дворянин и первый советский хиромант!— кричал он зычным голосом и, остановившись посреди двора, подманивал к себе женщин.

Женщины подходили и, украдкой утерев ладонь о фартук или халат, словно надеялись этим улучшить показания судьбы, протягивали руку. Хиромант гадал, не слезая с ослика. За гадание брал деньгами, продуктами или детской одеждой для своего многочисленного потомства. Иногда он появлялся возле нашей школы, где, также не слезая с ослика, за небольшую плату решал математические задачи для старшеклассников.

Мой сумасшедший дядюшка, увидев его на ослике, приходил в радостное состояние и, показывая на него пальцем, говорил:

— Мулла едет, мулла!

Однажды он заехал к нам во двор. Там у него произошло небольшое столкновение с Богатым Портным, которое, по мнению некоторых людей, повлияло на их будущие отношения. Я это хорошо помню, потому что в это время, сидя на корточках посреди двора, мыл в лохани Белку.

Главное, что Богатый Портной в поисках сквозняка на этот раз спустился во двор и пил кофе по-турецки, который сюда ему принесла жена, хотя было бы проще выпить ему кофе, а потом спуститься вниз. Но он всегда так делал, если уж спускался во двор. Бывало, только спустится, а там считай до десяти — и, глядишь, жена его появится с чашечкой кофе в одной руке, а то и со стульчиком в другой. Правда, стульчик иногда он выносил и сам, но кофе никогда.

И как это она точно попевала за ним, было трудно понять. Я даже подозревал, что они все это разыгрывали заранее, потому что Богатый Портной ко всем своим достоинствам еще и считал себя хозяином прекрасной семьи и свои редкие выходы во двор отчасти превращал в наглядные уроки семейной идиллии. Вот так он сидел и пил кофе, когда в калитку въехал на своем ослике огненнобородый хиромант.

— Воздух — твоё гаданье, — сказал Богатый Портной, дав ему проехать, — ни один человек не верит...

— Последний русский дворянин и первый советский хиромант!— воскликнул тот, не обращая внимания на Богатого Портного. Остановившись посреди двора, он бросал огненные взоры в окна и приоткрытые двери квартир.

Женщины окружили хироманта, а одна из них даже вынесла ослику арбузные корки. Я заметил по лицу Богатого Портного, что он уязвлен вниманием женщин к гаданию.

Первой протянула руку хироманту жена Алихана Даша. Сам Алихан сидел у порожка своей хибарки и парил в теплой воде мозоли.

— Венерин бугор! — воскликнул хиромант, взглянув на Дашину ладонь.

Женщины вздрогнули.

— Воздух! — несколько вяло откликнулся Богатый Портной.

Ослик хрустел арбузными корками, хиромант гадал Даше, иногда бросая взоры и на других женщин, после чего те, поживаясь, запахивались в свои халаты.

Алихан парил в тазике мозоли и, приподняв круглые брови над круглыми глазами, доброжелательно прислушивался. Видно, гадание ничего плохого не предвещало.

Алихан очень любил свою вечно растрепанную Дашу. Из-за ее бурного прошлого и неряшливого настоящего во дворе Дашу считали плохой женой. Алихан хотел считать, что у него жена такая же, как у других, но двор, и в особенности Богатый Портной, время от времени напоминал ему, что жена его не совсем такая, как у других, а, пожалуй, похуже.

Поэтому он и сейчас с подчеркнутым спокойствием прислушивался к гаданию Даши и, поглядывая на Богатого Портного, как бы предлагал и ему проникнуться этим спокойствием. Но Богатый Портной этим спокойствием не проникался.

— Разве это дело, — сказал Богатый Портной, прислушиваясь к чуждому бормотанию хироманта, — в наше время только ремесло дает твердый кусок хлеба. Возьмем меня...

Он отхлебнул кофе и посмотрел на Алихана.

— Пусть гадает, — ответил Алихан доброжелательно, — каждый человек хочет иметь свое маленькое дело.

Богатый Портной еще раз отхлебнул кофе, поставил чашечку на землю возле себя и решительно поднял голову.

— Алихан, ты не мужчина, — махнул рукой Богатый Портной.

— Почему не мужчина? — встрепенулся Алихан.

— Я бы никогда своей жене не разрешил эти глупости, — кивнул Богатый Портной на хироманта и, приподняв чашечку, снова отхлебнул кофе.

— О, аллах, — сказал Алихан, уклоняясь от спора, — если это дает спокойствие, рахат, пусть гадает...

Алихан слегка прикрыл веки, прислушиваясь не то к гаданию, не то к действию теплой воды на ступни своих ног, изношенных и разбитых поисками утерянного после нэпа коммерческого счастья.

Видно, уклончивый ответ Алихана, а главное, внимание женщин двора к тому, что говорит хиромант, продолжало раздражать Богатого Портного. Он привык, чтобы слушали его, а тут все облепили хироманта, а на него никто не обращал внимания.

Он критически прислушивался к тому, что говорит хиромант, но все же никак не мог к нему подступить. Помогла его собственная жена. Она подошла к нему за пустой чашечкой, и он молча, кивком головы потребовал еще один кофе.

— Как скажешь, Суренчик, — ответила жена, хотя он ничего не сказал. Взяв чашку, она пошла к себе.

Богатый Портной посмотрел ей вслед, потом перевел взгляд на гадающую простоволосую Дашу, потом на Алихана и удрученно покачал

головой. На это Алихан немедленно обратил внимание и выразил недоумение, приподняв круглые брови над круглыми глазами.

— И у тебя жена русская, и у меня то же самое,— задумчиво сказал Богатый Портной, как бы удивляясь безумной игре природы.

— Ну и что?— промолвил Алихан.

— У меня жена все равно как армянка,— сказал Богатый Портной не слишком громко, но с чувством,— все понимает, только не говорит...

— У каждой женщины свой марафет,— ответил Алихан примирительно и снова прикрыл глаза. Видно, он сначала ожидал более неприятных разоблачений, а в том, что его жена не похожа на армянку, он не находил ничего обидного.

Когда хиромант, закончив гадание, стал выезжать со двора, Богатый Портной окликнул его. Хиромант остановил ослика и, приподняв голову, как бы нацелился на него кончиком огненной бороды.

— Теперь ты мне скажи,— спросил Богатый Портной громко,— ишак в городской черте разрешается или не разрешается?

— Тебе лучше знать, антихрист!— воскликнул хиромант и тронул ослика.

Богатый Портной растерялся не столько от самого оскорбления, сколько от неожиданного и непонятного слова «антихрист».

— Хахам!— все-таки успел он крикнуть.

Хиромант не обернулся, так что было непонятно, услышал он или нет.

Хахам жил в самом конце нашей улицы и занимался тем, что резал по праздникам гусей шумным грузинским евреям, по сравнению с которыми, как говорят те, что их сравнивали, одесские евреи кажутся глухонемыми. Кроме широкой черной бороды, к тому же, как утверждали знатоки, крашеной, но не потому, что она была рыжая, а потому, что седая, он никакого сходства с хиромантом не имел.

— Хахам тоже имеет свою коммерцию,— сквозь сладостный стон напомнил Алихан. Сейчас, положив одну ногу в закатанной штанине на колено другой, он особой ложечкой расчесывал распаренную пятку. Занятие это всегда приводело его в тихое неистовство.

— Уф-уф-уф-уф,— постанывал Алихан, доходя до какого-то заветного местечка. Доходя до заветного местечка (на каждой пятке у него было заветное местечко), он замедлял движение ложки, наслаждаясь ближайшими окрестностями его, как бы мечтая до него дойти и в то же время пугаясь чрезмерной остроты наслаждения, которая его там ожидает.

Богатый Портной некоторое время следил за Алиханом, слегка заражаясь его состоянием. В то же время на лице его было написано безгловое сомнение в том, что такое никчемное занятие может доставлять удовольствие или приносить пользу.

— Не притворяйся, что так приятно,— сказал Богатый Портной,— все равно не верю...

— Уй-уй-уй-уй! — застонал Алихан особенно пронзительно, поймав это заветное местечко.

— Холера тебе в пятку,— в тон ему ответила Даша, бросая на скороворудку шипящие куски мяса. Она стояла над своим мангалом.

— Не люблю, когда притворяешься, Алихан!— с жаром воскликнул Богатый Портной, как бы еще больше заражаясь его состоянием и еще решительней его отрицая.— Никакого удовольствия не может быть...

Алихан, удивленно приподняв брови, как-то издали, сквозь райскую пленку наслаждения, глядел на Богатого Портного. Наконец движения руки его замедлились.

— Ну, ладно,— сказал Богатый Портной и сделал рукой успокаивающий жест,— ну, ла, ла...

Богатый Портной сделал вид, что Алихан остановился под его командой, хотя ясно было, что Алихан остановился сам по себе.

— Чем фантазировать удовольствие,— сказал он, уже взяв в руки скамеечку и уходя,— лучше бы посторожил мой сад...

— Никогда!— просветленно воскликнул Алихан.— Я коммерсантом родился и коммерсантом умру.

— Подумай, пока не поздно,— проговорил Богатый Портной, подымаясь по лестнице.

— Дядя Алихан,— спросил я,— что такое антихрист?

— Шайтан,— просто и ясно ответил Алихан, но потом, решив пояснить, все запутал.— Шайтан говорят по-нашему, по-мусульмански, а по-гяурски говорят антихрист. А так как сами гяуры по-нашему тоже шайтаны, то получается, что антихрист—это шайтанский шайтан!— Ясный взор Алихана выражал готовность ответить на любые вопросы.

— Алихан, ужинать!—раздался голос его шайтанской жены, и Алихан, подхватив стульчик, поспешно вошел в свою комнатку.

* * *

Тем же летом на объявление о найме сторожа откликнулся хиромант. Он подъехал к балкону Богатого Портного и позвал его. Тот вышел на балкон, хмуро посмотрел вниз и сказал:

— Воздух — твоё гаданье!

— Я хочу сторожить твоё имя!— закричал хиромант, дико хохоча и вкладывая в свои слова сатанинскую иронию, о которой ни мы, ни Богатый Портной тогда не догадывались.

Нет, не такого человека ожидал Богатый Портной, но, видно, делать было нечего, никто не приходил наниматься.

— Объявление читал или кто-то сказал?— спросил он, хмуро выслушав его тираду.

— Весь город об этом говорит!— радостно закричал хиромант и всплеснул руками.

— Ляй-ляй-конференцию хватит,— мрачно прервал он его,— ишака привяжи, а сам подымись.

Хиромант так и сделал, и они обо всем договорились. Условия договора, конечно, не разглашались, но кое-что все-таки просочилось. Так, стало известно, что хироманту давалось право использовать по своему усмотрению паданцы и скосить всю траву на участке для прокормления ослика.

Примерно через месяц они в пух и прах разругались, и Богатый Портной изгнал его со своего участка. Тогда-то и выяснились некоторые условия договора.

Хиромант жил на горе, недалеко от участка Богатого Портного, можно сказать, прямо над ним. На этой горе были две сталактитовые пещеры. Так вот одну из них он оборудовал под жильё и жил в ней вместе с осликом и всем своим многочисленным выводком.

Оказывается, Богатый Портной проследил за ним и обнаружил, что тот под видом паданцев или вместе с паданцами тащит к себе в пещеру его груши и яблоки, из которых гонит самогон. Гнать самогон в наших краях разрешается, но, разумеется, из собственных фруктов. Выяснилось это так.

Жена Богатого Портного встретила на базаре жену хироманта. Та продавала самогон и при виде жены Богатого Портного сильно смути-

лась. Увидев такое, жена Богатого Портного подошла к ней и потребовала объяснения, хотя до этого и не собиралась подходить.

Испуганная жена хироманта во всем созналась. Она умоляла жену Богатого Портного никому об этом не говорить, потому что самогон она продает втайне от мужа из его зимних запасов. Так что, говорила она, если до него дойдут слухи о том, что она продавала самогон, он ее убьет или, что еще хуже, прогонит вместе с детьми.

Ну, жена Богатого Портного, конечно, не удержалась и все рассказала мужу, больше всего удивленная такому плохому отношению к собственным детям со стороны ученых людей. Богатый Портной проследил за хиромантом и однажды поймал его на тропинке, когда тот подымался к своей пещере, погоняя ослика, нагруженного мешками с фруктами. Мешки были вскрыты, и тут же разразился неслыханный скандал, тем более что хиромант успел скосить и убрать с участка всю траву.

Недели через две он снова появился на нашей улице. Несмотря на летний день, правда пасмурный, хиромант был в пальто.

— Чатлах!— крикнул Богатый Портной с балкона, увидев его. Крикнул он это не слишком воинственно, так что, промолчи хиромант, может быть, все обошлось бы.

Но хиромант молчать не стал.

— Ищу хорошего старика!— крикнул он в ответ и стал оглядывать улицу, словно удивляясь, куда он запропастился, этот хороший старик, словно только что он здесь был, а теперь куда-то пропал.

Тут Богатый Портной от возмущения потерял дар речи и, схватив горшок со столетником, бросил его вниз. Горшок шлепнулся рядом с осликом и разбился вдребезги. Хиромант даже не дрогнул. Ослик его дернулся было, но потом потянулся мохнатой мордой и понюхал столетник, с комом земли выпавший из горшка.

Как только ослик двинулся дальше, Алихан, сидевший тут же на каменных порожках у входа в дом Богатого Портного, подошел к разбитому горшку, приподнял стебель столетника и, стряхнув с него землю, унес домой.

Кстати, сразу же, как только полетел горшок, Богатый Портной приобрел дар речи, словно горшок стоял у него поперек горла, словно он выкашлял его, а не швырнул руками.

— Аферист!— кричал он, свешиваясь с балкона и передвигаясь по нему, чтобы сопровождать ход ослика по улице.— Ты в пещере живешь, ты шакалка!

Хиромант невозмутимо продолжал ехать.

— Нищий, нищий!— вдруг с отчаянной радостью закричал Богатый Портной, словно нашел наконец точное слово. И в самом деле, видно, попал в точку.

Хиромант снова остановил ослика.

— Я еще хожу в шелках!— крикнул он, оборачиваясь, и распахнул, почти вывернул пальто, так что чуть не выпала из внутреннего кармана слегка отпитая бутылка с вином. Сверкнула золотистая подкладка, и на самом деле шелковая.

Богатый Портной, видно, не ожидал такой подкладки. Во всяком случае, он мгновенно помешкал, оглядывая ее, но в следующий миг взвился, сердясь на себя за это унижительное внимание.

— Барахло — твоя подкладка!— крикнул он.— Все знают, что я шил для наркома и буду шить...

Но ослик уже тронулся. Тут Богатый Портной быстро вошел в комнату, чтобы всем было ясно, что это он первым закончил спор.

Про этого наркома Богатый Портной довольно часто вспоминал, хотя на нашей улице его никто не видел. Правда, несколько раз за Богатым Портным проезжала легковая машина, но принадлежала ли она наркому, трудно сказать.

— Белый телефон стоит, — рассказывал он про квартиру наркома, — куда хочешь соединяет! Люди — живут.

Когда нарком исчез, Богатый Портной перестал о нем говорить. Некоторые соседи нарочно, для подначки, иногда спрашивали у него про наркома. Теперь Богатый Портной отвечал неохотно.

— Вечно капризничал, — отмахивался он от этого неприятного воспоминания.

— Последний русский дворянин и первый советский хиромант! — уже издали раздавался голос хироманта.

Услышав его, Богатый Портной почему-то снова выскочил на балкон.

— Воздухтрест! — проговорил он, больше обращаясь к улице, чем к самому хироманту. — Все равно никто не верит...

* * *

Сейчас я расскажу о великом споре между Алиханом и Богатым Портным. Но прежде чем излагать суть дела, я должен дать вам ясное представление о расстановке сил, о стратегических выгодах и слабостях той и другой стороны, чтобы драма идей, заключенная под внешне незначительным поводом спора, раскрылась во всем своем величии.

Хибарка Алихана, как это легко догадаться, никакого балкона не имела, потому что стояла прямо на земле. Поэтому после работы он иногда отдыхал во дворе, но чаще всего отдыхал на улице, на каменных ступеньках у входа в парадную дверь Богатого Портного. Тот, сидя на балконе, переговаривался с Алиханом, а чаще спорил с ним. Иногда Алихан поднимался к нему на балкон поиграть в нарды или попить кофе, но Богатый Портной вниз к нему никогда не спускался.

Как видно из рассказанного, Богатый Портной был человеком нервным и самолюбивым, тогда как Алихан (бывший владелец кофейни-кондитерской), хоть и продолжал именовать себя коммерсантом, был спокойным и ровным, как человек, давно все потерявший. Единственное, в чем он проявлял упорство, это в постоянном отстаивании звания коммерсанта.

Когда разновидности восточных сладостей в его передвижном лотке сократились до козинак, он не впал в уныние, а стал заполнять свой полупустой лоток жареными каштанами.

— Алихан, — говорил ему Богатый Портной, — изучи ремесло, а то скоро семечки будешь продавать.

— Семечки — никогда! — твердо отвечал Алихан, как бы давая знать, что продажа жареных каштанов входит в шкалу продуктов коммерческой деятельности, хотя и не занимает в ней высокого места, тогда как продажа семечек — это распад, разложение, полная сдача позиций.

Таким образом, Алихан в спорах с Богатым Портным имел свои сильные стороны и твердые убеждения. Но и Богатый Портной, возвышаясь над ним на балконе и охватывая голосом большее пространство, как бы в силу самого положения вещей имел свои преимущества.

Получалось, что он отчасти обращается к соседям, которые, выглядывая из окон ближайших домов и балконов, кивали ему, особенно в жару, в знак согласия. Кивать было удобно, потому что большинство этих кивков сидящий внизу Алихан не замечал. Так что они и его **не обижали**.

Но и Алихан, опять же в силу самого положения вещей сидевший на низком крыльце у входа в дом Богатого Портного, был до некоторой степени неуязвим, то есть чувствовалось, что скинуть-то его неоткуда, что он и так до того приземлен, что уже почти сидит на земле. А полужение человека, сидящего на земле, как бы мы сказали теперь, получив высшее образование, при многих неудобствах обладает диалектической прочностью — что-что, а шлепнуться на землю ему не страшно.

Теперь перехожу к сути главного спора Алихана с Богатым Портным.

Метрах в двадцати от нашего дома была речушка или канава, как ее достаточно справедливо тогда называли. Под каменным мостом она пересекала улицу. У самого моста с той стороны улицы был очень крутой спуск, переходящий в тропинку, которая подымалась вдоль русла вверх по течению. Обычно воды в этой речушке было так мало, что редкая птица решалась ее перелететь, проще было перейти ее вброд, что и делали чумазы городские куры.

Только изредка, когда в горах шли грозовые ливни, она вздувалась и на несколько часов превращалась в могучий горный поток, а потом снова мелела.

С некоторых пор на нашей улице стал появляться странный велосипедист. Странность его заключалась уже в том, что раньше он никогда здесь не появлялся, а теперь вдруг стал появляться. Жители нашей улицы едва свыклись с этой его странностью, как заметили за ним еще большую странность. Он доезжал до самого обрывистого спуска у моста и только тогда (ни шагом раньше) тормозил, слезал с велосипеда, приподымал его и, быстро спустившись в канаву, исчезал на тропе.

Можно было предположить, что живет он где-то там повыше, над речкой, но почему он раньше здесь не появлялся, а теперь вдруг стал появляться, было непонятно. А главное, это его упрямство, с каким он доезжал до самого края канавы, так что переднее колесо даже слегка высовывалось над обрывом, и только после этого тормозил.

Сначала мы все решили, что это он так делает для форсу, но потом заметили, что он никакого внимания на улицу не обращает, что было почему-то неприятно. Выходило, что все это он делает не для форсу. Тогда для чего? Этого никто не понимал, и Богатый Портной начал раздражаться. Несколько дней он молча присматривался к нему, а потом не выдержал.

— Интересно,— сказал он однажды с балкона, обращаясь к Алихану, который сидел внизу,— когда он сломает шею — на этой неделе или на следующей?

— Никогда,— ответил Алихан, перебирая четки.

— Откуда знаешь? — с брезгливым вызовом спросил Богатый Портной и высунулся над балконом.

— Так думаю,— миролюбиво ответил Алихан.

— То, что ты думаешь, я давно забыл,— сказал Богатый Портной,— но я буду последним нищим, если он не сломает себе шею или ногу.

— Ничего не сломает,— бодро ответил Алихан и, приподняв свои круглые брови над круглыми глазами, посмотрел вверх,— он свое дело знает.

— Посмотрим,— сказал Богатый Портной с угрозой и, отложив шитье, добавил: — А пока подымись, я тебе один «Марс» поставлю...

— «Марс» — это еще неизвестно,— сказал Алихан, вставая,— но этот человек свое дело знает.

Дни шли, а велосипедист продолжал приезжать в своей кепке, низко надвинутой на глаза, в сатиновой блузе с закатанными рукавами, в замызганных рабочих брюках, стянутых у шиколоток зажимами, и, конечно, каждый раз останавливался над самым обрывом, и ни шагом раньше.

При этом он ни малейшего внимания не обращал на жителей нашей улицы, в том числе и на Богатого Портного. Я не вполне исключаю мысль, что он вообще не знал о его существовании.

— Так и будет останавливаться со своим дряхлым велосипедом,— сказал однажды Богатый Портной, тоскливо проследив за его благополучным спуском в канаву.

— Так и будет,— бодро отвечал снизу Алихан,— человек свое дело знает.

— Ничего, Алихан,— покачал головой Богатый Портной,— про Лоткина ты то же самое говорил.

— Лоткин тоже свое дело знал,— ответил Алихан и, раскрыв рот, показал два ряда металлических зубов, которые мы почему-то тогда считали серебряными.— Как мельница, работают.

— А Лоткин где? — ехидно спросил Богатый Портной.

— Лоткин через свое женское горе пострадал,— ответил Алихан, слегка раздражаясь,— а при чем здесь этот человек?

— Ничего,— пригрозил Богатый Портной,— живы будем — посмотрим.

Несколько лет тому назад Лоткин поселился рядом с нашим домом. На дверях своей квартиры он повесил железную табличку с надписью: «Зубной техник Д. Д. Лоткин».

Лоткина у нас считали немножко малахольным, потому что он ходил в шляпе и макинтоше (форма одежды, не принятая на нашей улице в те довоенные времена), а главное, все время улыбался неизвестно чему.

Бывало, розовый, в шляпе и в распахнутом макинтоше, идет себе по улице с немного запрокинутой и одновременно доброжелательно склоненной набок головой и улыбается.

Особенно он расцветал, если встречал на пути какую-нибудь маленькую девочку. А таких девочек на нашей улице было полным-полно. Бывало, присядет на корточки перед такой девочкой, почмокает губами и протянет конфетку.

— Этот человек плохо кончит, Алихан,— говаривал Богатый Портной.

— Почему? — спрашивал Алихан, подняв голову.

— Есть в нем не то,— уверенно говорил Богатый Портной.

— Докажи! — отзывался Алихан.

— Если человек все время улыбается,— пояснял Богатый Портной,— значит, человек хитрит.

Лоткин жил вдвоем с женой, и когда, бывало, выходил с ней на улицу, все смотрели им вслед. Жена его — высокая, выше Лоткина, тонкая женщина, говорили, красавица,— проходя, обычно опускала голову, углы губ ее были слегка приподняты, словно она едва сдерживала усмешку, как бы стыдясь за своего Лоткина. А он знай себе идет, размахивая руками, и, ничего не понимая, улыбается направо и налево, здоровается, приподымая шляпу, и в то же время рыскает глазами: нет ли где поблизости сопливой девчонки в кудряшках, главное, была бы поменьше, умела бы подымать и опускать глаза да еще протягивать руку за конфеткой.

— Ах ты моя куколка, золотая...

Однажды мы пошли купаться на море в такой компании — я со своим отцом, Оник со своим и Лоткин с женой. Помню, всю дорогу Богатый Портной подшучивал над Лоткиным, делал вид, что он о нем знает что-то нехорошее, а что именно, было неясно. Мне кажется, он завидовал Лоткину, что у него такая красивая жена. Лоткин почему-то на эти насмешливые намеки Богатого Портного не отвечал, а только сопел

и все улыбался, прикрывшись от солнца свернутой газетой. На этот раз он был без шляпы.

Вблизи улыбка его показалась мне какой-то напряженной. Было неприятно, что жена его все так же опускала голову, чуть улыбаясь краями губ. Чувствовалось, что она поощряет Богатого Портного, во всяком случае на его стороне. Тогда я не особенно прислушивался к тому, что они говорили, потому что меня самого угнетало тревожное предчувствие, что отец мой окажется в кальсонах.

Так оно и оказалось. Отец разделся в сторонке и, закатав кальсоны, вошел в море. Отец мой прекрасно плавал, и в воде было, конечно, незаметно, что он в кальсонах, но рано или поздно надо было вылезать из воды, и это растревляло мое сыновнее самолюбие.

Богатый Портной, в трусах с голубыми кантами, мы их называли динамовскими, плескался у самого берега, как младенец. Он не умел плавать, но так как он сам нисколько не стыдился этого, получалось, что он просто не хочет идти в море. Я заметил, что Лоткин в воде пытался заигрывать с женой, но она в море относилась к нему еще хуже, чем на суше.

Однажды рано утром я проснулся от тревожного шума, идущего с улицы.

— Лоткин жену зарезал! — услышал я чей-то голос, и чьи-то шаги за окном заторопились, боясь упустить зрелище.

Я вскочил и выбежал на улицу. Возле лоткинского крыльца стояла небольшая толпа и машина «скорой помощи». Обе створки дверей его квартиры были как-то не по-жилому распахнуты, словно их распахнул взрыв случившейся катастрофы. Толпа колыхнулась, в зиянии дверей появились санитары с носилками, прикрытыми простыней.

Когда санитары спустились с крыльца, я увидел слабое очертание тела, лежащего под простыней. Кисть руки высовывалась из-под простыни и, непомерно длинная, свисала с края носилок.

Лоткина я больше не видел. Его увели милиционеры раньше, чем я туда пришел. Об этом случае долго толковали на нашей улице, и смысл этих толков сводился к тому, что он ее любил, а она его не любила или любила другого.

После этого случая самоуважение Богатого Портного усилилось, потому что получалось, что он один предвидел, чем это все кончится. И вот теперь в спорах с Алиханом Богатый Портной напоминал ему о Лоткине, который перед самой этой ужасной историей успел вставить Алихану зубы.

А между тем велосипедист с непонятным упрямством продолжал подъезжать к самому краю обрыва и по-прежнему, не обращая ни малейшего внимания на окружающих, благополучно тормозил, приподымал велосипед и спускался в канаву.

— Чтоб этот балкон провалился, если он не сломает себе шею,— снова сказал Богатый Портной, проследив за этой неумолимой процедурой.

— Его велосипед, его шея,— тут же отозвался Алихан.

— Порядочный человек так не делает,— сказал Богатый Портной, сумрачно из кружки поливая цветы. Теперь он поливал цветы прямо из кружки, тогда как раньше всегда сначала набирал воду в рот, а потом уже прыскал.

— А как делает? — спросил Алихан, подымая голову.

Богатый Портной бросил кружку в ведро с водой и посмотрел вниз на Алихана, помедлил, собираясь с мыслями.

— Во-первых, порядочный остановит свой велосипед хотя бы за пять-шесть шагов,— начал он,— во-вторых, посмотрит вокруг и поздору-

вается с соседями, а потом уже пойдет в свою канаву... Лоткин и то лучше был,— неожиданно добавил он.

— Почему? — удивился Алихан.

— Лоткин хотя бы от души здоровался со всеми,— сказал Богатый Портной,— а этот нас за людей не считает!

— Тогда скажи, за кого считает? — быстро спросил Алихан.

— За барахло считает,— мрачно сказал Богатый Портной,— даже кепку ехидно надевает. Мол, на вас даже смотреть не хочу — так надевает,— пояснил Богатый Портной и добавил, возвращаясь к привычной лоткинской теме: — Лоткин шляпу надевал, и то у него номер не получился.

— При чем тут Лоткин! — закричал Алихан.— Лоткин через свое женское горе пострадал.

— А этот через свое упрямство пострадает,— сказал Богатый Портной и пророчески погрозил пальцем в воздухе.

Дни шли, а человек на велосипеде, все так же нахлобучив кепку на самые глаза, продолжал подъезжать к самому обрыву.

Иногда Алихан запаздывал со своей тележкой и, появляясь на улице, смотрел на балкон, взглядом спрашивая у Богатого Портного: мол, как там дела? Богатый Портной в ответ молчал, из чего следовало, что возмездие все еще предстоит.

Иногда сам велосипедист запаздывал, и тогда Богатый Портной, если был занят у себя в комнате, время от времени выходил на балкон и поглядывал на улицу. При этом он старался сделать вид, что просто так вышел. Якобы так, беззаботно, посмотрит в одну сторону, откуда должен был появиться велосипедист, потом в другую, хотя в другую сторону ему и не надо было смотреть, потому что он оттуда никого не ожидал.

Ребята с нашей улицы обычно в такое время сидели на травке у забора как раз напротив его балкона и, конечно, все понимали. Особенно было смешно, когда он выходил, что-нибудь жуя, потому что в это время он ужинал и вставать из-за стола у него не было никаких причин, кроме желания не пропустить ненавистного велосипедиста.

В таких случаях, если он задерживался на балконе, жена его звала из глубины квартиры и, если он не сразу возвращался, сама появлялась и слегка подталкивала его в комнату. Лениво жуя, она сама в последний раз бросала взгляд вдоль улицы и исчезала.

— Едет! Едет! — иногда кричали наши ребята, когда велосипедист появлялся в конце квартала, а Богатого Портного на месте не было.

— Ну и что?! — кричал Богатый Портной, выскочив на балкон.— Подумаешь, какое мое дело!

А сам оставался на балконе, пока не убедится, что упрямый велосипедист и на этот раз невредимо сошел в свою канаву. Если в это время Оник где-нибудь поблизости катался на велосипеде, он, кивнув в его сторону, говорил Алихану:

— Какой пример детям показывает, а?

— Какой пример? — удивлялся Алихан.

— А если Оник захочет то же самое?

— Никогда не захочет,— уверенно отвечал Алихан.

— Оник! — кричал Богатый Портной яростно.— Если будешь крутиться возле канавы, как Лоткин, задушу тебя своими руками!

— Я не кручусь, папа! — отвечал Оник и отъезжал подальше от канавы.

Дни шли, а велосипедист продолжал целым и невредимым подъезжать к самому краю обрывистого спуска. И когда Богатый Портной отводил от него глаза, полные гневного недоумения, то, как правило, встречался с приподнятыми на него ясными глазами Алихана.

— Я тебе говорю,— кивал Алихан,— этот человек свое дело знает.
— Чем даром здесь сидеть,— злился Богатый Портной,— лучше бы пошел сторожить мой сад.

— Я коммерсантом родился, коммерсантом умру,— спокойно отвечал ему Алихан.

— Твоя коммерция — воздух! — говорил Богатый Портной и, плюнув на руку, громко шлепал ею по днищу утюга.

— Эй гиди, время,— вздыхал Алихан и, покачивая головой, смотрел на него, как бы распределяя свой упрек между вечностью и Богатым Портным.

Однажды велосипедист появился, зажав под мышкой буханку хлеба. На этот раз он руль держал одной рукой и ехал гораздо медленней. Мы все, а в особенности Богатый Портной, ожидали, что он хоть на этот раз остановит свой велосипед пораньше. Но он и теперь доехал до самого края и затормозил, как обычно.

После этого случая мы стали замечать, что он довольно часто приезжает то с буханкой хлеба под мышкой, то с корзиной на руле и каждый раз благополучно сходит в свою канаву.

— Хоть бы в газету завернул,— сказал однажды Богатый Портной, имея в виду хлеб, который тот привозил.

— Его хлеб, как хочет, везет,— ответил Алихан.

— Ты думаешь, что он будет делать, если хлеб упадет в канаву? — неожиданно спросил Богатый Портной.

— Ничего,— ответил Алихан.

— Подымет и покушает,— уверенно сообщил Богатый Портной и быстро вошел в комнату.

В другой раз велосипедист приехал с коровьей головой, которую он держал за рог в слегка оттянутой левой руке. Богатый Портной, увидев такое, замер на своем балконе. Покамест тот спускался в канаву, он, несколько раз качнув головой, присвистнул: дескать, дождались.

— Алихан, что это? — тихо спросил Богатый Портной.

Алихан на этот раз сидел, слегка насупившись, как бы признавая некоторую ответственность за поведение велосипедиста и в то же время готовый оказать сопротивление ввиду не такой уж значительности самого проступка.

— Ничего,— ответил Алихан сухо.

— Как ничего, Алихан?! — простонал Богатый Портной, умоляя его хотя бы не отрицать того, что каждый только что видел своими глазами.

— Коровина голова, больше ничего,— сказал Алихан и, подняв собственную голову, твердо посмотрел ему в глаза, отбрасывая всякую возможность мистического толкования этого события.

— Он что, на бойне работает? — спросил Богатый Портной с таким глубоким изумлением, словно, оказавшись велосипедист работником бойни, сразу же можно было бы этим объяснить и все остальные его странности.

Алихан хаживал на бойню, где доставал потроха для хаша. Иногда он их приносил и Богатому Портному. Алихан хорошо знал всех работников бойни.

— Зачем на бойне,— сказал Алихан просто,— на базаре тоже продают.

— Дай бог мне столько здоровья, сколько он эту голову купил,— ответил Богатый Портной.

— Тогда скажи, где взял?! — воскликнул Алихан.

— Где взял, не знаю,— ответил Богатый Портной, успокаиваясь оттого, что Алихан начинал сердиться,— но Лоткина ты тоже защищал...

— При чем Лоткин, при чем голова? — закричал Алихан и, неожиданно взмахнув рукой, добавил: — Иди в свою комнату!

— На моем сидит и меня прогоняет,— задумчиво сказал Богатый Портной, обращаясь ко всей улице и как бы давая через этот маленький пример всем убедиться, какой Алихан несправедливый человек.

Однажды велосипедист особенно долго не возвращался. У Богатого Портного в доме был клиент, так что с балкона он не мог следить за тем, что происходит на улице. Он только время от времени выскакивал на балкон, чтобы не пропустить велосипедиста.

— Я скажу, когда будет, ты иди,— говорил ему Алихан и гнал его с балкона.

Человек пятнадцать ребят с нашей улицы, как обычно, сидели на лужайке напротив балкона Богатого Портного. Уже и видно было плохо, когда велосипедист появился на углу.

— Едет! Едет! — хором закричали ребята, опережая Алихана.

— Ну и что?! Пускай едет! — выскочив на балкон, стал огрызаться Богатый Портной, но внезапно замолк, увидев велосипедиста.

И тут все сразу заметили, что на этот раз он едет как-то странно, велосипед страшно вихлял. Никто не мог понять, в чем дело. Первым догадался Алихан.

— Клянусь аллахом, он пьяный! — воскликнул Алихан и даже встал.

— Не мое дело! — радостно отозвался Богатый Портной и, обернувшись в комнату, крикнул: — Эй, сюда, сюда!

На балконе появились жена Богатого Портного и клиент в пиджаке без рукавов, впрочем, один из рукавов Богатый Портной держал в руке.

— В чем дело? — спросил клиент, хмуро глядя на свой рукав, которым беспрестанно взмахивал Богатый Портной.

— Потом, потом, туда смотри! — воскликнул он и от нетерпения заходил по балкону.

— Пьяный не считается! — крикнул Алихан в сильнейшем возбуждении.

— Спор есть спор! — перебил его Богатый Портной, взмахивая рукавом.

— Пьяный и без велосипеда может упасть! — не сдавался Алихан.

— Будь мужчиной, Алихан, спор есть спор! — еще успел крикнуть Богатый Портной.

Все мы, ребята с нашей улицы, оцепенев от волнения, ждали, что будет. Подъезав к обрыву, он притормозил и мгновение, балансируя рулем, стоял над обрывом, словно решая, а не спуститься ли на велосипеде. Но нет! Накренился и стал одной ногой на землю.

Взрыв рукоплесканий, свист и вопли восторга поднялись над лужайкой, как над трибунами стадиона. Богатый Портной даже как-то подпрыгнул на своем балконе, что-то крича и махая рукой в знак яростного протеста.

И тут, кажется, впервые этот человек поднял голову и удивленно посмотрел вокруг. Увидев нас, пацанов, он улыбнулся нам слабой улыбкой пьяного, не вполне понимающего, в чем дело, человека. Потом он, как обычно, поднял велосипед и, пошатываясь, сошел с обрыва. Богатого Портного он, по-моему, так и не заметил.

На следующий день в гости к Богатому Портному приехал автоинспектор. Я уверен, что Богатый Портной жаловался ему. После долгого обеда они вышли на улицу и долго разговаривали, стоя у заведенного мотоцикла.

Как только на углу появился велосипедист, автоинспектор вскочил в седло и, извергая громы (уж не снял ли он нарочно глушители?!), рванул с места на большой скорости и через несколько секунд в тучах пыли, скрывшей обоих, остановился возле велосипедиста.

Когда осела пыль, мы увидели, что велосипедист стоит возле автоинспектора, хотя в то же время продолжает сидеть в седле, протянув к земле одну ногу.

По лицу Богатого Портного было видно, что сама поза велосипедиста ему не нравится. Не то чтобы автоинспектор обещал наехать на него, но, видно, обещал пугануть упрянца как следует, да, видно, что-то не так получилось.

Они разговаривали, как равный с равным, и даже оба сидели в своих седлах. И только велосипедист что-то говорил довольно независимо, кивая головой в сторону речушки.

Постепенно их окружили мужчины с нашей улицы, в том числе и Алихан. Как водится в таких случаях, они их слушали с важным видом, а иногда и сами что-то вставляли. Оник объезжал всю эту группу на своем велосипеде, на ходу прислушиваясь к тому, что они говорили. Богатый Портной к ним так и не подошел, а остановился поблизости, как не слишком заинтересованный, но все же любопытствующий человек. Время от времени он вставлял одну и ту же фразу:

— Нет, если для детей не вредно, пожалуйста...

Наконец велосипедист оттолкнулся ногой и поехал к своей канаве. Автоинспектор, продолжая держаться за руль, круто обернулся, то ли стараясь разглядеть, есть ли у него номер под седлом, то ли ему тоже было интересно, как этот упрямец доезжает до самого спуска. Тут Богатый Портной подошел к автоинспектору. Ковыряя спичкой в зубах, он тоже посмотрел вслед велосипедисту каким-то пустующим взглядом.

Когда тот скрылся, Богатый Портной, продолжая кромсать в зубах спичку, посмотрел на автоинспектора своим пустующим взглядом. Было похоже, что он напоминает кунаку о долгом обеде.

— Имеет право,— сказал автоинспектор, взглянув на Богатого Портного. Казалось, он смутно угадывал намек и сам изумлялся своей догадке.

— Нет, если детям не вредно, пожалуйста,— холодно повторил Богатый Портной, наконец отбросив спичку. Возможно, теперь это означало, что хотя долгие обеды в его доме не отменяются, но список приглашенных лиц подвергнется жесткому пересмотру.

Автоинспектор дал газ и уехал. На обратном пути Алихан рассказывал, как этот велосипедист здесь появился. Оказывается, он живет над нашей речушкой у самого выезда, на параллельной улице. Там почти такой же спуск. После бурных дождей возле его дома случился оползень, и выход на шоссе был разрушен. Вот он и избрал этот путь на работу через нашу улицу.

— Хорошо,— перебил его Богатый Портной,— а мой дармоед что говорит?

— Он говорит,— ответил Алихан миролюбиво,— им про оползень все известно, и они его починят.

Рядом с высоким сутуловатым Алиханом, опрятно сдерживающим торжество, маленький Богатый Портной шел, слегка прихрамывая. Так, прихрамывая, бывало, покидали поле наши футболисты после очередного проигрыша.

— А зачем он до самого края доезжал? — кивнул Богатый Портной на речушку.

— Это, говорит, мое дело, имею полное право, потому что рабочий кожзавода.

— А,— протянул Богатый Портной, догадываясь, — рабочий — совсем другое дело.

— Да,— сказал Алихан,— хозяин...

Богатый Портной поднялся к себе, а Алихан еще немного постоял

у калитки, следя за собой, чтобы не дать прорваться ликованию. И вдруг Богатый Портной появился на балконе.

— Алихан? — склонился он над перилами.

— Что? — живо откликнулся Алихан. Наверное, он решил, что Богатый Портной зовет его поиграть в нарды.

— Все же коровину голову он на бойне взял, — сказал Богатый Портной.

— При чем? — вздрогнул Алихан.

— При том, что кожзавод находится рядом с бойней, Алихан, — сказал Богатый Портной и быстро покинул балкон, так что Алихан только и успел поднять свои круглые брови над круглыми глазами.

Кожзавод был и в самом деле расположен рядом с бойней (он и сейчас там), и, вероятней всего, этот парень там и купил коровью голову. Сказав, где работает этот парень, Алихан, в сущности, сделал слабый ход, которым воспользовался Богатый Портной.

Не знаю, как в других краях, но у нас автоинспектор слов на ветер не бросает. Через неделю упрямый велосипедист перестал появляться на нашей улице. Видно, дорогу и в самом деле привели в порядок.

Возгласами: «Едет! Едет!» — нашим ребятам пару раз удалось заставить Богатого Портного выбежать на балкон, но потом все это позабылось, да и сам Богатый Портной вскоре переехал на свой участок.

Тетушка моя время от времени, примерно раз или два в год, ходила в гости к Богатому Портному. Каждый раз она оттуда приносила удивительные новости. Больше всего поразило ее воображение, что Богатый Портной отвел воду от речушки на свой участок, где вырыл небольшой бассейн.

— В бассейне утки плавают, в беседке скамейка стоит, — сокрушенно рассказывала она каждый раз, возвращаясь оттуда.

— Ну и что, — сказал мой старший брат, когда она впервые об этом заговорила, — в беседке всегда скамейка стоит.

— Дурачки вы мои, дурачки, — печально покачала тетушка головой в том смысле, что хотя мы сейчас смеемся над ее восторгами, но потом будем жалеть об этом.

Но это было и в самом деле смешно. Особенно смешным казался неведомый бассейн, в который до сих пор, по школьной традиции, втекала и вытекала вода по двум трубам, а теперь там еще и утки заплескались.

— В бассейне утки плавают, — говорил кто-нибудь из нас в самое неподходящее время, например за обедом или когда в доме гости, и уже никакими силами нельзя было удержаться от смеха.

— Ну что тут смешного? — пыталась тетушка иногда понять причину нашего смеха, раз уж мы не можем понять причину ее восхищения.

Но объяснить это было невозможно. Дело не в том, что мы не верили в существование этого бассейна с трубами или без труб, с утками или без уток, пожалуй, поверить в это было нетрудно. Дело было, как я теперь понимаю, в абсолютной уверенности, что все это никому не нужно, что все это заранее обречено (особенно утки) оказаться липой и чепухой. Так стоит ли всеми этими ненужностями загромождать голову? Вот отчего мы смеялись.

На этом я прерываю жизнеописание Богатого Портного, с тем чтобы вернуться к хироманту и, как только представится случай, рассказать о его скромном подвиге и военной смекалке, проявленной в Отечественную войну во время поимки двух немецких летчиков со сбитого «юнкерса».



ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ

★

В ТОМ СИТЦЕВОМ ГОРОДЕ...

* * *

Всю ночь грѣмывал водосток,
Лилось через край из кадушки,
Кололо перо из подушки —
И мне не спалось. Я не мог
Согреться и еле дремал,
Под бок подоткнув одеяло,
И что-то меня донимало,
А что — я едва понимал.

Шел снег попережку с дождем,
Светало, и в ситничке редком
Я видел себя малолетком
В том ситцевом городе, в том
Чужом полуночном саду,
Где были знакомы все щели,
Где яблоки райские зрели —
Ах, как они вязли во рту!

Я видел Покровский бульвар,
Бездомность и юность больную,
И женщину немолодую,
И первый восторг, и кошмар
Познанья: «Не хочешь ранет?» —
Нелепица мысль бередила,
И жалко мне юности было
И тех неприкаянных лет.

Мне грустен был прежний удел,
Но дорог. Какая досада,
Что яблочек из райского сада
Мне больше не рвать! Я глядел
На тридцатилетний итог
С надеждой и смутной виною
И слушал, как пахнет весною
Шумящий внизу водосток.

Ну что же! Я видел насквозь
Свой возраст — и не отрекался.
Нечаянно дождь оборвался,

А в кадку лилось и лилось.
И думал я, слушая шум,
Быть может, впервые свободно
О жизни — и все что угодно
Легко приходило на ум.

* * *

...Я слышу, слышу родину свою!
Вдоль ровных лип, вдоль стриженных заборов
Брожу — и, хоть убей, не узнаю
Ни тех дворов, ни птичьих коридоров.

Здесь дом снесли и вырубил сад.
Тут под фундамент яму раскопали,
Но дождь прошел — и в будущем подвале
Еще ныряет выводок утят.

И грустно мне: каких искать примет?
Я этот город знал не понаслышке.
А он другой: ни старых улиц нет,
Ни вечного пожарника на вышке.

Так многого вокруг недостает,
Что, кажется, терять уже не больно.
И долговязо смотрит колокольня
На кладбище и мебельный завод.

На берегу, где высился собор,
Она стоит как памятник терпению,
Ни кирпичом, ни камнем не в укор
Своей земле. А день цветет сиренью.

А над землею майские жуки
Жужжат, жужжат, и в сумерках белесых
Просвечивают листья на березах.
Ах, боже мой, как дни-то высоки!

Как вечера упруги: только тронь —
И обдадут, чтоб было неповадно.
И бабочки опять летят в огонь.
И снова жизнь свежа и безоглядна.

Везде, во всем, куда ни оглянусь,
Она трепещет в пагубе цветенья,
И каждый куст не терпит повторенья —
Шумит, шумит... И я не повторяюсь!

* * *

Когда в поселке свет потух,
И прокричал со сна петух,
И прошумели ветви яблонь,
Я, вздрогнув, ощутил на слух
Тот пленный отчужденный дух,
Который был природой явлен.

Стояла ночь, и лай собак
 Стихал, усугубляя мрак,
 И, стихнув, не давал забыться,
 И мысль неловко, кое-как
 Толкалась, как ручей в овраг,
 Ища, во что бы воплотиться.

Наверно, там, таясь за тьмой,
 Досадная себе самой,
 Она текла прямой и шире,
 А я, ее исток прямой,
 Я так хотел, чтоб голос мой
 Как равный воплотился в мире.

Я так хотел найти слова
 Бесхитростного естества,
 Но чуждо, чуть касаясь слуха,
 Шуршала мокрая трава,
 Шумела черная листва —
 Свидетельства иного духа.

И в кадке с дождевой водой
 Дрожала ржавою звездой
 Живая бездна мирозданья...
 Не я, не я, но кто другой,
 Склонясь над млечною грядой,
 Оставил здесь свое дыханье?

* * *

Как торопится жизнь! Не вчера ли
 Ветки торкались в изморозь рам,
 А сегодня уже разметали
 Брачный пух по зеленым дворам.

— Горько, горько! — и в пьяном веселье
 Чья-то свадьба колотит горшки.
 — Горько, горько! — еще на похмелье
 Желчь измены и горечь тоски.

Ну да что! В этом мире цветущем
 Так легко на душе, так светло,
 Что не хочется знать о грядущем
 Или думать о том, что прошло.

Я не юноша. Что торопиться?
 Я-то знаю, как зреют слова!
 Но так живо трепещет страница,
 Так искрится на солнце листва,

Что рука еще пишет в тетрадке:
 — Мне не к спеху, — а рифмы зудят,
 Лезут под руку и — в беспорядке
 Тополиной оравой летят!

* * *

На окраине кладбища, где начинается поле,
Бродят козы, и в редком подлеске дрожит тишина.
Убирают картошку, и тянет ботвой с огородов,
И за каждым пригорком начертана чья-то судьба.
Мне не скоро еще! Для чего же так долго гляжу я
В бердящий простор, на распятыя железных антенн
И чего-то все жду?.. То ли сойку спугну мимоходом,
То ли друга умершего вспомню — и как бы очнусь
Ото сна: где я, что я? Иду — и не знаю дороги,
Только слышу, как воздух горчит, как лопата стучит,
Отдаваясь в листе. И спокойствие мало-помалу
За ходьбою приходит ко мне. Возвратившись домой,
Выпив чаю, я с книгой прилягу на старом диване
И, открыв наугад, двух страниц не успею прочесть,
Как усталость возьмет. Я закрою глаза и увижу
Лес, и дым, и пасущихся коз... Далеко-далеко
Колокольня белеется. К вечеру стадо пригнали.
Я по улице Зорьку гоню, а вокруг хорошо:
Расцветает сирень, и уже посадили картошку
В огородах, и наши в Берлине, и мать молода,
И поет патефон, и какая-то женщина плачет,
И я с осени в школу пойду — хорошо-хорошо!..

...Ходят ходики... В сумерках ранних склонилась старуха.
Боже мой, как согнуло тебя, дорогая моя.
Где сиреневый вечер? Где радость надежды? Где козья погудка?

...Скрип часов... Тишина... Тишина...



ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ

★

ИЗ ЛИРИКИ

* * *

Сегодня я в лесу один.
Стволы берез, дубов, рябин
остекленели. Входишь в ели,
как в похоронный магазин.
И вереница черных льдин,
и реквием настылых сосен
прощаются с тобою, осень,
и с вами, сорок сороков
моих осенних двойников,
пронизанных одною дрожью —
сквозь неизбежный снег и лед
все лучшее озимой рожью
когда-нибудь да прорастет!

* * *

Гроза идет, размахивая граблями!
Хлобыщут юбки,
и ревут дубы,
а по земле
со свистом
лупят градины,
и вскакивают шишками грибы!
Над поймой Сожа,
надо всем лесничеством
идет гроза и плещет электричеством!
Сплошной потоп! Лишь синяя зарница,
как магний,
сквозь десятилетия
бьет
и намяти пощады не дает —
из прошлого выхватывает лица!
Гроза идет! И горло сводит спазмами —
разливами,
порывами опасными,
детдомовскими горнами,
грачами,
заросшими крапивой пустырями...

Гроза идет! И, как громоотвод,
 твой здравый смысл — спокойствия оплот —
 вот-вот на части, к черту, разлетится,
 и синяя холодная зарница,
 как с бритвой к горлу,
 с прошлым пристает!

* * *

Как ты ко мне добра! Еще добра.
 То женщину отнимешь, то врага,
 то рощицу порубишь на дрова
 и увезешь тихонько в склад гортопа.
 Я понимаю, жизнь, что ты права.
 Отнять все сразу — это так жестоко!
 А ты частями, исподволь берешь.
 Куда пропала радостная дрожь —
 перед свиданьем, перед Новым годом,
 перед ударом гонга и восходом?
 Сож обмелел, и волос поредел.
 Но это все пока что не предел.
 Потом пойдет работа по ночам —
 ослабнут десны, веко затрясется...
 Ну, а потом совсем по мелочам —
 протрется шляпа, чашка разобьется...
 Разбилась чашка!.. Молодость смеется:
 — Мы завтра купим новую, не хнычь!
 Над ерундой трясется старый хрыч.
 Все это испытать еще придется.
 Ну, а пока что дань моя щедра!
 И ты еще — ох, нет, уже — добра...

* * *

Май кончился! Земля прогрета.
 Живницей брызнула сосна.
 Порадуйся — настало лето.
 Я помолчу — прошла весна.

Осина лист червонный сбросит,
 тихонько хлопнет по плечу.
 Ты ликованием встретишь осень,
 а я о лете загрузу.

Вся жизнь твоя еще свиданья —
 со мною, с осенью, с зимой...
 А у меня — уже прощанья
 с природой, с юностью, с тобой!

И все же я не отделяю
 твои мгновенья от своих —
 так бурно я их провожаю!
 Так бурно ты встречаешь их!

* * *

Пока веселый и чужой
ямщик на «Волге» вороной
не раструбил мою тревогу,
хочу воспеть одну дорогу,
что дарит мне в конце концов
и первозданный шум лесов,
и пляски майских журавлей,
и сны с кошмарами грибными —
всю свежесть родины моей
в таинственном прозрачном дыме!

На той отчаянной дороге
взлетают руки, пляшут ноги,
слезятся красные глаза.
Водители скрипят зубами,
пронзают воздух тормозами
и разбивают кузова!

Она в бидонах молоко
за два часа сбивает в масло,
сшибает лбами мужиков,
снабженцев и поставщиков,
и вообще она прекрасна —
пока доедешь, растеряешь
и лень, и спесь, и дурь, и ложь,
но если шею не сломаешь,
то душу ты не растрясешь!



АНАТОЛИЙ КРИВОНОСОВ

★

ПРОСТАЯ ВОДА

Повесть

Помню, в геологический отдел заглянула секретарша:
— Свиридов, зайдите к начальнику!

Я подумал: «Наверное, опять пошлют в поле».

Начальник скажет так: «Мы все учли и решили направить вас на полевые работы». Затем примется перечислять, что же они учли, и мне станет ясно, что я должен ехать в поле только потому, что еще не женился.

Главное — не забыть, что взять с собой в поле. Кирзовые сапоги я дал весной Витьке Столярову, тоже вечному полевику, сходить на рыбалку, и он там доходил их. Других со склада не выпишут: не вышел срок. А без сапог и не суйся. Без валенок тоже: на носу декабрь. Правда, с валенками у меня порядок. Прошлой зимой я их немного носил.

Теперь спецовка — синяя куртка и штаны. Валяются под кроватью. Грязные, нужно отдать в стирку. Телогрейку возьму у Витьки Столярова. Ему сейчас не ехать. Спальный мешок «висит» на мне уже третий год, и, возможно, выпишут новый. На складе есть, недавно привезли.

А что взять на выходной? Вдруг мне захочется пойти в кино или на танцы. Пальто, костюм, туфли или теплые ботинки, рубашку, галстук... Не забыть бы чистое белье, вот! Полотенце, мыло, бритвенный прибор, зубную щетку и хорошо бы купить «поморин».

А чемодан с папками и пишущая машинка? О них я вспомнил в последнюю очередь.

— Свиридов, — сказал начальник, когда я вошел и стал в двух шагах от его стола. — Мы ценим, Свиридов, ваш проект на детальную разведку формовочных песков. Но, поверьте, вы поедете ненадолго. Пичугина уходит в декретный отпуск... Пожалуйста, не пугайтесь! Полужье — хороший городишко, вы не заметите, как пролетит время...

Пичугиной двадцать лет. Все знают, что она не замужем. Я видел ее месяцев пять назад, тогда Пичугина была тоненькой, как хворостинка. Я даже загляделся на нее в коридоре. Она говорила, что живет в Полужье в гостинице. А буровики живут в передвижном домике, который они ставят вблизи буровой вышки. В нем три купе с полками для постели и столиком у окошка — точь-в-точь как в железнодорожном вагоне. В домике еще кухонька, шкафчик для рабочей одежды и паровое отопление. Настоящее паровое отопление. Но зимой с потолка каплет, и вообще в том домике негде повернуться.

— Пичугина вас встретит,— слышу я голос начальника.

— Да, но где я там буду жить? Ведь за гостиницу...

Я быстро подсчитываю в уме, сколько будет стоить гостиница в месяц, вспоминаю, что надо бы выслать маме — за последние полгода у меня это все как-то не выходило...

— Свиридов,— говорит начальник,— за работу в полевых условиях вы получите еще сорок процентов полевого довольствия. Снимите квартиру. Это будет стоить недорого...

Пичугину я отыскал в гостинице на втором этаже. Она еще спала. Высунув из дверей голые плечи и увидев, что это я, деловито сказала:

— Подожди, оденусь.

Я постоял в коридоре не больше минуты.

— Заноси вещи! — Пичугина проворно схватила чемодан и пишущую машинку. Я взял спальный мешок и два рюкзака. Когда я вошел в комнату, на одной из кроватей чьи-то руки тотчас потянули на себя одеяло.

— Что будем делать? — спросила Пичугина.

— Нужно поискать квартиру.

Мне все время хотелось посмотреть на ее живот.

— Я тебе помогу,— сказала Пичугина.

Она вышла из комнаты и побежала вниз по лестнице. Я догнал ее на улице. Пичугина подхватила меня под руку и потащила в переулок.

Мы проходили два часа.

В первом же доме нас спросили:

— Женатики?

В следующих домах нас встречали теми же вопросами, только более тонко. Все равно нам отказывали.

Я уже знал, что недавно в городе построили завод, на который из деревень наехало много молодежи, и теперь с квартирами стало туго. И еще в городе было профессионально-техническое училище, не имевшее общежития.

— Зайдем еще зон в тот дом,— предложила Пичугина.

Я посмотрел на него: махонький, обмазанный желтой глиной. Пичугина уже открыла калитку.

— Вчера девушку из завода пустила,— проговорила горбатенькая бабка, возясь у печки.

Мы все еще стояли у порога.

— Если одного, то я могу,— слышался голос из другой комнаты.

К нам вышла женщина лет пятидесяти, закутанная в теплый серый платок.

— Идемте, поглядите. Я живу рядом, через усадьбу.

Мы прошли мимо уборной, обогнули трухлявый дровяник и подлезли под жердину, преграждавшую лазейку во двор.

— Вот, пожалуйста,— сказала женщина, войдя в дом.— Понравится — живите на здоровье.

— Наши ребята плагят по шесть,— сказал я.

— Семь.

Я постарался избежать ее взгляда. Посмотрел на Пичугину. Всем своим видом она, казалось, говорила: «Соглашайся!»

Уезжая сюда, я незаметно истратил на всякие мелочи пятнадцать рублей и за двенадцать купил кирзовые сапоги. Ленинградские! Таких сапог, пожалуй, может хватить надолго. Сапоги других фабрик не

выдерживают первого серьезного маршрута. За полевой сезон ничего не стоит истрепать три-четыре пары.

— Сразу я не могу уплатить столько,— сказал я.

— Какой разговор! Когда будут, тогда и отдадите.

Мы вернулись в гостиницу. Я взял вещи, и Пичугина пошла проводить меня.

На улице она задумчиво сказала:

— А знаешь, мне не понравилась та женщина.

Мы прошли еще несколько шагов.

— Правда,— снова сказала она.— У нее какие-то нехорошие глаза. И ты заметил, какие у нее брови?

Мне как-то вдруг ясно представилось лицо хозяйки — темное, старческое, некрасивое. Маленькие черные глазки, широкие, кустистые, как у мужчины, брови.

— Я сразу насторожилась, когда она сама нам предложила,— продолжала Пичугина.— Тебе у нее будет несладко.

— Может, мне поискать другую квартиру?

— Что ты! Проходишь до ночи и вернешься ни с чем. Пожалуйста, не делай глупостей.

Мы помолчали.

— Когда ты уезжаешь? — спросил я.

— Завтра вечерним поездом.

— Я приду тебя проводить.

— Спасибо, не надо.

Обычно я спал до восьми. А сегодня продрал глаза в одиннадцать. В доме было тихо. Минуты две лежал, не двигаясь. За перегородкой слышались шорохи, кто-то вздохнул. В сенях хлопнула дверь.

— Тише, внученька, он еще спит.

Я выбрался из спального мешка, оделся и вышел из-за перегородки.

— Доброе утро, Анна Романовна!

Умылся, переоделся в рабочую одежду и пошел на буровую вышку.

Телогрейка Витьки Столярова была мне мала. Она стягивала под мышками, и поневоле приходилось держать руки растопыренными. Новые сапоги чуточку стискивали пальцы, но, в общем-то, сидели ладненько, даже поскрипывали.

За ночь навалило снегу. Я с трудом пробился к дороге, которая вела в сосновый лес и на речку. Там где-то и была буровая вышка.

Хорошо все же лезть по сугробам и смотреть на сосны. А вчера я валился с ног. У меня и сейчас еще побаливает меж лопаток. Смешно вспомнить!..

— Я приготовила вам кровать,— сказала вчера хозяйка.

А я смотрел на нее и ничего не понимал. Кос-как вытащил из чехла спальный мешок.

Разглядел все уже утром. Низкий потолок. Я доставал до него головой, став на цыпочки. Кровать занимала половину комнатенки в ширину. В изголовье — тусклое оконце с полуизгнившими рамами. Возле него — плетенная из лозы тумбочка.

Другая комната была пошире. В ней стояли стол и старый шкаф. В этой комнате спала хозяйка. В третьей комнате, самой большой и холодной, никто не жил. Туда ходили только умываться.

Я не заметил, как вышел к болоту. Оно еще не совсем замерзло. Снег протаял, был в рыжих пятнах. Белыми и пушистыми оставались лишь кочки. Я повернул назад, неожиданно вышел к речке и стал при-

слушиваться. Зимой, когда буровая вышка работает, дизель далеко разносит свое непрерывное бу-бу, бу-бу, бу-бу. Летом тот же дизель слышен в лесу иначе. Он не бубнит, а тарыхтит.

Но было тихо. Я пролазил по снегу еще час. Оказалось, буровая вышка не работала. Стальная мачта мертво возвышалась меж деревьев. На кабине «МАЗа», на буровом станке, на бочках с соляжкой — на всем лежал нетронутый слой снега.

Пичугина говорила, что забурили новую скважину, а выходит: сидят на старой. И сидят из-за каких-то пустяков: из партии не выслали трактор и «пропал» Лешка-шалопут — шофер, уехавший на отгулы. Поперечный, не дозвонившись с почты, тотчас укатил в партию.

Теперь, пока забурят новую скважину, дня три мне просто-напросто нечего будет делать. Правда, у меня в чемодане — папки. В них — мой новый проект на поиски и разведку подземных вод. Но этот проект — мое личное дело. Во всяком случае так говорят мне на работе после того, как его забраковали на техническом совете. Разумеется, кроме Витьки Столярова. Все же начальник на следующий день вызвал меня и сказал:

— Свиридов, мы думаем, что вы уже справитесь с более серьезной работой. У нас есть вакантная должность...

Я ответил, что Витька Столяров без пяти минут инженер и вообще отличный работник, но до сих пор ходит в техниках. Начальник заговорил было о здравом смысле, но вскоре во мне разочаровался.

Так вот, три свободных дня мне, конечно, пригодились бы. Однако, представив свою хозяйку, я не сильно обрадовался. Идти сейчас на квартиру не хотелось. Я вспомнил, что еще ничего не ел, и решил пойти на вокзал. Там в буфете есть рижское пиво. И там можно поесть горячего. Потом, возможно, провожу Пичугину. Поезд отправляется через два часа — успею.

С железнодорожной станции доносились гудки паровозов. Слышен был даже голос диктора, объявляющего посадку на пригородный поезд. Кажется близко, но напрямую до вокзала не меньше трех километров, и надо лезть по снегу.

К станции я вышел весь мокрый: вспотел и снега начерпал за голенца сапог. Снег за голенцами растаял, и вода добралась до самых пяток. Пива в буфете не оказалось. Кончилось. А говорили, что его привезли из Риги три вагона.

Не повезло мне и с Пичугиной. Она ускользнула. Я заглянул даже в комнату матери и ребенка. Конечно, она могла уехать раньше, пригородным. Где она будет рожать? И что теперь скажет ее добрый папа? Ведь она собиралась поступать в институт. Совсем еще мало работала. К нам она приехала после окончания техникума, с белым бантиком в косичках, хорошо играла в настольный теннис, на районных соревнованиях я за нее болел. Мы с ней как-то сразу сошлись. В нашем парке была хорошая летняя танцплощадка: все время играл духовой оркестр. После тех танцев мы с Пичугиной стали вместе ходить с работы. Она мне говорила, что собиралась ехать в Сибирь, но раздумала. «Здесь же можно найти романтику», — сказала она. Потом ее направили в поле, и мы долго не виделись. А теперь вот...

Я возвращался темными переулками. За крашеными заборами чернели в снегу сады, лаяли собаки. От сараев несло теплом и навозом.

В комнате горел свет. Дверь была не заперта, но я никак не мог впотьмах отыскать ручку, потянул за какую-то тряпку...

— А, проходите, проходите! — сказала хозяйка. — Вот, познакомьтесь.

Возле кровати стоял высокий парень лет семнадцати. Парень как парень, с ухмылочкой. Но какая уж тут работа! «Придется искать другую квартиру», — подумал я, раздосадованный непредвиденным в доме жильцом.

Хозяйка как в воду глядела.

— Вы не беспокойтесь! Борису остался один месяц. У меня еще трое таких, из училища... В деревню уехали. Но я их не пушу. Приедут, пусть идут, куда хотят. Вредней их у меня еще не было. Как поднимут бой — вся хата ходуном ходит. Ты тоже дурак здоровый! — хозяйка обернулась к Борису: — Сам заводишь ребят, ни стыда ни совести... Жених!

Борис заухмылялся уже во всю ширь и полез на кровать. Хозяйка продолжала:

— Тут внучки, Райка и Светка, весь день лѣтают... Этот, как его?.. Мешок ваш прибежали смотреть. Они еще утром, чуть свет, прибежали, смеются: «А как он вылезать из него будет?» Потом Генка пришел. Я их всех прогнала... Вы, может, отдыхать хотите, а я тут... Ложитесь, отдыхайте. Я вам матрац свежим сеном набила. Своего нет, так я у Стукалихи попросила.

— А кто она, Стукалиха? — спросил я у хозяйки, хотя и рад был поскорее отделаться от нее.

— Да вот же, соседка моя, в мазаной хатке! Когда вы про квартиру приходили спрашивать, я сидела у них.

— Спокойной ночи, Анна Романовна! — сказал я.

Проснулся я с неприятным сознанием того, что проспал. Кровать Бориса была пуста. От плиты шло тепло. В подувале алели угли. В доме — ни звука.

Я вытащил из-под кровати машинку, поставил ее на тумбочку, придвинул табуретку и сел, но тумбочка оказалась для меня высока и шаталась. Тогда я перенес машинку на кровать и сел на чемодан. Все равно печатать было неудобно. Тут хлопнула в сенях дверь, и ко мне прибежала девочка. «Светка», — подумал я.

— Ко-оля, ты уже проснулся? — нараспев проговорила она и засмеялась. Ее носик потерялся в щечках. — У тебя и машинка есть! Дай, я попробую... Ну, дай, Ко-оля!

Я не слышал, как вошла Райка. Да, это была она, рослая девица, но нос у нее был такой же крохотный, что и у Светки, на нем сидели очки в круглой черной оправе.

— У вас и машинка? — удивилась она, как и Светка. — Ваша собственная? Ой, она, наверно, дорого стоит?

— Дорого, Ко-оля? Ну, скажи, дорого? — допытывалась Светка.

— Это казенная, — сказал я.

— Вы научите меня печатать? — спросила Райка. — Нет, не сегодня. Я приду, чтобы вы письмо мне перепечатали... А где вы работаете? Ну вот, я же говорила, что геолог! А бабушка нам сказала: «Какого-то волхва на квартиру пустила». Откуда сейчас эти волхвы возьмутся? А как вы в спальный мешок залазите? Можно его посмотреть?

— Я первая! — крикнула Светка.

— Тише вы, сатанята! — сказала появившаяся в комнате хозяйка. Она была не в духе. Я принял это на свой счет. Что я мог такое сделать? Может, налил на пол, когда умывался?

— Ко-оля, ты пойдешь к нам на телевизор? — пристала вдруг Светка. — Пойдешь? Ну, Ко-оля!..

— Какой он тебе «Коля»? — сказала хозяйка. — Ровесника себе нашла? Эх ты, срамная!

Пришел Генка — белобрысый, куценький. Он важно шагнул ко мне и, как старому знакомому, протянул руку.

— Здоров! — сказал он, чуть шепелявя. — Ну, ты и спишь! Я к тебе по делу. У тебя есть коньки?

Лицо хозяйки просветлело. Кустистые брови ее ушли от переносицы к вискам: она улыбнулась, погнула Генку к себе.

— Ой ты, мой дитенок! Вот уж кто у меня — хозяин!

Генка с достоинством освободился от ее объятий.

— Ба, ты не видела мой фонарик?

— Нет, вшучек. Нет, дорогенький. Чего ты так рано из школы пришел?

— У нас не было двух уроков. Учительница заболела. Она скоро рожать будет.

— Срамник! Разве можно так на учительницу?..

— Ладно, ба, я пошел. — У дверей Генка обернулся ко мне: — Так ты дашь коньки или нет?.. А где ваша буровая вышка стоит? За речкой?.. А, знаю!

Ушли и Райка со Светкой, но я уже не мог работать. В комнате топталась хозяйка, ковыряла в печке угли, сопела, вдруг сердито пхнула ногой табуретку. Чего психует — не поймешь.

Наконец она куда-то ушла. Тут пришел Борис, разулся и полез на кровать. Через минуту он уже храпел. Вечером я ходил в чайную. Здесь на окраине, кроме чайной, негде поесть. У нее одно достоинство: работает до десяти часов, но вечером полно народу — все толкуются за пивом, чадят, пьют, сколько душа желает. С трудом досталось мне место: два захмелевших чудака в засаленных ватниках оставили стол пивными бокалами и не хотели подвинуться.

Поужинал я торопливо, но домой не спешил. Шел темными переулками и посматривал вокруг. Как это часто бывает в начале зимы, после сильной метели пришла оттепель, а с ней и сырой туман. Когда я вышел из дому, с крыш капало еще осторожно, а сейчас уже бойко позванивало. С тесовых крыш снег только нависал козырьком, а с железных уже съезжал с пугающим шуршаньем и глухо разбивался под окнами. Голые деревья были черные и мокрые. С них тоже капало.

Оттепель как-то успокаивает. Она приятна. И в оттепель хорошо ходить по улицам, особенно вечером.

Мне оставалось пройти один переулок, узкий, как туннель, тесно застроенный финскими домиками. Тут я загляделся на старые, окутанные теплым туманом березы. И увидел впереди несколько парней. Они стояли, перегородив переулок. Мне показалось, что парни тоже смотрели на березы.

— Добрый вечер, — сказал я.

Ни один из парней не двинулся с места. Я обошел их по снегу и зашагал дальше.

— Эй ты! — услышал я за спиной.

Тотчас о мой затылок разбился мокрый снежок. Я продолжал идти, не оборачиваясь и не прибавляя шага. Я не обернулся и не прибавил шага и тогда, когда три снежка ударили мне в спину и несколько пролетело мимо. Я уходил с острым чувством обиды и унижения.

А с крыш капало и капало. И в тумане млели березы.

— Ну и жулья же у вас! — сказал я хозяйке, придя домой.

— Да нет, бог миловал.

— Как же миловал? Вечером проходу не дают!

— А, это по Мичуринской! Да, есть там один, недавно из тюрьмы пришел. За хулиганство ему давали.

— Вот-вот! — воскликнул я. — Такой, ну... длинный! Я хорошо его приметил. Он от меня не уйдет!

— Ой, не вяжитесь вы с ним... Ходите по Гагаринской. Пять минут и — в центре.

Хозяйка читала затрепанную книгу.

— Очень интересная! — сказала она. — О мужчинах. Какие эти мужчины бессовестные! — И потянулась за куревом.

Хозяйка курила сигареты «прима», с желтыми подмоченными краями. И дым от этих сигарет был желтым и едким, как от гнилых дров, но она хотя бы раз кашлянула или поморщилась!

Проснувшись среди ночи, я увидел, что в комнате хозяйки горит свет. Она все еще читала, однако утром встала раньше меня. А я проснулся не так уж и поздно — в восемь. И пролежал еще час, пока она растопила печку: при ней я не мог одеваться.

Когда она ушла из дому, я надел спортивное трико и попробовал заняться зарядкой. Взмахнув руками, тут же задел за потолок.

Я взял машинку и вышел в комнату хозяйки. Там куда светлее — в комнате два окна, а главное — есть большой, покрытый клеенкой стол. Поставив на него машинку, я уселся за работу.

Прибежала Светка.

— Ко-оля! — не успев открыть дверь, протянула она. — Ты печатаешь? Ты уже выпался? Выспался, да?

— Что случилось? — спросил я.

— Сегодня же суббота! А ты не знал? Ты не знал, да, Коля?

Да, действительно не знал, что сегодня суббота. В поле у нас нет выходных. Ребята бурят в три смены. В смене — два человека: сменный буровой мастер и рабочий, его помощник. Буровики получают по очереди за выходные дни отгулы. А геолог один. На всю бригаду он один. Бурение идет быстро. О субботах и воскресеньях думать некогда. В поле для меня важно не то, какой день, а какое число. В поле я признаю только декады, конец и начало месяца, когда мне нужно подписать сугочные рапорты и передать в партию сводку. Это нужно сделать вовремя, чтобы не волокитила бухгалтерия и не придирался плановый отдел. Чтобы не задержали рабочим получку.

— Как же ты не знал, Коля? — прыгает Светка. — А я вот знаю! — И радуется: — Завтра мы пойдем на каток! И Генка хочет... Почему ты не дашь ему коньки? Эх ты, жадина! Ему папка купил бы, но такого размера в магазине нету.

Светка ходит в третий класс, хорошо учится. За это ее дома хвалят, и она стала задаваться. Она говорит, что будет учительницей.

Светка убежала.

В нашей жизни есть и преимущества. В поле я, в сущности, свободный человек. Все зависит от того, как идет бурение. Я могу не спеша позавтракать. А завтрак холостяка известный: вся надежда на столовую.

В поле еще тем хорошо, что не нужно сидеть за столом. Я не люблю сидеть за столом. Мне жаль «канцеляристов». Я-то знаю: они с удовольствием ждут субботы. Ладно, придет Витька Столяров — и неделя отгулов мне обеспечена.

И я размечтался.

Куда я поеду? Конечно, к маме. Я все ей объясню. Мама меня понимает. Правда, когда-то она была против того, чтобы я стал геологом. Теперь она только вздыхает, когда я ей что-нибудь рассказываю про нашу жизнь. Я стараюсь рассказывать интересное, но я вижу, что она меня

жалеет. Я у нее один. И вообще мы с ней одни. Я никогда не видел своего отца. У нас с мамой нет даже его фотокарточки. Я не знаю, что такое — любить отца. Я люблю только маму...

Когда я поеду к ней, у меня будут деньги. Начальник прав: полевые все-таки выручают. Я куплю ей подарок. Какой? Надо подумать. Если я привожу ей что-нибудь из одежды, она лишь оглядит и тихо скажет:

— Ну, это уж мне на смерть...

Потом я что-нибудь делаю по дому. Это приятно мне и для мамы особенно приятно. Я не спешу. Движения мои размеренные и точные. И у меня хорошо получается. А сплю я дома крепко и сладко, как в детстве. Проснувшись, я еще немного лежу, прислушиваясь, как мама осторожно возится у печки, как мягко она старается ступать по комнате и как тихо и сдержанно она дышит.

Когда я уезжаю, мама не спрашивает, скоро ли я опять приеду.

Она меня не провожает.

Я так размечтался, что не слышал, как вошла Райка. Она стояла смущенная. Наверно, Райка сказала «здравствуйте», а я не ответил.

Я спросил:

— Ну, как жизнь?

— Сегодня мы с девочками дежурные. Будем убирать в классе, мыть полы...

Мыть полы! А когда учился я, полы мыла уборщица.

— Сколько же в вашей школе техничек? — спросил я Райку.

— Сколько и было.

— Что же они делают?

— Нас приучают к труду, — убежденным тоном проговорила Райка. — И еще мы ходим в швейку.

Их приучают к труду! Они моют в школе полы и ходят в швейную мастерскую — «швейку». В других школах, например, ходят на какую-нибудь мебельную фабрику или завод.

— И тебе нравится ходить в швейку?

— А если нам больше некуда! — Райка даже вспыхнула. — Мы ведь не виноваты, что у нас так... Мы хотели на завод, но там секретно.

Райка вдруг с восторгом и завистью сказала:

— Вот у вас работа... Такая интересная! Вообще про геологов пишут так романтично! Ну, скажите, правда же — романтично?

— Не знаю...

— Вы ничем не заняты? — осторожно спросила Райка. — Я письмо пришла перепечатать... Я его вчера весь вечер писала. Вы покажите, как печатать, а я сама... Вы только покажите!

Я принялся было объяснять, но Райка меня уже не слушала.

— А, знаю! — воскликнула она и сильно надала на «Р».

— Так только клопов давят, — сказал я. — Дай я тебе перепечатаю.

— А вы никому не расскажете? — застенчиво спросила она.

«Здравствуйте, Саша! Большое вам спасибо за весточку. Я так обрадовалась, просто жуть. Как хорошо у вас там, на севере! А у нас то и зимы еще настоящей не было. Вчера была оттепель, и наши мальчишки разбили в школе снежком окно. Мы их будем разбирать на комсомольском собрании. Так что им здорово влетит.

Саша, я учусь последний год. Говорят, что одиннадцатого класса уже не будет. Какие же те счастливицы, а мы... Целый год учимся лишней.

Ты не думай, Саша, что я плохо учусь. Нет! Но почему-то страшно. И вообще, просто не верится, что мы последний год учимся. Ну, получим

мы аттестаты, а потом куда? Нинка Сквородникова и Наташка Морозова в пищевой хотят идти, Ленка Королькова — в медицинский, Катя-ка-подлиза — в педагогический. Многие мальчишки на завод собираются. Но то мальчишки. Мальчишкам легче: через год-два их в армию заберут. А я куда? Саша, а куда я?

Завтра, если будет хорошая погода, пойдем с девчонками на лыжах в лес. Там так сейчас красиво!

Большой вам привет от Анны Романовны.

Жду ответа, как соловей лета. Рая».

— Ну вот,— сказал я, вынимая из машинки черный от густо посаженных строчек лист.— Я тут кое-что поправил. После «Здравствуйте, Саша» поставил вместо трех восклицательных знаков всего лишь один.

— Пусть, спасибо.

Райка притихла; краснея, проговорила:

— Вы не думайте... Он просто стоял у бабушки на квартире. Это я так... Я давно ему пишу, и он мне отвечает.

— Сколько ему лет?

— Ой, да он старый! Ему уже скоро двадцать восемь!

Эго столько же, сколько и мне.

В сенях загремело пустое ведро. В дверях, ища руками опору, появилась хозяйка. Она улыбалась, по-хмельному добродушная, в залхватски расстегнуто пальто.

— Ой, деточки ж вы мои! — проговорила она, стараясь обнять Райку.— Внушенька ты моя золотая!.. Вы тут сидите, ну просто-таки, как те голубки!

По комнате уже плавали дымчатые сумерки. Таков зимний день: не успеешь оглянуться, как темно. А Райке еще идти в школу мыть полы... Мне оставаться с этой пьяной женщиной! Скорее бы пришел Борис. И я стал собирать свои бумаги в папку.

— Сиди ты, господи! Куда ты уже? — как бы сердясь, что я ухожу, сказала хозяйка.

Она было сделала в мою сторону движение, но не удержалась и грузно опрокинулась на кровать.

— Ты, конечно, извини, что я говорю тебе «ты», просто-таки... Вы ж мои дети! Ну, правда ж, вы еще... Да, я сегодня пьяная, пьяная и некрасивая. Мне самой противно — во, старая стала, морщинная, ну... как тот паук. Я даже в зеркало на себя не гляжу. Так только умоюсь и...

Зеркало висит на стене в черной перекошенной рамке. Собственно, от зеркала остались лишь три разной величины осколка. Им ничто не мешало вывалиться, но они как-то не вываливались.

— А была красивая... Красивей меня тут никого не было. Брови во, как шнурок, косы ниже пояса, да еще как платье новое надену, ну... как та королева! С матерью-покойницей, бывало, по улице иду — глаза все вылупят и смотрят. А я вон как того негодяя полюбила...

Я смотрю чуть повыше зеркала. Там два увеличенных портрета. Я их уже видел, но поворачиваюсь и смотрю еще раз. Оба портрета под стеклом.

На девичьем портрете хозяйка действительно симпатичная. Только у нее нет кос. На лбу — челка. И там, на девичьем портрете, у хозяйки тонкие брови. «как шнурок».

У хозяйкиного мужа — плоский нос и немножко испуганный взгляд.

— Уж крепко он тож красивый был. И сильный такой... Кулачищи во, моих три сложить надо! Высокий, плечистый, идет, бывало, ну... как тот медведь. А все ж я красивей его была... И к чему так: живет-живет

человек — сделается уродом. Сморщится, согнется в три погибели. Вот чтоб жить, жить...

Хозяйка вдруг сдвинула брови. Я насторожился.

— Но пусть какая я ни какая, ну а ту, выдру слепую... Сколько добра ей ни делала, все равно я плохая... Совести у нее нету!

— А кто она?

— Да Варька ж! Невестка моя... Ну, что она от меня хочет? Просто-таки... Сколько я им обоим говорила: «Деточки вы мои, живите, как вам нравится, только не трогайте вы меня, не терзайте мою душу, дайте мне спокойно век свой дожить. Много ли мне теперь надо? Что сварю, а когда и так прохожу. У меня и деньги есть. Я же за своего Сергея получаю. Помру, так не совестно будет в гробу лежать. Пусть людей и накормят, и напоят — все как следует. Чтоб люди на меня не обижались. Я свою жизнь прожила, слова никому плохого не сказала. Ну, а эта... Как та змея подколодная!

С Варькой я вчера столкнулся в калитке. С виду она — изрядно постаревшая Райка, только полнее и еще выше. Да, Райка высокая, а мать еще выше. Ей лет сорок. Я сразу догадался, что это Райкина мать. У них очки и те одинаковые.

Варька работала завмагом, и ее магазин боролся за звание коллектива коммунистического труда.

Ее муж — сын моей хозяйки, Гриша. Самого его я еще не видел, слышал только, что он работает на паровозе машинистом, и в клубе железнодорожников на Доске почета висит его фотография. Хозяйка избегала говорить о своем сыне. Но кое-что мне было ясно и так.

Вот на задворках изба матери, а вот выдвинутый наперед, к улице, с телевизионной антенной над крышей белокаменный дом сына. Два разных жилища на одной усадьбе. Между ними только узкий проход к общему дровянику и на огороды, к уборной. Словом, далеко в гости не ходить: из одних дверей в другие — два шага. Но я еще не видел, чтобы сын пришел к матери, а мать ходила к сыну. А сегодня вот она напишась...

— Ты слушай меня... По осени, как с мясом плохо стало, поехала я в Коржовку кабанчика купить. Ходила-ходила по базару... Цены те, шутка ли, сорок рублей новыми! Как сдурели люди! Я себе уже свинку за гридцать пять рублей купила. Месяц я ее продержала. А потом постанование вышло, чтобы скот хлебом не кормили. В магазин приедешь, а тебе одну буханку на руки. Ну, а кормить чем-то надо. Ни тебе муки гой, ни тебе отрубей. Маялась я, маялась, да и продала ее Варьке паршивой. Она же завмаг, нет-нет да чего и достанет. Купила я ту свинку за тридцать пять, а продала за двадцать. Думала, как своим, а эти свои хуже чужих оказались... Заболела она у них или хвороба ее знает. Так эта Варька что? Будто бы я чего наколдывала! Ну, надо же! И повернулся у нее язык такое сказать!

Она докурила уже третью сигарету и четвертую вытащила из пачки.

Утром я пошел на буровую вышку: ребята, пожалуй, должны были забурить.

За ночь опять навалило снегу. Мне заново пришлось лезть по сугробам и угадывать, где стоит буровая. И был мороз.

В буровом журнале по-прежнему писалось «простой»: выехавший из партии трактор в дороге сломался, а шофера так и не могли донскаться. Буровики намекали на то, что он умчался за Пичугиной. Буровики за словом в карман не лезут. Они суровы и тяжелы, как сурова и тяжела их работа. Я помню, как в нашем техникуме на буровое отделение отбирали только рослых парней.

Но в нашей бригаде есть и слабаки. Например, Ведерников. Он сменный буровой мастер. Стоит у рычагов и всегда больше всех кричит, особенно, когда по каким-либо причинам уплывает его заработок. Это он сказал, что Лешка поехал догонять Пичугину. Так рождаются сплетни.

Я знаю Лешку. Крохотный, застенчивый человек. У него девичье лицо и маленькие, девичьи ручки. И как он умудряется водить машину: Лешка не виден из-за баранки и его бросает на сиденье свободно, как мячик. Он еще ни разу не «погорел» перед милицией, но все равно Лешка Пичугиной не пара.

Когда же придет трактор? И неужели в партии нет другого шофера? Почему ждут именно Лешку? Если бы он хотел, то давно бы вернулся сам. Так будто бы говорит Поперечный. Он хороший человек. Я обрадовался, когда узнал, что буду работать с ним. Бригаду Поперечного вообще хвалили. Она каждый месяц выполняла план. Я ее фотографировал на Доску почета. Поставил всех прямо перед вышкой и щелкнул. В кадр попал и Лешка. Лешку обнимал Ведерников. Они были вроде друзьями: Лешка пускал Ведерникова в кабину, когда ехал на обед в город, а других не пускал.

У Поперечного на фотографии было видно только лицо. Его закрывал своим могучим телом Славка Комаров — зубоскал и исполнитель цыганских романсов. Кроме гитары, Славка возил с собой двухпудовую гирию. Эту гирию выжимали в бригаде только двое: он и Поперечный. Но Поперечный уступал Славке.

Конечно, Славка молод. Он всего год как вернулся из армии. А Поперечный уже старый кадр. Он десять лет проработал в Сибири, в городе у него семья, дети ходят в школу. Я его понимаю, когда он вдруг уезжает домой, оставив бригаду на Славку. В основном же Поперечный уезжает тогда, когда скважина пробурена, плюс два раза в месяц — за авансом и получкой. Разумеется, еще тогда, когда на буровой вышке что-нибудь сломается. Где он и что делает сейчас?

На это Славка мне отвегил, что начальство не докладывает. Черт побери, меня интересует, когда будет пробурена скважина! С партией нет никакой связи. В Сибири — там рации, а у нас... Пойти на почту позвонить? Но попробуй отсюда дозвониться! Дать телеграмму?

Потом я успокаиваюсь. Если Поперечный поехал, то дело будет.

Второй день сижу дома, только пробегу в чайную пообедать. Завтракать мне не хочется, а ужин у меня такой: кроме обеда, я беру себе в чайной бутерброд или молочный коржик, завертываю в бумажную салфетку и прячу в карман телогрейки. Вечером этот бутерброд или коржик становится неожиданно приятной находкой, так как про ужин я вспоминаю чаще тогда, когда чайная уже закрыта. Кроме того, в рюкзаке у меня всегда лежит пачка сахара. Сахар, говорят, укрепляет нервы.

Да, второй день я почти ничего не делаю. Сплю, сколько хочу, и сажусь за машинку с легкой, как туман, мыслью, что мне некуда торопиться. А может, это потому, что в комнате я один. Вчера я спросил хозяйку, не мешает ли ей стук машинки.

— Нет! Ляпай! Ляпай! — сказала она. — Просто-таки интересно!

Пока я «ляпал», хозяйка сидела и жаловалась на все ту же «паршивую Варьку». Потом она снова стала рассказывать, как покупала в Коржовке свинку, как кормила ее печеным хлебом и как ту свинку за бесценку продала Варьке.

— Это мне за то, что я детей ее вырастила. И варила, и стирала, а она, негодяйка, за ребенком не могла убраться. Двенадцать лет я за ни-

ми, как проклятая... А она только и знала: поесть, поспать да на работу. С работы придет, ляжет на кровать и лежит, как та корова. Они с Гришей в этой комнате, а я с детьми там, где ты сейчас спишь.— Помолчав, она продолжала: — Я себя не люблю. Ей-богу, не люблю. Во сколько жиру на мне! Тьфу, одна срамота! А была я, как та травиночка...

Среди ночи пришел Борис. Он, должно быть, долго стучал, потому что, когда я проснулся, дрожали стены. Хозяйка спала, как убитая, и открывать пришлось мне. Это не первый раз, когда Борис приходит поздно: Сонька его приворожила. Я как-то видел их вместе на улице. Они стояли у Стукалихиной калитки. Сонька живет у Стукалихи, работает на заводе. Толстенная, симпатичная. Во всяком случае она показалась мне такой издали.

Утром пришел Генка. Степенно походил по комнате, остановился у меня за спиной.

— Так дашь мне коньки или нет? — спросил он.

— Возьми в рюкзаке.

Мне незачем говорить, где лежит рюкзак. Я знаю: Генке надо только мое разрешение.

Взяв коньки, Генка ушел. Тут же влетела, стуча сапожками, Светка.

— Ко-оля, а ты куда в воскресенье ходил? На работу? Да? А мой папка раз на паровозе съездит и — два дня отдыхает. Он много-много денег получает. Папка говорит, что ты тоже денежный. Правда, Коля?

Светка запрыгала вокруг меня, повисла на руках.

— Ну, Ко-оля? Скажи, ты денежный? Ну скажи, Ко-оля!

— Отстань,— сказал я ласково.

— Деточки! Ой, какие же вы миленькие да забавненькие!

Хозяйка стоит в распахнутых дверях и глядит на нас.

— Жениться, Количек, надо! Ну, какой толк, что ты сидишь, ляпаешь и ляпаешь, как тот секретарь? Я вот состарилась и не заметила как.

Хозяйка пристально смотрит на меня.

— Да, тебе теперь трудно под натуру найти. Ох и трудно! Крепко, да и крепко гляди! Это Борис, тот может пых-жих — и женился!

В последние три года мне только и говорят что про женитьбу, и я уже выработал на этот случай особый лукаво-иронический тон.

— А если мне никто не нравится?

— Если не нравится, то и не женись, Количек,— вдруг задумчиво проговорила хозяйка.— Я вот хоть и старая, а... Ну, допустим, мне сейчас такого уродца, как я сама... Тьфу, гадость какая!

Пришла Райка, принесла толстую, разрисованную цветными карандашами тетрадку со стихами каких-то Мишек, Ванек, Вадимов, попросила меня напечатать их на машинке. Потом пришли Борис и Сонька. Мы перешли в комнату хозяйки и стали играть в подкидного дурака. Я играл с Райкой, а Борис с Сонькой. Хозяйка болела за меня и за Райку. Райка играла плохо. Хозяйка ей все время подсказывала. Борис и Соньке это не нравилось.

Когда мы с Райкой раз выиграли, она от радости забила в ладоши.

— Бабушка, что такое любовь? — вдруг спросила она.

— Любви не бывает,— тут же сказала Сонька.— Любовь выдумали. Если бы она была...

— А вы полюбите, как я вот этого негодая, тогда узнаете! — подскочила хозяйка, указав на портрет своего мужа.— И бил, и ругал, а не могла без него жить. И он без меня не мог... А какой красивый да здоровый был! И как скрутило — за три недели и убрался. А я вот живу!

— Сегодня я Родиона видела,— сказала Райка.

— А кто он? — спросил я.

— Хороший хлопец! — оживилась хозяйка.— Уж такой хороший, ну... просто-таки золотой! На автобусе работает, по деревням раскатывает. В воскресенье подъехал, приносит новый пиджак и говорит: «Спрячь, Романовна, в шкаф». Как стал на автобусе работать, глядишь — и приедет парень. Он много уже чего себе купил. А то пришел из армии голыш голышом, одна та гимнастерка на нем да шинель солдатская.

— Он тоже у вас на квартире? — недоуменно спросил я.

— Да он если раз в месяц переночует, то и хорошо! Ты, Количек, не беспокойся: они с Борисом на одной кровати переспят. Она широкая. Он и платит-то мне... один тот рубль.

Хитра! Небось сразу не сказала. Ох и хитра! И те еще приедут...

— А те обормоты пусть и не думают — и на порог не пушу. Не надо мне ихних и денег...

Она читала мои мысли!

Когда мы с Райкой остались дураками в десятый уже, наверное, раз, я сказал: «Хватит» — и вылез из-за стола.

Борис пошел провожать Соньку, а я Райку. Я прошел с ней лишь темные сени и те три шага, которые отделяли двери одного дома от дверей другого.

Сегодня Гриша, вернувшийся вчера из рейса, зарезал свинью. Я слышал, как он точил вечером штык от немецкой винтовки. Утром к нему пришел дядя Костя — муж старшей сестры моей хозяйки. Он выпустил свинью из сарая.

Через час, проходя по двору, я видел свинью опаленную, румяно-желтую, со сморщенными ушами. Она лежала со скрюченными, обгорелыми ногами, брюхом к земле. Возле свиньи, согнувшись в три погибели, дядя Костя управлял бензином паяльную лампу.

На заборе сидело несколько сорок. Ох, они и настырные! Готовы хватить добычу из-под самых рук. Вороны, те осторожнее. Они сидели подальше и повыше на дереве.

Когда я пришел на буровую вышку, ребята бурили. Еще за версту я услышал, как бубнит двигатель и звякают стальные штанги. Наконец-то! За сутки ребята успели перегнать «МАЗ» и пробурить сорок метров новой скважины. Обычно только на одну перевозку уходит двое, а то и трое суток. Не зря бригаду Поперечного хвалят. Трактор пришел вечером — они взялись перевозить на ночь глядя! Я знаю, что это такое. У буровиков столько всяких причиндалов... Чего стоят хотя бы обсадные трубы! От них у ребят трещат пупы. А сколько еще других железяк, без которых немислимо бурение? А «МАЗ»? А домик на колесах... Тень, бездорожье...

Ребята рассказывали, как у Славки Комарова «лопнула кишка». Рассказывали и смеялись. Славка один взял на себя восьмидюймовую трубу, и сегодня не вылез из спальника. Ребята просили его сыграть на гитаре, но он лежал и молчал, грустно глядя на Ведерникова.

Ведерников вчера легко отделался. Он ушел в город и вернулся уже тогда, когда оставалось перетащить домик. Конечно, Ведерников, как всегда, оправдался: откуда ему было знать, что вечером придет трактор?

Теперь Ведерников ходит кум-королем и пристает к Славке. Ему смешно, что тот не может разогнуть спину — не будет хвастать своей силой. А Славке пора выходить на смену.

— Давай я отстою у рычагов,— говорит Ведерников

— Пошел ты!..

Славка вылез из спального мешка, спустил ноги с полки. Потом натянул брезентовую робу. Ведерников удалился. С тех пор, как сбсжал мешка, он одинок, с ним ладит только его помощник Петр Гавриков.

Прошлым летом Гавриков всю ночь просидел на мачте. Буровая вышка стояла в открытом поле, на десять верст вокруг ни кустика. Вдруг Гаврикову почудилось, что вблизи воют волки,— вот он и залез на мачту. Выли или не выли, никто не знает. Но с того раза Гавриков отказался работать в ночную смену и часто кричал, что его бьет током. Теперь он вылезился от этого, но рычагов ему больше не доверяют. А Ведерников все же заискивает перед ним, потому что сам он не мастер в бурении, а только, как говорят, «сдал на мастера».

Славка у рычагов — скучный молчун, но бурение у него идет как по маслу. Когда Славка бурит, к нему не подходит: он бурит и слушает, как бурит. Это тонкое дело — слушать бурение. Есть буровые мастера, которые ни бельмеса не смыслят в геологии, однако могут запросто сказать, какую они породу в данный момент бурят. Конечно, Славке еще далеко до этого. Он только начинает «слушать бурение». На слух и на глаз бурят старички, и то не все. Ротор однообразно выводит «гыр-гыр, гыр-гыр», и лязгают стальные штанги. Из скважины плещет один и тот же овсяно-желтый раствор. Тут мало что услышишь и увидишь.

Славка Комаров может отойти от станка только тогда, когда я описываю породы. Для Славки все породы — «земля». Потрет меж пальцев песок или глину — «земля». Возьмет обломочек сидерита или мергеля — «земля». Доломиты, известняки у Славки тоже «земля». Отличить породы друг от друга Славке не под силу, хотя он их видит и спрашивает о них у меня сотый раз. Услышав мой ответ, Славка тяжело вздыхает. Нет, ему лучше давить на рычаги и грузить обсадные трубы. А вот Ведерников, этот все знает больше геолога, больше старшего мастера, больше всех на свете.

Теперь я хожу по улице Гагарина, как советовала хозяйка. Так действительно лучше. Улица Гагарина вымощена булыжником. По ней курсирует городской автобус. В пять часов, когда кончается на заводе смена, он еле ползет, набитый пассажирами.

Я шел и подсчитывал, сколько дней уже прожил в этом городе. Восемь или десять? Через три недели приедет Витька Столяров, и я — вольный казак. Я поеду к маме. Это решено. Надо написать ей письмо. Нет, лучше я заявлюсь неожиданно, как уже было однажды. Я приехал ночью и не хотел ее тревожить. У нас в доме — хитрый крючок. Его можно открыть палочкой через щелочку. Утром меня выдал чемодан: забыл спрятать под кровать.

Да, скорее бы приезжал Витька. Хороший он парень. Талант. Но ему, как всем талантам, не везет. Витька мог бы, скажем, открыть новый минерал... Что он сейчас делает? Зарывает свой талант в стекольные пески? Впрочем, стекольные пески — тоже полезное ископаемое.

Год назад мы с Витькой открыли их возле одного захудалого городишка. Ему тоже долго не везло: то его делали районным центром, то снова превращали в заштатный. Нас, конечно, там забыли, но теперь в этом городишке коптит стекольный завод, построены новые дома, улицы залили асфальтом.

Витька Столяров это хорошо знает. Он до сих пор переписывается с Таней. Смешно, как он тогда за ней ухаживал. Таня училась в девятом классе и мечтала уехать куда-то далеко-далеко. Сейчас она работает в своем городке на стекольном заводе.

Витька, длинный, белобрысый чудак! Я знал, что он недавно к ней ездил. Он прожил у Таши неделю. Когда же у них будет свадьба?

Хозяйка очень обрадовалась, когда я пришел.

— Количек, садись со мной есть. Бери табуретку...

Она вывалила из кастрюли мне в миску большой жирный кусок мяса, подловила ложкой разварившуюся луковичу.

— Ешь... Бери вон хлеб,— и тут же принялась быстро есть сама.

Мне показалось, что она плачет. Это было видно по тому, как кривился ее рот и тряслись щеки. Но глаза ее были сухими.

А в доме Гриши, как я узнал потом, пили водку и ели свежатину.

— Господи! — проговорила хозяйка.— Ну, что я ей такого сделала? Ой, Количек, как мне обидно. Не могла она кусочек какой принести и сказать: черт там или дьявол, возьми и ты моего съешь... А кто ей ту свинью выкормил? Она же, стерва слепая, соберется утром — и на работу, а я ведро намешаю и несу в сарай, потому что я хозяйка. Я это люблю... Бывало, эти поросята у меня не выводились. А теперь что? Вон три курицы остались. Я им хлеба накрошила, и делать мне больше нечего...

— Да, конечно,— проговорил я.

Но хозяйка меня не слушала.

— Господи! — скрестив руки на груди, продолжала она.— Чтоб ей, рыжей, ни дня ни ночи покоя не было! Чтоб тебя саму так колдовали, если я... Надо же такого сраму наговорить! Из-за свиньи и сама — свинья!..

Где-то там летают космические корабли, а тут... И что за люди? Из-за каких-то пустяков... А Гриша? Пусть Варька дура, но он-то! Куда смотрит он?..

— Что Гриша? Гриша — мой сын,— вдруг притихла хозяйка.— Гриша хороший...

— Почему он тогда к вам не ходит? И вообще... Почему не заступится?

— Потому что он, ну... Он такой, как и я, мой Гриша...

Пришел дядя Костя. Хозяйка бросилась ему на шею: дядя Костя, наверно, хороший человек. Он хороший уже за одно то, что никто не пришел, а он пришел. Сейчас расскажет, что там Гриша натворил и что беспутная Варька натрепала про свекровь.

Но дядя Костя ничего не успел сказать. Разве успеешь? Жена его Поля уже тут как тут, закутанная в белую вязаную шаль,— гром-баба. Вошла и не поздоровалась.

— Иди домой! — сказала она мужу.— Сейчас же домой!.. Чего ты сюда пришел? — с порога схватила дядю Костю.— Иди, пока я тебя...

Поля вытолкнула дядю Костю кулаками в плечи. Только тогда я услышал голос хозяйки:

— Дура! Дура ненормальная! Как та бешеная... Хорошо, что я тогда их не послушала — не дала хату снести. Теперь вот хоть плохая, да своя. Ой, Количек, какая я дура, что вообще на свою усадьбу пустила! Думала, как лучше: хоть задком, да рядом. Все веселей будет: то Светка прибежит, то Райка, то сама к ним схожу. А что получилось?.. Сколько я им одного кирпича перетаскала да глины перемесила вот этими руками! Он же, мой Гриша, сел на паровоз и поехал. И она, Варька, туда-сюда и на работу, а я одна, как та проклятая, целый день бьюсь: и то каменщикам подай, и это. К вечеру ни ноженек, ни рученек своих не чувствую. На десять годов жизнь себе укоротила. Гриша и Варька все мне напевали: «Мы тебе комнату отдельную дадим, будешь жить у нас, как та королева. А на месте твоей хаты сарай поставим, сад разве-

дем...» Ну, куда я из своей хаты пойду? И перед Сергеем-покойником совестно... Как я его полюбила и он меня полюбил, мы ее одни вдвоем построили, никого не просили. Он у меня просто-таки на все руки мастер был — и топором, и рубанком, и пилой, а я ему помогала. Бывало, ташим на сруб бревно — глаза на лоб вылазят. Он наверху стоит, веревку накинет и ташит, а я снизу, как могу. Ох, и здоровый же он был, как тот бугай. Здоровый да красивый... Ну, а как построились, все со-седы завидовали.

Чему тут завидовать? Вон по улице сколько домов — под краской, со стеклянными верандами, с хитрыми крылечками. Куда ни глянь: новые калитки, заборы, голубые и красные ворота...

— Так это потом уже, после войны столько настроили! А до войны тут, ну... как та деревня была. Да и ту немцы спалили, когда наступали. Ой, что тут тогда было: и немцы стреляют, и наши стреляют... Я — к Стукалихе да с ней огородами в лес. До утра там просидели, пока не стихло, и говорим: «Пойдем же поглядим, целы ли наши хаты». Приходим — глазам своим не верим: стоят! Только моя да Стукалихина и остались, а то все подчистую. Значит, я еще счастливая была... Я тебе, Количек, не мешаю? — спросила она вдруг. — Нет, я мешаю... Я же вижу, что мешаю. Какой тебе интерес, молодому?

Когда я, пообедав в чайной, вернулся на квартиру, хозяйки не оказалось дома. Но дверь была незаперта.

На кухонном столе лежала узкая полоска сала. На тарелке — кусок окровавленного мяса с торчащими из него белыми обрубками ребер. В газете — круг домашней колбасы.

Тут же вбежала хозяйка. Проворно, как девушка.

— Это вам Гриша принес? — спросил я, кивнув на гостинец. — Ну вот, напрасно, значит, вы...

— Почему напрасно? Я, Количек, не напрасно...

— Выходит, это не Гриша?

— Почему не Гриша? Гриша... Спасибо хоть ему, надумал-таки.

А вот и сам Гриша. Появился на пороге, стал передо мной. Серый рабочий пиджак наброшен на голое тело. Галоши. Штанины вобраны в носки.

— Чего ты не приходишь на телевизор? — спросил он так, точно мы с ним были давно знакомы.

Странно, что это был почти тот Гриша, которого я рисовал в своем воображении.

— Ходи! — сказал он. — Что тебе делать?

Теперь понятно, почему у Райки и Светки не носы, а кнопки: у Гриши такой же, совсем как кнопка.

— Пошли сейчас ко мне, — сказал Гриша. — Пошли! Варьки нет... Печеночки свеженькой попробуешь, колбаски. Знаешь, хорошая колбаска, своя, домашняя!.. Ты приходи! Вообще приходи, — продолжал Гриша. — Захочешь есть — приходи.

— Спасибо, но я...

— Ты не скромничай. Приходи! Придешь? Говори прямо!.. Я не жадный! Вот пусть она скажет. Скажи, ма, я жадный?

— Мой ты сыночка! Ты ж мое дитя, и чтобы я, твоя мать, тебя не знала? Ну, пусть я баба...

— Ты извини... Ну, извини, ма! Я специально так, чтоб Варька колбаски, кровяночки сжарила... Ешь на здоровье! Съешь — еще принесу...

- Ладно, сыночка, ладно...
- Да ты не серчай! Не серчай, ма! Свинья-то больная!
- Ладно, ладно, сыночка... Но мне обидно...
- Это же не я, ма! Это же Варька! Это она... Ну, ты извини! Извини, ма!

Мое дело — стой да смотри. Карандашик, полевая сумка и геологический журнал. Когда я начинаю мерзнуть, я лезу к буровикам. Никто, конечно, в моей помощи не нуждается. Буровики говорят, что я только им мешаю: когда двое берутся за один ключ, чтобы отвернуть буровую штангу, третьему уже не за что взяться. И еще одна беда: когда включают насос, сверху из сальника брызжет глинистый раствор. У сальника плохая резьба.

На буровой всю ночь не ладилось. В ночную смену работал Ведерников. Если не ладится и с тобой такой человек, как Ведерников, это не работа, а мука. Правда, Ведерников был со мной вежлив. Он меня еще мало знает. Остальные ребята знают лучше, с ними я работал, когда разведывали стекольные пески. Он осторожный, этот Ведерников. И все же он долго отказывался проверить буровым снарядам скважину после того, как мы опустили в нее фильтры. Потом Ведерников все-таки проверил. Но уже не обошлось без ругани. Вообще-то я не очень с ним ругался. Я только сказал:

— Ведерников, я напишу рапорт!

Утром приехал Поперечный. Рано-ранехонько. Был радостный, как в праздник: у него выздоровел сын.

О Ведерникове Поперечный сказал:

— Таких надо учить.

И ребята заорали:

— Правильно!

Славка Комаров показал Ведерникову кулак.

Я иду с вышки напрямую, через болото. Это второй раз, когда я иду через болото. Оно уже замерзло и не проваливается. На льду совсем нет снега: посдувало ветром. В снегу только кочки и сухой камыш. Идти болотом легче, не так, как лесом, где все завалено снегом. К утру спал мороз. Воздух вдаль мутный, как весенняя вода,— опять к оттепели. На болоте это особенно чувствовалось.

Я страшно хотел спать. Даже не пошел в чайную завтракать. Срезал по закоулкам. В сенцах столкнулся с хозяйкой. Она будто только меня и ждала:

— Где это ты, Количек, всю ночь был?

— Где же мне еще быть? На вышке.

— Что у вас за работа такая?

Хозяйка была весела и уж очень как-то проворна. На ней был зеленый джемпер, и она в нем заметно помолодела. Куда это она собралась? Наверное, к Грише.

— Какая работа? Обыкновенная,— сказал я.— Скоро опять пойду.

— А я тут тебе, Количек, уголок приготовила, красота, да и только! — живо обернувшись, сказала хозяйка.— Вот посмотри, нравится?

Это в ее-то комнате? Я буду спать в одной комнате с хозяйкой?

— Я еще сюда шторку повешу... Тут тебе — придешь, ляжешь, хоть днем, хоть ночью — никто мешать не будет. Как тот король!

Но почему уже не в той, с Борисом? Там ведь тоже отдельная кровать. И Борис не мешает мне, приходит только вечером. Он больше просиживает у Соньки.

Наверное, хозяйка прочитала мои мысли, потому что тут же сказала:

— Приехали же те, обормоты! Отгуляли. И просились, и молились... Обещали не дурить. Да и куда они сейчас пойдут? На снег же не выгонишь! Они же мои дети! Ну, правда, я им — мать?

Что ж, в самом деле: попробуй поищи в этом городе квартиру. Ну, а если они все-таки будут дурить? Придут с занятий... А у меня — папки. И потом, им ведь тоже нужно на чем-то писать, чертить... Они же, кажется, строители. Подавай стол, а хозяйка вынесла из той комнаты даже скрипучую тумбочку. Эта тумбочка стоит теперь здесь, в изголовье моей кровати, вместе с их учебниками и тетрадами.

— Они ушли в училище, — сказала хозяйка. — Скоро придут...

Не думает ли она, что мне не терпится на них посмотреть?

Я разулся и поставил мокрые сапоги на плитку. Теперь мне нужно было раздеться. Я сидел босиком на табуретке и ждал, пока хозяйка выйдет из комнаты.

— Уж такие вредные, не приведи господь! — продолжала она. — Особенно Хорт...

Это его фамилия такая? Имя? Прозвище?

Я медленно стянул с себя рубашку. Но хозяйка не уходила. Неужели она не понимает? Я устал и хочу спать.

— Иван и Петька еще не такие вредные, хотя тоже не приведи господь. Лучше всех, конечно, Борис. Ты же, Коллечек, сам видишь: хлопец самостоятельный — не маленький уже. Ой, не женился бы он! Эта Сонька с ума его сведет. Стукалиха рассказывала: «Прихожу, а они милуются...»

Ну и подсобрала же народцу: Иван, Петька, Борис, Хорт... Загадочный Родион. Где-то крутит баранку... Что он из себя представляет?

Я заглянул в свое новое, устроенное хозяйкой «логово». И придумала же: выдвинула из угла шкаф, втиснула туда погнутый остов кровати, застелила ее досками, загородила изголовье плетеной тумбочкой, у стены оставила лазейку. Кусочек пространства над тумбочкой и лазейку завесила ситцем.

Здесь, если сгорбишься, можно раздеться, стоя на кровати, но выпрямиться нельзя: потолок не даст. И в углу есть гвозди, вбитые в стену. На них я буду вешать штаны и рубашку. А главное — за шкафом окно, можно читать лежа. На подоконнике буду хранить мыльницу, зубную щетку, пасту, бритвенный прибор, флакон тройного одеколona и спички. В общем, сносно.

Я пролежал час и никак не мог уснуть: под боком похрустывал матрац, набитый сеном, и ощущались доски. Давно я не спал на досках. В спальном мешке душно: сегодня хозяйка не пожалела угля.

Чего же мне не спится? Устал, а не спится. Есть что-то завидное в том, как спят усталые люди. Они засыпают тотчас, стоит им прилечь или к чему-либо прислониться. И спят как убитые — не разбудить из пушки.

Вскоре исчезнувшая куда-то хозяйка вернулась. Следом за ней вошел Гриша и громко заговорил:

— Ма! Ну, я вас помирил? Скажи, помирил? Я в тот раз вас помирил и в этот! Варька, она же теперь ничего! Она ничего, ма!

— Спасибо, сыночка! Вот за это тебе спасибо...

— Я же мужчина, ма! Я обещал и сделал!

— Да уж ладно, сыночка. Ладно, дорогенький! Чего уж...

— Ну, ты извини! Извини, ма!

Они помирились? Теперь насовсем? Хозяйка будет ходить к Варьке, а Варька к ней?

Утром Гриша пришел в черной, лоснящейся от машинного масла телогрейке.

— Ма! А, ма! Ну, я поехал,— сказал он.— Сегодня по телевизору спектакль. Из Ленинграда. Наверно, хороший. Ты приходи. Посидите с Варькой, посмотрите... Так ты придешь, а, ма?

— Ладно, сыночка. Счастливо тебе... Купи мне в Гомеле кофту. Вязаную. Купишь? Чтоб красную... Если красной не будет, то купи зеленую.

Гриша еще немного постоял, раскачивая в руке сетку. В сетке — снедь, завернутая в газету. Гриша уезжал в рейс.

— Ну, так я куплю, ма... Тебе, значит, красную?

— Красную, сыночка, красную!

— Тогда я пошел, ма...

— Иди, сыночка, иди!

Хозяйка грела на плите воду — собиралась мыть полы. Плита была уже раскаленная, надо, чтобы полы хорошо просохли. Хозяйка не ленилась. Она не ленилась и была веселая уже второй день.

Я сегодня тоже веселый. Мы пробурили скважину, завтра начнем бурить новую. На этот раз у нас есть трактор и машина. И к тому же Поперечный здесь. Он сказал:

— Умрем, но за сутки переедем.

Конец месяца, и бригаде нужно выполнить план. И ребятам нужно заработать. Они и так много времени потеряли, когда сбежал шалопут Лешка.

Переехать за сутки — тяжело. Но так захотели сами ребята. Иначе они мало получают. А все они здоровые и сильные. И им обидно, когда они мало получают. Ребята не виноваты, что им не прислали вовремя трактор и шофера.

— Анна Романовна! — сказал я из-за шкафа.— Что у нас сегодня за день?

— Вчера был базар, Количек. Вот и считай: базар у нас в пятницу...

Бригада будет переезжать на новое место, а я свободен, то есть мне не нужно идти на буровую вышку. Это первая у меня здесь свободная суббота. Захочу — пошляюсь по улицам, посижу в буфете на вокзале. Ну, а вечером... Райка просила перепечатать ей новую песню, которую недавно передавали по радио.

Но чего же я лежу? Не мешало бы заняться зарядкой. В нежилой комнате, где умывальник и русская печка, пол оказывается, сантиметров на десять ниже; там можно взмахивать руками, не рискуя зацепить за потолок. Можно было и прыгать, если бы печка не дрожала. И все же я стеснялся хозяйки. Вообще-то она смотрела на мою зарядку весело.

— Прыгай, прыгай, Количек! Молодому это полезно,— говорила хозяйка.— А я свое уже отпрыгала. Теперь уж мне ходи да жди той смерти. На Песчанку вон!

Песчанка — это городское кладбище. Я на него однажды невзначай забрел. Очень красивое. На песчаном холме, а холм весь в старых соснах. Как геолог, я знаю: тот песчаный холм — останец днепровской морены.

В холодной комнате еще тем хорошо, что ее не нужно проветривать перед зарядкой. Иван и Петька называют ее холодильником.

В тот день, когда парни приехали, я их так и не увидел. Ночь я провел на буровой вышке, а утром мы разминулись: они ушли в училище раньше, чем я вернулся домой. Я увидел их уже вечером. Они вошли трое — Иван, Петька и Хорт, в темно-синих шинелишках, притрушенных снегом. За пазухой — конспекты. И все трое в рабочих ботинках. У Ивана и Петьки заужены брюки. Такие же темно-синие, как и шинель. Ворсистая темно-синяя шинель, брюки, ботинки и шапка — это их форма.

Когда парни вошли, я стучал на машинке.

— Здравствуйте! — сказали они.

Парни тихонько, со стеснением прошли в свою комнату. За вечер они ни разу не вышли, разговаривали там шепотом.

Откуда у них эта стеснительность? А хозяйка говорила: обормоты! Или они боятся, что она выгонит?

Иван маленького роста — метр сорок пять. Он сухонький, с кругленькой и верткой, как у птенца, головкой. А Петька, наверно, без хлеба в детстве не сидел: здоровый, пышный, румяный. Лицо его портят прыщички. Остренькие, красненькие, как пчелиные жалыца. Ему бы только меряться силой. Сразу видать, что они с Иваном — дружки.

А Хорт? Высоконый, с прилизанной желтой челкой. У него толстые, бантом, губы.

Почему Хорт хуже? Мне он нравится. Хозяйка говорит про него что-то не то.

Пора, однако, вылезать из-за шкафа. Сейчас хозяйка будет мыть полы.

Я слышу сухой треск: хозяйка разорвала тряпку. Вот загремела ведром, всплеск воды, мокрый шлепок... Она начинает с холодной комнаты. Но почему с нее? Сначала ведь моют полы, скажем, в залах, спальнях, столовых, а потом уже холят всякие там «холодильники», сенцы, крылечки. Или у нее все не так, как у людей?

Управившись в «холодильнике», хозяйка принялась мыть пол в сенцах. В сенцах! Где не мылось век, куда ветер задувал со двора снег во все щели. Она мыла и пела. Про «лебедушек» и «заморскую красавицу». А я тем временем с наслаждением занимался зарядкой в сыром, только что вымытом «холодильнике».

Когда я заканчивал бег на месте, прибежала Светка, уцепилась мне за руки.

— Коля, ты заряжаешься? Заряжаешься, да? Так это надо утром, Ко-оля! А ты днем. Ты заряжайся утром! Все заряжаются утром!

— У меня сегодня суббота! — кричу я. — Суббота! Светка, у меня суббота!

— Ну и что? В субботу все равно надо утром. А ты спал! — Светка спохватывается: — Ой, мне к часу в школу!

Я обтираюсь до пояса мокрым полотенцем. Уже не стесняясь, расхаживаю по комнате без майки, переодеваюсь, примеряю галстук... А зачем галстук?.. Я всегда завидовал другим — они легко проводят время. И! они не жалеют о потерянном дне... Пригласить ли мне Райку? Нет, я действительно не умею отдыхать. Наверное, потому, что у меня не часто бывают свободные дни. Я живу без ритма. Все зависит от того, как идет бурение... Ритм! Мне нужен ритм!

— Количек, тебе что постирать? — слышу я веселый голос хозяйки.

— Да нет, спасибо... Разве что портянки...

— Ну, давай хоть портянки...

Потом хозяйка накормила меня густым, как кисель, супом. И как в тот раз, она вывалила мне на тарелку большой кусок свинины. Той, что принес Гриша.

С чего это она меня кормит? Может, ей совестно, что она засунула меня за шкаф?

Уже третий час я строю геологические разрезы.

Люблю строить их. Тут я имею дело с вечностью — эти породы вечны. Кто в городе знает, что у них под ногами?

Хозяйка сидит за книгой, но ей не читается. Прочитала страничку, заглянула на другую. Полезла в конец книги, захлопнула ее, сунула под подушку. Сидит и смотрит на меня.

— Я когда со своим Сергеем подружилась, ходил он в шинелишке такой, как сейчас Иван да Петька ходят. Высокий, статный — одно загляденье. Я к нему на свидание от матери бегала. Прибегу на тот угол, как с Гагарина к станции поворачивать, выгляну, если его нет — спрячусь и слежу, как он подходить будет... А раз опоздала. Он ждал-ждал и хотел уже со злом уходить. Я к нему: «Сереженька, миленький!»... В семнадцать лет за него выскочила, а что я хорошего видела? Сразу все пошло комом... Любили друг друга крепко. Уж так любили, никто так не любил, а жизни не получилось...

Вот оно: началось! Опять завелась Анна Романовна. На этот раз ненадолго — вскочила и побежала к двери:

— Погляжу, не пришла ли Варька...

Неужели четыре часа? Пропала моя суббота! Зимой в четыре часа темнеет. На дворе еще светится снег. Тихо. Когда вечером тихо, это к морозу. И когда красное небо. Самого солнца не видать: там, где оно заходит, почему-то всегда облака. Те облака и все небо повыше облаков — красные.

Уже можно зажечь свет. У хозяйки в доме нет выключателя. Чтобы зажечь свет, нужно ввернуть лампочку. Я делаю это, сидя за столом: лампочка висит у меня над головой, надо только поднять руку.

На пороге — хозяйка. Она вбежала, плюхнулась на кровать.

— Нету Варьки... И где она? То всегда в четыре приходила. Не случилось бы чего?

— Что с ней может случиться?

— Мало ли чего... Вон в прошлом году Настя Чицова из магазина шла, поскользнулась, головой ударилась, до больницы не довезли — помёрла.

— Это же редко...

— Чего редко? Так и бывает, Количек, живет-живет человек, ничего не знает, раз — и готов. Мой Сергей тож... Уж такой здоровый был, а как скрутило — за три недели и убрался. Он там, за перегородкой, лежал, где сейчас эти обормоты спят. Вечером сижу тут, слышу: как загремит. Вбегаю — он на полу лежит. Не люблю я, Количек, мертвых... Из хаты я тогда выскочила и бегом к Поле. Та уже пришла и руки ему сложила, и обмыла его... А хоронили, я как-то и не плакала. Потом он мне во сне часто снился. Вот и вчера приснился, будто яблоки с ним в саду собирали. Собираем мы те яблоки, он у меня и спрашивает: «Ты как, Анюта, живешь? Если тебе чего надо, я приду помогу». Тут я вспомнила, что он мертвый, и проснулась. Во сне я его не боюсь. Он мне уже лет десять не снился. Красивый был мужчина. Он, Количек, вот как ты, работал в этом, ну... где воду качают.

— На водокачке?

— Нет, в этом... Как его? В водхозе...

— Это все равно.

— Нет, не все равно! Мой Сергей воду сам не качал. Он, я говорю, вот как ты, начальником был...

В Полужье плохо с водой. В городе только одна артезианская скважина, пробуренная еще до войны, и та почти ничего не дает. Воду качают из реки, из той самой реки, вдоль которой я хожу на буровую вышку. Этой воды едва хватает для железнодорожной станции. Для питья она негожа. Выручают колодцы. Но вода в них не лучше, чем в реке. Разве что холоднее летом.

Хозяйка ходит по воду на перекресток. Там новый колодец, с новым навесом и новым воротком. Возле него — лавочка. На цепи — окованная железом бадейка. На лавочку удобно ставить ведра, а бадейкой можно сразу наполнить два ведра.

Вчера я тоже ходил на перекресток. Зима только началась, но возле колодца уже гора льда — не подступиться. А вообще хозяйка носит воду сама. Утром встану — в ведрах вода.

Хозяйка опять вскочила с кровати. Вскочила так, будто ей семнадцать лет.

— Ой, побегу ж, опять Варьку посмотрю...

Я вернулся к геологическим разрезам. Хорошо бы их сегодня закончить. Осталось немного: построить две скважины и сбить породы. Это самое интересное: сбивать породы. Вот они, красавчики!.. А как же здесь? Пласты нырнули... Такого не может быть! Буровики перепутали керн — веселенькое дельце!

Укладывать в ящики керн обязан сменный мастер. Или мастер перепутал его сам, или доверил уложить рабочему. То и другое плохо. Я буду об этом говорить. Соберу бригаду и буду говорить, Нет, лучше скажу Поперечному. Он не любит, когда его бригаду собирают, чтобы говорить ей неприятности.

Приблизительно я представляю, как это будет. Бригада молчит. Говорит один Поперечный. Он подбирает слово к слову тяжело, с кряхтением, точно камни. Первым начинает хмуриться Славка. Он сжимает кулаки и смотрит на того, кто перепутал керн. И все тоже смотрят. Смотрят и ничего не говорят. Это называется «есть взглядом».

Кого же они будут есть? Ведерникова? И тогда он, может, рассчитается. Ведерников давно кричал, что рассчитается. Но когда ему ребята сказали: «Ну и рассчитывайся!» — он притих.

Так кто же перепутал керн? Завтра я узнаю по буровому журналу. Но кто бы ни перепутал, а разрезы я сегодня не закончу.

Слышу: бежит Анна Романовна. Теперь, когда хозяйка бежит веселая, она громко стучит дверью и топает подшитыми резиной валенками. Она бежит, на ходу развязывая платок, швыряет его на кровать и плюхается на перину.

— Ой, я уже и спектакль посмотрела! Правду Гриша сказал: из Ленинграда. Уж такой хороший, как на самом деле: он ее любил и она его любила. Он был красивый, а она еще красивше, как та царица!

Она успела посмотреть спектакль! Сколько же тогда времени? Одиннадцать? Прошла, прошла моя суббота!

— А Варька, оказывается, заплелась там к одной и до восьми просидела, а гут за нее переживай.. И хата нетопленная, в комнатах холодина, хоть волков гоняй. На меня да на Райку и надеется...

Я ложусь спать, когда приходят Иван, Петька и Хорт. Борис придет позже. Он с Сонькой. Иван и Петька видели их на улице. Борис и Сонька стояли под забором — там, где потемнее. И теперь Иван и Петька ухмылялись.

Я так и не узнал, кто перепутал керн. Свалили на Ведерникова. А Ведерников кричал, что это было не в его смену. Он кричал, что сдал

кern на забое Славке, а Славка уверял: он сдал Ведерникову. Буровой журнал был не заполнен: Поперечный уехал домой (у него опять там что-то стряслось), и сменные мастера разленились. На этикетке к керну подписи все-таки Славки. Но сегодня он замешает Поперечного. И когда Ведерников уж очень раскричался, Славка рубанул рукой:

— Хватит! Нанянулись! Пора начинать учить!

Учить — это значит не разговаривать.

— Бойкот! — сказал Славка.

— Бойкот! — подтвердили ребята.

Так что никто никого взглядом не ел. А был бы Поперечный, может, и ели. И, может, я бы узнал, кто же перепутал kern.

Вечером приехал Родион. На желтом автобусе с голубой полосой чуть пониже кошек. Весь белый от снега Родион вбежал в дом. Хозяйка всплеснула руками:

— Родиоша! Ты как тот дед-мороз!

Родион стоял в дверях и улыбался. В солдатском галифе, в солдатской гимнастерке и солдатской шапке. Из гражданского — только валенки в галошах и телогрейка. Через плечо — потертая кондукторская сумка.

Родион привез четвертушку водки. Он поставил ее на стол, хозяйка побежала в сени за салом. Принесла здоровущий кусок — сала больше, чем водки. Мерзлое сало вкусное. Это было то сало, которое принес Гриша. Из-под брюшины. Потом хозяйка достала из шкафа две луковицы, очистила их и приложила к мерзлому салу. После этого принесла два стакана и чашку. Родион, хозяйка и я сели. Родион предложил тост за наше с ним знакомство. Хозяйка и Родион выпили из стаканов, я — из чашки. Я и Родион закусили салом и луком, а хозяйка ничем не закусила. Она тряхнула головой и побежала в «холодильник». Вернулась с кружкой воды: принесла нам. Сама она уже напилась при нас, только отерла ладонью мокрый рот.

— Ой, холодненькая — такая вкусненькая! Как та газировка!

Родион стал рассказывать, как ездил сегодня в Коржовку и засел: перемело дорогу. Пассажиры на него кричали: обилетил, а до места не довез. Родион рассказывал и ругал пассажиров, дорогу и метель.

Потом он сообщил мне, что служил в ракетных войсках, но где, не может сказать — секрет. Он сказал только, что там очень холодная зима, летом полно комаров и что он видел горы. А в тайге они охотились на изюбров.

— На изюбра надо уметь, — сказал Родион. — И с собакой. Она его на отстой ставит. Тогда подходи и стреляй. Потом запретили... Я с комдивом дружил, три года его на машине провозил. Уговаривал остаться, но я не схотел: комары... Я не привык к комарам. Если бы еще комаров не было...

— Где пгица ни летает, а своего гнезда не минает, — сказала хозяйка.

— Я здесь тож дружу, — продолжал Родион, — с завгаром. Ничего мужик. Полгода я поработал, он меня на новый автобус посадил. Хороший моторчик. Не моторчик, а зверь!

Хозяйка вдруг спохватилась:

— Да ты у Зинки-то бываешь?

— А как же! Каждый раз бываю. Как еду, всегда заезжаю...

— Невеста у него писаная красавица! — весело сказала хозяйка.

Родион заулыбался. Парень здоровяк, жених — в солдатском галифе, солдатской гимнастерке...

Потом он встал и полез за пазуху.

— Анна Романовна, я получку получил... Спрячьте...

На свадьбу копит Родион... У него скоро будет свадьба!

— Ты же гляди позови! — сказала хозяйка.

— Позову. Как же не позову? Позову...

Ему уже пора спать, в пять вставать надо. Без четверти шесть у него первый рейс. Пока разогреет Родион мотор, доедет до автоколонны, пока выпишет путевку... А завтракает он по пути, останавливается возле столовой, когда возвращается из рейса. Ужинает у Зинки.

Парни уже легли, они всегда ложатся рано. Даже Борис сегодня лег рано. Он поссорился с Сонькой. Это у них в первый раз. И поссорились-то они из-за чего? Борис говорит ей: «Пошли на танцы». А она: «Пошли в кино». — «Нет, на танцы!» — «Нет, в кино!»...

Стукалиха приходила днем и говорила, что у них не будет толку. И то же самое говорил «ее дед», то есть муж. Он не вылезает из хаты — старый. Дед не любит Бориса и Соньку. Он не дает им сидеть в комнате без света. А Стукалиха дает. Она говорит: «Пусть. Пусть сидят. Когда-то и мы были молодыми...»

Родион собрался спать, а спать-то ему негде. На одной кровати — Иван и Петька, на другой — Борис и Хорт. Борис Хорта к себе пускает, а Иван и Петька не пускают. Они уже осмелели и не первый раз устраивают шумную возню на кровати. Заслышав шум, хозяйка кричит:

— Пижоны! — и бежит к ним.

«Пижоны» она переняла у меня. Раньше она называла ребят «обормотами». Видно было, что ругать их для нее удовольствие. Она ругала как бы всех, но смотрела при этом на одного Хорта.

— Хорт! — кричала она. — Выгоню!

Почему Хорт? Я же видел: Хорт не задирался. Задирались они — Иван и Петька.

— Это не Хорт, — говорю я. — Анна Романовна, это же не он!

— Знаю, что не он...

Она знает, но кричит: «Хорт!» И эта мямля молча сносит все.

У Родиона с Иваном и Петькой вроде бы дружба, но он на них тоже покрикивает.

— Несите доски! — крикнул он.

И те кинулись за досками. Принесли из сеней три доски. Доски холодные: на них примерзший снег.

— Табуретки! — крикнул Родион.

Иван и Петька взяли и мою табуретку. Но хозяйка сказала, что им хватит и двух. Доски и табуретки Родион пристроил к кровати. Получилось раздольное ложе. Родион лег посредине, справа — Иван, слева — Петька.

Утром у Родиона пропал пиджак. Тот, новенький, который он купил с аванса, в мелкую клетку и с желтыми пуговицами. Пиджак пропал, и все были подняты на ноги. С пяти часов уже никто не спал. Продолжал спать один Борис. Он сказал: «Не лезьте!» — и тут же уснул снова.

Родион перевернул постель и перетрусил в углу все тряпки. Иван и Петька слазили под кровать. Хозяйка осмотрела все в шкафу, а я заглянул за печку: нет ли там. Родион говорил, что ему осталось купить спальные брюки и тогда можно будет жениться. Закатить свадьбу. Он так и сказал:

— Эх, и закачу!

И вот... А еще вечером пиджак был цел. Родион его при всех примерял. Спрашивал:

— Хорош?

Хозяйка бегала вокруг и говорила:

— Хорош! Хорош, Родиоша! Как на тебя шили!

— Хорош,— сказал и я, хотя пиджак был Родиону великоват, и мне не нравилось, что он в мелкую клетку.

Я тоже хотел купить себе пиджак. Серенький (мне нравятся серенькие, в крапинку). На работе такой — в самый раз: не так заметно пачкается. Но в раймаге были только в клетку и все светлые. Это надо, чтобы ни пылинки, а я с буровиками. Там мазут, глинистый раствор. Там быстро уляпают. Меня раз уже уляпали. Меня и геологический журнал. Прорвало сальник, я не успел отскочить. Мы все, конечно, смеялись. Но если разобратся, смеха тут мало: Поперечный никак не может раздобыть новый сальник.

Но куда же пропал пиджак Родиона?

Хозяйка металась по комнате и заламывала руки:

— А боже мой! Ну, где же он? Никогда ничего такого не было, и вот на тебе...

Родион стоял растерянный:

— Я опоздаю на работу...

— Может, Гриша надел? Так нет... Чего Гриша будет надевать? Не знаю, что и делать...

Хозяйка мечется, а я стою. Заглянул за печку и стою, как истукан, только краснею.

— Хорт! — крикнула хозяйка.— Сбегай к Грише! Спроси у Гриши... Ну, что же это такое? Злодея не было — и батьку украли!

Пришел Гриша, заспанный, в галошах и без майки.

— Где пиджак? Какой пиджак? Кто украл? Как украл? — заговорил он спросонья.— Да они что, сдурели? Они же сдурели, ма!..

Пиджак нашел Хорт. Подошел к хозяйкиной кровати и нашел. У хозяйки все платья — на спинке кровати. Под платьями и был пиджак. Виноват Родион, а может, и хозяйка. Родион вчера, наверное, кинул пиджак куда попало (это новый-то, в клеточку!), а хозяйка невзначай накрыла его платьями. Вот и все. Разве среди нас мог быть вор?

Пиджак нашелся, и Анна Романовна сразу преобразилась. Веселая и проворная, она весь день бегала к Грише. Прибегала от него, плюхалась на кровать и рассказывала про Родиона и его Зинку — какой Родиоша хороший парень и какая она, Зинка, красавица. Вот он купит себе еще синие брюки и закатит свадьбу. К свадьбе она собиралась купить ему белую рубашку и черный галстук.

— Родиоша любит белые рубашки и черные галстуки,— говорила она.

Потом мы сели с хозяйкой обедать — она меня уговорила. Суп у нее оказался несоленым. И в доме, куда она ни кидалась, соли не нашлось. Она, конечно, тут же сбегала и принесла от Гриши. Принесла и сказала:

— А как в войну... Страшно вспомнить! Как ни привыкай, а без соли, ну... трава, она и есть трава. Ох и намучились! На базар пойдешь, а там ложка той соли триста рублей. Хочешь не хочешь, а бери. Так я что сделала? Тут у нас за Песчанкой эта самая... ну, где кожу выделывают...

— Кожевня?

— Во-во! Кожевня была. Я туда заглянула, а там, когда кожу выделывали, соль в ямки ссыпали. Она такая ржавая, как тот кирпич. Мы ее с Гришей всю домой и перенесли. Я в воде ее переваю, когда она на дно осядет, руками согребу и в мешок. Веришь, Количек, мешка три я той соли насушила. И на плите, и на полу она у меня сохла, и на печке.

Словом, девать некуда. Я ее и на базар носила, и так, кто придет, стаканчик дам...

Когда я проснулся, в стекло близко от моего лица сыпал снег. Чуть слышно посвистывал ветер. Я расстегнул спальный мешок и высвободил из него руки. Была еще ночь, а я долго лежал, не мог уснуть.

Хозяйка боится войны. Сегодня она слушала радио. Вообще-то это редко случается. Послушав, она сказала:

— Ой, Количек, какие же люди дураки! Так вроде бы и умные, вон что придумали — в космос летают, а посмотришь — дураки. Чего им не хватает, чего не поделят? Ну, скажем, Колечка, чем плохо жить? Хлеб есть, мясо есть, деньги каждый месяц приносят, как первое число — копеечка в копеечку!

Вчера к ней приходила Поля — гром-баба, закутанная в белую шаль. Толстомордая, румяная. Уж очень она улыбалась. Вошла, когда я печатал на машинке.

— Все печатаешь? — сказала она и минуты две не сводила с меня глаз, продолжая улыбаться.

Хозяйка, увидев сестру, вскочила, к ней бросилась:

— Поленька, миленькая... Садись! Да садись же!

Они сидели и шептались. Я вышел. Я не могу, когда при мне шепчутся. Потом хозяйка сказала громко:

— Поленька, миленькая... Так ты приходи, приходи! А то живем, как те... Костику привет передай.

Гриша и Варька теперь часто приходят к ней. Но чаще Гриша один.

— Ма, а, ма! Давай машину купим... Ну, давай, ма!

— Покупай.

— Одолжи денег.

— А они у меня есть?

— Скажешь, нет? Поищи в чулке!

Гриша смеется. Хозяйка с минуту сопит, перебирая на спинке кровати платя.

— Поищи! — продолжает Гриша. — Они в чулке! Ма, они же у тебя в чулке!

— Не дури ты, сыночка... Вот уж...

Гриша поворачивается ко мне:

— Ты думаешь, что? У меня вон мотороллер в сарае стоит! Два года поездил, а теперь стоит. На весну продам... — И опять к матери: — Продать, ма? Если ты скажешь продать, я продам. А ты еще малость подкинешь, и машину купим. Купим, ма?

Когда Гриша уходил, хозяйка говорила:

— Вот вам, а не моих денег! — и, порхнув при этом по комнате, показывала в спину Гриши кукиш. — Машину захотел! Ты хоть бы свой мотороллер припутил! А то стоит в сарае, как тот козел вонючий. Сами жмутся, а на мои деньги глаза пялят. Есть, да не про вашу честь! Помру, так людям отпишу, чтоб и обмыли и похоронили как следует... Пошли вы все к черту!

Интересно, сколько у нее денег? Парни платят ей по три рубля, я — семь... Каждый год у нее — квартиранты. А пенсия? Сколько она получает за Сергея? Кажется, она говорила — шестьдесят.

Когда Гриша и Варька приходят вместе, хозяйка тут же вскакивает:

— Ой, да приходите же!.. Варенька, миленькая!.. Ой ты, сыночка мой! Ну, садитесь... Варенька! — почти поет она.

А Варенька и не улыбнется. Она всегда серьезная. Сегодня она и не села. Повела взглядом от Райки к Светке — обе они давно уже крутились тут — и остановилась на Светке:

— Тебе пора спать.

— Вот и нет! Вот и рано!

— Я кому сказала?

Повернулась и ушла. За ней, хныкая, поплелась Светка.

Вот так Варька всегда: придет, поведет строго взглядом, повернется и уйдет, высокая и серьезная.

Зато Гриша всегда веселый.

— Ну, что я говорил! — воскликнул он, когда Варька ушла. — Я говорил! Она же ничего, ма!

Вдруг притихши, Гриша подходит ко мне:

— Ну, ты как?.. Нет, я спрашиваю, как там, на работе? Да ты говори, не стесняйся! А если секрет, тогда не говори. Ты не говори. если секрет....

— Никакого секрета нет, — сказал я. — Потихоньку бурим, вот и все!

— Нет, это интересно! — воскликнул Гриша. — Ты расскажи! Ты как следует расскажи!

Хозяйка покосилась на него:

— Ну, чего ты пристал к человеку? Может, ему и вправду нельзя говорить.

— Я ж ничего, ма! Я только про воду...

— А ты знаешь, что то за вода? Может, то не вода... Один вид что вода... Сейчас много чего, приедут и буравят... Не наше это дело, сыночка. Он человек грамотный, на то и учился, чтоб...

Мне бы улыбнуться, но я не улыбаюсь.

— Ну что вы, Анна Романовна! Самая простая вода! Для вас же, для вашего города. Пробурим скважины, дадим заключение... Никакого тут, как вы думаете, секрета нет.

— Ну вот! — обрадовался Гриша. — Никаких тебе секретов! А ты, ма, городишь! Наговорила мне черт знает чего. Простая вода! Мокрая! Пей — и не хочу! Ее и в речке вон...

— В речке не то, — сказал я. — В речке плохая. Ее нужно фильтровать и обезвреживать, и все равно она плохая: в ней мало солей. А мы добудем вам воду с глубины почти двухсот метров.

Хозяйка весело подскочила:

— Количек! И вы этим самым... одним буравом? Это же чертову силу надо иметь! Было бы лето, сходила посмотрела — интересно!

— Здесь недалеко, — сказал я. — Там есть дорога, как на Коржовку ехать...

— А, это возле болотца? Я там летом диких уток руками ловила, когда по ягоды ходила. Иду уже с ягод, гляжу: утята, такие серенькие да лохматенькие. Думаю: «Вот сейчас я вас...» Ажно сердце у меня заколотилось. Я к ним, а они — жих-жих, меж травы к воде и — уплыли. Шустренькие такие, как те кораблики.

— А правда, что у нас макаронную фабрику будут строить? — спросила Райка.

— Вполне возможно, — сказал я.

— Я так хочу, чтобы построили! Я люблю, когда строят. И чтобы дома высокие, красивые были. Вот как сейчас в центре... И асфальт, и сосны, и стеклянные витрины.

— Твоя правда, внучка! — воскликнула хозяйка. — Что в центре красиво стало, то красиво, как в том царь-граде. Я туда как в «Гастроном» пойду, иду, ну, что по тому проспекту. Только больно уж далеко ходить. Я уж, если чего, то в этот, что возле лесничества, куда поближе...

— Кинотеатр у вас маленький,— сказал я.

Ребята наши в нем уже были. Полтора часа давились за билетами. Буровики сильные. Они себе взяли. А я только посмотрел на очередь и ушел.

— Это который, что возле железной дороги? — спросила Райка.

— У вас есть еще другой кинотеатр?

— Конечно! «Космос»! Но он дал трещину...— Райкин носик гневно вздернулся. Она засопела.— Летом построили, а осенью стена треснула. Теперь все в «Первомайский» ходят, поэтому и толкучка там.

— Чтоб им руки отсохли,— сказала хозяйка.— Уж такие гады, ну... не приведи господь!

— Кто гады? — спросил я.

— Да те же... приезжие!

Я почувствовал, что краснею, и отвернулся к окну, чтобы скрыть это от нее, и, кажется, мне удалось. В том же осуждающем тоне она продолжала:

— Они, как приехали, наговорили такого... Мы, дескать, раз-два и построим! Не кино будет, а картинка. И построили, совести у них нету!

Я поморщился, встал, прошелся по комнате.

— Приезжие эти, Количек, что те печенег, налетят... Тяп-ляп и готово! Все равно, мол, нам здесь не жить. Уехали, а там хоть трава не расти...

Хозяйка забыла, что я тоже приезжий. Я стоял против окна и смотрел во двор. На снегу два перепачканных в сажу воробышка отнимали друг у друга корку хлеба: передо мной мелькали лишь серые комочки.

Вдруг воды не будет? Или ее будет мало? Ведь мы бурим уже пятую скважину, а ее кот заплакал...

Когда мы обсуждали проект на разведку, я предлагал бурить скважины юго-западнее Полужья. Доказывал. Мне возражали:

— Да, но это далеко от города, это затруднит эксплуатацию скважин!

— Зато надежнее! — горячился я.

— Вода везде есть...

— Нужно вести разведку научно!

— Нам необходимо найти воду как можно ближе к городу — вот что главное. А вы, товарищ Свиридов, очевидно, боитесь риска.

Может, и вправду я трус. С точки зрения экономики, конечно, лучше найти воду поближе.

«Черт с вами! — подумал я тогда сгоряча.— Бурите, где хотите!»

В эти дни то придет Гриша, то заглянет Варька. А Светка бегаёт раз за разом. Прибежит, подразнится и убежит. И стала чаще ходить Райка. Придет и просит печатать на машинке. Она теперь сама печатает, но очень медленно. Сидит, стучит одним пальцем, а я стою и смотрю, что у нее получается. Райка перепечатывает песни. По памяти. Потом протягивает их мне. Мне ее песни не нужны. Но я беру и прячу в папку. В папке — геологические разрезы и графики водных откачек. А кроме того — мелко исписанные листы, которые мне теперь дороже геологических разрезов и графиков водных откачек. Листы — это мой пока еще сырой вариант разведки подземных вод. Тот вариант, который был отклонен на техническом совете.

Теперь вот я хожу и злюсь. Прихожу на вышку — злюсь, иду с вышки — злюсь. А буровики надо мной посмеиваются: «Из речки ведрами в скважину наносим — и пусть пьют!»

— Проект можно изменить,— сказал я.

— Когда денежки ухлопали — ого!

— Пока еще не все ухлопали...

— Так ухлопаем! — И Славка заржал, как лошадь.

Нет Поперечного — и дела нет. Уехал домой (у него опять кто-то там заболел), снова оставил вместо себя этого Славку. Жди теперь, когда он вернется.

Я машинально провожаю Райку до дверей.

— Количек! Гвоя судьба в моем доме! — кричит вслед хозяйка.

Она теперь кричит это часто и каждый раз по-разному: то нарочито громко, то шепотом, то с какой-то хмельной веселостью. Она вообще и спать ложится с хмельной веселостью, и просыпается утром, и день летает из дверей в двери — то к Грише, то от Гриши.

Видя, что я собираюсь на буровую вышку, она спрашивает:

— Уже пошел? Опять?

Я ей ничего не отвечаю, натягиваю телогрейку.

— Не ходил бы ты сегодня, Количек,— не отстает хозяйка.— Всея работы не переделаешь!

— Малость не ладится...— Я, конечно, не говорю ей, что и шестая скважина у нас «сухая».

Когда же я прихожу с вышки, хозяйка спрашивает:

— Ну как, Количек, наладилось?

Я стою на пороге и стряхиваю с шапки снег. Потом обметаю веником ноги. Негнущимися красными пальцами расстегиваю телогрейку.

— Ну и слава богу! — говорит хозяйка, хотя я ей еще ничего не сказал.— Когда все хорошо, и жизнь хорошая. Я вот, Количек, в другой раз подумаю: ну, какую я пользу даю? Сплю, ем, гуляю... Как тот тунец, бери меня — и на свалку!

Она говорит это весело, как бы: «Пусть тунец, пусть на свалку! Но мне все равно легко и весело. Смотрите, как мне легко и весело!»

— А кругом только и слышишь: плохо жить. Да если бы моя мать-покойница сейчас из гроба встала да глянула — с ума бы сошла! И телевизоры те придумали, и спутники позапускали, и эти... космонавты летают...

Я медленно стягиваю с ног сапоги, развешиваю над плитой мокрые портянки. От босых моих ног на полу — следы. В комнате пасмурно, сыро, холодно. Я лезу за шкаф, ложусь поверх спального мешка.

Сегодня приехал Поперечный. Пока шел от станции — раскраснелся, полушубок на нем расстегнут на все пуговицы.

— Ложная тревога! — сказал он, когда я спросил, как здоровье сына, тут же отвернулся и стал кричать на Ведерникова.

Откачку воды из шестой скважины мы сделали без него. И я сказал ему:

— Шестая тоже сухая. Вот смотри, удельный дебит...

— Что ты суешь мне свой дебит! Сухая! Сухая! Ну и что, что сухая!

Мы стояли с ним возле буровой вышки. В дневную смену работал Ведерников. Он вытаскивал из скважины обсадные трубы. С каждым рывком лебедки двигатель взывал, стальной трос натягивался, дрожал, но трубы не поддавались. Ведерников бросал рычаги.

— Ну, что будем делать?

— Попробуем еще с раскачкой,— хмурясь, сказал Поперечный.

— Чего пробовать? И дураку видно, что... Ну их...

Если к обеду Ведерников вытащит обсадные трубы, то через час-два можно будет переезжать на новую скважину. Новая скважина на

пятьсот метров ближе к городу. Уже видна больница, а слева и справа от вокзала в лес вклиниваются две улицы. Новая скважина — последняя на профиле.

Я смотрю на Поперечного, который помогает Ведерникову зацепить трос за башмак обсадных труб. Возле них топчется Гавриков. Ведерников его отталкивает:

— Присмотри за лебедкой!

У Ведерникова слипшийся от пота чуб. На руках следы ссадин разной давности. Рукава телогрейки оборваны, пропитаны соляжкой и машинным маслом. Когда Ведерников делает движение, стараясь расширить на тросе петлю, вся спина его изгибается и из-под телогрейки выпирают острые лопатки.

— Ах ты змея! — говорит он, наконец накинув петлю.

Ведерников улыбається, проводит по лицу грязной ладонью. Потом кричит Гаврикову:

— Чучело ты! Натяни трос!

Гавриков надавливает обеими руками на рычаг. Барабан лебедки со скрипом проворачивается, трос вздрагивает, и в скважине приглушенно чмокает.

— А, стерва! — кричит Ведерников. — Все равно вытащу!

Он забирает у Гаврикова рычаг, чтобы дать пуск. Поперечный отходит в сторонку и глядит вверх, на трос. У Поперечного красное лицо: постоял нагнувшись, когда помогал Ведерникову, и уже красное. И дыхание такое, точно сто пудов поднял: сердце... Видно, досталось Поперечному в Сибири, а спросишь, никогда не расскажет, лишь бросит:

— Здесь тоже не легче!

— Кто хочет в Сибирь, записывайтесь у меня! — обычно шутит Славка. — Нет желающих? Вопрос исчерпан!

Не люблю я почему-то Славку. А Поперечный доверяет ему бригаду. Что он в пем такого нашел?

Когда Ведерников пробует нажать на рычаг, Поперечный срывается с места и бежит к нему.

— Стоп! Не так! Дай я...

В скважине чмокает так сильно, что Гавриков, стоявший неподалеку, испуганно отскакивает.

— Чего ты? Тут волков нет! — гогочет Ведерников.

— Заладил: волков, волков! — сердится Гавриков. — Если бы и к тебе подошли, ты тоже бы на мачту полез. Видал я таких смельчаков!

Поперечный отходит от станка, и я беру его за рукав, веду к костру. Дым от костра стелется по земле от буровой вышки к густому сосняку. Толстые сырые чурки сипят, выделяя на торце грязно-белую пену.

— Фролович, — говорю я, глядя на костер. — Фролович, чего это ты на меня за дебит...

— Ты что же, обиделся?

— Да нет, не обиделся... Но ты пойми, Фролович, уже шестая скважина сухая!

— Ишь ты, новость принес!

— Не новость, конечно... Нужно что-то делать.

Поперечный насупился и ткнул сапогом в чурку. Из костра поднялись длинные желтые искры.

— Что ж, по-твоему, мы гуляем?

— Ну что ты, Фролович! Я о другом... Послушай, что говорит моя хозяйка...

— А при чем тут гвзя хозяйка?

К костру подошел Ведерников и плеснул в него солярки. Пламя лизнуло сапоги Поперечного, телогрейку и шапку. Ведерников захохотал.

— О чем это вы толкуете? Всё про водичку? А водица-то в кринице!

— Ты все смеешься,— проговорил я расстроено.

— А что мне — плакать? Наше дело — бури. Скажут — здесь, значит, здесь, скажут — там, значит, там. На то вы и геологи — книжки читаете!

Ведерников выплеснул оставшуюся солярку в костер и пошел к вышке.

— Фролович,— снова начал я,— я тебе серьезно... Как же о нас подумают люди?

— Ты это о чем?—вдруг насторожился Поперечный.

На буровой вышке лягнули штанги. Барабан лебедки быстро заворачивался, наматывая трос.

— Пошла! Пошла, родимая!—закричал Ведерников.

Обсадные трубы показались из скважины. Гавриков засуетился, хватаясь за ключи.

— А, зараза! — торжествуя прокричал Ведерников.— Как ты не сопротивлялась, а поддалась!

Поперечный от костра — к трубам, я — за ним.

— Фролович, ты же был тогда на техническом совете и знаешь... Ведь я предлагал...

— Стоп! — кричал Поперечный Ведерникову.— Не так! Дай я...

Славка Комаров хотел вмешаться:

— Чего ты лезешь к человеку? У него баба.. А ты со своей водой...

— Какое твое дело. что моя баба...— Поперечный глянул исподлобья.— Молод ты еще!

И Славка притих. Я решил действовать напрямую:

— Фролович. давай рискнем: пробурием для начала хотя бы одну скважину там, где я предлагал, а?

— Ты что. сдурел? Какое мы имеем право?

— Никто не узнает!

— Да ты думаешь, что говоришь?

— Ну, одну... Хотя бы одну, Фролович...

Поперечный нагнулся к костру и принялся ковырять палкой головешки. Они дымили, а он все ковырял их и ковырял. Ведерников уже поднял из скважины последнюю колонну обсадных труб. Упругие хлопки дизеля летели за реку, отдавались в глухом сосняке.

— Эгей! — кричал Ведерников.

«Эгей!» — отдавалось в сосняке.

Стемнело, и Ведерников включил на буровой вышке свет. Верхушки сосен зеленоватого заискрились, и от фигуры Ведерникова на снегу заветелась крылатая мельница: Ведерников то один рычаг поднимал, то другой опускал.

Поперечный выпрямился у костра, шзырнул в кусты палку, которой ковырял.

— Дополнение к проекту будет? — невесело проговорил он.

— Будет, Фролович! Будет!

— Когда будет, тогда и рискнем. Понял?

Потею над дополнением. Прихожу с буровой вышки и сажусь, печатаю: нужно успеть, пока пробурият седьмую скважину, самую ближнюю к городу и последнюю в профиле.

За перегородкой меряются силой Иван и Петька. Эти обормоты все-таки обнаглели. Приходят из училища, и тогда в доме карусель: дрожит пол, дрожат стены. Раздеваются, разуваются, лезут на кровать и там устраивают бой. Они пообедали, и у них теперь «много жиру», как говорит моя хозяйка.

— Пижоны! — незлобно кричит она. — Выгоню!

Иван и Петька притихают. Через минуту снова слышится возня. Тогда кричу я:

— Имейте вы совесть!

Возня хотя и продолжается, но уже приглушеннее.

Хорт приходит позже. В училище он ходит с Иваном и Петькой, из училища — с Гайдой, девушкой.

Сегодня, когда он пришел, услышал, как там, за перегородкой, Иван и Петька толкнули его на кровать: дрогнул пол и загудела перегородка.

— Идите, а то как дам... — сказал Хорт.

— Хорт! — крикнула хозяйка. — Хорт! — И побежала туда.

Ох, и веселая пошла жизнь!

Сегодня сильный мороз — под тридцать. А ночью был, наверное, еще сильнее: я слышал, как потрескивали снаружи стены. Я проснулся от холода. Окна были затянуты белым куржаком, таким пушистым, что он осыпался от одного моего вздоха, падал на лицо. На дворе было светло, и я подумал, что уже утро. Но был только еще час ночи: светила луна. Я набросил поверх спального мешка телогрейку, согрелся и уснул. Когда проснулся опять, хозяйка уже кормила кур.

— Вот и все мое хозяйство! — сказала она весело. — Остались эти три курицы, не знаю, что с ними и делать. Лучше зарезать да съесть.

Куры обморозили себе гребешки. Теперь они были белыми, как молоко. Ничего себе морозец! А мне идти на буровую вышку.

Хозяйка затопила в «холодильнике» русскую печку. Собрала в нее весь мусор и затопила. Первый раз за зиму. Печка дымила. Дым расползался по комнатам, ел глаза.

Пришел Генка, важный, как генерал.

— Вот твои коньки. Папка мне купил, — сказал он.

— Брось под кровать.

Генка бросил.

— Я иду с тобой на вышку, — сказал он.

— Мой ты дитеночек, — пропела хозяйка, — ты сходишь, когда будет тепло. Сегодня ты замерзнешь.

— Ба, я хочу сегодня.

— Не бери его, Количек, не бери!..

Нет, я возьму. Я покажу ему буровую вышку, передвижной домик, покажу породы...

Мы шагаем с Генкой по улице. Я — как можно шире. Выпячиваю грудь, подставляю лицо морозу. Генка бежит за мной вприпрыжку, как собачонка, забегает наперед.

В лесу я останавливаюсь:

— Слышишь?

Генка прислушивается.

— Работает, — говорю я таинственно.

У Генки красные уши и красные щеки. Вокруг солнце — на снегу, на соснах. На Генкиных щеках и на кончиках ушей. Солнце белое, белее снега. Блестят стволы сосен и блестит воздух.

— Ничего не слышу, — говорит Генка.

И правда: ничего не слышно. В лесу тишина такая, что колет в уши. А минуту назад я отчетливо слышал, как работал двигатель.

Мы лезем через сугроб. Я впереди, Генка чуточку сбоку, пристал, тонет в снегу.

— Иди за мной, по моему следу,— говорю я.

— Нет, я сам...

У реки мы останавливаемся снова.

— Теперь слышишь?

— Нет.

— Наверно, заглушили,— сказал я неуверенно.

Я не понимал, в чем дело. На днях я показал Поперечному дополнение к проекту. (Я успел: на седьмой скважине, самой ближней к городу, оставалось только опустить мачту. Седьмая тоже «сухая»...) Ребята грузили на прицеп водоподъемные трубы. Славка Комаров ходил вокруг вышки и приговаривал:

— Потому что без воды и ни гуды, и ни сюды...

Когда я подал Поперечному дополнение, он бегло пролистал страницы и вернул обратно:

— За последствия отвечаешь?

— Отвечаю! — тут же выпалил я.

Поперечный нахмурился.

— Ну, вот что,— проговорил он после некоторого раздумья,— ты сейчас никуда не уходи, покажешь дорогу...

Мы переехали в тот же день засветло. Я все время бежал впереди «МАЗа» и показывал, куда надо повернуть, чтобы не зацепить мачтой за деревья. Следом трактор тащил домик и прицеп с трубами. На трубах сидели ребята. Гавриков удивлялся:

— Куда это нас везут? В самый лес...

— Нам, татарам, все равно! — веселился Ведерников.— Были бы гроши да харчи хороши!

А вот сегодня уже нужно было бы начинать откачку, но тихо на буровой. Почему тихо?

За ольшаником встали сосны. Генка уже старался ступать в мой след, спрашивал:

— Далеко еще?

До вышки — двести метров. Я угадываю знакомые сосны. Вот мой вчерашний след. Несколько шагов — и меж белых от снега сосен горчит черная мачта. Она чуть ниже самых высоких сосен.

— Видишь? — говорю я Генке.

Генка важно смотрит вверх.

— И все?

— Что ты! — торопливо отвечаю я.— Подойдем ближе, увидишь! Там, знаешь, какой станок!

Почему же все-таки тихо? Тихо, как на кладбище...

Я замечаю в снегу домик.

— Ген, домик! Идем в домик!..

На обратном пути я спрашиваю его:

— Ну, тебе понравилось на вышке?

Генка пытит, он уже едва вытаскивает ноги из снега.

Я вспоминаю, как мы с Витькой Столяровым разведывали формовочные пески. Мы бурили скважину прямо у Таниного дома. У дома той самой Тани, с которой сейчас Витька переписывается. Так вот, Таня пропала на буровой вышке день и ночь. Она даже лазила на мачту. На самый верх! Буровики тоже, когда нужно, лазят на мачту и на самый верх. Но они лазят с предохранительными поясами. А Таня лазила без

пояса. Не успел никто и глазом моргнуть, как она была уже там. Первым опомнился Поперечный.

— Назад! Нельзя! — страшно закричал он.

Потом опомнился я. А Витька тогда так и не опомнился. Он стоял бледный, глядел вверх и не мог сказать слова. Таня же долго не слезала. Она сидела на мачте и смеялась над нами. А когда слезла, сказала:

— Ой, я чуть не упала! По земле ходишь и ничего не видишь...

Она была такая радостная, что Поперечный не стал отчитывать ее, сказал только:

— Таня, ты осторожнее...

Я, конечно, не за то, чтобы и Генка вдруг полез на вышку. Я просто вижу, что ему не понравилось. Может быть, я плохо показал вышку, домик, породы?.. Но Тане вообще никто ничего не показывал. Откуда у Генки генеральская важность?

Вечером пришла Райка. Она вошла в комнату неслышно. Я только что сел за машинку — теперь я перепечатывал дополнение к проекту. Я не видел ее еще такой тихой. Уж очень Райка была сегодня тихая.

— Все сидите и сидите,— проговорила она.

— Почему же? Я и хожу... на вышки.

— Но это не то! Вам нужно отдохнуть.

Что они все заладили? Я не устал!

— Вам нужно отдохнуть,— повторила Райка.— Сегодня суббота.

Идемте в кино.

— А где же Борис и Сонька?

— Они ждут нас на улице.— сказала Райка.

Белую рубашку я надел за шкафом, стоя на кровати. Согнулся там в три погибели и надел, чтобы не видела Райка. Там же переделел и брюки. Повязал перед осколком зеркала галстук.

Показываюсь перед Райкой Она будто и не видит. А хозяйка кричит:

— Ой, Количек! Ты такой нарядный да красивый, ну... как тот граф!

Надел белую рубашку, новые брюки — и уже нарядный. Уже граф. И почему граф? Да, она же любит читать про графов. Про князей и графов.

Когда мы уходим, хозяйка кричит:

— Количек, твоя судьба в моем доме!

Я краснею, а Райка, как ни в чем не бывало, смотрит на меня и на хозяйку. Хозяйка спрашивает:

— Ну, как же, Количек, у тебя там, на вышке?

— Сегодня не работали: большой мороз. В большой мороз работать не положено, мы актируем...

Хозяйка не знает, что мы переехали на новое место. И она не знает, что все семь скважин «сухие». Я ей не говорю. Я вообще никому об этом не говорю. Вот пробуем на юго-западном участке, тогда... А тут этот мороз...

Правда, однажды буровики работали и не в такой мороз, похлестче был. Поперечный пришел на вышку и сказал:

— Ребята, конец месяца, поднажмите. Дадите план — будет прогрессивка.

И ребята поднажали — дали план и получили прогрессивку.

А сегодня, когда мы пришли с Генкой, они мне ответили:

— У бога дней много!

Поперечный уехал за авансом, и они... Славка Комаров сказал, что все это из-за Ведерникова. Его была первая смена, а он не вышел.

— Мне здоровье дороже,— сказал он.

Словом, Ведерников не вышел, и остальные не вышли. День на полках и пролежали. Даже чтобы печку растопить, никто не вылез из спальника.

Я пытался ребят уговорить. Ведерников отрезал:

— А платить в тройном размере будешь?

И мы с Генкой ушли.

Борис и Сонька стояли под Стукалихиным забором. Они, наверное, целовались. Зимой в шесть часов уже темно, можно целоваться. Все же я хорошо видел, как Борис и Сонька друг с друга отпрянули. Это видела и Райка, так как она тут же поташила меня в сторону. Борис и Сонька догнали нас возле колодца, что на перекрестке. Борис ухмыльнулся, а Сонька подхватила Райку под руку и что-то ей шептала. Сонька любит шептаться. При тебе же будет шептаться, сверкать глазенками и похихикивать.

Билеты в кино брал я. Была очередь. Борис и Сонька пошли в буфет пить воду. Райка ждала меня в сторонке. Я взял билеты, а Борис и Сонька все еще были в буфете. Они пришли уже после третьего звонка, принялись отсчитывать мне деньги. Краснея, я отстранил Сонькину руку.

Райка заволновалась:

— Скорее: сейчас начнется...

Мы искали свои места, когда в зале уже погасили свет. Борис сел, конечно, рядом с Сонькой. А мне Райка сказала:

— Садитесь в центре. Здесь вам будет лучше видно.

— А тебе?

— Я длинная! — И Райка засмеялась.

Не помню названия фильма, но там много целовались. Когда целовались, Борис ухмылялся и дергал Соньку за рукав. Сонька и без того не сводила взгляда с экрана. Райка же стеснялась смотреть. Когда кино кончилось и мы вышли на заваленный снегом сквер, она сказала Борису:

— Чего ты смеешься? Бессовестный!

Борис выдумал забаву: голкать друг друга в снег. Он толкнул сначала Соньку, и та села. Сонька поднялась и толкнула Бориса. Но Борис устоял. Снова толкнул Соньку, и та опять села. Снег был такой мягкий и пушистый, что, когда Сонька падала, он вылетал из-под нее, как лебяжий пух.

Потом мы толкались все. Толкались и смеялись. У Райки сильные ноги. Она широко их ставит. Изгибается, как ива, но не падает. И ловко бросает снег за шиворот.

Возле переулка мы остановились. Переулок уходил в лес. Там, сразу же за домами, чернели в снегу сосны. Вообще в той стороне было все темно, таинственно-тихо, как в омуте. За этим омутом была буровая вышка.

Я отряхнулся от снега и сказал:

— Мне нужно на вышку. Хотите, идемте со мной. Через час мы вернемся.

Борис и Сонька промолчали. Молчала и Райка. Глядели они в темноту и молчали.

— Идемте! — повторил я.

— Идемте! — оживилась Райка. — Ну, идем, Сонь...

А я уже шел по переулку. Не оглядывался, слышал Райкин голос. Она что-то кричала Соньке и Борису, которые сразу отстали. А потом и она отстала.

Кажется, Иван и Петька остепенились; когда я печатаю, не горлают, не меряются силой, ходят на цыпочках. Приходят с занятий — здороваются, встретят на улице — здороваются.

Теперь я часто, кончив печатать, иду к ним в комнату. Иван и Петька лежат на кровати, вернее — на сооружении из кровати, табуреток и досок. Это сооружение осталось нетронутым с того дня, как приезжал Родион. Иван и Петька лежат босые, раскинув ноги. Я ложусь рядом с ними и тоже босой. Лежу распрямленный, отдыхаю. И хорошо вот так, лежа, поговорить. Хорт, Иван и Петька весной кончают профтехучилище. Их заставляют чертить разрезы зданий, а Иван и Петька плохо чертят. За них чертит Хорт. Садится возле кровати за тумбочку и старательно вычерчивает лестничные пролеты, ступеньки, окна. Получается веселая картинка.

— Что ты им чертишь? — говорю я. — Пусть сами!

— Ладно, мне не жалко, — посидев в раздумье с минуту, отвечает Хорт.

Он чертит и Гайде.

Когда Хорт чертит Гайде, Иван и Петька потешаются:

— Ты ей вместо дверей что-нибудь другое нарисуй!

— Идите, а то как дам... — неизменно отвечает Хорт.

А недавно я узнал, что он дал Гайде свои ручные часы. Просто так, поносить. Иван и Петька пробирали его по этому случаю, не стесняясь в выражениях.

А Хорт только чуть пошевелил губами:

— Что мне, жалко?

Смешной он со своей челочкой и толстыми губами. Иван и Петька говорят, что он пишет стихи. Сам он отнекивается.

Гайда, как и Хорт, будет каменщиком. Иван и Петька тоже будут каменщиками.

Хорт чертит на тумбочке, а Иван, сдвинув рубашку к груди, чешет живот:

— Сегодня наелись от пуза!

— Да! — как бы спохватывается Петька. — Такой был ужин — красота! Ели, ели и не поели! Ни разу еще столько макарон не давали. А Хорт и вчера и сегодня ужин прозевал — Гайду провожал!

— Ну и ладно, — тихо говорит Хорт. — Что мне, жалко? Я в другой раз свою порцию получу.

Нет, им его не завести. Убедившись в этом, Иван и Петька потихоньку начинают сучить ногами: им хочется померяться силой. Переважили макароны, и у них зачесалось. Я тут же одергиваю:

— Спокойно!

Иван и Петька утихают. Иван вздыхает:

— Вот кончу училище, поработаю и куплю себе баян... Нас на строительство пошлют. На строительстве хорошо зарабатывают...

Вздыхает и Петька:

— Далекое пошлют; может, в Пермь, а то и дальше. Зимой там морозы...

Иван и Петька деревенские ребята. По субботам они ездят пригородным поездом домой. Приходят пораньше с занятий и спешат на вокзал. Оба они окончили семь классов. По призванию ли они пошли в профтехучилище? Петьке вот нужно купить баян, и он говорит, что в колхозе его если и купишь, то не скоро.

Хорт тоже окончил семь классов. И он тоже из деревни. Интересно, о чем он мечтает?

Сонька, приехав из деревни, работала в хозцехе завода —

«там, куда пошлют» — и мечтала собирать радиолампы. Теперь она собирает их.

Борис скоро будет ремонтировать вагоны. Он из деревни Крутые Горки. Мы там бурили. Искали кирпичные глины. Там кирпичный завод. Борис пробовал работать на нем — не понравилось. Сейчас он просится, чтобы его оставили в Полужье.

И Родион из деревни. И Стукалиха из деревни, и Поля. Если разобьются, то и хозяйка из деревни, а значит, и Гриша... И Варька... Все из деревни! И вообще, когда-то весь этот город был — деревня.

Райка уже неделю не приходит. С того вечера, когда мы были в кино, а потом я ушел на вышку. То, что Борис и Сонька не пошли со мной, мне понятно. А Райка? Почему она пошла было, но вернулась?

Впрочем, даже лучше, что Райка вернулась: я пробыл тогда на вышке всю ночь. Я как чувствовал: приехал Поперечный. Нужно было наверстывать упущенный день. Тот, морозный...

Поперечный, конечно, дулся, что ребята не работали. Мне он тихонько сказал:

— Юридически они правы, но тут что-то не то.

— По-моему, это Славка,— проговорил я.

— Что Славка? — насторожился Поперечный.

— Зря ты его вместо себя оставляешь...

— А кого?

Я пожал плечами.

— Нет, Славку ты не трогай,— убежденно произнес Поперечный.—

Славка пусть!

Мы стояли с ним у костра и посматривали в сторону вышки: там, за рычагами, орудовал Славка. Был уже сто семидесятый метр, а все еще шли мергеля. По геологическому разрезу они должны были кончиться на ста пятидесяти метрах. Разрез составлял я, и Славка ехидничал:

— Ну и точность у тебя — американская! Не видать нам здесь воды, как своих ушей! — и покрикивал на своего помощника: — Патрубок! Патрубок давай! Что ты, как теленок...

Когда Славка поднимал из скважины колонковую трубу, я бежал — щупал керн. Глинистый раствор стекал мне на руку, мороз тотчас схватывал мои пальцы. Я совал руку в карман телогрейки, а Славка зло говорил:

— Чего там смотреть? Опять этот... мергель!

Поперечный молчал, только искоса посматривал на Славку.

— Метров двести будет,— сказал я.

Костер освещал бочки с соляжкой и примятый трактором ореховый куст. Поперечный задумчиво проговорил:

— Если двести, то нам не хватит водоподъемных труб.

Славка Комаров бросил рычаги, выругался:

— А-а, чертова эта скважина... Поглощение! Вон смотрите: за пять минут зумф раствора как корова языком слизала!

— Это мела! Мела пошли! — закричал я радостно. — Значит, скоро пески!

— Тебе пески, а мне теперь... Провозишься с этим поглощением!

Славка отключил насос, приглушил двигатель.

— Пиши акт на геологическое осложнение!

Сегодня Славка ликвидировал, как любят говорить буровики, поглощение: затопонировал скважину глиной. Целый час ухлопал на

приготовление глинистого раствора. Он перебурил пласт мела и одним махом «прогнул» альб-сеноманские пески. Я ругал его за это: мел и пески нужно было бурить отдельно, чтобы получить хороший выход керна. А у Славки на десять метров проходки — один метр керна. Песков же тридцать метров. Попробуй теперь определи, на какой глубине водоносный горизонт.

Славка на мою ругань — ноль внимания.

— Пески есть. Что тебе еще надо? — смешком ответил он. — А водоносный горизонт и геофизики тебе определят!

Америку мне открыл! То-то и оно, что не приедут к нам геофизики. Вчера я получил ответ на свою телеграмму: «Каротажная установка ремонте». А это значило: опускать в скважину фильтры нужно на свой страх и риск. Водоносный горизонт определять по керну... Какая уж тут точность!

— Вот забракую скважину, тогда... — горячился я.

— Ну и бракуй! — отрезал Славка. — Какого черта мы вообще согласились эту скважину бурить! Проект-то выполнили! Уже давно бы по домам грелись!

— У нас дополнение есть...

— Знаю, что это за дополнение! Кто его утверждал? Втихоря решили!

Наверное, у меня слабые нервы — я не выдержал:

— А ты знаешь, что говорит про нас, приезжих, моя хозяйка?

— Дурак ты, Свиридов!

Может, и в самом деле я дурак. Если и здесь воды не будет, то разве то, что думает о приезжих хозяйка, меня оправдает?

— Вода есть, — сказал я.

— Знахарь нашелся! — сплюнул Славка.

У меня мелко дрожали руки, когда я записывал в журнал уровень воды в скважине. Подошел Поперечный. Он слышал, как мы со Славкой сцепились, но не вмешивался, только попыхивал папиросой.

Стрелка уровнемера запрыгала. Я разомкнул проводки, соединявшие электрические батареи.

— Отвечаем вместе, — сказал Поперечный и улыбнулся.

Вечером вернулся из рейса Гриша. Мы встретились с ним на улице.

— Пошли ко мне, пообедаем, — сказал он. — Пошли! Что тебе делать?

Мне нужно было идти на буровую вышку. Вчера мы налаживали откачку воды. Начали с утра и провозились до потемок: никак не клеилось. Пока нарастили водоподъемные трубы, пока завели старенький компрессор...

Когда компрессор все-таки завелся, Славка подставил под выходную трубу пустую бочку. Я проверил секундомер. Через минуту-две Поперечный надавит на рычаг, и из скважины хлынет вода...

Я огляделся: Поперечный, Славка... Ну, Славка и должен быть — он на смене. А где остальные? Им неинтересно, хлынет ли из скважины вода? Они ушли в город пить пиво...

Вот Поперечный глянул на бочку, на меня: «Готовы?» Славка сострил:

— Держи карман шире!

«Держать карман шире» не пришлось. Теперь это уже позади, а тогда... Поперечный надавил на рычаг, из скважины плеснулась грязная струйка, и компрессор заглох. Мы провозились до полуночи. заведем, плеснется струйка и компрессор глохнет.

— Ничего не получится: скважина глубокая,— устало проговорил Поперечный и размазал по лицу грязь.— Надо другой компрессор, а не эта ломачина...

— Лучше бы я пошел с ребятами пиво пить,— сказал Славка.

И вот сегодня Поперечный должен был привезти новый компрессор. Новый компрессор — не фунт изюма. Поперечный уже год плачет, чтобы его дали. Если он компрессор привез, снова нужно будет налаживать откачку — «испытывать свою судьбу», как говорят.

Придя домой, я разулся, развесил над плитой портянки и полез за шкаф. Я лежал за шкафом и раздумывал: новый компрессор тоже ничего не дал. Конечно, он не глух, как старый, и из трубы текла струйка побольше. Славка съехидничал:

— Пиши еще одно дополнение!

— И напишу! — вырвалось у меня.

Поперечный тоже нервничал. Он прикрикнул на Славку, и тот при- тих. Бойтся он Поперечного. Это я давно за ним замечаю.

— Не мучайся, иди домой,— сказал мне Поперечный.— Пусть сут- ки так покачает... Может, она раскачается...

Не первый уже раз я прихожу с вышки среди ночи. Хозяйка ни- чего, встает, открывает. Без упреков. Лишь спросит сонно из-за двери: — Это ты, Количек?.. Я слышу, что кто-то ляпает, а проснуться не могу.

А я уже хотел идти к окну...

К окну, у которого спит хозяйка, я протоптал по сугробу целую траншею: от угла через жердь и — за другой угол. Подойдя к окну, я прислушиваюсь, гляжу на луну в морозном стекле. Спят... Борис, Иван и Петька и слышать будут — не откроют. Хорт тоже. Охота им выле- зать из теплой постели?

А сегодня я сорвал на дверях крючок: никак не мог достучаться, надавил плечом и — сорвал. Вошел в комнату — спят, зажег свет — спят, разделся, лег — они спят.

Утром хозяйка как ни в чем не бывало:

— Как дела, Количек? Что вы там сейчас делаете? Воду ту ка- чаете?

— Я сорвал крючок...

— Ну и бог с ним, с крючком тем! Я сама вчера у Стукалки за- сиделась, пришла, стучала-стучала, да хоть лопни! Хотела уже к Гри- ше ночевать идти...

— Где топор?

— Вот он, Количек, вот!

Я молча прибил крючок на старое место. Топор кинул под печку.

— Ой, спасибо тебе, Количек! — обрадовалась хозяйка.— А тех пижонов разве допросишься? Они же еще людей не видели!

У Хорта, Ивана и Петьки — практика. Они строят школу. Прихо- дят домой грязные, в известке и глине.

Хорт сообщил мне:

— Сегодня я как сиганул! Вот аж бок болит...

Петька засмеялся:

— Это он за Гайдой сиганул! Забыл, что внизу три метра, и — ми- мо лестницы. Он Гайду на обед и с обеда провожает...

— А я сегодня сам один угол вывел! — сказал Иван.— Ровенький, как струночка! Мастер даже похвалил. А хороший он...

— Да, мастер у нас хороший,— подтвердил Петька.— Он меня все время на кладку ставит.

— Построите вы эту школу, как те «Космос!» — сказал я. — Через месяц даст трещину.

— Спорим? — вскочил Петька.

— Чего спорить? — продолжал я подтрунивать. — Какой из тебя каменщик? Мастерок-то еще в руках держать не умеешь!

— А вот пошли завтра, посмотрим, кто кого! Пошли!..

— Интересно, как они нам будут платить, — проговорил Иван. — Если бы так платили, как в прошлом году десятой группе, может, я и сейчас бы баян купил.

Борис сдал экзамены.

— Посмотрите, корочки! Теперь у меня документик! — хвастается он. — Можно ехать жениться. Матка написала: горилка готова. Женюсь и приеду сюда работать. Меня здесь оставляют...

Соньку я видел недавно. Про свадьбу она ничего не сказала, улыбается только.

— Количек, а ты когда будешь жениться? — сказала хозяйка. — Ну, правда. Что это за жизнь: ни детей тех... Живешь так, один, как палец. Для чего?

— Вот найдем здесь воду, и женюсь!

— Ты все шутишь, Количек... А сам ничего не расскажешь, как вы там...

Что ей рассказывать? Третьи сутки льется из скважины жиденькая струйка. Поперечный меня успокаивает: «Покачаем еще сутки».

Когда откачка, ребятам — рай. Один дежурит у компрессора, остальные лежат в домике, делать нечего.

Приходил налоговый инспектор — тихий белолицый дяденька из райфинотдела. Не успел он переступить порог, как хозяйка выбежала к нему наперед. Дальше «холодильника» не пустила, усадила там.

Инспектор бочком сел к столу и тихонько спросил:

— Анна Романовна, сколько проживает у вас квартирантов?

— Ой, Иван Иванович, трое! Всего трое!

Я стоял в дверях, и налоговый инспектор видел меня.

— Сколько они вам платят?

— Ой, Иван Иванович, а кто как: кто два рубля, кто полтора, а когда и того не платят... Ну, то сала того привезут кусок, то еще чего... Что с них взять? Ученики... Они ж мне дети, а я им — мать.

— Все прописаны?

— Все, Иван Иванович, все! Я сама домовую книгу брала и ходила прописывать.

— Анна Романовна, — сказал я, — я не прописан. Но у меня есть удостоверение... Мы можем не прописываться...

— Как же, Количек! И ты прописан! Все прописаны! Ну, как в той аптеке! — бойко проговорила хозяйка.

Налоговый инспектор поднялся и бочком вышел.

— Количек, ты не лез бы не в свое дело. Сама знаю, что мне говорить. Я из ума еще не выжила, слава богу, тут у меня еще варит, — проговорила хозяйка, порхнув по комнате.

Вечером приехал Родион и сразу завалился спать.

— Переживает, — шепнула мне хозяйка. — Зинка его закапризничала, эгонистом назвала... Да куда она денется? Покапризничает и перестанет. А я за своего Сергея, ты думаешь, Количек, сразу пошла? Тож за нос поводила! Пока не поженились, я его и близко к себе не подпускала. Сергей мой, как и ты, приезжим был...

Но я уже не слушал — мне вдруг пришла в голову одна идея.

— Извините,— сказал я, схватив телогрейку.

— Куда это ты, Количек, на ночь-то глядя?..

— На вышку!

И я опрометью выбежал из дому.

А утром я пришел и сказал:

— Ну, Анна Романовна, уезжаю...

Перед этим я полтора часа просидел на почте. Прямо с вышки прибежал, а она еще закрыта. Нигде клочка бумаги. Вспомнил, что в левой сумке журнал геологический. В нем еще чистые страницы были. Выдрал их, карандаш схватил и принялся Витьке Столярову письмо строчить.

«Ты, — писал я, — черт косолапый! Коптишь там и ничего не знаешь. Конечно, я большой дурак... Посмотрел бы ты на Ведерникова: от удивления глаза выкатил на лоб, потом как заорет: «Ура!» — во всю глотку, аж ребята из домика повыскакивали — они еще не спали. Я тоже сначала рот разинул, но потом на него: «Чего орешь?» А он ноль внимания. «Вода! Братцы, вода! Мокрая!» — и под струю прямо в валенках.

Славка Комаров тоже из домика вышел. В одной майке. Постоял, поглядел, плечами передернул — холодно. «Подумаешь, воды не види!» — и в домик пошел, руки в карманах, спина согнутая.

Вообще-то, Витька, я сам виноват. Скважину желонировал Славка, мне бы присмотреть за ним, а я... Он один раз желонкой слазил и, дескать, хорош. Скважина не разглинизировалась, а фильтры-то мы посадили. Вот после этого и думай, то ли они на водоносный горизонт не попали, то ли воды нет. Без каротажа, сам понимаешь... Оно-то, если воды много, скважина могла бы «раскачаться», а не учли, что полное поглощение было, Славка глиной томпонировал. Вот и затомпонировал... Теперь-то ясно, как белый день, что да почему, а тогда — ломай голову!

Признаться, мне Поперечный помог. Другой бы сказал: «Ты геолог, ты и смотри». Тебе ли говорить, какие буровики бывают. А Поперечный первый меня на мысль навел. Но как содрать со стенок скважины глину? Попробовать приподнять фильтры? А на наших фильтрах такие ушки, что чуть задел — и... Возьмут и совсем скважину перекроют. И ты знаешь, какая идея мне в голову пришла? Потолочь воду в скважине! Да, да, потолочь воду!

Я даже хозяйку свою перепугал, рванулся так из комнаты. Прибежал на вышку среди ночи... Легко сказать: потолочь. Фильтры заденешь, сетку на них прорвешь — все пропало. Я не знаю, как Поперечный на это решился. Ведерников ему помогал. Славка Комаров отказался, хотя это в его смену было...»

Написал я это письмо и ухватился за другое.

«Милая мама! Через три-четыре дня жди меня. Теперь я обязательно приеду. Вот увидишь, мама! Ты себе не представляешь: на Новый год я — дома! Схожу в лес за елкой, украсим ее... Я, мама, привезу еще игрушек, а то те у нас уже побились. Здесь есть в раймаге, красивые такие, только за ними большая очередь. Но я все равно достану, день буду стоять, а достану. До скорой встречи, мама!»

Итак, я уезжаю. Что же мне ответила на это хозяйка? Промолчала вроде бы нахмуренно, а через минуту уже весело проговорила:

— Количек, дай я тебе что-нибудь постираю на дорогу.

Я промочил на скважине валенки, набирая в бутылки воду на анализы. Мороз превратил их мне в деревянные. Я прошелся по комнате, постукивая, как конь копытами.

— Спасибо, Анна Романовна, кажется, особенно нечего... Разве что портянки.

— Ну, давай портянки. Давай, Количек, пока плита горячая. Может, ты в баньку сходишь? Я слажу на чердак, веничек достану. Хорошие венички, березовенькие. Я сама их каждый год... В лес пойду, навяжу...

Стирая мои портянки, она чуть ли не подпрыгивала от радости. Постирала, развесила над плитой, и ни слова о том, что я уезжаю. А мне хотелось, чтобы она что-нибудь сказала.

Прибежала Светка.

— Свет, я уезжаю!

— И больше не приедешь? — Светка уцепилась мне за руки. — А чего так? Чего, Ко-оля?.. Ты уедешь, и мы никогда с тобой не увидимся. Это все равно что ты умер.

Я стиснул Светке ручонки.

— Свет, а ты? Ты ведь для меня тоже все равно что умрешь...

— Ой, правда! И я умру! — Светка запрыгала. — И раньше я была мертвая, и ты был мертвый. А ты приехал, и я стала живая! И ты стал живой! Интересно как!

Пришел Гриша. Узнал, что я уезжаю, и пришел. Он стал передо мной с таким видом, точно хотел сказать: «Ну, что, доигрался?»

— Теперь куда?

— Сейчас — домой, а потом... Потом, куда пошлют...

— И снова вот так? — движением головы Гриша добавил: «Как здесь?»

Закурив, он выпустил дым колечком и обернулся к матери:

— Ма, так я хотел это... Хотел и не купил, в Гомеле опять кофты появились. Красивые такие, как раз на тебя. А у меня денег — три рубля. Понимаешь, в магазин вошел, а денег...

— Ладно, сыночка. У меня эта еще хорошая.

— Ну ты подожди! Я вот поеду и куплю — их не разберут. Я за-был, тебе красную или зеленую?

— Зеленую, сыночка, зеленую.

Она сама уже забыла. Ведь она просила красную! Я хорошо это помню.

— Ма, так ты не сердись, — сказал Гриша. Возле дверей обернулся, бросил мне: — Ты не забудь на проводины позвать.

— Какие еще проводины?

— Какой ты, сыночка, бессовестный! — сказала хозяйка.

— Ма, ты чего? Мне его водка нужна? Я просто так... Ма, я же просто! Если проводины, давай проводины. По тройку скинемся и...

— Иди, иди уже, сыночка! Пристанешь, как тот милиционер!

— Да я ничего... Я же ничего, ма!

В пять часов пришли Иван и Петька. Им я сказал так:

— Ну, драчуны, теперь можете дуреть!

Иван и Петька вытаращили глаза: не поняли.

— Уезжаю я...

— Вот у кого работка! — воскликнул Иван.

— Да, три месяца потемнил и до свидания! — подхватил Петька.

Иван и Петька... Неразлучная пара. Правду говорит хозяйка: у них много жиру.

Хорту я сказал:

— Вот я и уезжаю... Быстро как!

Хорт промолчал. Он лишь пригладил лалонью свою желтую челку.

— Вроде бы и не хочется,— продолжал я.— Привык уже...

Но Хорт все равно молчал.

Всё у меня: пальто, телогрейка, валенки, кирзовые сапоги, костюм, туфли, рубашки, галстуки, полотенце, мыло, бритвенный прибор, зубная щетка — было уложено в чемодан, вбито в рюкзаки, пересортировано, увязано лямками. Оставалось купить билет на поезд, и через несколько часов я дома, у мамы!

— Количек, тебе телеграмма,— сказала хозяйка, держа перед собой синюю бумажку.— К Варьке занесли. У них дом пятьдесят, а мой пятьдесят «а». Уже целый день она у них лежит: они, Количек, твоей фамилии не знали... Ни Гриша, ни Варька... А Райки дома не было. Скажи спасибо Светке,— протягивая мне телеграмму, продолжала хозяйка.— Она уже: «Это Коле! Вот увидите, Коле...»

«Поздравляем успехом,— прочитал я.— срочно выезжайте партию получением нового задания Отгулы получите марте Савочкин».

— Это мой начальник,— сказал я.

г. Злынка, Брянская область.

Анатолий Кривоносов родился в 1937 году в деревне Кривуша Брянской области. После десятилетки поступил в Киевский геологоразведочный техникум. Во время учебы в техникуме и по окончании его работал на Северном Урале, на Курской магнитной аномалии, на рудниках Казахстана и Забайкалья сначала буровым рабочим, коллектором, техником, затем инженером-геологом.

В последние годы работал в газетах «Брянский комсомолец» и «Брянский рабочий». Сейчас учится в Литературном институте имени А. М. Горького.

«Простая вода» — первое произведение А. Кривоносова.



ВИКТОР ЛЕСИН

★

ВЗРЫВ

Рассказ

Тридцать, сорок лет — не больше — живет шахта. А потом кончаются запасы угля, уходят шахтеры, зарастают дурной травой шахтные двory. Свистит ветер в ржавых переплетах заброшенных копов и галерей. Молча стоят ободранные, грязные, наполовину растащенные стены. И только на голых, слежавшихся боках терриконов еще долго курятся дымки, посылая в полынный степной простор едкое удушье: порода тлеет долго, иногда десятилетиями. Нет зрелища более печального, чем бывшая шахта.

Но эта умирала не от старости.

— Так вот так, Кириллович. Придется тебе самому. Сможешь?

— Да надо делать, раз надо.

— Надо. Но тут такое дело. Приказано, что главный инженер лично отвечает, понял? А я не могу, ты же знаешь, что у меня. Я другому бы не доверил. А ты у нас надежный, так?

— Да не знаю, вам виднее...

— Сейчас пойдешь на шахту, сядешь у меня в кабинете. Там будешь их ждать. Если кто позвонит — отзовешься и скажешь, что я на стволе. Если скажут «позови» — выкручивайся как-нибудь — не имею права отлучаться или идти далеко, — да кто там позвонит, уже и связи, наверное, нет. Подрывная команда должна быть в четырнадцать ноль-ноль.

— А чего мы вообще сами не рвем?

— Так приказано. Покажешь им наше хозяйство, расскажешь что и как. У них должна быть инструкция, что на какой шахте рвать. И они же тебя доведут до Ясиноватой. Ты бабку погрузил?

— Погрузил.

— Ну и, в общем, ничего страшного я не вижу. Мы уже часть дела сделали, пока ты там технику свою грузил. Левая клеть сейчас висит под нулем, мы в нее вагонку взрывчатки поставили. Там немного взрывчатки оставалось, мы ее под машину заложили, в котлован. Так что ствол у нас готов, и машина частично готова. Что там они еще будут рвать, они сами знают. Твое дело — встретить, может, помощь какая им понадобится, ну и мне нужно знать, чем все кончилось.

— А так...

— Ключ тебе вот от кабинета, а это от сейфа. В сейфе, на самом верху, увидишь там — коробка дегонаторов и затравки бухта — что осталось. Может, пригодится. Все понял?

— Все.

— Ну, бывай. Мы поехали.

— Счастливо вам.

Полез главный на паровоз, а лесенка непривычная. До верхней ступеньки добрался, левой рукой мешковину мазутную, что вместо двери висела, отвел, а весом его вокруг правой руки развернуло — еле удержался. Кочегар ему там сверху помог, втащил на паровоз. Машинист дед Степан на правое крыло вышел, на окно облокотился — фуражечка его знаменитая с переломанным козырьком, верх суконный, а блестит, как кожаный — до того засален. Зашипело внизу натужно, а дышла — ни с места. Такая машина эта «ижица» — пар у ней из котла сперва в правый цилиндр идет, а уже из правого в левый. Ежели правый на мертвой точке, она с места не идет. А тут еще в горку чуть.

— Ты гудок дай, дед Степан. Не хотит она без гудка. Не привыкла.

А гудеть с начала войны запретили. Потому что всякий гудок люди за воздушную тревогу принимали.

Тронулись однако. Дыму напустили — шахтная кочегарка так сроду не дымила. Уголь-то напоследок нескитанный, немеряный. Минут через двадцать на Бельгийке будут, потом Златополье, Агеевка, Камышная — а там и Ясиноватая. Там уже свой эшелон очереди ждет. А нам пока на шахту топать.

С этой стороны ее и не видно — террикон и сортировка все закрыли. Сортировку не будут, видно, рвать — ее чтоб взорвать, пульман динамиту нужен.

Да. Остается жить «Вертикальной» часа три — три с половиной. Она и сейчас уже неживая. Вентиляторы стоят, а двенадцать лет завывали без передыху. Зимой, перед тем как спать ложиться, выйдешь на крылечко воздуху взять и слушаешь: если четвертого шурфа вентилятор слышно — значит, отпустит к утру, мокрый ветер задует, ну, а если с третьего — звони в кочегарку, чтоб не спали, московский ветер идет, двадцаточка — не уследишь, полные стволы льда нагонишь. Точней любого прогноза. Как гудели вентиляторы, никто к ним, верно, кроме Кирилловича, не прислушивался, а как стали — все услышали. Собаки и те, как перед концом света, взвыли.

Стоят вентиляторы, стоят и камероны. Заливает шахту черная вода. Тонет шахта. «Не бойся, шахтер, воды, бойся пыли». Это про такую воду сказано, когда она только намочить может. Всего, шахтер, бойся.

Да нет шахтеров ни в шахте, ни на шахте. Шахтный двор — как кладбище после землетрясения. Была у «Вертикальной» самая красивая поверхность — нарком даже как-то на слете ударников с трибуны по заведующему шахтой прямо жажнул: «Конечно, Сенченке некогда углем заниматься. Он там у себя на шахте садовником заделался, все цветочки разводит да ягодки. Не шахта, а какой-то горсад».

А людям и цветочки приятные. Октябрь вот сейчас, а канны бы цвели пожаром. Только нету их — как война началась, прекратили за цветами ухаживать, посохли они. А у Ивана Кирилловича достояли-таки георгины до последнего дня — лиловые и желто-горячие, в две ладони размером. Вчера уж Никитична посрезала. «Чтоб Гитлер ни одного моего цветочка не увидел».

Мусора на шахтном дворе — состав нагрузи и «ФД» не потянет. Откуда что и взялось. Это ж еще ничего не взорвано, копер только на главном стволе повалили. Валил его Иван Кириллович и за сердце держался. Красавец был копер и простоял всего четыре года. До этого один ствол на шахте был, и людей и добычу им качали.

Сцепом из двух «ЧТЗ» его валили. Застреляли «сталинцы» дизелями, заплясали прогарные флюгарки на ржавых выхлопных трубах, полетели в небо стопки дымных колец. Натянулись тросы. Заскрипел копер в суставах, закивал головой на сорокаметровой высоте — и замолотили «сталинцы» гусеницами вхолостую, не взяли. Но недолго держали подрезанные автогеном ноги — отошли тягачи назад, рывком натянули тросы еще раз, поклонился копер земле и стал падать. Вывернулась дыбом кровля надшахтного здания, стала на попа вместе с кроквами и рассыпалась, а он все чертил сорокаметровую дугу, и просвистел воздух, и глухо ударило в землю клепаное тело. И тихо стало. Только «ЧТЗ» продолжали еще тарыхтеть — нудно, ненужно.

Вспомогательный ствол не трогали пока — выдавали из шахты оборудование в эвакуацию. Потому и копер стоит, а через пару часов лететь и ему вверх тормашками. Тысяча пятьсот шестьдесят девять заклепок в нем, уж Иван Кириллович знает, греет он эти заклепки в двадцать шестом и клепальщикам бегом подавал. Как раз из села попал на эту индустриализацию.

Мехцех за вспомогательным подъемом сразу — длинный, приземистый, окнами в землю врос. Крайняя слева — дверь в кузню, настезь она, и подкова к порогу прибита — не то на счастье, не то для вывески. Мастеровал тут Гриша-кузнец, здоровый цыган, росту лейб-гвардейского, и руки ниже колен болтаются, а кулак — заместо боевого молота любую поковку отшлепать можно. И молотобоец у него, Павло глухонемой, он только звон ручника по наковальне слышал, а силой и его не обидел бог, шахтную рельсу руками гнул, без ничего. А больше подручных не брал себе Гриша, хоть Иван Кириллович был не прочь еще одного кузнеца обучить — работы много. Да и поили Гришу частенько шахтерки — той кочергу надо, той сапку, а будь еще один кузнец в кузне, хоть и плохонький — Гриша бы себя аккуратней держал, как-никак конкуренция. Зато и мастер был. Раз на спор иглу для швейной машинки отковал — и острие оттянул, и ушко оправил — и все одним молоточком, а игла — лучше заводской. Пил зато любую жидкость, от самогона до одеколона. Пузырек тройного высосет, а последние капли на ладонь вытряхнет и волосы помажет. Культурный, иначе не мог.

Рядом через дверь — котельная мастерская. Там бригада дедов-глухарей работала. Мудрые деды, не спешат, когда ни зайди — все яичницу на горне, на малом огне сочиняют. Не поймешь, когда и работают. А дай один наряд этим и кто помоложе — эти раньше сделают. Правда, схалтурить могли запросто, это у них было — работу после них вполглаза примешь — в дураках останешься.

В августе воинская часть тут проходила, и затащили на шахту пушку-сорокапятку — щит осколками побило, надо сменить. Подкатили ее к мехцеху. Вышли деды, походили вокруг нее, колеса пощупали, в ствол заглянули. Дед Василь сержанта спрашивает:

- Это вы этой пушкой воюете?
- Воюем.
- И стреляете?
- Землю пашем.

Обозлился сержант, а дед Василь говорит деду Миколу:

— Деж они, задрипанцы, свои пушки дели, а, Микола? Я парад на Красной площади в газете видел, так там таких орудиев не было. Что это за щит — котельная шестерка? Давай, сержант, мы тебе двадцатку поставим, и пошире пустим, и повыше, чтоб и в голову и в задницу немец не попал.

— Не надо,— сержант говорит,— а то мы ее с места не сопхнем. Нам ее самим таскать приходится.

Так его и не уговорили деды.

Еще дальше — токарная мастерская, да туда Ивану Кирилловичу не надо. Через кузню, через котельную — на ту сторону, в контору.

Кабинет главного — на втором этаже, его только дверь и закрыта, а прочие все открыты настежь, и пепел везде валяется и летает — бумаги жгли. Это теперь по всему поселку — горелым пахнет.

В кабинет этот с робостью входили: главный у них хоть и молод, а крут. Сам кабинет строгий — панели, стулья шведские, стол письменный и для секретарши столик — все мореный дуб. Стол для заседаний под сукном зеленым, как платформа железнодорожная с открытыми бортами. Лампа настольная на мраморной ноге (точь-в-точь нога, как на Дворце культуры колонны, только меньше раз в двадцать). Два книжных шкафа враспор набиты, и книга самая тонкая — миллиметров пятьдесят толщиной.

У стола слева — селектор, из него кабельки и проводочки жмутом выдраны. А от телефона тянется провод. Может, и связь работает?

Живой телефон, потрескивает. А не отвечает никто. Видно, эвакуировали уже районный узел.

Ну что ж, посидим, покурим. Оно и перегрызнуть бы уже не мешало, да нечего. Тормозок сегодня у Ивана Кирилловича был богатый — чуть не полкурицы (трех последних курей зарубила в дорогу Никитична), да есть не хотелось, отдал ребятам на погрузке. Сейчас в дело был бы тормозок. Табак же вергун Иван Кириллович прямо в карман насыпает, Никитична вечно ворчит, что во всех карманах эта нечисть, а напрасно — ни моль, ни иная живность не заведется. Горит вергун, как дрова — с треском, он и с виду дресва дресвой, как опилки, никакой благородной волокнистости нету. Но привык Иван Кириллович к нему, в хорошие годы его курил и в плохие, вкусный дымок, как хлеб.

Газетку надо отыскать. В шкафу внизу, наверное, есть подшивки. В шахтome их всегда на низ складывают.

Не видно газет, и тут книги. Надо их вытащить, может, за ними какая завалилась. Когда только главный эти книги читает?

Вот из этой «Врубовой машины ГТА-2» мы и выдерем листик, бумага подходящая, а машина эта один черт никуда не годится, уж это Иван Кириллович знает, у них на шахте ее испытывали. Цигарку заделаем на три четверти дюйма, чтоб в Караганде не журились.

Телефон. Что это надумал?

— Я вас слушаю. Слушаю.

— «Вертикальная»? — торопливый голосок девчонки, а может, и тетки, нам не видно.— Ответьте товарищу Птицыну.— И другим голосом, с певучей расстановочкой: — «Вертикальная», главный инженер у аппарата.

Сипло в трубке так, но понятно:

— Алло.

— Механик шахты «Вертикальная» Заговоричев.

— Кто? Механик? А Литовченко где?

— На стволе, Иван Никитович. Пригласить? (Вдруг скажет: зови?)

— Не надо. Времени нет. Ты что, на его телефоне?

— Так точно. Дежурю.

— Дежуришь? Ну дежурь. Шахту взрываете?

— Нет. Ожидаем подрывников.

— Подрывников не будет. Взрывать самим. Немедленно. Так и передайте Литовченке. Всс понятно? Средства взрывания есть?

— Есть. Все понятно.

— Поторапливайтесь. Докладывать не надо, сами увидим. Все.

И — омертвел телефон, теперь уже и шороха не слышно.

Делать-то что? Может, правду надо было сказать? Дал бы саперов, взрывчатку?

Нет. Нету у него саперов. И взрывчатки у него нет, откуда взрывчатка в райкоме? Все равно, если немцы близко, поверхность минировать некогда уже. Ствол — главное. А ствол мы и сами взорвем.

Вот ключ от сейфа, с бородками тройными на обе стороны, длинный, головка с фасоном, как крест соборный.

Два оборота, музыка, на себя — пятидюймовая дверка открылась.

Одеколна пузырек (жаль, Гриши-кузнеца нет), тетрадей школьных стопка, подшипник. Кнопка «гоп-стоп». Линейка логарифмическая. Пластинки для «Фотогора» в коробке. И все. Детонаторов нет. И бикфорда нет.

Вот это дела. К телефону!

Молчит телефон. Вот теперь уж нет связи.

В столе, может быть? Ящики — один, другой, третий, все шесть. И верхний. Нет ничего.

Забыл главный. Суток трое он не спал. И жена у него рожает. В первый раз рожает.

Ну, Иван Кириллович, работай сам. Нет для тебя безвыходных положений. На то ты шахтер.

...На здание подыматься по железной лестнице — ступеньки из рифленки, прогнутые — сколько ног по ним протопало. Вода ржавая на ступеньках стоит, некуда ей стекать, а надо бы в каждой ступеньке пару дырок проколоть сверлом, для стока, — по технике безопасности сухие должны ступени быть. Не собрался Иван Кириллович.

В здании углем пахнет из ствола — сильно и глухо. Лес так пахнет сухой предснежной пасмурью, уже облетит когда. А солнышко высветило чуть — текут пылинки над черной дыркой, в обмасленные железные решетки взятой. И на лавках-ожидаловках, дочерна спецовками отполированных — черней рояля во Дворце, — тоже зайчики слабенькие. И лозунги по стенам, только не те, что к праздникам вешают, — свои на здании лозунги. «Наша шахта — опасная по газу и пыли». «Входя в клеть, зажги лампу даже при включенном стационарном освещении». «Посадка в клеть — только по разрешению рукоятчицы».

Стволовая решетка легко подалась, а уж сколько ее не мазали. Здесь левая клеть, крышей на уровне пола. Ляда в крыше залегла — не подковырнешь. Но это полдела, ломик всегда на здании есть, стопора для вагонов тут автоматические, а где есть автоматика — лом всегда первый помощник.

Вот он, ломик, возле стопоров и лежит. Концом его под ляду. Не хочет, зануда. Мы с другой стороны.

Открылась. Стоит вагон в клетке, а с чем он? Теперь уж все самому пощупать надо.

А лазить уже тяжеленько. Против брюха руки слабоватые стали. Да уже недолго лазить осталось.

Почти под верх аммонита в вагонке. И куртками резиновыми они его в три слоя укрыли. Слава богу, хоть тут все правильно. Многовато, правда. Можно бы пару пудов отсюда под машину взять. Да теперь уже некогда.

Вот так сделаем. Обрежем на подъеме левый канат. Огня аммонит не боится, ударов тоже не шибко. Одну детонацию признает. Был

бы динамит — никакого разговору. Но и так обойдется. Здание останется, но ствол разнесет капитально. А парашют клетевой расклинить чем-нибудь — да вот хоть этим ломиком. Чтоб не вздумал клеть придерживать. Можно вылезать.

Ломик как раз к парашюту пришелся. Как по заказу деланный. Это на всякий случай, парашют и так вряд ли бы сработал. Его по инструкции каждый день проверять надо, а этот месяц и не смотрели.

...В токарной мастерской на полу рамы оконные бледно так пропечатались — яснее денек. Анкера из фундаментов торчат сикось-на-кось — посрывали станочки, покидали навалом в пульман, сверх еще врубовками придавили — что там до Караганды доедет?

Ящик со стружкой опрокинут — стружка по всему цеху.

У Ивана Кирилловича кабинет не то что у главного — не кабинет, а так, кайбаш. Мебель вся железная, своих краснодеревщиков работа. Кресло ему в прошлом году из конторы прислали — отдал машинистам на подъем. А ему сиденье хлопцы заделали — табуреточку круглую с винтом, на треноге — несгораемое сиденье, и геморроя век не будет.

Зато сейф у Ивана Кирилловича в три раза больше, чем у главного. Даже не сейф, а целая ниша в стене, за железной дверью, и там все есть. Слесарного инструмента на бригаду хватит. Сумка у него не брезентовая, как у слесарей, а кожаная, надо будет взять с собой, в Караганде при нужде подметок нарезать можно.

Три зубила на виду — все три и возьмем. Зубила у него заводские — сталька добрая, когда на точиле управляешь — звездочки белые летят.

Ключ газовый — брать его или не брать, он в сумку не лезет. Взять, видно — еще ж машину портить надо. Оправки. Нож. Пассатижи. Откуда эти пассатижи взялись — не его они, ручка на отвертку заточена, так только ханьги делают, порядочный слесарь руки свои бережет и отдельную отвертку имеет. Ножовок пачка. Станочек к ним. Ручник восьмисотграммовый. Монтировку, клещи — это тоже в руке нести надо. Да, и балодку чуть не забыл, похватная такая балодочка, на короткой ручке. Всей снасти пуд не пуд, а сорок фунтов будет.

В подъеме — кабак, какого отродясь не бывало. Не мыто, не метено, по углам чьи-то шахтерки прогарные валяются. А чисто было, не хуже, чем в медпункте, плиточка метлахская после тряпки не просыхала, окна каждую неделю изнутри и снаружи мыли. Машинистки только в белых блузках к рычагам садились. Машинка у них американская, Вельман, одна такая на всю округу — благородной светлой бронзы, работает, как пчелка, — отвернись, и не поймешь, стоит или крутится. Красавица машина. Вот и ее ломать надо, все что бьется — побить, в редуктор песку насыпать, болтов мелких; гвоздей в кабели понабить, можно еще масло из редуктора в котлован спустить и там запалить. С машиной легче, сперва стволом займемся.

Тридцать восемь миллиметров в канате, сто четырнадцать проволок. Натянут он до звона, и резать его — остерегаться надо. Мотанет концом вбок — ни один доктор потом голову не приставит.

Вот в этом месте мы его режем. Ножовку в станок опрavitить — тоненькое полотнишко, узкое, а — как пружина, в кольцо свернуть можно, и по синей побежалости — два человека сцепленных пляшут — Золинген. Приложимся, жим не сильный и не слабый, на себя — от себя, и

первая стружечка сыпанулась. Дело-то мы сделаем, мы надежные, как главный говорит, а вот как до Ясиноватой теперь добраться?

А натужно ножовка режет, с писком, почти что не берет. Хороший канатик свили в Сталинграде, на сталепроволочноканатном.

В Караганде тоже, наверное, на сталинградских канатах работать будем, не приблизится же немец к Сталинграду, ему где-то у Ростова, у Ворошиловграда должны стоп пробить. Да оно и не в канате, видно, дело — просто давно с металлом не работал. А металл ежедневного уважения требует. А был металлистом не из последних, хоть не потомственный, по-потомственному ему полагалось землю пахать, да уж так привелось, что попал он в двадцать шестом из хлеборобов в углекопы. Артельный его принял, Яков Потапович, принял-таки, а поначалу неласково встретил. «Из деревни? По металлу без понятия? Иди-ка ты, парень, в забойщики — сила есть, там и заробишь больше. А у нас — полный комплект». Стоял Иван Кириллович, не уходил. Разозлился артельный. «Что стоишь? Нам тебя обучать некогда. Нам готовые нужны. Чтоб работать». — «А я буду работать. Я в деревне кузнецу помогал и на германской, на гражданской все оружейные системы лечил». Почесал губу артельный, взял ручник, взял зубило. «Ну, если ты такой храбрый: переруби вот эту хреновину за три удара». Проволока стальная в четверть дюйма торчала из стены длинной так в полсажени — как ее ни руби, гнется она. Только Иван Кириллович эту подловку ухватил. Левой рукой зубило под проволоку жалом вверх подставил, а сверху молотком стукнул — за три удара не вышло, но отрубил быстро.

«Нагревальщиком заклепок пойдешь?» А куда ж денешься? И этому был рад.

Недолго он нагревальщиком побегал. Хватал новое дело руками и глазами. Слесарем второй руки год пробыл — первой рукой пошел. Квартиру дали как ударнику — половина стандартного домка на два входа. Купил никелевую кровать, зингеровскую машину, с рук, почти новую. Вот только детей не было у них с Никитичной, не прошли для нее беспмятно те двое суток, когда отсиживались они в камыше, залитом ломающей ноябрьской водой. Без жизни и боли деревянными руками сжимал он тогда желтую ложу драгунки — землей и салом пахла она, — и качался пьяный стоячок мушки в черной щербине прицела. Но не нашли их, не искали, видно.

Поясница что-то болит — или радикулит к зиме разыгрался. У шахтных слесарей радикуль — первая болячка: всегда в сырости, всегда на сквозняке, на холодном железе. Как токарь в мехцехе чугунное что-нибудь точит — обязательно кто-то возле него с торбой стоит, стружку на лекарство собирает. Она тяжелая, стружка, и тепло долго держит, но Кирилловичу это не помогало, как заболит — никакого спасу нет.

Как он плохо ни режется, канат этот, а конец ему будет. Как же все-таки в Ясиноватую добраться? Надо будет на конный двор сходить, может, осталась какая лошаденка, не прошла под мобилизацию. Все ж быстрее будет. Верхом, правда, сколько уж не преобывал — лет семнадцать, ну да уж вспомним как-то. В Первой Конной злой у него был Воронок, от порохового дыма да от крови зверел — не жеребец, а Змей Горыныч. Сменял его Иван Кириллович перед самым бессрочным на Зорьку; на землю ведь шел, в мужицком деле кобыла большую цену имеет. И не просчитался он в Зорьке — что в плуг, что в борону, что в свадебную запряжку, и жеребят исправно носила. И диво — с каким жеребцом ее ни сведи, а жеребята в нее, капля в каплю, до пятнышка. Здесь уж, на Донбассе, ни разу родное село Ивану Кирилловичу во сне

не привиделось и никто из сельчан, а все Зорька да Зорька. Частенько он с тоски на конный заворачивал, хоть механику там делать нечего. На «Вертикальной» тоже хорошие кони были, заведующий конного двора дед Павло не пил и не воровал, а коней любил, для дела старался. Выездные у начальства были такие, что ездовые про кнут забыли. А ломовые посто двадцать пудов в одиночной запряжке в горку везли. Сытые.

И в нарядной кучеров хорошо — печь всегда топится, и зимой и летом, в углу овес моченый в бочке киснет, сено на полу. По лавкам, по стенам — снасть всякая лошадиная, а над столом дощатым две картины большие висят — собственное деда Павла художество, он всю жизнь красками мазал, все простыни жинке перевел — и с открыток по клеточкам, и с живого срисовывал. Одна картина — «Девятый вал», такая же з шахтome висит, а на другой ночь морозная, лунная, село в белом снегу выше пояса, и медведь идет селом на деревянной ноге. Окна во всех избенках темные, в одной только светится окошко, и дымок из трубы вертикально вверх — и смотрит медведь на это окошко, смотрит, и слышно даже вроде, как он вздыхает, посмотришь, посмотришь — и сам вздохнешь...

Пушечно лопнул канат, в ушах зазвенело — ни отскочить, ни испугаться. И прямо пошел конец, как палка. Наверх, к шкивам. Другой, короткий кончик по барабану хлопнул лениво и в котловане закачался. Тихо. Не взорвалось или звук в стволе застрял? Так не должно — ствол что рупор. Надо глянуть.

По лестнице бегом в надшахтное. Канат висит петлей, за станок захлестнуло. А клеть? Рванул Кириллович решетку, на брюхо плюхнулся и глянул в ствол.

Недалеко ушла, собака, метров пятнадцать. Хороший парашют, вернее — механик плохой, дурной, как сало без хлеба. Ломик как следует вставить не сумел. Да что ломик — надо было валики из шарниров повыбивать. А теперь что делать?

Что хочешь теперь делай, а ствол взорви. Оставили тебя, так помогай бойцам и командирам. Им кровь проливать, пока ты на карагандинском фронте воевать будешь.

Он вернулся в мехцех и стал одеваться. Брезентовые штаны — круглые штанины торчат, как трубы. Куртка черная, молескиновая, поверх нес ватенка — все это в штаны, взаправку. Наверх еще брезентовку натянуть — задубела, трещит, как фанерная, вся двойная — налокотники, наплечники, нагрудники. Сапоги яловые долой, а на ноги цельнолитые стахановские чуни, только сперва левую портянку на правую ногу наматывать, а правую на левую — так всегда шахтер переобувается, если сухих нет. Пояс монтажный поверх брезентовки, оба ремешка на последние дырки, цепку на шею, конец на карабин — походная изготовка. Две надзорки взять — вдруг издохнет какая, давно не подзаряжались. На подъем зайти, инструмент обратно взять. И — полезли в ствол.

Еще хорошо, что слева лестницы — легко будет на клеть перелезть. В стволе уже не углем — погребом сырым пахнет, и вода шумит, бежит по бетонитам, сильный шум, рвоный, как в хороший дождь на реке в гихую погоду. Уши закладывает. И лестницы железные пятиметровыми маршами — до того обмытые, даже ржавчина не садится, а подошвы скользят. И триста восемь метров пустоты под тобой — полчаса донизу лезть.

Кошкой когда-то Иван Кириллович по этим лестницам бегал, никто за ним ни в стволе, ни на высоту угнаться не мог, а теперь брюхо отросло, вот и спускается он не спиной к лестнице, как шахтному слесарю положено, а задом наперед, как баба. Не страшно: не видит никто.

Через этот ствол Иван Кириллович и механиком стал. Как медалью отличили за храбрость. Митрич тогда на него долго дулся. Пока с шахты не ушел. Да разве Иван Кириллович думал, что так дело обернется?

Вагонетку с лесом упустили тогда в ствол, рукоятчица, раззява, за была стопора закрыть. Прошла вагонка до самого зумпфа — не зацепилась, только следом за ней долго еще всякое железо из ствола сыпалось и гремело. Было это в тридцать пятом, пятнадцатого сентября.

Главный на ствол прибежал, а там все слесаря подъема сгрудились. И Митрич тут же, он споко-ойный, Митрич, мудрый был. Быстро никогда не ходил, не говорил.

— Что делать будем? — главный спрашивает.

А Митрич ему врястяжку:

— А что делать? По лестницам сейчас пролезем, просветим, простукаем — определимся, что и как и где, начнем латать.

Он цену себе знал, Митрич.

— Ты так долго будешь определяться. С клетки смотреть надо.

— А кто на клетки поедет?

— Ты поедешь. Твое хозяйство — ствол. И я.

— А я не поеду. И никто меня не заставит.

Опасно это — ехать по стволу с нарушенной армировкой. Очень опасно. Да ведь шахта стоит.

— А я тебя и заставлять не буду. Кто поедет?

Шагнул вперед Иван Кириллович. Не то что он других храбрее был — нет. На подъемах слесаря — орлы, кило водки за раз выпивают и кило сала закусывают. И дело знают, придурков на подъемах не держат. А просто — вышло так. Шахта стояла.

Стали они с главным на крышу клетки, карабинами за канат зацепились и пробили сигнал «один-три» — тихо вниз. И проехали ствол. Как там у них поджилки тряслись, как гремела клетка на разбитых местах — дело прошлое. Но проехали. Удачно просвистела вагонка, нигде особой разрухи не наделала. Часа через три качали уже стволом.

Но главный жесток был. Еще ствол не качал, а уже приказ отстучали. Митрича — в слесаря, Ивана Кирилловича — в механики.

Было такое дело, и другие были, а такого, как сейчас, не было.

Вот и клетка. Намертво парашют в проводники вцепился. Ломика и не видно: вышибло его или выпал.

Да черт с ним, с ломиком. Сейчас вот что сделать надо. На расстрел встать, поясом за что-то укрепиться и выбить центральной валик подвески. Парашют останется, а клетка загремит вниз. Только есть в этом деле один тяжелый момент: ствол — что пушка, аммонит на дне грохнет, а за снаряд Иван Кириллович сыграет. Костей не соберешь, пожалуй.

А может, не выбьется валик? Клетка-то на нем висит, люфта в подвеске нет. То еще хуже — вылазь наверх и сдавай немцам ствол по акту. Целенький.

Перелезем на клетку, отдохнем чуть. Что было — видели, что будет — увидим. Прощай на всякий случай, Никитична, долго с тобой жили и ладно. Прости уж, тяжело тебе одной будет, кому ты там нужна в Караганде.

Закурить бы, да нельзя в шахте курить. А сильно хочется. Ну, расплигтовывай валик, Кириллович. Легонько толкнуть его. Чуть. Ах гы, зараза, бегом побежал. Хорошо тебя мазали, так легко трогаешься.

Вот и все. Добывать его с расстрела надо, а вниз там лететь или вверх — богу виднее. Факт тот, что служба будет исполнена. А это в нашем деле — главное.

А все-таки курить охота здорово. Никитична курцов не терпела, ему только снисхождение делала. Она ему во всем снисхождение делала.


А может, все нормально будет, не дойдет сюда взрыв... Выбраться бы. Какая жизнь ни тяжелая, а жить хочется...

Он все-таки услышал взрыв и на несколько мгновений почувствовал невесомость — ощущение, ставшее привычным для космонавтов.

Но до космических полетов было еще далеко. Шел сто двадцатый день войны. Многие из двадцати миллионов уже погибли, но гораздо большему числу наших людей умереть еще предстояло.

Виктор Лесин родился в 1936 году в городе Красноармейске Донецкой области. В 1958 году закончил Харьковский политехнический институт имени В. И. Ленина. Работает главным инженером ремонтных мастерских треста «Красноармейск-уголь».

Печатается впервые.



ВИКТОР НЕКРАСОВ

★

В ЖИЗНИ И В ПИСЬМАХ

АЛИНА АНТОНОВНА

В изголовья кровати моей матери висит в белой с позолотой раме картина, на которой изображен букет чайных роз и еще каких-то неведомых мне белых цветов (к своему удивлению, я только сейчас их обнаружил, хотя картину эту помню с тех пор, как помню самого себя) в фарфоровой вазе, стоящей на дощечке. Внизу справа дата — 1874 и подпись — А. Эрнъ. Акварельный букет принадлежит кисти «благородной девицы» Алины Эрн и сделан на уроке рисования в Смольном институте, когда ей было семнадцать лет. Чуть ниже роз в дубовой рамке фотография красивой девушки в белом кружевном платье, с медальоном на шее, зачесанными назад волосами и длинными буклями. Рядом с ней другая фотография — пожилой дамы в очках, за письменным столом, вполоборота повернувшейся в сторону объектива. И девушка и дама — одно и то же лицо, Алина Антоновна Мотовилова (в девичестве Эрн), моя бабушка, мать моей матери, самый добрый человек, которого я знал в жизни. На первой фотографии ей семнадцать лет, на второй на пятьдесят лет больше. Первая снята Ю. Штейнбергом «на Невском пр. на уг. Б. Садовой № 52/8», вторая снята мною в Киеве.

В бабушке не было ни капли русской крови (отец по происхождению швед — Антон фон Эрн, вернее Орн, генерал русской армии, мать — итальянка, родом из Венеции, Валерия Францевна Флориани), но как-то так получилось, что бабушка моя умудрилась сочетать в себе все самые положительные черты русского человека. Приветливость, доброта, исключительное гостеприимство, умение легко переносить трудности (а их в ее жизни было предостаточно) и необыкновенная легкость в обращении с людьми любого положения и происхождения. К тому же она была на редкость обаятельна. Друзья мои всех возрастов — от мальчишек со школьной скамьи до курящих и пьющих студентов — души в ней не чаяли. Все ее любили — мы, соседи по дому, швейцар Герасим, швейцариха Катя, почтальон Никифор Петрович, бубличник, приносивший по утрам домой свежие бублики, все до единой молочницы, продавцы и продащицы в «сорабкоопах» (были такие в моем детстве «гастрономы») и, конечно же, все нищие, сидевшие на Мариино-Благовещенском (теперь имени Саксаганского), и даже извозчики, стоявшие на углу Б. Васильковской, хотя услугами их бабушка из-за отсутствия денег не очень-то часто пользовалась. Такой милый и открытый был у нее характер.

Была она ко всему еще и красива. Красота, которую не искажает старость, по-видимому, и есть подлинная красота. И дело даже не в правильности или благородстве черт, а в том, чего на фотографии не уви-

дишь,— в выражении глаз и в улыбке, которые на всю жизнь остались молодыми.

Думаю, что именно ее взгляд и улыбка покорили некоего господина с бакенбардами, который на балу в Смольном пригласил Алину Эрн на первую мазурку. Этим господином с бакенбардами был самодержец всероссийский император Александр II.

Вот так бабушка начала свой жизненный путь — папа с Анной на шее, институт благородных девиц, трогательные розы в белой рамочке.

А потом...

Потом жизнь в имении своих родителей в Симбирской губернии,— я никогда там не был, но в детстве очень ярко представлял его себе: парк со столетними дубами или липами, белый дом с колоннами, варят варенье, словом — «Евгений Онегин» в Большом театре, потом, очевидно, выезды в свет, замужество, дети... Дальнейшее я знаю в основном из рассказов матери и, главное, тетки Софии Николаевны Мотовиловой. К ее воспоминаниям, опубликованным в № 12 «Нового мира» за 1963 год («Минувшее»), адресую всех читателей, интересующихся жизнью русской интеллигенции левого направления тех давних лет. И делаю это вовсе не из родственных чувств — просто, по-моему, они чрезвычайно интересны, к тому же и написаны рукой незаурядного человека.

Так вот, с появлением детей — четыре дочери, младшая, Ниночка, умерла еще ребенком,— жизнь несколько изменилась. Меньше липовых аллей, больше симбирских улочек, а потом, после смерти дедушки (умер он от чахотки, захлебнувшись кровью, о чем моя мать, в прошлом врач-фтизиатр, часто, задумавшись в своем кресле, вспоминает), симбирские улочки сменились на лозаннские. Почему бабушка одна с тремя детьми поехала вдруг в Швейцарию? Как мать сейчас объясняет, просто для того, чтоб сменить обстановку после смерти ее отца.

— Ну и для того, чтоб научились французскому языку...— добавляет она, мило улыбаясь.

Учились они французскому языку что-то очень долго. Потом медицине — мать, геологии — тетка. А бабушка, как это называлось, «вела дом» и вместе с женой Плеханова успевала еще устраивать благотворительные концерты для русских эмигрантов и студентов. У бабушки в доме на рю Мопа, 55 бывал и сам Плеханов, бывал и Р. Э. Классон, муж бабушкиной сестры, на квартире которого, кстати, Ленин познакомился с Надеждой Константиновной Крупской. Был на Мопа однажды и Ленин.

Тут я позволю себе привести несколько строк из «Минувшего» моей тети, С. Н. Мотовиловой:

«Ленина я помнила еще с 1895 года, когда он в свой первый приезд в Швейцарию заезжал к нам и провел у нас полдня.

Было это так. Горничная сказала моей маме, что ее кто-то спрашивает.

Вошел незнакомый человек и сказал, что его прислал Классон. Мама ввела его в гостиную, там у нас на столике лежали социалистические газеты. Человек этот бросился к столику и, не обращая внимания на маму, весь погрузился в газеты.

Потом они с мамой разговорились. Мама должна была объяснить ему, как проехать к Плеханову.

Обращаясь к маме, незнакомец сказал:

— А мы с вами из одного города.

— Как же ваша фамилия?

— Петров,— ответил он.

(Ленин одно время, как известно, подписывался Петровым.)

— Какой же это Петров,— раздумывала мама,— может быть, сын булочника?

— Да нет,— ответил он,— этого Петрова вы не знаете.

За ужином Петров был очень сдержан, разговаривал мало. Позже, когда к нам приехал Классон, он спросил маму:

— Был у вас Ульянов?

И тут все выяснилось...»

Много лет спустя после этого визита, а точнее года два тому назад, я получил письмо из Музея Ленина. Спрашивали, не сохранилась ли та скатерть со стола, за которым Ленин беседовал с бабушкой. Она, мол, по имеющимся сведениям, очень понравилась Ленину, и вот, если она сохранилась, не передам ли я ее в музей.

Да, такая скатерть, помню, действительно была — коричневая, плюшевая, в разводах,— но она давно сгорела в сожженном немцами в Киеве доме, к тому же не думаю, чтоб Ленин обратил на нее хоть какое-либо внимание да еще потом рассказывал кому-либо об этом...

Но есть и другое семейное предание — рассказано оно было мне самой бабушкой,— связанное тоже с визитом Ленина на Мопу и старинной фарфоровой чернильницей в виде юного всадника в клетчатом берете с пером. Чернильница эта сохранилась и стоит на специальной полочке под большой застекленной цветной (вернее, раскрашенной, но очень удачно, хотя это было лет сто тому назад) фотографией Шильонского замка. Почему все это сохранилось и почему именно это (какие-то прадедовские итальянские акварели в рамках, ломберный столик, бабушкины «розы»), а не Руссо, Вольтер, Гельвеций в кожаных, тисненых золотом переплетах или «подшивка» газеты «Радио» за 1979 год (сейчас эта дата не кажется столь фантастической), издававшаяся мною с другом в отроческие годы,— все это до сих пор мне не совсем ясно. Уходя из Киева в 1943 году, немцы сжигали дома, предвзвешенно очищая квартиры. Но делали это со свойственной немцам педантичностью и систематичностью — не торопясь, загодя, этаж за этажом, квартира за квартирой. И только днем. Изгоняемые жильцы пользовались этим и по ночам переносили вещи на свои новые места жительства. То же делали и моя мать с теткой. И начали, по их словам, с наиболее легких вещей — картин, фарфоровых статуэток, дорогих как память о чем-то и о ком-то, оставив тяжелые книги под конец. Конец пришел скорее, чем его ожидали, и все книги (а их было очень много) сгорели в своих прекрасных, красного дерева шкафах.

Так спасся, унесясь на фарфоровом коне, и юный принц в клетчатом берете с оранжевым пером. Как попал в наш дом этот принц, бабушка не помнила, но твердо помнила, что о принце этом, вернее о его «внутренностях» (верхняя часть снимается, и в нижней обнаруживаются маленькая чернильница и песочница), у нее с Лениным тоже шел какой-то разговор. Ленин взял со стола листок почтовой бумаги, что-то написал на нем, посыпал написанное песком из песочницы, а потом сказал: «Вот и посыпался песочек из нашего с вами принца»,— это бабушка запомнила хорошо.

— Но, бабушка,— удивился я,— ведь в конце XIX века давно уже не было песочниц, были промокашки.

— А вот в принце был еще, сохранился,— невозмутимо отвечала бабушка.

— Странно...

— Ничего странного. Сохранился, и все.

— А что Ленин написал на бумажке? — не унимался я.

— Не помню уж. Да, вероятно, и не читала. Так, несколько каких-то слов...

— И где же эта бумажка? Выкинула небось?

Бабушка смущалась.

Я укоризненно качал головой, и бабушка еще больше смущалась.

Бабушка прожила восемьдесят шесть лет. Первую половину в XIX веке, вторую — в XX. Как нетрудно догадаться, я помню ее во второй половине второй половины ее жизни. Тогда она уже не собирала средств для русских эмигрантов и студентов и не перевозила через границу в своей шляпе экземпляры «Искры» (было у нее и такое), а была она просто иждивенкой и домохозяйкой, а для нас с друзьями просто бабушкой, умевшей варить чудное варенье (конечно, когда был сахар), печь изумительные куличи (и всему этому она научилась в Смольном!), а главное, с удовольствием пичкала всем этим наши ненасытные глотки, привыкшие в основном к пшени и вобле.

Кроме того, бабушка ходила по «сорабкоопам» и на базар — мать и тетка на работе, я в школе — и в эту же самую школу объясняться с математиком или физиком, а по утрам, перед школой, кормила меня, потом, после «сорабкоопов», готовила обед, ну и т. д. до вечера, когда ей разрешалось только полоскать и вытирать чайную посуду. Где-то между этим или после этого она что-то обязательно шила, а улегшись в кровать, еще читала французские романы. И все она успевала — тихо, спокойно, не суетясь. А когда мы жили в Алуште, высоко на горе, рядом с дачей Сергеева-Ценского, где пересохли все цистерны и воду приходилось носить в ведрах из города (километра два в гору), бабушка считала своим долгом нести маленький бидончик с водой и никому не разрешала ей помочь. Думаю, что в Смольном этому не учили.

Но не только трудностей не боялась бабушка, она вообще была бестрашна. Кроме коров и гусей, она не боялась никого. Ни белых, ни петлюровцев, ни гайдамаков, ни даже управдома, перед которым все трепетали. Обстрелов она тоже не боялась.

— Алина Антоновна, — прибегает запыхавшийся Герасим-швейцар. — Обстрел начался. Надо в подвал.

— Ну и бог с ним, с обстрелом. Посижу, пошью чего-нибудь.

Это, конечно, если все дома были. Если же кого-нибудь не хватало, выходила на балкон и под гул канонады стояла тут — не сходила с него до возвращения отсутствующего.

Я говорил уже о том, что ее все любили — молочницы, нищие, сосед Али-бек, целовавший обязательно ей руку, две старушки сестры из 19-й квартиры, Анна и Клара, приносившие ей почему-то всегда к пасхе изюм для куличей, и еще многие и многие. Но больше всего, по-моему, ее любили два «ставших у нас на постой» красноармейца. Одного звали Ляконцев, другого уж не помню как. Я, мальчишка лет восьми-девяти (ходил уже в школу), был, конечно, в восторге — винтовки, штыки, котелки, запах махорки на всю квартиру, да и сами красноармейцы что надо — здоровые, обветренные, с хрипыми голосами и добродушными деревенскими улыбками.

Бабушка их сразу же разместила, накормила чем-то, но когда увидела, что они, скинув шинели и гимнастерки, собрались бить вшей, строго вдруг сказала (в первый и в последний раз я услышал нечто вроде металла в ее голосе):

— Нет-нет. Принесите дров и воды, и я натоплю вам ванну...

Ребята чуть-чуть смутились, но тут же оделись, и через какой-нибудь час на кухне была гора поломанных заборов и все имевшиеся у нас ведра, корыта, баки, кастрюли и тазы были наполнены водой. К «вечернему чаю» ребята вышли из ванной чистенькие, розовенькие и чинно пили с нами чай из самовара, с гордостью вывалив на стол гору колотого сахара, которого я давнo уже не видел.

Пробыли они у нас недолго — дней пять, не больше. Ляконцев, находивший, что у нас в квартире холодно, притащил для растопки целую кипу книг («Проходил мимо библиотеки, дай, думаю, найду...»), но тут уж я воспротивился — страшно было смотреть, как горят книги.

Прощаясь, Ляконцев с другом торжественно положили на стол толстенный кусок сала, полную наволочку сахару и несколько буханок хлеба.

— Это за то, что добрая, бабуся,— сказал Ляконцев.— Барыня, а простых понимает.— И даже расцеловал ее.

Бабушка явно смутилась.

Да, бабушка понимала и простых и сложных. А сложнее всех была ее собственная дочь Соня. Удивительно, до чего же разных трех дочерей родила бабушка. Старшая — Зина, моя мать, Зинаида Николаевна, веселая, общительная, доброжелательная, любящая концерты, театры, путешествия, прогулки, которых сейчас, в свои девяносто лет, она, увы, лишена; младшая — Вера, ее я не знаю, она как вышла замуж в Швейцарии, так и осталась там до своей смерти,— говорят, была чопорной, светской, малообщительной, с большим разбором выбиравшей немногих своих друзей; третья — средняя — Соня. Ее, между прочим, бесстрашная бабушка побаивалась, пожалуй, даже больше, чем коров и гусей. Характер у тети Сони был нелегкий. Добрая в душе, желавшая всем помочь и не только желавшая — готовая отдать последнюю копейку, она делала это так властно и деспотично, что многие от нее просто шарахались.

Бабушку она любила безгранично. В молодости жила отдельно от семьи, у нее были свои интересы, свои знакомые, в основном марксисты (большим другом ее был В. П. Ногин), но после нашего возвращения из Парижа в 1915 году приехала в Киев, и мы жили уже все вместе. Семья у нас была дружная, но, как я уже говорил, бабушка слегка побаивалась Соню. Ну не то что побаивалась, просто она любила тишину, покой, мир, а тетя Соня вечно по поводу чего-то негодовала, чем-то возмущалась, против чего-то протестовала, и всегда громко, с хлопанием дверьми. Бабушка вздрагивала и жалобно смотрела на меня. А вечером, когда надо было идти в ванную умываться, она пальчиком манила меня к себе и шепотом говорила:

— Поведи меня ты. Она там меня терроризирует — не то мыло взяла, не то полотенце...

А мы с бабушкой всегда жили душа в душу, и я не припомню, чтоб она когда-нибудь возвысила на меня голос. Да и вообще ни на кого его не возвышала. Кажется, только на одну из наших очередных соседок по квартире «мадам» Задеревич — неряшливую старуху, которая вечно шуршала в своих шлепанцах по коридорам, останавливаясь у каждой двери, чтоб послушать, о чем говорят. Когда у нас были какие-нибудь гости, она обязательно постучит, засунет голову (интересно же, кто сегодня у нас сидит) и, чтоб оправдать свой стук, громким шепотом говорит:

— Алина Антоновна, ваша кошка в коридоре опять нас...и. (Всегда во множественном числе.)

Вот тут бабушка не выдерживала и говорила ей что-то не грубое, упаси бог, просто несколько более резкое, чем обычно.

Последние годы перед войной бабушка ослабела. У нее был небольшой, как тогда говорили, удар, и ей стало трудно ходить, она приволакивала ногу. Отпали магазины, базары, обеды. Сидела в кресле и что-то штопала, штопала — она не могла без работы,— в сотый раз перечитывала французские романы в желтых обложках — у нас их был миллион — или просто писала красивым бисерным почерком письма тете Вере и своей подруге по Лозанне. Кстати, письма ее были всегда инте-

ресны — сужу по тем, которые получал, когда жил вне дома, — полны метких, забавных деталей и написаны настолько живо, что на них сразу же хотелось отвечать.

В последний раз я видел бабушку в апреле 1941 года. Те последние предвоенные годы я работал вне дома и приезжал в Киев голыком на лето. На этот раз я приехал на три дня из Ростова, где служил в Театре Красной Армии, менять паспорт. Бабушка, постаревшая, но такая же милая и ласковая, страшно мне обрадовалась и все строила планы на лето, как будем жить мы где-нибудь под Киевом, в Буче или Клавдиеве, и по вечерам совершать прогулку, «прощаться с солнцем», как говорила она. Это была традиция — после ужина выходить на опушку леса, там садиться (я нес специально плетеное кресло) и смотреть на последние лучи солнца, заходящего за дальний лес.

Мечтам не суждено было сбыться. 4 апреля 1941 года — я навсегда запомнил этот день — я уехал из Киева, чтоб вернуться в декабре 1944 года, уже в погонах.

Последние слова бабушки, когда мы прощались:

— Зина говорит, что мы в этом году тоже будем в Буче. Ну и порезвимся же мы с тобой там.

«Порезвиться» означало следующее. Когда по каким-либо причинам ни мамы, ни тети Сони не было на даче, бабушка подмигивала мне и полупшепотом говорила:

— Порезвимся, Викунчик?

И я приносил тогда из погреба аккуратненький кубик творога, и мы ели его руками, посыпая сахаром. Бабушка-смольянка любила есть творог не ложечкой, а именно руками, но при дочерях боялась «резвиться».

Последнее воспоминание о бабушке — я с чемоданчиком иду на вокзал, а она стоит на балконе, из трещины которого каким-то загадочным способом растет тополек, и машет рукой. Бабушка и тополек — последнее, что запомнилось о довоенном Киеве.

Умерла бабушка 27 марта 1943 года, так и не дожив до освобождения. В Сонином дневнике есть запись: «Мама все повторяет: «Вот дождусь Викочку и тогда спокойно умру». Не дождалась. Умерла от гангрены. Тяжело перечитывать страницы дневника, посвященные последним ее дням. Холод, голод, безденежье, все, все что возможно продано. И милая, терпеливая, деликатная, ни на что не жалующаяся бабушка только на темноту жаловалась — сэкономили керосин на коптилку — и на отсутствие людей. А она их так любила.

Из Сониного дневника:

«Маме ужасно тоскливо. Зина целый день на своем заводском медпункте, я в этой никому не нужной библиотеке, и она одна с несимпатичной женщиной, ни писем, ни прогулок, ни знакомых... Маме хотелось радости. Придет какой-нибудь знакомый человек, и она находит: такой он симпатичный, такой милый...»

Поконится бабушка на Байковом кладбище под разросшейся уже безрезкой. В одной ограде с ней теперь и тетя Соня. Лежат рядом. Они очень любили друг друга, хотя бабушка и побаивалась ее.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

В студенческие годы, кроме своих прямых обязанностей — сдавать с грехом пополам сопроматы и проектировать какие-то там театры и вокзалы, — я выполнял еще обязанности «эмчссара» своей тетки Софьи Николаевны Мотовиловой. В каждую свою поездку в Москву я получал от нее «спецзадание». То отвезти В. Бонч-Бруевичу — редактору сборни-

ков «Звенья» — ее мемуары (несколько лет по поводу них между теткой и редактором шла обширнейшая переписка, но мемуары появились в «Новом мире» только через тридцать лет), то зайти к Н. К. Крупской, с которой она работала в свое время в Наркомпросе, и передать ей письмо с просьбой разобраться в какой-то вопиющей несправедливости (об этом визите есть несколько строк в «Минувшем», где я называюсь «мой племянник»), то посетить вдову В. П. Ногина или разыскать в Москве дореволюционного теткинго друга С. В. Андропова, к которому она ездила в ссылку в Усть-Сысольск, и так далее.

Году в тридцатом или тридцать первом получил я очередное задание — повидать Корнея Ивановича Чуковского и передать ему письмо.

Открывшая мне дверь молодая женщина спросила, как передать — кто пришел. Я сказал:

— Доложите, что пришел Некрасов.

Из комнаты рядом с прихожей раздался веселый, молодой хохот:

— Неправда, неправда... Некрасов давно умер. Это я знаю точно.— И опять хохот.— А ну-ка, введите этого самозванца.

Я не без робости, а потому несколько развязно вошел в комнату. Корней Иванович был нездоров, лежал на кушетке прикрытый одеялом, заваленный книгами, очень похожий на карикатуры, которые я знал с детства. Запомнились, конечно, нос, веселый рот и еще более веселые, как любят у нас теперь говорить — озорные, глаза.

— Ну, так что вас ко мне привело, юный мистификатор?

Я передал письмо.

Он быстро пробежал его глазами, улыбнулся и сказал:

— Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам...— И отложил письмо в сторону.

Они с Софьей Николаевной переписывались уже давно, и он прекрасно знал ее прямой и язвительный характер. Не сомневаюсь, что в переданном мною письме, в котором она, очевидно, о чем-то его просила, было несколько шпилек по его адресу.

Отложив письмо в сторону, предварительно аккуратно вложив его в конверт, Чуковский посмотрел на меня своими веселыми глазами.

— Ну, а вы чем занимаетесь, племянник своей тетки?

— Архитектурой...

— О-ля-ля... Архитектор, значит?

— В недалеком будущем.

— А где же птичница?

Я не понял:

— Какая птичница?

Корней Иванович в свою очередь удивился:

— Как какая? — И продекламировал своим неожиданно высоким голосом — теперь он благодаря радио и записям всем знаком:

Раз архитектор с птичницей спознался,
И что ж? — в их детище смешались две натуры:
Сын архитектора — он строить покушался,
Потомок птичницы — он строил только куры.

Значительно позднее я узнал, что эпиграмма эта принадлежит Козьме Пруткову, тогда же спросить постеснялся и, в общем-то, не понял, остроумно это или нет.

На этом наша беседа кончилась. Чуковский сказал, что непременно ответит, но по почте, велел передать привет, и я раскланялся.

Ощущение было странное. «Хохмач» какой-то... Слова этого, правда, тогда не существовало, но было какое-то другое, не помню уж какое, означавшее приблизительно то же самое.

Прошли годы... Десять, двадцать, тридцать. Чуковский стал для меня автором не только «Крокодила» и «Мухи-Цокотухи», но познакомиться с ним самим все не удавалось. С теткой он по-прежнему переписывался, присылал ей веселые, остроумные письма и очень мило поздравил ее с «Минувшим». Не могу не похвастаться его отзывом:

«Дорогая одногодка, София Николаевна! Здорово! В Москве только и разговора что о Вашем «Минувшем». Я-то знаю все эти шедевры с давнего времени. Знаю и про Брюсова, и про Черткова, и про Толстого, и про то, как вы целовались в кустах с Альбиным, и про Хавкину, и про Танеева, но в печати (да еще в какой!), в «Новом мире», все это зазвучало по-новому молодо и свежо. Я очень обрадовался этим таким славным очеркам и спешу поздравить Вас с их напечатанием.

25 янв. 1964.

Ваш К. Чуковский.

Жаль, что не напечатали о Сергееве-Ценском. Картинная фигура». Тетя Соня была, конечно, польщена и переписала письмо в дневник, что делала со всеми интересными письмами, но бурно негодовала по поводу поцелуев в кустах с Альбиным (С. В. Андроповым):

— Никогда, никогда этого не было! Откуда он это взял? И еще писать мне об этом...

Я понял, что это очередная «шпилька» Корнея Ивановича в ответ на какую-нибудь ее.

Потом уже, при встрече, он говорил мне, что вместе с Софией Николаевной ушел какой-то оказавшийся очень существенным кусок его жизни (кстати, виделись они только раз, и то мельком, на Первом съезде писателей), что такие люди, как она, встречаются теперь, увы, очень редко, весьма высоко оценил ее писательский дар, умение видеть, находить интересных людей, все близко принимать к сердцу, по-настоящему глубоко задумываться.

Я спросил его, между прочим, о столь возмутившем тетю Соню месте его поздравительного письма. Он, хитро взглянув на меня, сказал: — Неужели я такое написал? Ай-ай-ай... Нехорошо.

Я окончательно понял, что это был обмен «шпильками».

Встреча, о которой я говорю, произошла почти через сорок лет после первой. Было это летом 1969 года, в Переделкине.

Мы с приятельницей зашли к нему на дачу. Он сидел на веранде второго этажа в уютном, завешанном от солнца и ветра закуточке. Так же, как и сорок лет назад, завален был книгами и что-то писал. Нашему приходу неподдельно обрадовался, отложил книги («Ничего, подождут») и тут же очень оживленно и молодо стал о чем-то рассказывать.

Я говорю «о чем-то» не уточняя. Не потому, что не хочу об этом рассказывать, а потому, что в эти полтора-два часа, которые я у него пробыл, воспринимал я его главным образом как человека пусть знаменитого (лауреата и доктора Оксфордского университета), но, в общем-то, как человека. И за этот крохотный промежуток времени человек этот меня покори́л.

Есть разряд таких молодящихся старичков. Они и на лыжах в ярких цветных свитерах, и на пляже, подтягивая животы, и с рюкзаком, отставая от всех, куда-нибудь на Валдай, и шарады ставят где-нибудь в Коктебеле, и «я не пропускаю ни одного концерта», «вы не были вчера на Огдоне, побойтесь бога», ну и т. д. Среди писателей эта категория лиц окружает себя юными талантами, подающими надежды поэтами и прозаиками, пропускает с ними по стаканчику доброго, старого «бургундского» и больше всего мечтает, чтоб говорили о них: «Посмотрите, шестьдесят (семьдесят, семьдесят пять...) лет, а как молод душой. Все

его интересует, все читает, на всех литературных вечерах бывает, даже выступает...»

Чуковскому, когда я с ним встретился, было восемьдесят семь лет. На лыжах, по-моему, он не ходил, на пляже не загорал, насчет вина не знаю как, он просто сидел на диванчике в своем закутке и говорил. И говорил со мной молодой человек, не молодящийся, а именно молодой. Он тоже всем интересовался, и все читал, и рассказывал интересное, не злоупотребляя воспоминаниями («Как сейчас помню, мы сидели с NN»), и все это было не фальшивым, поддельвающимся, а настоящим. Настоящим и веселым. По-настоящему веселым. Ему весело было показывать собственные книги, вышедшие бог знает на скольких языках мира, так же как какого-нибудь надувного крокодила, или Бармалея, или Ай-болита, присланного то ли из Японии, то ли с Цейлона, или пускать по комнате гудящий, свистящий, пускающий дым игрушечный паровоз. И мне было в это время так же весело и интересно (может быть, потому, что я тоже люблю заводные паровозики), как когда я слушал его рассказы о проделках Куприна или последней поездке в Англию.

Теперь модно жаловаться на склероз. Все всё забывают — «простите, склероз». Нет, Чуковский пожаловаться на это никак не мог. Он все помнил — и прошлое, далекое и близкое, и сегодняшнее, вчерашнее. И с юношеским увлечением, с юмором (в какой раз убеждался я, как нужен, необходим он, особенно тьму, кто прожил столько лет и навиделся всякого) рассказывал о людях, книгах, событиях, забавных и незабавных встречах. Он жестикулировал, размахивал длинными, опять-таки «карикатурными» руками, и глаза его, о чем бы он ни рассказывал, все улыбались, смеялись.

Мы вспомнили (вернее, я вспомнил, а он сделал вид, что тоже) мой первый визит к нему. И вот тут-то он заговорил о тете Соне.

— Да,— сказал он, и на секунду исчезла улыбка из его глаз,— уходят зубры, уходят зубрихи... Кстати, есть такое слово — зубриха? А ну, спросим Даля.

Даль ответил, что есть. «Зубр — вид дикого быка с лохматой шеей. Зубриха — корова этого же вида. Зубря — зубриный теленок».

И вдруг, не отрываясь от словаря, расхохотался:

— А как вы думаете, что такое «зуб»? Ну, быстро отвечайте. Не знаете? А я вот теперь знаю. «Зуб — косточка, вырастающая из ячейки челюсти для укуса и размола пищи». Прелестно... Кстати, не пойти ли нам чего-нибудь укусить и перемолоть? Как вы на это смотрите?

Увы, мы торопились к поезду. Прощаясь, тряся его большую, с длинными пальцами руку, я предвкушал радость последующих встреч. Но им не суждено было осуществиться. Через месяц случилось невероятное, неожиданное, потрясшее всех давно и недавно знавших его,— он умер. В голове это не укладывалось. Не верилось. При чем тут возраст, восемьдесят семь лет, вероятные болезни — нет, казалось нам, он всех нас переживет...

На память от него осталось у меня только коротенькое письмецо, написанное после появления в «Новом мире» моего рассказа «Дедушка и внучек», в котором упоминается моя тетка и рассказывается о некой глупой ленинградке Нинели, которая из псевдопатриотических побуждений несла всякую околесицу.

Письмо так и начинается:

«Да здравствует Софья Николаевна, воскрешенная Вами, и да сгинет гнусная Нинель!» Далее несколько теплых строчек по поводу самого рассказа и последний абзац:

«Эту бумагу я берег для новогодних приветов, но пусть она приветствует Вас в ноябре».

Приветственный этот листок бумаги, желтоватый, плотный, с изящной виньеткой вверху, спровоцировал меня на ответный не менее красивый листок и даже конверт, если не ошибаюсь, взятый в брюссельском отеле.

Вот так — всего две встречи с разрывом в сорок лет и одно письмо, но в дружбу нашу, чуть-чуть наметившуюся только пунктиром, я верю до сих пор, что она закрепилась бы, наверно. Бог ты мой, почему я раньше не приехал к нему в Переделкино? И вообще почему я не ездил в Переделкино? Ведь там не только отдыхающие и творящие в Доме творчества писатели, с которыми можно встретиться и в Москве, не только летняя резиденция Патриарха всея Руси, с которым, правда, нигде не встретишься, — там жили и работали, по-разному, каждый по-своему, Чуковский и Борис Пастернак. С Пастернаком меня судьба не свела, с Чуковским свела, но почему так поздно?

В ГОСТЯХ У ГРАФА ИГНАТЬЕВА

Я не могу сказать, что на моем жизненном пути так уж часто попадались коронованные или титулованные особы. Правда, в пятилетнем возрасте, сидя на чьих-то плечах, я видал Николая II, приехавшего в Киев, но с Фридрихом-Августом-Вильгельмом Саксонским, каюсь, никогда не встречался, писал о нем со слов своего друга. Из титулованных же особ знал одну баронессу (фон Менгден, сиделку в железнодорожной больнице, где лежала моя мать в тифу, очень милую и внимательную маленькую старушку), двух маркизов (летчика эскадрильи «Нормандия—Неман», с которым лежал в бакинском госпитале, звали его Марсель, а фамилию с приставкой «де» забыл, и парижского художника Мишеля де Сервиля, отдавшего все свои поместья под детский дом) и трех графов — австрийского, обладателя роскошного герба, вытисненного на его почтовой бумаге, и разъезжающего по всему миру с лекциями «о красоте и любви», известного итальянского писателя и русского, с которым встречался только дважды, но о котором хочу написать эти несколько страничек.

Человеком этим был граф Алексей Алексеевич Игнатъев, сын киевского генерал-губернатора, адъютант генерала Куропаткина в русско-японскую войну, затем военный атташе Российской империи при правительствах скандинавских стран, а в первую мировую войну — во Франции. Кроме того, он был автором нашумевшей в свое время книги «50 лет в строю» и первого полученного мною «читательского» письма.

Письмо это пришло буквально через несколько дней после выхода в свет журнала «Знамя», где опубликовано было начало повести «В окопах Сталинграда».

«Я сам ведь так недавно записался в писатели,— говорилось в нем,— сам пережил волнения и мучения с первой частью «50 лет в строю» и потому почитаю себя вправе быть по отношению к Вам вполне искренним». Дальше, после положенных в таких случаях комплиментов, несколько «штрихов критики», сопутствуемых словами о том, что «это только для Вас, не для читателя, это ведь секрет нашего с Вами нового для нас искусства». Кончается письмо: «Люблю, как и Вы, родной Киев. Привет ему от старого киевского кадета».

Еще через несколько дней пришла и книжка, четвертая часть его воспоминаний. В самом ее начале фотография — вальяжный русский полковник с пышными усами, орденами и аксельбантами переводит какой-то русский документ французскому главнокомандующему генералу Жоффру — тоже с усами и звездами. Я прочел книгу Игнатъева залпом

и решил при первой же возможности нанести визит генерал-лейтенанту Игнатьеву, в 1937 году принявшему советское гражданство и переселившемуся из Парижа в Москву. Вскоре я это желание осуществил.

Дверь открыл сам граф. Высокий, статный, с идеальной, несмотря на свои семьдесят лет, выправкой, он галантно приветствовал меня, собственноручно раздел («Не сопротивляйтесь, так положено, за лакея и повара в этом доме я») и пригласил в свой кабинет. Нет, не в кабинет — в музей... Много, конечно, книг, но еще больше фотографий — отец, командир кавалергардского полка, он сам с друзьями по Пажескому корпусу и Академии генштаба, он с генералом Куропаткиным, где-то под Лаояном и, конечно же, Франция — Париж, фронт, окопы, генералы, атташе, французские «пуало» в голубых шинелях и рязанские, вологодские, костромские наши ребята из экспедиционного корпуса. И тут же на почетном месте кавалерийское седло, мирно доживающее свой век в углу кабинета-музея. Но самым примечательным в этом музее была громадная, во всю стену, карта Европы. Алексей Алексеевич не без гордости обратил на нее мое внимание.

— Могу похвастаться, — сказал он, — думаю, что ни в Академии наук, ни в Ленинской библиотеке нет подобной карты. Сужу по тому, что ее специально затребовали в Кремль, когда проводилась демаркационная линия между Германией и СССР...

Я с уважением посмотрел на карту и только чтоб не показаться нескромным не осведомился о ее происхождении и деталях путешествия в Кремль.

Когда осмотр реликвий был закончен — кроме седла, были тут и шашки и пистолеты (французские, русские и еще какие-то), — я препровожден был в столовую и представлен супруге:

— Это моя Наташа Труханова, звезда парижских кабаре и кафе-шантанов в прошлом, а ныне домоправительница, которой все разрешается, кроме одного — готовить обед для гостей, о чем я вам уже говорил.

«Наташа Труханова», любезная и приветливая, сервировала стол.

— К моменту, когда вы закончите осмотр всех имеющихся здесь достопримечательностей, — сказала она, — все будет готово, и вы отвечаете то, чем Алексей Алексеевич гордится не меньше, чем своей военной-дипломатической деятельностью.

Мы продолжили осмотр. В одной из комнат я подведен был к небольшому старинному шкафчику (новая, «модерная» мебель в этом доме не признавалась), и сквозь зеркальное стекло я увидел выставку орденов. Я не помню, сколько их было, аккуратнейшим образом разложенных, что-то очень много — звезды, кресты, медали доброго десятка стран, в том числе и русские.

— В день 14 июля, — сказал Алексей Алексеевич, — в день взятия Бастилии, национального праздника Франции, мне разрешается носить орден Почетного легиона.

И он бережно вынул пятиконечный белый крест на пунцовой ленте и тут же рассказал историю этого ордена, учрежденного Наполеоном еще при Консульстве. Оказывается, он претерпел множество трансформаций, не теряя своего значения ни при империях, ни при Бурбонах, ни при Второй, ни при последующих трех республиках. Менялись только изображения в центре креста (то Наполеон, то бурбонские лилии, то голова «Марианны» — Франции), девиз вокруг изображения и форма маленькой коронки, к которой прикреплялась лента. При республиканских режимах корона эта уступала место зеленому веночку.

Обо всем этом, об истории других орденов Алексей Алексеевич рассказывал весьма подробно, со знанием дела, не забыв ни одной даты,

ни одной любопытной детали. От него я, например, узнал, что шитая большая звезда ордена Почетного легиона с наполеоновским сидящим на каких-то молниях орлом и девизом «Честь и родина», принадлежавшая пасынку Наполеона, вице-королю Италии принцу Евгению Богарнэ, хранится у нас в Эрмитаже. Узнал я и бесконечно сложную и запутанную историю борьбы между Австрией и Испанией (Габсбургами и Бурбонами) из-за ордена Золотого руна, учрежденного, оказывается, не теми и не другими, а вовсе герцогом Бургундии и Нидерландов Филиппом Добрым еще в XV веке. И забавные перипетии датского ордена Слона (всю жизнь думал, что это мудрое животное является эмблемой и прерогативой Сиам), первым кавалером которого в России был князь Меншиков, только потом Петр I. А орден Слона князя В. В. Долгорукова дважды возвращался в Копенгаген, когда князя разжаловали и ссылали, но в конце концов он все же вернулся к своему владельцу...

Одним словом, стоя перед заветным шкафчиком, я наслушался преинтереснейших историй.

Совершенно неожиданно «орденскую» комнату сменила кухня, сверкающая до зеркального блеска начищенными медными тазами для варенья, аккуратно развешанными ножами всех размеров (некоторыми из них можно было, вероятно, освежевать быка), кастрюлями, банками и т. д. Порядок был идеальный. Что-то стоявшее на плите источало божественный аромат.

— Рабочий кабинет номер два,— серьезно сообщил Алексей Алексеевич и, прежде чем завести в ванную, приоткрыл дверь небольшого помещения, выходящего в прихожую.— Не угодно ли воспользоваться? Литература здесь на всех европейских языках.

Я больше из любопытства, чем по каким-либо другим причинам, воспользовался приглашением и обнаружил в этом третьем кабинете на двух или трех полках небольшую библиотечку, предназначенную, очевидно, для людей, предпочитающих задумчивости легкое чтение.

Затем ванная — тот же идеальный порядок и чистота — и возвращение в столовую.

Сервировка поистине княжеская, вернее графская,— сплошной крахмал, фарфор, серебро и хрусталь. Вина, водки, коньяк, ликеры.

— Чего изволите? — любезно осведомился хозяин.— Мы с Наташей предпочитаем вино, слегка разбавленное водой,— парижская еще привычка, да и возраст к тому же.

Я предпочел водку.

Об обеде ничего говорить не буду — тут без поваренной книги не обойдешься.

Несколько удивила меня появившаяся неожиданно на столе гречневая каша, нарушившая, на мой взгляд, общий стиль.

— Ошибаетесь,— сказала Наталья Владимировна,— гречневая каша любима не только в России, но и в Бретани. Алексей Алексеевич задумал сегодняшний обед как «общеземлемый» — на столе сегодня и Марсель, и Париж, и, как видите, Бретань.

По французскому обычаю обед заканчивается сыром и фруктами, за которыми следует коньяк или водка (начинается же он с аперитива). У Игнатьевых ритуал этот был несколько нарушен — концовка перенесена в предисловие, а вместо нее Алексей Алексеевич бережно принес из кабинета номер один толстую папку и прочитал, очень хорошо прочитал, несколько отрывков из последней, не печатавшейся еще части «50 лет в строю».

Время от времени он прерывал чтение по-детски трогательными и наивными восклицаниями: «Здорово, а? Как, по-вашему?» — или: «Ведь

неплохо, честное слово, неплохо!» — запивал разбавленным вином и продолжал дальше.

Нет, он не злоупотребил вниманием плотно поевшего и несколько выпившего гостя, но, захлопнув папку, сказал:

— Но это еще не все, мой юный друг. Финальный аккорд за Натасей. — И, наклонившись ко мне, шепнул: — Мадам Игнатъева тоже, того самого, немного грешит...

«Грех» ее, к счастью, оказался не чеховским «Мороз крепчал...», а милыми воспоминаниями о своей кафешантанной жизни, сопровождавшимися фотографиями в стиле плакатов Тулуз-Лотрека.

Чтоб не отстать от хозяев, я (правда, спровоцированный на это) вынужден был рассказать о первом своем напечатанном в журнале произведении. Нет, не об «Окопах Сталинграда», а о статье, посвященной... графике советской почтовой марки, напечатанной в журнале «Советский коллекционер» в самом начале тридцатых годов. Последствия, вызванные этой статьей, довольно забавны, но об этом в другой раз, когда я окончательно созрею для описания начала своей «литературной карьеры».

Потом мы сидели, курили, и Алексей Алексеевич рассказывал о своем отце, деде и прадеде, о невеселых событиях русско-японской войны, дипломатической своей карьере и тонкостях дипломатического этикета, о министрах и генералах, с которыми общался во Франции, среди которых были и будущие президенты (Думер), и главы правительств (Петен). Много грустного рассказывал он и о трагической судьбе русского экспедиционного корпуса во Франции, кое-какие детали, не вошедшие в его книгу.

Расстались мы поздно вечером. Прощаясь, он сказал, что обязательно придет в милый его сердцу Киев.

— Надо все же посещать места, где проходили лучшие твои годы. Лавра, София, «родной» кадетский корпус... Кстати, интересно, что сейчас находится в доме моего родителя на Банковской?

Если не ошибаюсь, в 1946 году в особняке Игнатъевых была приемная Верховного Совета УССР, сейчас же там Союз писателей. В самой большой комнате с умопомрачительным лепным потолком, догадываюсь, принимал в свое время посетителей генерал-губернатор Киевской, Подольской и Волынской губерний, но в какой играл в солдатики одиннадцатилетний Лешенька (может, в нынешнем месткоме или бухгалтерии), так и не знаю.

На этом я заканчиваю свои столь краткие «воспоминания» о посещении графского дома. Несколько месяцев спустя я повторил свой визит, приведя в гости к Игнатъевым одного моего друга. Но об этом обеде или ужине, не помню уже, рассказывать вряд ли стоит — он был точным повторением первого моего посещения; от карты, седла и ордена Почетного легиона до «финального аккорда» милейшей Наталии Владимировны.



ЛЕОНИД ГРИГОРЬЯН

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Он все такой, ничуть не гуще,—
Знакомый вдоль и поперек
Мальчишка, баловень, прогульщик,
Неутомимый тополек.

Как будто разбежался сдуру
И — зазевался у окна...
Его веселая структура
Коричневата, зелена.

В одном дворе, в одном столетье,
Одних кровей, одних начал —
Я нынче вновь тебя заметил,
А тридцать лет не замечал.

Мой соучастник, мой погодок —
И отпевал и хоронил.
И все же детскую свободу
Не расплескал, не обронил.

Ты так же молод на поверку,
Хоть век и горек и студен.
Беру протянутую ветку,
А в кроне солнышко с дождем.

Живи, счастливая обмолвка,
Дитя лишений и войны!..
Листва под дождиком промокла,
Да только капли солонь.

ВОСПОМИНАНИЕ

Из года тяжелых недостат,
Когда и кукурузник лаком,
Ко мне несется детский плач.
Что он хотел? О чем он плакал?

Нет, не о хлебе. Не о нем.
Но было видеть так не просто,

Как иссякало день за днем
Надежное всесилье взрослых.

У булочной, как на часах,
Переминалось голоданье.
Но даже слезы пропадали
Пред мукой в маминых глазах.

Она с пальто сметала снег
Все виноватей, все нелепей...
И на ладонь ложился хлеб.
Но разве дело было в хлебе!

* * *

Зачем тревожит кровь
И отчего возникла
Загадочных ветров
Настырная дразнилка?

К чему бы по утрам
Без видимой причины
Несутся на ветрах
То брызги, то песчинки?

Привет забытых мест?
Мелькнули — запропали.
Но улицы окрест
Столетиями пропахли.

Из глубины веков,
Из череды гигантской —
Призыв материков
И зыби океанской...

И я припомню их
До сокровенной дрожи —
Всех пращуров моих,
Засыпанных, утопших.

Победы и полон,
Закаты и восходы.
А сам я — Вавилон,
Смешение народов.

Я отдан им внаем.
И никну, как травинка.
И каждая кровинка
Лепечет о своем.

Ростов-на-Дону.



КАМЕН КАЛЧЕВ

★

АВТОБИОГРАФИЯ

Рассказ

Камен Калчев (род. в 1914 году) — известный современный болгарский писатель, лауреат Димитровской премии, автор примерно тридцати книг — романов, рассказов, путевых заметок, пьес. Произведения Камена Калчева неоднократно переводились на русский язык. Публикуемый рассказ взят из сборника «Софийские рассказы».

В конце концов и я написал автобиографию, припомнив прошлое со всеми его мытарствами, поскольку захотел поступить на мясокомбинат, где, как известно, хорошая зарплата, да и другие условия, подходящие для пропитания моего большого семейства. Приближалось время ухода на пенсию, и я решил найти себе тихое местечко, как и положено по законам природы, существующим для всех без исключения, в том числе и для меня. Время летит немилосердно, и скоро пора на покой. Нечего мне вечно киснуть в почтовом отделении и разносить письма, газеты, телеграммы и почтовые уведомления, которые люди встречают иной раз с радостью, а бывает, и с печалью.

Да, пора было перестраиваться, как делают многие, и потому по совету жены, Зафирова и других моих друзей, всегда желавших мне добра, я стал подумывать о мясокомбинате. В конце концов снова пришлось обратиться к Ивану Г. Иванову, который давал указания и рекомендации и к мнению которого с полным основанием прислушивались всюду.

С большим смущением подал я ему заявление. Он посмотрел его и тут же резко спросил:

— А где твоя автобиография?

— Какая автобиография? — удивился я.

— Происхождение, морально-бытовая характеристика и прочее.

Я задумался. Он отбросил в сторону заявление и добавил:

— Нечего, брат, делать, иди и пиши автобиографию. Да смотри, не приукрашивай факты, поскольку ты за все несешь ответственность.

— Известное дело, — согласился я и пошел писать автобиографию.

«...Меня зовут Драган Иванов Мицков, я родился в балканской деревушке Долни Кошари у бедных родителей в начале первой мировой войны, принесшей народам одни страдания, а капиталистам и империалистам несметные богатства. Мои родители, бедные крестьяне, умерли рано: отец на фронте, в окопах, а мать Иванка — в глубоком тылу, в холоде и голоде. Рос я сиротой, а в четырнадцатилетнем возрасте в поисках хлеба и пристанища перебрался в столицу, где и остался, позже вступив в брачный союз с Радкой Стефановой Чукурлиевой, домашней работницей, ценимой и уважаемой всеми в качестве хорошей хозяйки,

отдавшей все силы мне и семье, созданной нашими общими усилиями. Во время второй мировой войны я служил в почтовом отделении, посещал нелегальные собрания и сходки по чердакам и подвалам, а также бывал и на Витоше — в этом убежище революционеров Софии, как совершенно справедливо в последнее время пишут в газетах. Навещал я и товарища Мичева в центральной тюрьме, где он отбывал пожизненное заключение. Я не проявил страха и слабости ни разу, разве что во время бомбардировок, когда без разрешения сбежал в ближайшее село Илиянци и там пробыл два дня с перепуганной до смерти женой и малолетним ребенком, беспомощным и голодным. Девятое сентября застало меня на посту, во всеоружии. Товарищ Мичев доверил мне «вальтер», который позже, когда положение урегулировалось, я вернул в целостности и сохранности. По мере сил участвовал в национализации. Я не переставал успешно заниматься самообразованием, переходя от первобытно-общинного к сегодняшнему строю — в соответствии с требованиями времени и общества. Я морально устойчив, так же как и Радка — добросовестная мать, вырастившая сына и внучку. Мы строим новое».

Я подписал автобиографию, позвал Радку и дал ей прочитать. Она все одобрила, но сказала, что очень уж я скромн, и напомнила некоторые забытые мною эпизоды. Я вписал их дополнительно. По дороге мне встретился свояк, мы уселись с ним в скверике под плакучей ивой, в окружении пенсионеров, кем, без сомнения, стану и я в недалеком будущем. Я прочел свояку автобиографию. Он исправил мне стиль и не преминул напомнить, что в свое время мы с ним вместе читали «Стеньку Разина» и «Гарibaldi» в Дряновском монастыре, у пещеры, и в один прекрасный день полиция схватила нас и арестовала за нелегальную деятельность.

— А в остальном ты хорошо ее набросал,— добавил свояк,— такой автобиографией и я бы гордился.

— Скромно, но правдиво,— сказал я.

— Точно.

И мы расстались как всегда сердечно, пожелав друг другу успеха в работе. Я уже весело посвистывал, когда неподалеку от Дома культуры встретил своего друга Зафировва, неустанно занятого культурными мероприятиями, но всегда готового уделить время и мне. Он одобрил мою автобиографию, но обнаружил случайный пропуск: в 1938 году, кажется летом, мы отнесли товарищу Мичеву в центральную тюрьму баницу, но съели-то баницу надзиратели, да еще нашли на дне противня нелегальное письмо. Я этот факт забыл и извинился перед Зафировым.

— Надо все писать, Драган,— сказал он,— ты не смеешь умалять свою славную деятельность.

— Ты прав, Зафиров, да вот память изменяет...

— А ты, брат, напряги ее! Помнишь марки, которые я тебе дал из комитета помощи и которые ты реализовал за несколько дней?

Совсем вылетело у меня из головы!

— А подпольщика, что я к тебе привел?

— Такого не было, Зафиров,— возразил я.

— Было, только, дорогой, ты забыл... А облава?

— Какая облава?

— В канун Первого мая, когда полицейский отобрал у Стоенчева фотоаппарат и не отдал его.

— Кто такой Стоенчев?

— Официант... потом он еще подлецом оказался.

— Что-то, браток, я запаматовал.

— Э-э, так не годится... Я тогда с риском для жизни перевел одного подпольщика по доске из окна Гатевых к вашему окну, а ты, кажется,

был на почте, и Радка вся побледнела да как закричит. Потом, конечно, мы его переправили на другую квартиру и так далее, как это бывало во время облав.

— Да, так оно и было,— согласился я,— забывается, разве все упомнишь. Правда ведь?

Я положил автобиографию на колено и дописал ее, поблагодарив Зафирова за восстановленные факты. Память человеческая — коротка она. Изменчива, неверна и коварна...

— Очень уж ты измарал все, брат,— в заключение укоризненно сказал Зафиров, взглянув на автобиографию,— в таком виде не примут. Нужно на пишущей машинке напечатать.

— Где же я теперь буду искать машинку? — разозлился я.

— Идем в клуб, там у них есть одна, правда разбитая, но печатать можно.

— Хорошо,— решил я и пошел с ним в клуб.

Машинистка, такая же старая, как ее машинка, начала отстукивать мою автобиографию, которую Зафиров диктовал с необходимыми поправками и дополнениями, извлеченными из далекого полузабытого прошлого.

За полчаса все было готово, я снова подписался и направился к Ивану Г. Иванову, который работал на новом месте, был чрезвычайно занят и переутомлен заседаниями. Мне пришлось некоторое время подождать у двери, пока он меня примет, поскольку было много посетителей. Когда я вошел в кабинет, он сидел, обхватив голову руками, и просматривал синюю папку с белыми исписанными листами. Я поздоровался, и он, не глядя, знаком указал — садись. Я сел на стул у письменного стола, помолчал несколько минут, потом кашлянул. Он посмотрел на меня и, словно прочитав мои мысли, спросил:

— Принес?

— Да,— ответил я.

— Давай посмотрим, что ты написал.

— Да вот, набросал кое-что...

— Как это так — набросал? Что значит «набросал»?

Я смутился. Автобиография, которую я ему протягивал, повисла между нами в воздухе, потому что он не протянул руки, чтобы ее взять, услышав слово «набросал», произнесенное мною столь поспешно и необдуманно.

— Веди себя серьезнее, Мицков! — сказал он.— У тебя ведь уже голова седая...

— Извини,— сказал я, снова подавая дрожащей рукой автобиографию.

Он взял листы и тотчас спросил:

— А почему на машинке? Как это так? Автобиография должна быть написана от руки, чернилами, разборчиво и в присутствии сотрудника отдела кадров.

— Я этого не знал,— сказал я.

— А что ты знаешь, Мицков? Ничего ты не знаешь! Так-то...

Я почувствовал, как кровь вмиг отлила у меня от головы, а с ней будто утекли и мысли, которых и без того не хватало, чтобы отвечать на задаваемые вопросы. Рассеянно посмотрел я в окно. На водосточной трубе сидели воробьи. Два голубя ходили по карнизу. Я молчал. Иван Г. Иванов тоже молчал, уставившись в мою автобиографию. Взглянул на меня, снова принялся читать, а затем снова долго молчал, помечая что-то карандашом на полях.

— Много, брат, поэзии и мало фактов,— вздохнул он, отбросив автобиографию.— Так не пишут! Ничего конкретного, никаких дат, имен,

фактов... И скромности недостает. Одно только самовосхваление, излишние подробности... Какая там еще баница? Кому она нужна?

— Передача нелегальной литературы, товарищ Иванов.

— Глупости! Кто вам поручал? А облава? Что это за выдумки с доской? И кто же ходит по доске из одного окна в другое, когда на улице патрулирует конная стража и полно агентов? А Стоенчеву никто не мог помешать фотографировать во время облавы — даже детям было известно, что он филер.

— Насчет Стоенчева — факт!

— Знаю, но это был человек, связанный с полицией... И потом, что это за недомолвки: ты говоришь, что приходишь из бедной семьи, но умалчиваешь о земле, полученной в наследство, о регистрах на недвижимое имущество и прочем.

— Да, тут ты прав.

— И что же?.. Почему же «бедная», а не «средняя»? И к чему эта поэзия о мировой войне? А вот о мобилизации, партизанских отрядах и твоей роли в то время ничего не сказано.

— Работал на почте.

— Так и напиши. А чем занимался?

— Разносил письма и прочую корреспонденцию.

— Существовала ли на почте организация, входил ли ты в нее? Ведь ты даже не упоминаешь о швейной мастерской, где мы устроили склад для нелегальных журналов. Ни единым словом не упоминаешь, а о «Гарibaldi» пишешь!

— Я и о нем забыл, да свояк мне подсказал.

— Комитет помощи, марки... А сколько левов собрали, где, как — ни слова! И потом о пистолете надо, чтобы было понятно, был он в исправности или нет, когда ты его вернул.

— В исправности был.

— Оставь, пожалуйста, я же сам тогда его осмотрел и все помню... Ну хорошо, не будем ворошить прошлое. Ладно...

Я виновато склонил голову и долго молчал, потому что он все знал и поддевал меня то с одной, то с другой стороны, пригвождая фактами, мною забытыми. После мучительной паузы, когда, казалось, я вовсе потерял память, он совершенно справедливо заметил:

— Фактически у тебя, брат, нет биографии. Поэзия, фразы, страдания... Все мы страдали — это известно. Зачем все время кричать об этом? И ничего о семье, о быте, о сыне, снохе, родителях снохи, социальном положении. Ни слова! Нет, так нельзя. Нужно еще раз переписать, дополнить, иначе я не могу ее принять!

Он подбросил листки, я попытался поймать их в воздухе, чтоб они не рассыпались по полу, и это мне удалось сделать очень ловко. Потом я согнул их и запихнул в почтовую сумку, на прощание поблагодарив за советы.

Рассеянно шел я по улице Экзарха Йосифа, а с меня текли ручьи пота, и я вытирал лицо белым платочком, выстиранным моей заботливой хозяйской. Радка, Радка — единственное мое утешение в этой жизни! Глаза мои наполнились слезами, я готов был разрыдаться. Мрачные предчувствия одолевали меня, но я сдержался. Домой пришел вконец расстроенный, без единой мысли в голове, словно ветер выдул их.

Я снял сумку и устало опустился на стул. Радка, увидев меня, ничего не сказала, занятая хлопотами по дому. Теперь она воспитывала нашу единственную внучку, с полным основанием названную в ее честь. Я несколько раз тяжело вздохнул и подсел к кровати полюбоваться спящим ребенком. Тогда жена тихо спросила из кухни, подал ли я заявление на мясокомбинат.

— Нет,— сказал я,— у меня еще не готова автобиография.

— Почему?

— Очень общая получилась,— продолжал я,— нужно уточнить.

Я вынул листы бумаги и положил их на кровать, где спал ребенок. Радка махнула кухонным ножом, делая мне знак приблизиться. Я взял свою автобиографию и пошел на кухню, не сводя глаз с ножа, но без особого страха, так как привык к нему.

— Не поняла я,— сказала она громче,— почему же ты все-таки ее не отдал?

— Нужно добавить новые факты, Радка, и переписать начисто.

— Эх! — вздохнула она.— Будь это соленье, оно давно бы уже прокисло! Чего им от тебя нужно? Не годишься, что ли, для этой работы?

— Да нет, Радка, не то. Беда в том, что я доверился посторонним и даже не попытался напрячь память. Люди правы... Ведь автобиография — это палка о двух концах...

Радка с беспокойством взглянула на меня.

— И о банице и о доске... И многое другое... Все вызывает сомнения, если не уточнить... По датам и часам. Ведь так?

— А как прятали подпольщиков? Как я носила за пазухой газеты?

— Радка!

— Я молчать не буду!

— Ребенок проснется...

— Пусть проснется! — кричала она, расхаживая с ножом по кухне.

Мурашки все же поползли у меня по спине, когда нож блеснул на солнце, словно нацелился своим острием мне прямо в сердце. Но тут Радка замолкла, потому что пришел свояк, как всегда улыбающийся, поскольку море ему, извините, по колено.

— Здравствуйте,— сказал он.— Что это вы притихли?

— Ничего, радуемся, на внучку глядя.

— Та-ак,— протянул он,— в ваши годы ничего другого и не остается.

Потом он повернулся и заглянул в мою автобиографию — может, посмеяться надо мной хотел, а может, помочь, но я не поддался. Я принял другое решение — заниматься своим делом, которое знаю и в котором разбираюсь, и не соваться туда, где мне не место.

Я попросил его сесть и соблюдать тишину, чтобы не разбудить внучку, которая набиралась сил для будущего.

Потом еще раз подошел к кровати, наклонился, поправил одеяльце и улынулся, забыв все свои мрачные мысли.

Вот и пришла старость...

Перевела с болгарского Л. Хлынова.



БОРИС ПОЛЕВОЙ

★

В ТУ ТЯЖЕЛЮЮ ЗИМУ*

(Из записок военного корреспондента)

13. Изнанка их душ

У моего нового друга, корреспондента Совинформбюро, обширные знакомства в кругах московских международников. Он свел меня со старшим батальонным комиссаром Александром Зусмановичем — начальником отдела Политуправления, бывшим коминтерновским работником, отлично знающим Берлин, подолгу жившим в нем до войны. Это умный и к тому же веселый человек. Его отдел ведет работу среди войск противника, изучает настроение немецких солдат, издает листовки-обращения, организует радиопередачи через линию фронта. Вообще-то работа у этого отдела своеобразная, и наш брат корреспондент там не очень желательный гость, но Зусманович, которого в его аппарате между собой именуют Зусом, делает для нас исключение.

Сегодня мы совершили налет на его отдел, разместившийся в нескольких уютных домиках Кушалинской МТС, и визит этот дал нам многое для понимания того, что сейчас, в дни стремительного сокрушения «Тайфуна», происходит в душах немецких солдат. Много пленных. Их допрашивают и по показаниям не только уточняют сведения разведки о дислокации и вооружении неприятельских частей, но судят и о настроениях в армии неприятеля. Зусманович к этим показаниям относится скептически.

— Многие, и чаще всего самые отъявленные мерзавцы, подняв руки вверх и очутившись у нас, особенно громко кричат: «Гитлер капут!» — Он хитро улыбается своими выпуклыми голубыми глазами. — Только вот в письмах, когда авторы их остаются наедине с собой, они по-настоящему раскрываются. И тут уж не «Рус, сдавайсь» и не «Гитлер капут». Сейчас мы захватили три их полевых почты. Кое-что уже успели прочесть. Вот это материал для серьезных раздумий.

Восемь девушек — младших лейтенантов, очень молоденьких, очень интеллигентных московских девушек, выпускниц Института иностранных языков и университета, занимаются здесь не очень веселым делом, читая и переводя эти письма. И боже ты мой, как красноречивы эти куски бумаги, торопливо исписанные разными почерками!

Мы с коллегой целый день читали эти переводы и выписывали для себя особенно интересные места. Да простят нас адресаты этих недоданных писем — Маргариты, Эрны, Марты, Розхен — за то, что мы без их разрешения предаем гласности предназначенные им слова. Я рас-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

полагаю письма по времени поступления и цитирую отрывки из них без всяких исправлений.

Итак, разгар «Тайфуна». Середина октября. Немецкие части провалились на самые близкие подступы к Москве.

«...Разговаривал в пункте обогрева с раненым из знаменитой части «Мертвая голова». Он воевал во Франции, Бельгии, Норвегии. Все обходилось хорошо, а вот сейчас ранен в ногу. Очень досадует, что, так близко подойдя к Москве, не сможет быть там, когда наши доблестные части туда ворвутся. Им обещали на три дня отдать город в их распоряжение... Девчонки, выпивки, сласти — всего этого он теперь не увидит и горюет об этом даже больше, чем о своем поврежденном колене, в которое он ранен, и, кажется, серьезно. Впрочем, им хорошо, этим эсэсманам. У них одежда на меху, а мне все это, по правде говоря, перестало нравиться. Мы еще в пилотках, даже подшлемники не всем выдали, а по ночам тут уже морозы. Ну, ничего, моя любимая жена. Москва недалеко, в Москве всего много, отогреемся и отоспимся...»

«...Должен сообщить вам, мои дорогие родители, печальную новость. Мой друг Рихард Вольф, о котором я вам писал, пал смертью храбрых. Он погиб самым нелепым образом. Его послали на мотоцикле к генералу с донесением, а на следующий день его и мотоциклиста нашли мертвыми у дороги, а мотоцикла не было. Партизаны! Это страшное явление, которого мы не знали ни во Франции, ни в Бельгии, ни в Дании. И чем ближе мы к Москве, тем злее они становятся. Нападают на наши транспорты и даже на наши арьергардные части. Мы сравнительно далеко от фронта, не слышим даже оружейной стрельбы, но в лесах этих бандитов так много, что гарнизонам, оставленным на охране дорог, приходится на ночь баррикадироваться в домах и заваливать окна.

Эти русские — азиаты, они совершенно не соблюдают правил войны. У них опасны даже женщины и дети. Вчера полевые жаандармы сожгли две деревни вблизи места, где нашли тело Рихарда, и расстреляли сколько-то жителей. Как это ни грустно, мы вынуждены быть жестокими и наводить страх. Но недолго нам остается терпеть неудобства, дорогие родители. Скоро, говорят, в начале ноября, когда у русских их большой праздник, мы займем Москву. Офицер просвещения говорил нам даже, что уже разработан план нашего парада. Но в нем, конечно, будут участвовать эти господа из «эсэс», которые всегда со всего снимают сливки. Но Москва — город большой, всего они там не сожгут, и нам что-нибудь останется. Но главное — Москва, Москва. Там уж верный конец этой проклятой зимней войны... Если встретите мать Рихарда, об обстоятельствах его смерти не сообщайте, скажите — пал смертью храбрых, увлекая за собой в атаку наш взвод».

«Дорогая моя жена, благодаря гению фюрера мы уже совсем рядом с русской столицей Москвой. Еще один, два хороших ударчика, какие мы умеем наносить, и этот колосс на глиняных ногах рухнет, и мы одержим самую грандиозную победу из всех, какие мы уже одерживали, вдохновленные гением фюрера. Нам не страшны ни морозы, ни метели. Нам не страшны снега. Наш дух высок, наши намерения непреклонны. Правда, русские сражаются сейчас с особой яростью. Каждая дорога, каждое село, каждый дом стоит нам жизни многих наших товарищей. Нет уже ни веселого Бернарда, ни обжоры Теодора, ни нашего эфрейтора, о которых я тебе писал. Бедного эфрейтора ра-

зорвало на куски. Но люди из нашего взвода, отдавая честь павшим товарищам, рвутся вперед, и ничто их не остановит до самого центра Москвы. Хайль Гитлер!»

«Дорогой Вилли, как я жалею, что ты еще лежишь в госпитале, а мы уже штурмуем Москву. Вот где пожива-то будет! Говорят, эти московские девчонки очень красивы и полненькие и еды там самой изысканной будет сколько угодно. Вот попируем! А тебя, черта, не будет с нами. Поправляйся скорей и вступай в строй. Москва — город огромный, может быть, и для тебя что-нибудь останется».

Так они писали в октябре, когда рвались к Москве. А вот письма ноябрьские:

«Дорогой брат, я давно не писал тебе. Некогда. Не до писем, столько у нас хлопот. Москва близко. Говорят, наши панцирные части видят ее, но продвижение наше пока затормозилось. Вот уже около недели мы топчемся на одном месте, возле какого-то озера или водохранилища у деревни Завидово. Мне в штабе говорят: все хорошо, все идет по плану нашего обожаемого фюрера. Но вот уже несколько дней мимо нас по большому автобану идут в западном направлении санитарные машины, полные раненых. По радио говорится что-то о перегруппировке и спрямлении фронта. Это мне тоже не нравится. Словом, нелегкие ждут нас дни. Но все же я не теряю надежды побывать в Москве и привезти моей любимой Соне русскую черную лисицу. Скажи ей об этом, а то что-то она давно мне не писала. Впрочем, почта ходит нерегулярно».

«...Эти русские вздумали нас контратаковать. Атака следует за атакой. Наш полк сражается доблестно. Мои товарищи дерутся, как львы, однако несем ощутительные потери. Мы же бьем их во много раз больше. Все мы удивляемся, откуда у русских берутся силы. Ведь они проиграли войну. Их столица не сегодня-завтра будет наша. Сдались бы по-хорошему, как сделали это парижане и брюссельцы, и, может быть, наш фюрер простил бы их, а эти фанатики дерутся из последних сил, вызывают у нас неоправданные потери, за которые нам придется им мстить...»

«...Представь себе, мой дорогой брат, трое из нашего взвода сдались вчера в плен. Какой позор! Все видели, как эти мерзавцы подняли руки и вышли из кустов навстречу русским. Господин капитан в бешенстве. Он говорит нам, что только наше доблестное поведение в грядущих боях может избавить нашу роту от позорного пятна. Он говорит, что русские расстреливают пленных, а перед этим мучают, вырезают им свастику на груди и на спине. Так им и надо, этим негодьям, опозорившим высокое звание солдата великой Германии...»

«Любимая Лизхен, я не знаю, когда напишу тебе следующее письмо. Русские атакуют снова и снова, а артиллерия их стреляет по нас уже второй день так, что и головы не поднять. Твой мальчик, как ты знаешь, не робкого десятка, однако и мне порой становится не по себе. Многих наших уже нет в живых. И как это страшно несправедливо — после стольких месяцев войны, после таких походов быть раненым или убитым здесь, в русском лесу, совсем рядом с их столицей. Вижу тебя во сне. нелую, обнимаю и прочее, а просыпаюсь от грохота разрывов. Да, для нас наступили дни испытаний. Но фюрер всегда в моем сердце,

и, я надеюсь, мы переживем эти испытания, как подобает настоящим солдатам великой Германии...»

«...Пишу вам, родные, из госпиталя в городе со странным названием Клин. Меня ранили в какой-то деревне совсем рядом с Москвой и, оказав первую помощь, повезли почему-то весьма далеко в тыл. Боюсь, что это оттого, что русские начали наступление и начальники боятся, как бы мы, раненые, не попали в руки Иванам. Я не верю, конечно, в серьезность их наступления. Ведь мы же столько перебили их и взяли в плен. Говорят, что они бросили в бой каких-то монголов и что те не знают пощады и добивают раненых. Но что там ни будь — на душе у меня не цветут эдельвейсы, как любил говорить дядя Карл. Рана моя, говорят, неопасная, но повреждена кость ноги, и врач признался, что мне будет трудно ходить. А может, это и к лучшему...»

А вот уже декабрьские письма из мешка полевой почты, совсем недавно захваченной в селе Медное:

«...Эти негодяи красные, которые не знают, что такое совесть и честь, которым неизвестно, что такое воинский долг, оказывается, нарочно заманивали нас в центр своей страны для того, чтобы потом русские морозы расправились с нами и сделали то, что сами они не могли сделать силою оружия. Ночью я стоял в карауле, по-видимому, заснул, и, слава богу, смена нашла меня еще живым, но руки, лицо и ноги у меня обморожены... Теперь много говорят о том, что так точно поступили русские с Наполеоном. Морозы действительно ужасные, дуют какие-то сибирские ветры, и температура доходит до 40 градусов по Цельсию. По ночам их дома трещат от мороза. Моим товарищам приходится очень тяжело. Но русские просчитались. Наш фюрер — это не французишка Наполеон. По приказу ставки мы, чтобы спрямить фронт, немного отступили, вернув красным несколько малозначительных пунктов. Наш аэродром тоже перебазировался на запад, и мы получили вместо землянок хорошее жилье и удобства. Мои коллеги по-прежнему летают бомбить Москву и издеваются над ней, как только им вздумается. Но досадно, что овладение Москвой пришлось все-таки отложить, по-видимому, до весны. Ведь мы настоящие европейцы, не приспособленные к азиатским морозам. А этим Иванам все равно, говорят даже, что они в снегу купаются, как мы в ванне или под душем. Но генерал-мороз, победивший Наполеона, на этот раз столкнется с германским характером. Вот увидишь, не дальше как весной я пришлю открытку из Москвы...»

«...Дорогая Клара, пишу тебе это письмо из госпиталя. Оно, возможно, будет последним. Почерк не мой. Мне отняли руку, и я диктую это письмо товарищу. Случилось так, что меня ранили в бою, но я столько пролежал в снегу в ожидании первой помощи, что раненая рука превратилась в льдышку, и врачи, опасаясь гангрены, удалили ее. Я не виню ни врачей, ни санитаров, которые вовремя меня не подобрали и не оказали помощи. Вероятно, это хорошие люди и хорошие солдаты, но у них столько работы, сколько не было с начала войны. Целую тебя, моя Клара, а ты поцелуй детей от имени их бедного отца, которому здорово не повезло. А ведь мы были совсем близко от Москвы...»

Девушки-переводчицы сами отобрали для нас эти письма. С оперативной и разведывательной точек зрения они ценности не имеют. Но вот для исследований психологии противника, как мне кажется, выбор

произведен удачно. По письмам этим можно судить, как в великом сражении за Москву развеивался в прах миф о непобедимости немецко-фашистской армии, без больших потерь завоевавшей всю Западную Европу и не знавшей при этом ни одного даже тактического поражения.

Солдаты, которые двигались к Москве и мысленно уже грабили московские склады, насиловали московских девушек, обжирались трофеями, сулили своим женам сибирские меха и астраханскую черную икру, эти солдаты откатываются сейчас под ударами наших войск на запад, обуреваемые уже другими настроениями.

Мы с Евновичем сердечно поблагодарили милых лейтенантов за эти письма и расстались друзьями. Девушки эти все добровольно, по комсомольскому призыву пошли на фронт, но до сих пор никак не могут свыкнуться с фронтовой обстановкой. Они живут тесной стайкой, и домик их среди офицерской штабной молодежи зовется «высота 57». Была такая высота где-то под Калинином, которую не могли взять штурмом два наступавших батальона. Даже самые отъявленные сердцееды из разведки штурмуют эту «высоту» безрезультатно и, хотя потеря в живой силе и технике не несут, отступают ни с чем и делаются мишенью для штабных острязков.

Кстати, узнал от Зусмановича тайну раненого перебежчика, о котором так ничего и не рассказал мне профессор Успенский. Перебежчик — военный инженер в капитанском звании. Не коммунист, но антифашист, и, говорят, убежденный. Сейчас, едва долечившись, уже работает на подвижной радиовещательной станции. Говорят, интересный человек. Надо будет его повидать.

14. Оседлав «черную смерть»...

Есть в составе наших военно-воздушных сил самолеты-штурмовики ИЛ-2. Немцы прозвали их «шварце тод», что переводится как «черная смерть». Это великолепные машины с бронированным брюхом и отличным вооружением. У них и пулеметы и пушки, а под крылья подвешивают реактивные снаряды такие же, какими стреляют «катюши», только иного калибра и назначения.

Всю войну, начиная от границ, над нашими войсками висели немецкие пикировщики Ю-87, на фронтовом жаргоне «лаптежники» или «ревуны». «Лаптежники» потому, что шасси у них не убираются и колеса, накрытые обтекателями, висят под фюзеляжем так, что снизу кажется, будто это торчат ноги человека, обутые в лапти. Ну, а «ревуны» потому, что, кроме отличного вооружения, снабжены они сиренами, которые при пике издают отвратительнейший, выматывающий душу рев. Сколько мы натерпелись от этих «лаптежников-ревунов» и в наступлении и в обороне!

Ну а теперь расквитываемся с неприятелем с помощью великолепных ИЛ-2. Сейчас, в дни нашего наступления, самолеты эти тройками, изредка шестерками, выходят на бомбежку отступающих колонн. Они накрывают их на марше в дорожных пробках, на объездах у взорванных мостов, обстреливают из пушек, осыпают реактивными снарядами, которые, разрываясь на сотни пылающих кусков, сжигают все живое. Отсюда и название «черная смерть».

Я замыслил дать корреспонденцию «Над дорогами немецкого отступления», слетав в рейд на таком штурмовике. Получил согласие командующего ВВС фронта генерала М. М. Громова, знаменитого нашего летчика, известного давней, довоенной дружбой с журналистами. Договорился с гвардейским полком. И вдруг новость: открывается

дверь нашей избы, и в облаках пара, как Мефистофель в опере, появляется начальник военного отдела «Правды» полковой комиссар Лазарев.

— Приехал вот посмотреть, как вы здесь воюете...

Передал редакционные приветы, письма от жены и мамы и как-то очень осторожно поставил в красный угол избы под иконы маленький походный чемоданчик.

Мы, военкоры, любим нашего начальника, неразговорчивого человека с сердитой внешностью и, как мы в этом не раз убеждались, с добрым, отзывчивым сердцем. При всем этом, признаюсь, меня появление московского гостя не обрадовало. Вместо того чтобы лететь на штурмовку отступающих вражеских колонн, придется ходить с ним по фронтовому начальству, устраивать ему сносное жилье в штабной деревеньке, и без того переполненной после того, как третьего дня ее бомбили и три избы как языком слизнуло. Но главное — летчики, летчики. Ведь с каким трудом добыто разрешение!

Но Лазарев оказался на редкость покладистым. К летчикам? Отлично, едем к летчикам. Над колоннами отступающих? Отличная забота. Таких корреспонденций в гражданской печати, кажется, еще не было. Вот только если сойдут или придется сесть за линией фронта... Корреспондент «Правды» на территории противника — это не подарок для редакции. Какие листовки фашисты будут тогда писать от имени этого корреспондента! Успокаиваю: документы на время полета я оставлю в штабном сейфе, как это делается при переходе линии фронта к партизанам.

Итак, сбывается мечта. Еще в Москве, оформляясь, я донимал Бронтмана, человека, давно связанного с авиацией, просьбами добыть мне разрешение слетать на тяжелом бомбардировщике на бомбежку Берлина или Кенигсберга. Тогда не вышло, а сейчас вот они — грозные боевые машины стоят на лесной опушке у края полевого аэродрома. Командир авиаполка, плотный, приземистый человек, в своих унтах и кожаной куртке похожий на медведя, необыкновенно гостеприимен.

— Вылет? Заметано. Через сорок пять минут вылетаете. Приказ генерала Громова получен. А пока что по обычаю полка надо плотно позавтракать и выпить ворошиловскую. Такой уж у нас порядок — на голодное брюхо не летают.

Настроение в полку самое боевое. Трудно было, когда отступали. У немцев отлично поставлена противовоздушная защита. Несли потери, и немалые. Каких орлов потеряли! И не только при штурмовке, но и на аэродроме от бомбежек с воздуха. Ни маскировка, ни ложные аэродромы не помогали. А вот с начала нашего наступления будто что-то у них там сломалось. Летаем сейчас преимущественно на штурмовку колонн. По три вылета иной раз в день делаем. А потерь почти нет. Почти!.. Есть, конечно, небольшие, без потерь воевать нельзя.

— Чем же вы это объясняете? — спрашивает Лазарев.

Командир полка поводит широченными плечами.

— Психологический фактор. Отступать не то, что наступать. Это ведь мы и по себе знаем. Немец в наступлении — мотор, в обороне — железо. А в отступлении, когда управление расстраивается или ослабеет, иной раз — просто стадо... Ну и аэродромы они теряют, воздушную защиту приходится вызывать издалека... Пока она там подосплет. И это нам по собственному опыту известно.

Лечу я за воздушного стрелка на штурмовике Ильюшина. Эту бронированную машину наши наземные войска любовно окрестили «воздушной пехотой». Это за то, что самолеты-штурмовики действуют всегда в самой гуще наземного боя. Таких у немцев нет.

По приказу командира полка мне определено место в самолете командира звена — старшего лейтенанта Леонида Ефремова, молодого, тоже коренастого, просто-таки квадратного парня лет двадцати трех.

Шапка с развязанными ушами сидит у него где-то на затылке, по лбу развеивается русый вихор, курносое лицо мальчишки-забияки весьма насмешливо. На меня он смотрит, не скрывая иронии.

— Вы, батальонный, пулемет-то от винтовки отличаете?.. М-да! А на штурмовку летали когда-нибудь? Нет! Ну тогда захватите с собой побольше газет, пригодятся... Завтрак свой, по всей вероятности, в кабине оставите.— И очень задорно добавляет:— Елки-палки.

— Я много раз летал на У-2, приходилось даже в высшем пилотаже участвовать... Не сохру, что испытывал наслаждение, но завтрак оставлял при себе...

— Если вы умеете кататься на велосипеде, это не значит, что можете садиться за руль автомобиля.— И опять добавляет свои «елки-палки». А потом, сразу погасив в серых глазах иронический огонек, говорит своему стрелку:— Покажи, Ваня, батальонному комиссару, как на твоей бандуре играть. А то несподручно мне с голым задом с «мессерами» встречаться. Мало ли, неровен час — и фитиль вставить могут, елки-палки...

Очень мне понравились его «елки-палки». Хмуроватый воздушный стрелок пояснил толково, что моей первой обязанностью будет в случае вражеской воздушной атаки с хвоста действовать пулеметом. Пояснил, как это делается и что делает воздушный стрелок при штурмовке наземных объектов и неподвижных целей. Очень деловито, толково объяснил.

Звено штурмовиков, в составе которого мне предстояло совершить боевой вылет, было выделено для удара по неприятельским колоннам, отступающим на юго-запад по направлению районного центра Есеновичи. По данным разведки стало известно, что около взорванного партизанами моста создалась большая пробка. На аэрофотоснимке отчетливо вырисовывались сгрудившиеся у реки неприятельские части с боевой техникой, автомашинами и обозами.

Подходя к самолету, прошу Ефремова пролететь по возможности ниже над отступающими. Усмехается.

— Пониже! Что ж, это от нас зависит? А там, может быть, елки-палки, зениток нехворорот. Знаете, какие у них зенитки? А может, «мессера» над ними хороводят? Ты, батальонный, в случае чего крепче пулемет-то держи и гляди в оба. А не то, неровен час, и своей машине хвост очередью обрежешь. А командир полка приказал не меньше двух заходов на цель сделать. Так что нам хвост во как нужен.— Он провел ребром ладони по горлу, показав, как нам нужен хвост самолета.

Что там говорить, залезая в кабину, сильно трушу. Даже руки потеют. А тут еще непривычный меховой комбинезон — почти кубометр меха,— пудовые собачьи унты донельзя сковывают движения. С трудом втискиваюсь на место воздушного стрелка и изо всех сил стараюсь казаться спокойным.

Летчик уже забрался на крыло. Пристегивая парашют, он иронически поглядывает на меня.

— Ни пуха ни пера! — кричит с земли полковой комиссар Лазарев.

— К черту, к черту! — бормочу я, ибо давно уже заметил, что на войне, когда приходится сталкиваться с новой, еще непережитой опасностью, невольно становишься суеверным.

Комбинезон — как печка. Несмотря на мороз, рубашка начинает прилипать к спине. Застегиваю шлемофон. С непривычки ларингофоны сдавили горло. В наушниках слышится потрескивание включенной рации. Наконец за спиной будто раздался глубокий вздох какого-то огромного существа. Мотор чихнул раз, другой сизым дымом и зарокотал на высоких нотах. За хвостом самолета поползли снежные ручейки.

Теперь напряженные нервы фиксируют все мелочи. Густо взревев, штурмовик словно нехотя выползает из капонира и, неуклюже переваливаясь с крыла на крыло, катится к старту. Из других капониров вырулили еще две машины. Возле опустевшей стоянки остались фигуры командира полка, комиссара Лазарева, механиков и шофера Петровича. Повизгивают тормозные колодки. Самолет резко разворачивается на старте. Торчащий перед глазами вертикально киль, и руль поворота, словно рыбий хвост, виляющий из стороны в сторону, и горизонтальный стабилизатор с задранными кверху рулями высоты опивают большую дугу на фоне заснеженного горизонта. Стоп!

Самолет остановился, будто натолкнувшись на препятствие. Спина моя уперлась в бронеспинку кабины. И в это мгновение мотор буквально взвыл до звона в ушах, так что зашечкотало барабанные перепонки. Казалось, самолет напружинился, готовый сорваться с места, но неведомая сила все еще продолжала удерживать его на земле. И вдруг...

Мое тело неудержимо потянуло к хвосту. Пришлось опереться руками на борт кабины, чтобы не удариться лбом о пулемет. Снежный покров стремительно побегал от меня, сливаясь в гладкое однообразное покрывало. Два оставшихся на старте штурмовика скрылись за снежными вихрями. А тем временем хвост нашего самолета отделился от земли, приподнялся на метр. Набирая скорость, самолет продолжает фиксировать неровности взлетной полосы раз, другой — и повисает в воздухе. Еще несколько мгновений — земля проваливается, падает вниз.

За потрескиванием в наушниках разбираю голос летчика, он освещается:

— Ну как, батальонный, жив еще?

Стараясь подделаться под его шуточный тон, докладываю: пока, мол, жив.

— Ну а жив, так гляди в оба, елки-палки. Где там мои орлы? Оба взлетели?

— Да, да. Оба. Один уже приближается к нам, а второй...

А где же второй? Всматриваюсь в заснеженную землю и не могу отыскать второго. Понимаю, что выкрашенный в белый цвет самолет слился с местностью. Наконец на темном фоне леса взгляд выхватил контуры штурмовика.

— Ага! Вот и второй,— докладываю летчику.— Он тоже приближается к нам.

— Спасибо. Они сейчас, как приклеенные, подстроятся...

Последовал плавный доворот, мотор, казалось, поутих малость. И оба штурмовика, будто вынырнув из-под крыла, почти вплотную пристроились к нашему самолету. За толстыми бронестеклами кабин можно даже разглядеть сосредоточенные лица летчиков.

— Гляди, батальонный,— оглушил меня громкий голос командира звена,— под нами танки!

Шарю взглядом по стремительно несущейся земле. Заснеженные поля, перелески, большак, и по нему движутся крытые брезентом грузовики, но танков не вижу.

Прижав рукой ларингофон к шее, спрашиваю:

— Где ж они, танки?

— Эх, елки-палки, смотри на девятку.

— На девятку? Что значит девятка?

— Эх, не объяснили тебе! Слушай внимательно. Представь часы, циферблат. Представь, мы сидим в центре циферблата. Я смотрю на двенадцать, а раз ты ко мне спиной, стало быть, ты смотришь на шесть. Чувешь? Скажу на четверке «мессершмитты» — значит, по левой руке и чуток сзади заходят «мессеры». Если они на шестерке — значит, строго на хвосте. Понято?

— Понято. Спасибо.

— То-то. А танки теперь на восьмерке. Значит, от тебя между хвостом и крылом.

Усвоив циферблатную премудрость, я сразу вижу колонну танков. Длинная колонна — машин сорок.

— Атакуете?

— Не спеши, это пока наши. А вот минут через пять его будут, а ты гляди, гляди в оба на небо.

Гляжу. На ведомых самолетах воздушные стрелки уже сняли свои пулеметы со стопора. Вспоминая наставления, делаю то же самое. Неожиданно взгляд выхватывает в небе группу самолетов. Летят много выше нас и в том же направлении. Хватаюсь за рукоятки пулемета и поднимаю ствол, но слышу голос летчика:

— Отбой. Свои бомбардировщики.

И в эту минуту вокруг самолета справа, слева, выше, ниже вдруг возникают красивые рыхлые шапки дыма. В наушниках насмешливый голос командира:

— Сумасшедшие, куда стреляете, тут же люди!

Это, конечно, шутка в мой адрес. Но я уже понял, что красивые шапки — это разрывы зенитных снарядов. Начиная противозенитный маневр, летчик швыряет самолет из стороны в сторону. То же делают оба ведомых. Тяжелые машины начинают походить на дельфинов, резвящихся в морской голубизне. Чертовски противное ощущение, а зенитный огонь между тем как бы разом оборвался, и по серым шапкам, расплывающимся за хвостом самолета, угадывается путь, пройденный нашим звеном.

— Ну как, батальонный, завтрак еще при тебе или отдал богу?

— При мне, при мне. Порядок, — докладываю как можно бодрее, хотя за судьбу завтрака, честно говоря, уже не ручаюсь.

— Не на тех напали, елки-палки. В меня если с первого раза не врежут, то потом уж дудки. Под второй залп машину не поставлю, — самодовольно говорит летчик. На минуту его голос пропадает в наушниках и появляется вновь: — Батальонный, внимание, сейчас пойдем в атаку. — И тут же голосом, сразу потерявшим мальчишеские интонации, очень властным голосом приказывает: — Приготовиться к атаке! — И почти сразу: — В атаку!

На какую-то долю секунды меня приподнимает, и я ощущаю невесомость. Хвост самолета запрокинулся к небу, струйки сизого дыма вырвались из-под крыльев. Ведомые пикируют вслед за нами. Я вижу пламя, и, обгоняя самолет, огненным смерчем устремляюсь к земле черные сигары. Догадываюсь — реактивные снаряды. Потом всем телом ощущаю встряску. Громадная машина вздрагивает всем корпусом. Догадываюсь — заговорили пушки. Так вот что такое атака штурмовика. Самолет вздрагивает снова в лихорадке пушечных залпов, рой стреляных гильз несется вдоль фюзеляжа куда-то под стабилизатор, а вдали вижу, как медная россыпь валится из-под крыльев двух ведомых. Весь этот фейерверк устремлен в одном направлении. Но и с земли поднимается нам навстречу целая гирлянда красных мячиков.

— Внимание, эрликонами, гады, шпартят,— предупреждают наушники.

Эрликонами? Что такое эрликоны? Самолеты снова начинают противозенитный маневр, но я смотрю вниз: на фоне белого снега отчетливо выделяется скопище грузовых машин, тягачей, пушек на конной тяге. Тут и там серые коробки танков. Вот в самой гуще вражеской техники сверкнули огни, и несколько ярко-красных шариков будто повисли над этим смятенным стадом. Мгновение кажется, что шарики эти именно висят на месте, и вдруг, будто сорвавшись с привязи, несутся вверх и, мелькнув перед кабиною совсем рядом, вонзаются в небо.

Эрликон? Незнакомое это слово теперь мне ясно. Как хорошо, что этот огненный пунктир прошел мимо самолета. В этот момент как бы из брюха следовавших за нами штурмовиков плашмя вывалились бомбы и, словно туши рыб, сверкнув на солнце черными телами, устремились к земле, постепенно переваливаясь на нос. Не отрывая взгляда, слежу за их падением, пока вся очередь не нырнула в толчею автомашин и танков. Взрывы расплескивают огненные брызги. Теперь обостренным зрением с поразительной отчетливостью вижу и пластающуюся по снегу фигурки солдат, и пылающие автомобили, и дымящийся танк, уткнувшийся пушкой в кювет. Говорю «теперь», потому что, пока я провожал глазами падающие бомбы, пилот уже вывел самолет из пике, и меня снова прижало к сиденью так, что показалось, будто какая-то неимоверная сила навалилась на плечи. Самолет снова взмывал в небо.

— Эй, батальонный, жив?

— Жив.

— Чего же не стрелял?

— Не успел, так прижало, что и пулемет не сдвинул бы.

— Точно. На выводе из пикирования и не пытайся, по своему хвосту ударишь. Вот сейчас на второй заход пойдем, тогда и стегани. Теперь пониже зайду. Понято?

— Понято, попробую.

На высоте самолет делает крутой разворот. Из-под крыльев снова выплывает панорама скопления неприятельских войск. Теперь отчетливо видно, как горят грузовики. А вон лошади в артиллерийских упряжках рвутся из построений, бегают люди, а некоторые неподвижно лежат на снегу недалеко от дороги. Похоже на муравейник, в который сунули головню.

Два ведомых следуют за нами как привязанные.

— Внимание, батальонный, вторично выхожу на цель.— И тут же летчикам другим, властным голосом:— Приготовиться... Идем в атаку... Атака!

И вновь хвост самолета трубой запрокинулся в небо, а меня приподняло с сиденья и бросило на пулемет. Корпус самолета трясется, но я уже понимаю — стреляют пушки. Будто с воздушной горки, скользят штурмовики к земле. Секунда, вторая, третья. Земля близка. Несутся прямо на нас автомобили, танки, немцы в зеленых шинелях, но вот тяжесть как бы сваливается с плеч.

— Батальонный, твое слово — огонь!

Чувствуя облегчение, прикиваю глазом к прицелу. В перекрестии окуляра скользят разбегающиеся солдаты, вздыбленные кони, автомобили, тягачи.

— По воронам не шпарть, бей по уткам. Огонь! Огонь!

Большими пальцами нажимаю на гашетку. Длинная трасса стеганула наискось по скопищу вражеской техники. Пулемет рвется из рук. Крепче сжимаю рукоятку и вновь нажимаю на гашетку.

— Молодец! Кроши их...— Конец фразы хотя и очень красочен, но воспроизводить в печати нельзя.

Под нами проскакивает разрушенный мост через небольшую речушку. Самолет делает плавный доворот. Приподнявшееся крыло сразу открывает панораму какого-то селения. Затеяливая церквушка на горке, окруженная хороводом заиндевелых деревьев. Это же Есеновичи, догадываюсь я, ибо приходилось бывать здесь в командировках от своей газеты. Ну да, вон она, площадь, здание райкома, райисполкома. Крест колокольни проносится на уровне моей кабины.

— Захожу на колонну. Приготовьтесь, только короткими, короткими, не то ствол расплавите,— говорит мне летчик, почему-то переходя на «вы».

Самолет словно бы привспух, поднявшись над местностью. Опять изпод крыла поползла колонна вражеских войск. Техника на большаке, группы солдат цепочками по обочинам, сейчас разбегаются от дороги, вязнут на снежной целине. Черт его знает, откуда появляется ощущение озорного торжества — ага, не нравится вам, господа хорошие, «черная смерть»! Посылаю одну, две очереди, но хвост опять вознесен к небу, штурмовик вздрагивает от пушечных залпов. Как и все однажды перенесенное на войне, это не удивляет и не пугает. Теперь, зная, что будет дальше, заранее беру рукоятки пулемета и с нетерпением жду, когда летчик переведет машину в горизонтальный полет.

— Перехожу на бреющий,— предупреждают наушники.— Огонь! Огонь! Короткими! Ага, как тараканы, забегали! — И я слышу богатырский хохот.

Земля приблизилась до предела, каких-нибудь пять—десять метров отделяют от этих чужих солдат, пригнувшихся у машин, пластающихся по снегу. Кажется, вот-вот самолет зацепит за какой-нибудь грузовик или за дерево. И, право, это не зрительный обман, макушки высоких сосен пронесются в эти мгновения выше крыльев нашего штурмовика.

Перекрестие прицела скользит по самому центру колонны. С силой нажимаю на гашетку. Пулеметная трасса чертит вдоль колонны пунктирную линию. Трассирующие пули впиваются, жалят, и этого я, разумеется, не вижу, но чувствую. Зато глаз отчетливо разглядел, как один из грузовиков окутался огнем.

— Хватит! Пулемет расплавите.— Это насмешливо мне, а потом уже командирским тоном: — Горбатые, сбор, сбор!

Несколько поотставшие ведомые, видно, прибавили скорость и тут же плотно подстроились к нашему самолету.

— Возвращаемся в курятник,— говорит летчик и тут же серьезно добавляет: — С первым боевым вылетом, товарищ батальонный комиссар!

— Спасибо.

Теперь, когда самолеты идут домой, в командирском голосе вновь слышатся озорные нотки:

— Завтрак цел?.. Беру этот треп обратно. Извините, думал, вы так — обтекатель со шпалами в петлице, а вы, оказывается, ничего. Даже на дырку не среагировали.

— Какую дырку?

— А вон, смотрите на одиннадцать.

Теперь уже зная циферблатный секрет, повернул голову и заглянул через правое плечо. Почти на самой середине крыла топорщилась рваными зубьями пробитая металлическая обшивка. В пробину можно было без труда просунуть большой кулак.

— Это когда же?

— Это эрликон первой очередью. Да мы, елки-палки, за эту дырку с ними расквитались. Пять машин и один танк — это у переправы по первому заходу и еще кое-что по мелочи. Разведчики, елки-палки, уточняг.

И я опять слышу добродушнейшие задорные «елки-палки», которые совсем исчезли из его речи над целью.

Командир полка доволен: штурмовка была удачной. Зовут обедать. Мои друзья поздравляют, расспрашивают, а я думаю лишь о том, как бы поскорее освободиться из мехового кома — комбинезона и унтов, ибо чувствую, что все на мне просто-таки мокро от пота.

После необычного для меня полета, а может быть, после щедрого гвардейского гостеприимства страшно хочется спать. Чтобы взбодриться, начинаю обдумывать корреспонденцию, которую надо сегодня написать. Примериваю заглавия: «Черная смерть», или «Над дорогами немецкого отступления», или «Штурм вражеской колонны». Так ничего не надумав, и засыпаю под спор Евновича с Лазаревым о значении морального фактора и о том, как способствуют темпам нашего наступления уверенность и бодрость, появившиеся в войсках после сокрушения гитлеровского «Тайфуна».

— Вот увидите, потом историки обязательно будут писать, что заря нашей победы занялась под Москвой, — своим тонким хрипловатым голосом кричит с переднего сиденья полковой комиссар Лазарев.

А Петрович, гоня машину на предельной скорости, возможной на этой не очень гладкой фронтовой дороге, прервав спор о моральном факторе, прозаически произносит:

— Вот куда надо ездить материал собирать — к летчикам-гвардейцам... Повар у них — бог, и машину заправили под завяз, о талонах никто даже не заикнулся... Вежливые люди... И какой бензин! Высокооктановый! Авиационный!

15. Лечение липовым цветом

Не знаю уж, как там подсчитали разведчики, но в штаб фронта было доложено, что звено пикировщиков под командованием старшего лейтенанта Ефремова, вылетавшее на штурмовку отступающего противника, подожгло и повредило девять автомашин с пехотой, два танка, и при этом было убито и ранено сорок два вражеских солдата и офицера. Не сорок и не пятьдесят, а именно сорок два. Как они там подсчитывают? Меня всегда смущает эта точность сводок, и, передавая корреспонденцию об этой штурмовке, я вообще не указываю цифр.

Когда, положив на пюпитр телеграфиста свою корреспонденцию, а заодно и сообщение моего друга, адресованное в Совинформбюро, я вернулся в наше жилье, мои друзья вели над картой стратегический спор. Лазарев умело перенес на свою карту последние данные о расположении войск фронта. Она получилась многозначительной, эта линия, рассказывающая о двух полуокружениях, осуществленных силами 30-й и 31-й армий в районе Тургинова и силами 31-й и 29-й в районе Калинина. А сейчас, когда наступление продолжает разворачиваться, 29-я и 31-я армии с разных точек устремились в район небольшого старинного приволжского городка Старица. Похоже, что и там готовятся сомкнуться колонны этого движения, что и там назревает нечто вроде, используя немецкую терминологию, «котла».

— Окружение — высшая форма наступления, — академическим тоном говорит Лазарев. — И теперь вот мы ею овладеваем. Вот и разгадка того, что они сейчас откатываются, бросая технику. Видите, как воевать стали!

И действительно, необыкновенно интересно после каждого нашего визита в «оперу» отмечать на карте новые и новые отвоеванные пункты, которые еще недавно с такой болью мы отмечали как потерянные, и синие стрелы вонзались на картах в красную линию фронта, кромсая ее, отодвигая на восток, а в сводках Совинформбюро мелькали названия городов и поселков, оставленных после тяжелых боев.

Вечером мы разгадываем тайну чемоданчика полкового комиссара Лазарева, столь бережно поставленного им под божницу в час приезда. У запасливого московского гостя, знающего характер своих подопечных, там оказался отличный армянский коньяк из праздничного пайка. Его было достаточно, и мы послали машину за звездами. Приехал один: Леонид Лось. Его напарник Леонид Высокоостровский оказался в наступающих частях. Пока наши шоферы сооружали нехитрый ужин, «на огонек» подошел Зусманович. Сели за стол, налили и провозгласили тост за победу войск Калининского фронта.

— За победу советского оружия! — строго поправил Лазарев. — Не будьте местниками. Великую победу под Москвой добыли три фронта. Западный, ваш и Юго-Западный.

— И за то, чтобы нам больше не знать поражений, — добавил Зусманович. — Задирать нос рано. Они уже оправились от удара. Тащат подкрепления из Западной Европы. Еще будут нелегкие дни. — Он взял карту и показал: — Вот здесь, под Ржевом и у Великих Лук, обозначились новые свежие части. На нелидовском направлении появились даже части испанской Голубой дивизии... «Голубая дивизия в тверских сугробах»!.. Каков заголовок для корреспонденции! Продаю.

— А пленные? Что говорят ваши подопечные?

— Их уже и не так много, пленных, в последние дни. Убитых больше. А новые, что подходят, из Западной Европы — у них психология легких фрицев: «Дранг нах остен», и все тут. Третьего дня я говорил с лейтенантом-танкистом. Какой-то аристократишка, «фон», из прусской офицерской семьи. Прибыл из Норвегии. О разгроме под Москвой слышал, конечно, но не очень над ним задумывался. Держится нахально. Поражение объясняет морозами и тем, что интенданты, ориентировавшиеся на «блицкриг», не заготовили зимнего обмундирования. Словом, генерал-мороз. Это очень употребительное у них, у свеженьких, — «генерал-мороз». Из Голубой дивизии тоже есть несколько пленных. Эти совсем растерянные, бормочут невесть что и действительно поморожены изрядно. Рассказывают, что обмороженных у них сотни... Кстати, братья писатели, любопытнейшее явление: в наших диверсионных отрядах есть испанские республиканцы. Отличные ребята, храбрецы. Прекрасно действуют. Особенно отличаются астурийские горняки на подрыве мостов и железных дорог. И вот их мороз не берет. Видите, что значит идея... Ну а как, заголовок «Голубая дивизия в тверских лесах» покупается?

Между Евуновичем и гостями завязывается спор о современном этапе войны. Полковой комиссар Лазарев — кадровый военный, человек с академическим военным образованием, Зусманович — опытный коминтерновец, но и мой глубоко штатский друг из Совинформбюро тоже вдруг обнаруживает недюжинные познания в военном деле.

Пока они спорят над картой наступления, мы с Лосем толкуем о делах профессиональных. Я помню его довоенные впечатляющие очерки о новаторских починах, о людях рабочего класса, серьезные, глубокие очерки с проникновением в душу героев, в рабочую психологию. Я и сам до войны любил те же темы и, честно говоря, всегда завидовал Лосю. А вот на фронте он как-то еще не нашел себя. Огорчает своего редактора Вадимова, который по неистовству своего характера не терпит, когда

кто-нибудь из корреспондентов других газет «вставляет фитиль» его работникам.

За то, что статья Конева появилась в «Правде», а не в «Красной звезде», бедному Лосю был учинен разнос.

— А теперь этот ваш вылет на штурмовку... Наверное, опять будут взрываться петарды...

Человек простодушный, деликатный по натуре, он откровенно жалуется на свои беды, так сказать, представителям конкурирующей державы и делится мечтой, что, заранее узнав об освобождении какого-нибудь особенно важного пункта или об интересном происшествии, добудет самолет, слетает туда и даст развернутый очерк и, по журналистскому выражению, «всех обштопает».

— Ну и что ж, намерение доброе, искренне желаем успеха. Коньяк еще есть, давайте за это и выпьем.

— За что? За что? — спрашивает Лазарев, отвлекаясь от обсуждения вопросов нашей и немецкой стратегии.

— За то, чтобы звездовцы на нашем фронте обштопали «Правду».

— Гм... Ну что ж, если один раз — можно. — Полковой комиссар произносит это совершенно серьезно и, чокнувшись, продолжает спор.

А коньяк уже действует... Как-то сама собой возникает песня. Евнович запекает приятным тенором. Зусманович ведет вторую партию, мой и лазаревский шоферы оказываются хорошими подголосками. Мы с Лосем, не обладающие слухом, чтобы не испортить песню, только открываем рты.

Потом, развеселившись, Лось берет освободившуюся от картошки кастрюльку и, пристукивая по ней деревянными ложками, усилив свой вообще-то едва заметный кавказский акцент, сдавленным голосом тбилисского кинто поет:

На Кавказе есть гора очень большая,
Под горой течет Кура, быстрая такая.
Если на гору залезть, сверху вниз бросаться,
Очень много шансов есть с жизнью расстаться.

Грохот в оконницу обрывает песню.

— Воздух! — доносится сквозь раму грубый голос.

Бросаемся гасить трофейные стеариновые плашки. Окна зашторены. Вряд ли снаружи что видно. Но третьего дня немецкий ночной бомбардировщик, вероятно, случайно опростал свои кассеты над нашей деревенькой, разнес три крайние избы, и хотя, по счастливой случайности, никто не пострадал, комендант штаба ввел такие суровости, что и лесного светлячка заставили бы погасить свой фонарик.

Так в темноте и расстаемся, и Зусманович увозит Лосю на своей машине, как говорится, на ощупь, не включая фар. Мы же при свете хозяйской лампадки, красный огонек которой высвечивает худосочные лики святых, стелемся и укладываемся спать. Мы с Лазаревым и шоферами на полу, на тюфяках, набитых душистой колючей соломой. Евновича, которого уже не первый день мучает простуда, хозяйка, напоив взваром из липового цвета, укладывает на теплую печку, где у нее на просушку рассыпано зерно.

— В пшеничку заройтесь и пропотейте. Это при простудах куда как полезно.

Знала бы добрая старуха, на что она обрекла нашего коллегу. Посреди ночи мы просыпаемся от какого-то грохота. Инстинктивно хватаем одежду... Обстрел? Бомбежка?.. В темноте слышим приглушенный стон, возню, дрожащий голос хозяйки:

— Свят, свят, свят!

Первым, как всегда, у нас от неожиданности оправляется Петрович. Его фонарик высвечивает в темноте район катастрофы. Оказывается, наш дорогой совинформбюрист, непривычный к крестьянскому ложу, свалился с печки, упал на стоящую под ней деревянную хозяйскую кровать и вместе с ее обломками оказался на полу. Так закончилось для него лечение липовым цветом. В общем-то, все это не страшно. Но боюсь, что на несколько дней Совинформбюро лишилось своего корреспондента, весьма серьезно повредившего ногу. Впрочем, оно не должно этого почувствовать. Корреспондентский корпус у нас на редкость дружный, «взаимная выручка в бою» стала традицией. Совинформбюро без новостей не останется и даже, вероятно, и не узнает о трагическом происшествии с его работником на Калининском фронте.

16. М. И. Калинин на Калининском фронте в городе Калинин

На дворе лютые январские морозы. От генерал-мороза достается и нам. По утрам вся дверь в избе индевет. Чтобы согреться, мы, проснувшись, занимаемся гимнастикой.

Наступление на нашем фронте продолжается. Несмотря на то, что немецкие контратаки становятся все яростнее, уже освобождены Емельяновский, Тургиновский, Высоковский, Луковниковский районы. Как и предусматривали наши доморощенные стратеги, анализируя карту наступления, параллельное движение на запад 31-й и 29-й армий зажало в клещи старинный русский городок Старицу, жители которого когда-то сыграли немалую роль в сопротивлении татарскому нашествию. Как доносили партизаны и докладывали разведчики, отступая, немцы хотели создать в Старице крупный узел сопротивления, спешно возводили на крутом берегу Волги серьезные укрепления, согнав для этого жителей Старицкого и соседнего Луковниковского районов. Построили на гребне крутобережья дзоты, преградили дороги эскарпами, продолжили в мерзлой, крепкой, как железо, земле ходы сообщения. Все добротное, прочное, рассчитанное на жесткую оборону. И все это вынуждены были бросить, и именно потому, что были взяты в клещи.

Да, мы сейчас начинаем воевать по всем правилам передовой военной науки, бьем неприятеля тем самым оружием, которое он недавно применял против нас. Мне хотелось побывать в Старице, тем более что во времена оны там заправлял комсомолом мой друг Андрей Гвоздев. Чудесный парень, журналист, поэт, знаток и любитель русской старины, которой в этом древнем городке отмечена каждая улица. Он привил мне любовь и интерес к своему городку. Я совсем было уже собрался в путь, но сегодня на узле связи мне передали телеграмму Лазарева: «На ваш фронт выезжает Михаил Иванович Калинин. Обеспечьте оперативное освещение пребывания. Попытайтесь взять беседу».

Михаил Иванович Калинин — это новости! Мы, тверяки, любим чудесного нашего земляка. И не только как «всесоюзного старосту», но и как человека, в котором как бы сфокусировались лучшие качества большевика. Он сам из крестьян небольшого села Верхняя Троица, что совсем недалеко от Кашина, того самого Кашина, который недавно исполнял обязанности временной столицы области. В селе этом имеется старый, дореволюционной постройки крестьянский дом, точнее, пятистенная изба с мезонинчиком. Там живет и ведет хозяйство старушка — сестра Михаила Ивановича, не очень даже грамотная крестьянка, — и он, президент страны, богатой самыми различными курортами, предпочитает отпуск свой проводить в родном доме за крестьянской работой, пахать, косить, отбивать косы, копать на огороде или ловить рыбу в нетороп-

ливой, неширокой, но полноводной реке Медведице. Портреты Михаила Ивановича висят во всех колхозных избах. Биография народного любимца широко известна. Многие из моих земляков встречали Калинина, беседовали с ним, бывали у него на приемах, слушали его выступления и могут дополнить его и без того богатую биографию какой-то новой черточкой из своих собственных наблюдений.

Могу сделать это и я — тверской журналист, которого профессия не раз сталкивала с удивительным этим человеком. И вот, двигаясь теперь по фронтовой дороге в город, вспоминаю, как в годы колхозного строительства газета наша получила от кашинского собкора сообщение, что Михаил Иванович, отдыхая в родном селе после болезни, одним из первых записался в колхоз, что на него заведена трудовая книжка и что он уже отработал первые трудодни. Наш неутомимейший на разные выдумки редактор срочно снарядил фотографа и меня на самолете с заданием приземлиться где-нибудь на поле около Верхней Троицы, повидать Михаила Ивановича, выяснить подробности, взять беседу, сфотографировать трудовую книжку, бухгалтерский фолиант, куда вписаны трудовые дни нашего Калинина. Немедленно! Вылетайте немедленно! Из Москвы наверняка уже выехали туда корреспонденты. Опередить! Забрать материал, привезти в завтрашний номер!

Прилетели. С грехом пополам сели на пойменном лугу. От первых же встречных узнали: ну как же, как же, здесь наш Калиныч. С утра покосил, ну а теперь вроде бы на Медведицу пошел, рыбу там ловит. Двинулись прямо на реку. Берега были пусты, только двое пожилых дядек, сидя в приткнутой к берегу лодке, смотрели на неторопливое течение. Не увидев нигде Михаила Ивановича, мы подбежали к ним и спросили, не знают ли они, где он. Тот, кто был помоложе, неприязненно, даже подозрительно посмотрел на нас:

— А кто вы такие будете?

Второй же, что был постарше, с седоватой стриженной головой, с широким носом, посмотрел на нас веселыми глазами и спросил:

— А на что он вам?.. Может, я за него пригожусь.— И тихо, но очень весело рассмеялся.

В самом деле это был он, Калинин, остриженный, без бороды и усов. Посмеиваясь, он тут же в лодке побеседовал с нами, а потом пригласил и нас с летчиком попить чайку. Босой, в косоворотке без пояса возвращался он домой. Посмотрел на наш самолет-стрекозу, на следы, оставленные им на лугу, покачал головой и сказал с укоризной:

— Такая уж у вас спешка?.. Луг-то зачем мать?..

За нами шел тот, помоложе, человек, неся в руках увесистую насадку с рыбой. У околицы Михаил Иванович отобрал насадку и понес сам.

— Это чтобы знали, что не зря я на реке-то торчал... Тут ведь народ зубастый... Засмеют.

Рыбу он сдал сестре, распорядился, что в уху, а что на жарку. Поднялись в прохладный мезонин, где стоял массивный стол с чисто выскобленной столешницей. Вскоре на нем появился самовар, сахарница, шипцы, а в корзиночке груды сухек. Потом сестра принесла большую сковороду, в которой шкварчали и брызгались салом толстые ломти чайной колбасы. Появился графинчик водки мутного стекла и очень красивые стопочки, на каждой из которых была дарственная надпись: «Михаилу Ивановичу от рабочих завода «Красный май».

Словом, мы отлично поели и почаевичали в этой патриархальной обстановке, сделали снимки с колхозных документов, где, между прочим, значилось в графе «Профессия»: «Крестьянин-средняк села Верхняя Троица. Рабочий-токарь»; а в графе «Род занятий в настоящее время»: «Председатель ЦИКа СССР». В графе «Выборные должности»:

«Депутат Верхнетроицкого сельсовета, Московского городского совета, член ЦИКа СССР». В графе «Какие профессии известны»: сельское хозяйство, слесарное, а также токарное дело. Анкета была заполнена его рукой всерьез по всем правилам.

Мы улетали полные уважения к этому пожилому, умному, добро-сердечному, очень простому человеку. Немного опечален был фоторепортер: Михаил Иванович наотрез отказался сниматься.

— Я, как пушкинский Черномор, без бороды существовать не имею права. Без бороды Калинин не Калинин.— И утешил фоторепортера: — Вот растительность восстановлю, прошу ко мне в Москву — снимайте на здоровье... Не забуду, не забуду, не беспокойтесь... У меня должность такая, ничего забывать нельзя.

Через несколько лет, сопровождая делегацию калининцев — зачинателей движения за сдачу норм на значок «За овладение техникой», я имел случай в этом убедиться. Делегацию возглавляла знаменитая Анна Степановна Калыгина, секретарь Калининского горкома партии. Встретил нас Михаил Иванович очень радушно. В кабинете тотчас же был накрыт стол с самоваром, с пузатым чайником, с баранками, с вазочками, в которых лежали сахар и шипцы.

Беседа завязалась необыкновенно сердечная. Расспрашивал о новаторских починах, интересовался работой яслей, детских садов, заработком: хватает ли на жизнь, что есть и чего нет в лавках, за что землячки бранят советскую власть. На столике, за которым я сидел, стояла небольшая металлическая скульптура: токарный станочек, а за ним рабочий с широким носом, в очках, с усами и бородкой. Судя по серебряной дощечке, подарок того самого ленинградского завода, где Михаил Иванович работал¹ токарем.

По скверной своей привычке, я взял скульптурку в руки, стал рассматривать, поворачивать и вдруг, к ужасу своему, заметил, что голова отвалилась от туловища и упала на стол. Оцепенев, я поставил фигурку на место. Слава богу, все заняты беседой, и происшествия этого, кажется, никто не видел. Сделав вид, что тоже увлечен беседой, я попробовал приставить голову к туловищу. Минутку она подержалась, но малейшее движение стола — и она, на этот раз уже со стуком, покатилась на пол. Я обмер, ощутив на себе свирепый взгляд нашей предводительницы.

И тут я услышал негромкий смех Михаила Ивановича:

— Ведь вот какой землячок нынче пошел! Только зазевайся — он хозяину голову и оторвет.— И тут же успокоил: — Ничего, ничего, голова эта давно отваливается, все никак не соберусь отправить в ремонт. Положите мою голову на стол и продолжим беседу.— И опять усмехнулся: — А вот ваш журналист однажды меня не узнал, стал спрашивать, где ему найти Михаила Ивановича.— И послышался его негромкий, дробный и очень веселый смешок.

На войне всегда с особым удовольствием вспоминаешь всякие случаи из мирной жизни. Вот и теперь, пока машина, обгоняя воинские части, катилась к городу, я рассказывал друзьям об этих смешных происшествиях.

Повезло. Секретарь обкома, он же член Военного совета нашего фронта, И. П. Бойцов выезжал навстречу гостю. Мы присоединились к нему, и целый день я наблюдал, как Михаил Иванович, опираясь на палку, преодолевая одышку, семенящей походкой ходил по цехам фабрик и заводов, посетил детские ясли, зашел в театр на репетицию, побывал в воинских частях. И всюду с живым интересом разговаривал с рабочими, с бойцами, с командирами, внимательно слушал жалобы пожилой учительницы на то, что школу не топят и ребята сидят в одежде. Это в нашем-то лесном краю!.. А старую ткачиху в стеганке, в ватных штанах,

работающую теперь за станком в сохранившемся чудом 13-м зале фабрики и попытавшуюся было поклониться ему в землю, обнял и, по старому обычаю, трижды расцеловал.

И конечно же, среди земляков у него оказалось много знакомых. Он их помнил, узнавал в лицо.

— Вот этот товарищ мне однажды голову оторвал,— сказал он Бойцову, хитро посверкивая очками в мою сторону.— Как это вышло?.. А это уж он сам вам на досуге расскажет.

Потом он участвовал в работе калининского партийного актива. Задумчиво слушал выступления. Парадная словесность в речах иных ораторов, какой у нас, увы, бывает не мало, всяческие славословия, клятвы и здравицы он слушал с нескрываемой скукой, смотрел на часы, всякий раз извлекая их из жилетного кармана, протирал очки и даже морщился в особо пафосных местах. Зато когда приводились примеры стойкости тыла, рассказывалось о партизанских делах, о сегодняшних подвигах на восстановлении города, лицо его оживлялось, глаза за очками загорались, рука начинала довольно поглаживать бородку. Заявление слесаря с «Пролетарки», сказавшего, что через месяц они дадут бязь для солдатских подштанников, вызвало его аплодисменты.

Я заранее поспорил со своими коллегами, что он ни разу не произнесет ни в разговоре, ни в речи наименований: Калинин, Калининская область, Калининский фронт. Город он называл Тверью, земляков тверяками и говорил «ваша область», «ваш фронт».

Но с беседой у меня получился, как говорят журналисты, прокол. Отказался дать беседу наотрез: экое дело, Калинин приехал к своим землякам. Светская хроника, кому она нужна?

— Вы бы лучше вот о них обо всех,— он повел рукой в сторону зала,— написали. Вон как, можно сказать, прямо по-гвардейски работают. Голодные, холодные, при голодных ребятишках. Вот о чем писать сегодня надо! Вы ведь, кажется, с «Пролетарки»? О «Пролетарке» напишите, как она в оккупации себя показала. Настоящая пролетарская цитадель.

А потом, уже прощаясь, снова напомнил:

— ...Напишите, напишите о всех этих ткачихах и прядильщицах. На видном месте напечатают. Редактор-то ваш Петр Поспелов тоже, как говаривалось встарь, наш тверской козел... Землячку порадеет, поместит.

— Вот вам задание президента,— пошутил Бойцов,— и обком вполне поддерживает.

17. В пролетарской цитадели

Что ж, задание отличное! Тут же на партактиве отыскал своего старорого комсомольского дружка Федю Сладкова, одного из славной династии текстильщиков Сладковых, весьма известной на «Пролетарке». Отыскать его было нетрудно. Когда-то в шутку его звали самым длинным комсомольцем города Твери. И в самом деле крупная его голова всегда возвышалась над толпой, будто ее несли на шесте.

Обнялись, облобызались.

— Федя, ты теперь кто?

— Начальник строительного отдела «Пролетарки».

— Вот ты-то мне и нужен.

Я отправил Петровича домой в штаб фронта, вручив ему свою информацию для передачи на телеграф, а друг мой на какой-то странной машине, которую сам в шутку называл автомобилем десяти лучших

марок, повез меня в родные края. Было уже поздно. Ущербная луна, похожая на мающего зубной болью человека с раздутой щекой, обливала все холодным светом, и в ее мертвенном сиянии с грубой четкостью вырисовывались зияющие раны города. Целый район улочек с деревянными домиками, так называемая Красная слободка, площадь, носящая имя Калинина, но всегда именовавшаяся здесь по-старому Птюшкиным болотом,— все это представляло собой сплошное поле. Да и самого двора гигантского комбината не было. Заборы растащили на топливо, фабрика и уцелевшие дома сливались с пепелищами слободки.

— Ведь все нарочно сожгли, проклятые,— рассказывал Сладков.— Когда вы там Волгу форсировали, на улицах появились их солдаты. Опрыснет бензином дом, гранату бросит — и к следующему. Все кругом пылало. Зачем? Почему?.. Чем им помешали эти домишки?

Действительно, на большом пространстве почти до самой Волги виднелись ряды закопченных печей да кое-где сохранились заборы, калитки, ворота, которые ничего не огораживали и никуда не вели.

— Ну а с рабочими общежитиями как дела?

— С казармами-то? Из них несколько дней покойников и больных выносили. Иные померли от голода и холода, а на заработки к немцам не пошли. Ни кнутом, ни пряником не заставил их немец на себя работать. Знаешь же наших текстильщиков. Кремень!

Да, я их знал, вырос среди них. Семья Сладковых — одна из коренных здесь, ведет свой род чуть ли не со дня строительства первых фабрик комбината. Три сына — три гиганта, три красавца. Когда-то, в мальчишеские времена, три первых кулачных бойца, когда на рождество на льду реки Тьмаки морозовские ходили стенкой на стенку на берговских, и ребят «для затравки» выпускали вперед. Потом три комсомольца, три активиста молодежного Ленинского клуба. Потом три студента, а перед войной — три коммуниста, занимавших в городе ответственные посты. Федя, кажется, среди них средний. И, став строителем, он не изменил родной «Пролетарке», возглавил ее строительный отдел, а теперь вот, оказывается, руководит восстановлением.

Ночевать иду, конечно, к нему. Благо это недалеко от не существующих теперь Красных ворот, возле которых я на завтра назначил свидание Петровичу. Усаживаемся, и под сипенье холостяцкого примуса я слышу повесть о том, как в эти лютые морозы начинают подниматься из сугробов фабрики сожженного комбината. Водолазы уже отыскивали в речке части разобранных электромоторов, тайну которых механик так и не сообщил врагам. Один из пределов прядильной уцелел. По странной случайности на ткацкой остался цел 13-й зал автоматов. Сейчас осуществляется невероятный, просто-таки фантастический проект: над взорванной котельной сооружается огромный шатер, под ним будут топиться котлы, давая фабрике пар, тепло и энергию. Бригады механиков и подмастерьев лазают по пожарищам, выискивают более или менее уцелевшие станки, разбирают их по частям и снова собирают. Иногда из двух, трех собирают один. Уже десятки машин таким образом собраны. Поскольку цехи отделочной, так называемой «сигцевой», фабрики уцелели, из клочков хотят составить полный производственный цикл. Как говорил сегодня, выступая на активе, слесарь, к 1 мая, а то и раньше комбинат начнет выпускать бязь для солдатского белья. При немцах все было мертво. А сейчас видишь — скоро хоть малое, да пустим. Чувешь?

Чую, Федя, чую. Не хуже тебя знаю свою «Пролетарку» и не меньше тебя ее люблю. Только как же им сейчас тяжело, женщинам! Все на их плечах. Несут и не ропщут. Вспомнилось, как сегодня эта старушка Михаилу Ивановичу кланялась. Вспомнилось, и в горле защекотало.

— Ты бы в механическом цехе побывал, кто там работает — мальчишки, росту им до станка не хватает. Ящики сколотили, под ноги им поставили... А ведь не хуже взрослых работают.

— А проблемы?

— Всякие есть проблемы. Ну хоть конфликт между теми, кто уходил, и теми, кто оставался. Еще какая проблема-то! Всем теперь известно, как они без нас жили, как героически держались. Однако ж дома были, барахлишко у них сохранилось, а те, кто уходил, все потеряли. В пустое жилье пришли. Ну, вот и антагонизм. Парторганизации разъясняют. Однако же и ссоры и доносы друг на друга, даже до драк дело доходит. Люди ж... Ну, утрясем помаленьку и это.

И тут неожиданно я узнаю историю Веры, той самой маленькой и отважной разведчицы-полунемки, которую мы засылали в занятый врагом город. Она тогда пропала на обратном пути. Но, оказывается, все было не так, как об этом рассказывала Тамара. При переходе линии фронта их действительно обстреляли. Тамара, испугавшись, бросила раненую подругу и убежала одна. Немецкий патруль нашел Веру. Она заговорила с солдатами на родном языке, рассказала жалостную историю, что тетка умирает с голоду, что она пошла в деревню обменять платишки на картошку, и вот подстрелили. Солдаты посочувствовали ей, вызвали санитаря. Тот в люльке своего мотоцикла отвез ее к тетке, сделал перевязку, стал навещать. Парнем этот санитар, по-видимому, оказался неплохим. Она открылась ему, уговорила его перейти к нашим, и он как будто перешел к нам, во всяком случае обещал перейти. А вот теперь все спальни гудят от ненависти: «Немецкая овчарка». Никакие резоны не действуют.

Рассуждают так: ходил к ней немец? Ходил. Гостинцы носил? Носил. Любовь с ним крутила? Крутила. Все видели. И тетке бедной, которая, говорят, подпольщикам помогала, проходу нет: «Подложила под немца племянницу? Подложила...» Тут и отца Вериного вспомнили, что он немец. И хотя этот немец-красковар был довольно известным в фабричном районе коммунистом и числился в героях фабрики, все равно, говорят, немецкая кровь.

И еще конфликт, о котором мне когда-то, еще в Кашине, говорил профессор Успенский: Лидия Тихомирова, молодой хирург, оставшаяся с ранеными в госпитале, который не успели эвакуировать. Хотя всех раненых она выходила и сохранила, окрестили ее изменницей, предательницей, и сейчас вот пожалуйста — сидит. Следствие по ее делу ведется.

— Это жена Сереги Никифорова... Мы с тобой их обоих как облупленных знаем. Раненые за нее горой. Тут наемдни в обкоме страшный шум устроили — костылями трясли. И мы, старые комсомольцы, за нее слово сказали. Ну что поделаешь? Следствие идет. Сложно, брат, это, сложно... Однако руку отдам на отсечение, если Лидку с Серегой не оправдают и не выпустят... Ты бы там подсказал кому из военных, этому Борьке Николаеву, что ли... Он ведь знает и что тут делалось, и кто чего стоит...

— Ну а настоящие предатели были?

— Да, были, — вздыхает Федя. Человек он добрый, на жизнь смотрит светлыми глазами, и вижу, что тяжело говорить ему о человеческой подлости. И он рассказывает о бургомистре Ясинском, и о режиссере Виноградове, и о ротмистре Бибикове, о которых я уже слышал.

Харчи у заведующего строительством огромного комбината весьма тощие. Он делит пополам пайку мохнатого от остей хлеба и кусочек масла. Вскрываю банку консервов, которую на прощанье Петрович успел сунуть мне в карман полушубка. Кое-как заморив червячка, не раздеваясь, ложимся спать. Но сон не идет. Все рассказанное оживает, люди

из рассказов обретают облик. Невольно как-то начинаешь представлять себя на их месте, а за окном в голубоватом лунном свете вырисовываются контуры фабрик, неизменно изуродованных, преобразенных. Там простирается на десятках гектаров одна из старейших и крупнейших пролетарских цитаделей страны. Цитадель, выдержавшая чудовищную осаду, не покорившаяся врагу и сейчас вот начинающая оживать, приходить в себя...

А рядом, по-богатырски развалившись на кровати, во всю мощь недюжинных своих легких храпит один из славных сынов «Пролетарки», мой старый комсомольский товарищ Федор Сладков.

18. Что есть золото?

Остатки сокрушенных под Москвой гитлеровских войск продолжают откатываться на запад. Сегодня, зайдя в оперативный отдел, мы видели общую карту наступления трех фронтов. Наш дальше всех отогнал противника в западном направлении. От врага очищено Верхневолжье, взято село Селижарово, освобождены Кировский, Ленинский, Серезинский, Плоскошский, Нелидовский районы. Освобождены город Торопец и районный центр Пено. При освобождении этих пунктов весьма существенную помощь Красной Армии оказали тверские партизаны.

Только сейчас, в ходе наступления, выясняются истинные масштабы партизанской деятельности. Большие территории находились в партизанских руках. Например, районный поселок Кунью, да и весь Куньинский район партизаны освободили за пятнадцать дней до прихода Красной Армии. И когда авангарды подошли к поселку, там на домах развеялись уже красные флаги. Работали райком партии, райисполком, действовали почта, телеграф, телефон. В кинотеатре крутили даже какие-то старые фильмы.

Как было бы интересно побывать в этих тверских партизанских краях, пожить у отважных лесных воинов, среди которых, наверное, есть знакомые. Но части фронта продолжают наступать, нужно передавать информацию, и редакция не разрешила мне вылет за линию фронта. Вот и приходится довольствоваться сведениями, полученными из третьих рук.

От майора Николаева, державшего связь с тверским подпольем и партизанами, узнал интересные новости. Пришел рассказать ему о невесте судьбе разведчицы Веры и посоветоваться, чем помочь девушке. Да, все, что рассказывал Федя, правда. Об этом, оказывается, знал и мой собеседник. Действительно так все и было и действительно этот санитар перешел фронт, сдался в плен и будет, вероятно, работать в отделе у Зусмановича. И все, что рассказывает Вера, подтвердилось. И райком принял меры для ее реабилитации в глазах горожан. Попытались даже выдвинуть ее на комсомольскую работу. Но слухи, что с ними поделаешь — на чужой роток не накинешь платок! Обещал доложить начальству. Посоветуются, что-то предпримут. Потом рассказал печальную весть.

В лесном поселке Пено погибла юная партизанка Елизавета Ивановна Чайкина, оставшаяся для подпольной работы.

Я знал Лизу и даже видел ее за несколько дней до того, как оккупанты ворвались в этот лесной край. Она была там на комсомольской работе. Ее и оставили секретарем подпольного райкома комсомола. Из молодежи она организовала партизанский отряд, но сама она была в своем районе слишком известна, а по характеру слишком прямолинейна, чтобы стать настоящей подпольщицей-конспиратором. Собственно, эти черты ее знали и не хотели ее оставлять. Она настояла. Работала

активно. Боевую партизанскую деятельность совмещала с неутомимой агитационной. Накануне Октябрьских праздников она, не маскируясь, ходила из деревни в деревню и проводила беседы о двадцать четвертой годовщине Октября. Провела четырнадцать или пятнадцать таких бесед. Не знала отдыха, не знала, что такое осторожность. После этого ее похода по окрестным селам местный полицай выдал ее полевым жандармам, когда она остановилась на ночлег на одиноком хуторе. Ее схватили, пытали. Она погибла, так и не назвав ни явок, ни местонахождения партизанского отряда, не выдав ни одной фамилии. Когда ее привели на расстрел, поставили у стенки сарая, она плюнула в лицо палачу, подошедшему завязать ей глаза, и запела «Интернационал».

Лиза Чайкина! Она так и стоит у меня перед глазами такой, какой я видел ее в последний раз. Самолет при бомбежке поселка поджег школу. Она руководила комсомольцами, тушившими пожар. Лицо ее было потно, возбужденно, мокрые, коротко остриженные волосы спадали на лоб. Она резким движением головы отбрасывала их назад. Такой она и осталась в памяти: коренастая, широколицая, с грубоватыми мужскими чертами лица.

Тело ее бросили на площади для устрашения, но его унесли партизаны и похоронили с воинскими почестями.

— Памятники таким надо ставить, — сказал майор, и в голосе этого много выдавшего, много пережившего на войне человека послышалось волнение¹.

— Как добраться до Пено и сколько это отнимет времени?

— На автомашине трудно, там сейчас такие снега. Наступают лишь лыжники и пехота. Тебе их не догнать.

— А на самолете?

— Ты не смотрел сегодня на градусник?.. Ведь около сорока. Поднимаются, конечно, но только при крайней боевой надобности. Вряд ли командир эскадрильи рискнет машиной для корреспондента.

Видя, что я не на шутку опечален сообщенной мне вестью, старый друг сказал:

— Ладно, не грусти, я тебе сейчас расскажу такое, чего ваш брат корреспондент и не слыхивал.

И рассказал действительно поразительную вещь.

Вчера, наступая, боевое охранение батальона лыжников на склоне глубокого лесного оврага натолкнулось на трех партизан: парня, оказавшегося железнодорожником, девушку лет восемнадцати, машинистку по профессии, и подростка—ученика школы ФЗО. Они были без сознания, почти занесенные снегом. Их бы и не заметили, если бы не услышали автоматную очередь. Думая, что это вражеская засада, лыжники со всеми предосторожностями спустились в овраг и увидели полузамерзшую троицу. Рядом с девушкой лежал немецкий «шиссер». Оказывается, она стреляла в волков, вокруг на снегу было много волчьих следов. Первое, что спросила девушка, когда ее привели в сознание: где здесь ближайшее отделение Государственного банка?

Оказалось, что она и ее спутники уже несколько месяцев от самой границы несут по немецким тылам целые сокровища из хранилищ Рижского госбанка. Собственно, несла она, Мария Медведева. Сначала со старым кассиром, принявшим эти ценности. Но он умер в дороге. Потом ей помогала какая-то колхозница из Пушкиногорского района, а затем вот эти два парня из партизанского отряда железнодорожников.

¹ После войны в поселке Пено был поставлен памятник Елизавете Ивановне Чайкиной, а в городе Калининне молодежь построила музей Комсомольской славы, присвоив этому музею ее имя.

Как попали ценности в отделение уже эвакуированного банка, майор еще не знает. Но факт есть факт. Майор прикидывал их далеко не прямой путь по карте — вышло что-то около пятисот километров. И шли они не по дорогам, а по лесам и болотам... Поразительная история! Узнать бы подробности. Евновичу хорошо, он тут же написал краткое сообщение для Совинформбюро, ну а мне сообщения мало. А как об этом можно было написать! Ведь подумать только: поминутно рискуя жизнью, несут принадлежащие государству ценности. Один погибает, на его место встает другой, а главное — ведь донесли и сдали законной власти.

Сколько, начиная с античных времен, написано в мировой литературе о роковой роли золота! Брат убивал брата; дети отравляли родителей; молодые женщины продавались старикам; нежные, совестливые юноши становились прохвостами и убийцами; друг доносил на друга. Убийства, измены, подлые сделки с совестью и кровь, кровь... И вот какие-то обычные люди получают сказочную возможность обогатиться. Ведь они на земле, где хозяйничают фашисты, где парализованы советские законы... В этом мире золото мерило всего — и совести, и чести, и доблести. Девушки-переводчицы рассказывают, что, разыскивая в карманах убитых гитлеровцев документы и письма, они иногда находят там кольца, серьги, брошки, золотые и серебряные крестики, зубные протезы и коронки или иные ценности, происхождение которых совершенно ясно.

И вот среди людей того мира движутся на восток несколько советских человек для того, чтобы вернуть своей стране, своему народу то, что ему принадлежит. Прав майор Николаев, прав: о таком, наверное, еще ни одному корреспонденту писать не приходилось.

Еду в штаб связной эскадрильи. Самолеты еле видно — так они замечены снегом в своих капонирах. Аэродромная прислуга и десятка три закутанных в шали женщин лопатами расчищают взлетную дорожку. Командир бесшумно мечется по избе, мягко ступая в своих мохнатых унтах. На носу у него темная лепешка: он его на днях отморозил и, нервничая, все время колукает болячку. Мы с ним друзья.

— Тебе самолет? Да? А это ты видел? — И, сняв рукавицу, он показывает изрядного размера кукиш. У него в петлице шпала, у меня — две. Видимо, вспомнив об этом, плаксивым голосом, который так не идет к его массивной фигуре, говорит: — Я связника, который по приказу начальника штаба должен летать к Юшкевичу, никак не могу выпустить. Вон расчищают полосу... А ему дай самолет!

Я хорошо знаю характер этого человека. Пилоты так и зовут его — «Горячка». «Наш Горячка». Расстреляв обойму своего гнева, он успокаивается, становится рассудительным и дружелюбным. Устало опускается на лавку. Сажусь рядом с ним и рассказываю ему о гибели Чайкиной и об этих троих, что вынесли золото. Слушает, просит показать на карте и поселок Пено, и место, где найдены, как он выражается, «твои золотари».

— Да мы туда еще и не летали... Неизвестная нам еще трасса... Вот проложим, тогда, может быть... — Подчеркивает: — Может быть.

— Ну а если я принесу распоряжение от начальника штаба?

— Распоряжение кому? Деду-морозу? Чтобы он скинул хоть градусов двадцать? — И опять взрывается: — Ты, батальонный, на градусник-то смотрел?

Чувствую, что, в общем-то, он прав, конечно, и что не может он в такой мороз без крайней надобности рисковать жизнью пилота и машиной. Ни с чем возвращаюсь на узел связи и передаю наскоро написанную информацию для сведения редакции.

Весь вечер обсуждали с Евновичем это происшествие. Случай с ценностями не идет из головы.

— Ну чего вы раздумываете? И удивительного в этом ничего нет, — говорит мой друг. — В гражданскую войну целый поезд с золотом у беляков отбили. И притом, заметьте, ничего не пропало, а Ленин вон говорил, что настанет время, когда из золота будут общественные отхожие места. Что такое золото? Красивый металл, довольно-таки бесполезный для больших человеческих целей. Эквивалент богатства, миф, условность... Тут разве в золоте дело?

19. Нашего полку убыло

Я только вернулся с самого западного участка нашего фронта. Побывал у сибирских лыжников, собрал материал о партийной работе в условиях наступления. Вернулся в самом приподнятом настроении. И вот будто удар прикладом по голове: пропал корреспондент «Красной звезды» Леонид Лось. Вылетел на самолете куда-то в западном направлении, неизвестно точно даже куда, и не вернулся. Ни о нем, ни о летчике ничего не слышно вот уже третьи сутки.

Евнович, несмотря на то, что поврежденное колено не дает ему свободно ходить, все это время мотался по штабным деревням, занимался организацией розысков, добился соответствующих распоряжений от члена Военного совета Д. С. Леонова. Тот разослал по армиям приказ немедленно сообщить, как только что-нибудь станет известно о пропавших. По просьбе Евновича секретарь обкома И. П. Бойцов через рации, державшие связи с партизанами, отдал соответствующие команды лесным воинам. Командира эскадрильи и просить не надо было: ведь пропал его самолет и его летчик, один из лучших его пилотов.

Самое скверное, что вылетел он, не оставив маршрута. Даже напарнику Лосю неизвестно, зачем он полетел. Улетел — и будто растворился в морозной мгле, стоящей сейчас над лесами и полями.

Мы смотрим на карту. Везде, где идет сейчас интенсивное наступление — и в Пеновском, и в Нелидовском, и в Торопецком районах, — леса, леса. Замерзшие озера, реки и леса. Карта сплошь затушевана зеленой краской. Мороз в день вылета был не очень большой, не превышал двадцати градусов, но легко представить себе: что-то портится в моторе, самолет теряет скорость и падает в эту сплошную зелень. Ведь ни связанных, ни воинских постов — ничего. На этих маленьких чудесных самолетах У-2, которые наши дружески зовут «огородниками», а немцы насмешливо «кафе мюле», то есть кофейная мельница, пилот и пассажир летят без парашютов... Ну, допустим, если все-таки сели не вынужденно, удачно — уцелели, не сломали шеи. Кругом лес, сугробы по грудь, мороз. А ведь «неаттестованный» Леонид Лось до последнего дня ходил в бушлате третьего срока.

И почему-то все вспоминалось, как однажды, развеселившись, он пел шуточную грузинскую песенку:

...Если на гору залезть,
Сверху вниз бросаться,
Очень много шансов есть
С жизнью расстаться.

Так и стоит он перед глазами, Леонид Лось, тихий, деликатный, такой городской, не приспособленный к военной жизни человек. Что мог сделать при вынужденной посадке этот милый москвич? Впрочем, в оценке одного москвича я уже здорово ошибся. И именно в Александре

Евновиче. Как-то, не помню уже после какого случая, я, рассердившись, под горячую руку брякнул ему, что зря, мол, таких посылают на фронт: сидеть бы ему в аппарате Совинформбюро, переваривать приходящие с фронта сводки — и ему и делу лучше. Неожиданно этот покладистый, терпимый в общении человек, хорошо понимающий юмор, вдруг обиделся. Достал свой старый наган, положил на стол, положил перед ним отвертку, шомпол и, придвинув ко мне, потребовал:

— Вот, Аника-воин, разберите и соберите свое личное оружие. Давайте, давайте, не отлынивайте... Петрович будет арбитром.

Не понимая еще, что все сие значит, я принялся за дело, но, сколько ни пытался, дальше отъема барабана дело не двинулось.

— Видали! Старый солдат, гроза тверских лесов!.. А геперь, Петрович, завяжите мне глаза.

И к нашему удивлению, револьвер вслепую был разобран, причем тонкие интеллигентские пальцы действовали с такой солдатской уверенностью, что мы стояли, приоткрыв рты. Евнович снова собрал револьвер, положил в кобуру.

— Будь я старшиной в вашей роте, я бы вас с таким знанием оружия даже на кухню не допускал картошку чистить.... Вы бы у меня сортиры мыли...

И оказалось, что этот москвич в годы гражданской войны был комиссаром бригады на юге России, чекистом на Дальнем Востоке и сменил эти профессии на журналистскую лишь из-за болезни глаз. Но Лось в гражданской войне по возрасту участвовать не мог, по слабости здоровья не был взят в армию. Лишь веление сердца заставило его, человека, забракованного медицинскими комиссиями, пойти на фронт, чтобы воевать силой своего профессионального оружия.

И вот замечательный этот парень пропал. На все лады прикидываем, как и чем можно ему помочь, если он жив и вместе с летчиком бродит по лесам из-за неудачного приземления. Разослали телеграммы в армейские дивизионные газеты. Журналистская солидарность не раз выручала нас в трудных случаях. Есть, есть еще надежда.

20. Ромео и Джульетта Калининского фронта

Штаб наш перебазировался на этих днях значительно западнее, в село Сафонтьево, что недалеко от поселка наших тверских бумагоделателей Кувшиново, где когда-то у здешних владельцев бумажной фабрики, людей странных и необыкновенно для купеческого звания прогрессивных, подолгу живал Алексей Максимович Горький. Тылы, редакция фронтовой газеты комфортабельно разместились в этом обойденном войной поселке. Штаб фронта — километров на десять западнее, в просторном красивом селе Сафонтьево.

Под прессу расщедрившийся комендант штаба отвел большую пятистенную избу. Нас тут, как семян в тыкве: корреспонденты всех центральных газет, радио, Совинформбюро и ТАСС. Сами сколотили для себя нары в два этажа. Евнович, избранный нашим парторгом, во избежание тяжб и недоразумений делил жилплощадь по справедливому солдатскому способу: кому — кому. Мне досталась нижняя койка слева. Хорошо и плохо. Хорошо потому, что ночью не надо слезать с верхотуры, плохо потому, что, когда пресса в редкую свободную минуту рассаживается у стола играть в преферанс, два партнера садятся на мою постель, и к тому же, когда партнеров не хватает и они играют с «болваном», роль этого «болвана» отводится мне, что для меня, не знающего правил игры, все-таки обидно.

О Леониде Лосе так до сих пор и не удалось ничего узнать. Теплится еще надежда, что, может быть, однажды откроется дверь — и появится он, усталый, заросший густой щетиной, и тихим голосом скажет: «Добрый вечер... Ну вот и я... Привет честной компании».

Такие случаи в военной практике бывали. Но только что его редакция закрепила для постоянной работы на нашем фронте Леонида Высокоостровского — молодого, подтянутого командира с усиками а-ля французский киноактер Адольф Менжу. Он кадровик, у него военное образование, и в отличие от нас, ходящих с комиссарскими звездочками, он носит на рукаве золотые шевроны и имеет строевое звание подполковника. Между собой мы зовем его архистратигом, как по христианским святцам именуется архангел Михаил, который опять же, как известно по тем же святцам, был самым большим военным специалистом среди небожителей. В напарники архистратигу редакция придала лейтенанта Дедова, огромного дядю с добродушным детским лицом, необыкновенно усердного, посылающего в свою редакцию каждый день по информации, а по ночам храпящего так, что сотрясаются оба этажа наших самодельных нар.

Живем мы хотя и в три этажа, так как шоферы наши размещаются на печке и на полатах, но дружно. И хотя к утру воздух в избе становится таким густым, что его, кажется, можно резать на куски, как студень, существованием своим довольны. В довершение к этим удобствам нам удалось исколотать полевой телефон, очень облегчивший нашу работу.

Сегодня утром зазвонил этот телефон. Позвали меня. Голос майора Николаева осведомился:

— Ты все еще интересуешься судьбой Веры, нашей землячки? Приезжай... Она у нас.

Я сейчас же отправился на другой конец села. Был отличный февральский денек, один из тех морозных деньков, когда от холода на ветру щиплет уши, а в затишке солнечное тепло нет-нет да и коснется лица, да так коснется, что невольно подумаешь о весне.

Часовой охранял нужный мне домик. Но я знал пропуск, и он без канители открыл передо мной дверь. В первой половине избы, где стояли столы с канцелярскими бумагами, никого не было — час обеда, все в столовке. Но из второй, из светелки, слышалась... немецкая речь, два голоса: мужской, раскатистый, басовитый, и женский, почти девчоночий. Я кашлянул. Голоса смолкли.

— Простите, мне майора Николаева.

— Он сейчас придет, — ответил женский голосок.

— Айн момент, — сказал мужской.

Как раз в это мгновение вошел мой тезка Борис Николаев.

— Пришел? Здравствуй! Сейчас позову. — И громко: — Вера, Готфрид!

Из-за переборки появилась Вера. Я еле узнал ее. В военной форме — мальчишка, да и только, эдакий сын полка: коротко постриженные волосы и огромные голубые глаза на бледном лице. За ее спиной стоял молодой военный тоже в форме. Обычная наша командирская форма, но в дверях он так вытянулся, так шелкнул каблуками кирзовых сапог, что нетрудно было догадаться, что это немец-солдат.

— Честь имею рекомендоваться, ефрейтор Готфрид Гешке, — произнес он по-русски и еще раз звонко стукнул каблуками.

Почувствовалось, что он уже привык рекомендоваться на нашем языке.

Я провел с этой парой весь день и уверенно могу теперь засвидетельствовать, что известный шекспировский сюжет не ограничен ни эпохой, ни местом действия, ни барьерами социальных систем.

Интересный был разговор. И поучительный, очень поучительный.

Мне уже не раз приходилось встречаться на фронте с убежденными немецкими антифашистами, эмигрировавшими из гитлеровской Германии, работающими теперь у нас, ежедневно выезжающими на передовую с ПГУ — передвижными громкоговорящими установками. С риском для жизни, порой под артиллерийским обстрелом, они стараются довести до своих сограждан в военной форме правду о гитлеровской Германии, о целях этой войны, о том, чем грозит война немецкому народу. Это настоящие, убежденные коммунисты, революционеры-бойцы. Готфрид, как выяснилось из его рассказов, совсем другой. Отец его коммунистом не был. Он был социал-демократом, даже видным социал-демократом. В семье Гешке воспитывалась неприязнь к Эрнсту Тельману, к его делу, Рот фронту и Юнг штурму... Но то, что Готфрид увидел, вступив на территорию Советского Союза, заставило его, недоучившегося студента медицинского факультета, всерьез задуматься об этой войне, о ее целях, о том, что несет она и русским и немцам. Да, и немцам. Но всеми этими сомнениями он ни с кем не делился. Да и с кем делиться? Как поделить? Он знал о вездесущем глазе гестапо.

И только любовь к этой белокурой, голубоглазой девушке, русской девушке, свободно изъяснявшей ему свои мысли на его родном языке, помогла ему осознать свои сомнения, наблюдения, колебания. А ее убежденность, святая убежденность, звучавшая не только во взгляде ее голубых глаз, но в самом тоне ее разговоров, сломила его сомнения и привела к решению. Он преодолел страх перед вездесущим гестапо, перед репрессиями, которые могут обрушиться на его мать и сестер, на всю родню. Рискуя жизнью, он решил перейти линию фронта.

И вот он с нами, среди тех, кто сражается с гитлеризмом, с нацистскими порядками. Маленькое происшествие, случившееся на Калининском фронте, может быть, выразительней переживаний шекспировских влюбленных. И то, что юноша и девушка не из двух враждующих семейных кланов, как у Шекспира, а из двух миров, находящих в смертельной схватке, придает всему происшедшему особую остроту. И фоном были не мраморные дворцы средневековой Вероны, а громадное полупустое здание, погруженное в холод и тьму, и действующие лица в ней не блистали пышными, пестрыми нарядами, а напялив на себя все теплое, что у них было, лежали на своих кроватях, ожидая смерти от холода и мороза, лишь бы не служить врагу. Это еще больше обостряло трагическую ситуацию.

Тетка Веры, старая ткачиха, даже и не старалась скрыть свою неприязнь к парню во вражеской форме, которого в разговоре с Верой именовала «твой фашист». А у обитателей общежития появление немецкого ефрейтора, повадившегося ходить в комнату Вериной тетки да еще приносявшего хозяевам какие-то свертки, возбуждало острую ненависть.

Вера с храбростью отчаяния пренебрегала угрозами, раздававшимися в ее адрес. И с Готфридом ей было нелегко.

Поначалу они совсем не понимали друг друга. Чем откровеннее говорили, тем чаще возникали споры, иногда ссоры. Готфрид еще помнил, как юные спартаковцы шагали по Берлину в своей форме. Помнил, как иронизировали над ними отец и старший брат. Но потом отец, механик с оптического завода, профуполномоченный своего цеха, попал в тюрьму. За ним последовал брат, бывший всего-навсего организатором рабочего хора. Семье Гешке так и осталось неясно, за что на нее обрушились эти кары. Семью не преследовали, но печать отчуждения лежала на ней. В положенный срок Готфрида даже не призвали в армию. И только когда с войной на Востоке началась тотальная мобилизация, его, студента третьего курса медицинского факультета, взяли

в качестве брата милосердия. Он и тогда не очень задумался над происходящим, просто по мере сил выполнял свой долг. И вот на пути его встала эта русская девушка, говорящая по-немецки, которой он случайно оказал медицинскую помощь. Так в сырой, промозглой комнате вымирающего общежития расцвела любовь молодых людей диаметрально противоположных миров. В беседах, спорах многое из того, что смутно жило в Готфриде, о чем он начинал догадываться, прояснялось и оформлялось. Фанатическая убежденность Веры увлекла, захватила его. Он начинал понимать и трагедию своего народа, и весь антинародный смысл войны. И он дал любимой слово выйти из этой чужой войны, перейти на сторону Красной Армии.

Расставаясь в последний раз, молодые люди обещали друг другу встретиться по ту сторону фронта. Вера уже поднималась, начинала ходить с палочкой, когда Готфрид однажды не приехал в обычное время. Не пришел ни на второй, ни на третий день. Вера мучилась, гадала, перешел ли он фронт или его куда-нибудь перевели. А может быть, подстрелили при переходе? А может быть, он ее забыл?

Потом началось наступление Красной Армии. Пришли свои. На дворах сохранившихся домов, с которых еще не были сорваны немецкие приказы и распоряжения, появились сделанные мелом надписи, заменявшие вывески вселившихся сюда советских организаций. В первый же час освобождения Вера приковыляла в райком партии. Все чистосердечно рассказала и о своем ранении, и о дружбе с Готфридом, и об их обоюдном обещании встретиться по ту, по нашу сторону фронта. О ней знали, приняли ласково, определили долечивать рану к тому же Василию Васильевичу Успенскому, уже переместившему свою хирургическую клинику обратно в Калинин в одно из уцелевших зданий больничного городка. Все вроде бы было хорошо, но женщины с «Пролетарки» не могли забыть и простить ей дружбу с вражеским ефрейтором. В разные адреса сыпались письма, жалобы: почему бабенка, у всех на глазах путавшаяся с гитлеровцами, ходит на свободе?

И хотя им разъясняли, что некоторые люди были оставлены в оккупированном городе специально, что Вера вела здесь работу по заданию разведки, ничего не помогло. Девушка то и дело слышала у себя за спиной: «Немецкая овчарка»...

— Поймите мое положение, — тихо рассказывала мне Вера, теребя и комкая носовой платок. — Это же хуже, страшнее, чем на передовой. Там убьют — убьют, жива останешься — будешь жить, а тут «немецкая овчарка»... Хоть в петлю. И тетка зудит: откажись ты от своего фашиста проклятого... А я? Как я от него откажусь? Я же знаю, что он не фашист, не гитлеровец, и он мне жизнь спас... Тетка кричит на всю казарму: «Дура, он давно драпанул со своими и думать о тебе забыл...» И ведь верно, я о нем ничего не знаю. Исчез... Но ведь верю, верю ему.

Ее синие глаза смотрят на Готфрида. Тот тоже нервно теребит пилотку, нашу советскую военную пилотку, только без красноармейской звезды. Не знаю, все ли он понимает в ее рассказе.

— Ведь я ж не знала, что он перешел фронт! — почти кричит девушка.

Майор Николаев, присутствующий при разговоре, тихо выходит в другую комнату. Возвращается со стаканом воды. Девушка жадно пьет, и зубы ее стучат о стекло.

— Тут варится вся эта кутерьма вокруг меня, носа на улицу показать нельзя, а ведь он-то действительно перешел. Еще до нашего наступления перешел. Ему здорово досталось от нас. Знаете, как тогда на передовой к немцам-то относились... «Хенде хох» было мало...

Нет, Готфрид несомненно понимает ее взволнованный говор. Он, улыбаясь, обнажает зубы, и я вижу, что передних на верхней челюсти у него нет. И все-таки ему чертовски повезло.

Оказавшись лицом к лицу с нашими военными, знавшими по-немецки, он рассказал им свою историю. И вот теперь, когда данные, представленные порознь и им и Верой, сошлись, политорганы фронта, как мне кажется, нашли неплохой выход из тупика. Веру мобилизовали в армию. Теперь она будет работать там же, где и Николаев, по самой опасной воинской специальности...

Вот что я узнал от молодых людей, которые все время переглядывались и даже не пытались скрыть это переглядывание от посторонних.

— Будут работать вместе и много пользы принесут,— сказал начальник майора Николаева и прибавил: — Помните у Шекспира: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Ну а мы, может быть, допишем к этой повести иной конец...

— А вот поглядите, в каких условиях ей работать приходилось,— задумчиво говорит Николаев. Достал из планшета афишу, по-видимому, сорванную с какого-то забора. Он любит подкреплять доводы документами.

Я прочел афишу:

«Объявление населению.

...С сегодняшнего дня вступает в силу нижеследующее усиленное постановление:

1. Кто укроет у себя красноармейца или партизана, или снабдит его продуктами, или чем-нибудь ему поможет (сообщив, например, ему какие-нибудь сведения), тот карается смертной казнью через повешение. Это постановление имеет также силу и для женщин. Повешение не грозит тому, кто скорейшим образом известит о происшедшем ближайшую германскую воинскую часть.

2. В случае если будет произведено нападение, взрыв или иные повреждения каких-нибудь сооружений германских войск, как то: полотна железной дороги, проводов, складов и т. д., то виновные начиная с 16.X.41 г. будут в назидание другим повешены без суда на месте преступления. В случае же если виновных не удастся на месте обнаружить, то из населения будут взяты заложники. Заложников численностью, установленной ближайшим военным начальником, повесят, если в течение двадцати четырех часов не удастся захватить заподозренных в совершении злодеяния или их соумышленников.

3. Если подобная мера также не даст результатов, то там же, на месте совершения преступления или вблизи него, будет взято и повешено двойное число заложников.

Командующий армией генерал-полковник Штраус.

На фронте 12.X.41».

— Убедились, по какому острою ходила вот эта девица? — говорит Николаев, указывая на Веру, которая, сидя в сторонке, шепталась с Готфридом.

— Ну а дальше? Что вы им предложите? — тихо поинтересовался я.

— Дальше? Спросите-ка что-нибудь полегче, как говорят школьники. Видите ли, мы предложили ей отдых, подлечиться. Но она ни в какую: «Назад в Калинин не поеду. И не хочу даром хлеб есть...» Вот какие дела... Есть, между нами говоря, в отношении их обоих одна задумка, но... И вообще писать о них нельзя. Они не погашены... Понимаете?

Понимаю... Но как можно написать об этой любви двух юных сердец из двух сражающихся армий! Любви честной, чистой, которая и привела солдата гитлеровского вермахта в наши ряды. Может быть, рассказ этот

стал бы где-то рядом со знаменитым очерком Петра Лидова «Таня», раскрывшим для мира подвиг московской школьницы Зои Космодемьянской. Вырезки с этим очерком бойцы носят в карманах... Но понимаю, сейчас нельзя. Может быть, когда-нибудь потом...

21. Вот и не верь в провидение

На фронте нет человека желаннее почтальона. Обычно это пожилой боец в старой шапке, в шинели третьего срока. Но ждут его в окопе куда более нетерпеливо, чем термосоносца с горячей кашей. И нет у бойца большей радости, чем получить скромный треугольничек с вестями от родных и близких...

Жена пишет мне регулярно. Так как письма иногда теряются, она их нумерует. Последний номер был тридцать два. Письмоносец, приходящий к нам два в неделю, заносит то письмо, то открытку, и не буду скрывать — весь корреспондентский корпус знает, какой очередной зуб прорезался у моего Андрейки, как он агукает, а в день, когда мне было сообщено, что он, кажется, уже отчетливо выговорил «мама», мы выпили свои ворошиловские именно за это выдающееся событие.

В начале февраля пришло письмо с фотографией. На ней изображен крепкий глазастый незнакомый мне мальчишка с толстыми щеками, прямо-таки стекающими на воротничок, и черными глазами-пуговками. И подписано было почерком жены: «Мне сегодня исполнилось девять месяцев». Теперь этот молодой человек, пришипленный кнопкой к стене, висит над моим топчаном и сердито смотрит на представителей прессы.

Письма, приходящие из неведомого мне города Молотовска, как и прежде, полны оптимизма. В них сплошь хорошие вести. Живем хорошо... В нашей школе дружный коллектив и прилежные ученики... Андрейка растет крепенький и здоровенький... С Урала приехала мама, ведет теперь наше хозяйство, и мы вздохнули свободно... Но я-то знаю секрет писем на фронт и знаю милого автора этих писем, маленькую мужественную женщину, которая, в одиночку перенося все эти тяготы, сообщает мне только безоблачные новости.

И вот на днях пришло с оказией пересланное мне из «Правды» письмо, адресованное редактору П. Н. Пospelову, в котором жена сообщает, что сын тяжело заболел и врачи не ручаются за его жизнь. Жена просит редактора вызвать меня, хотя бы на несколько дней, с фронта. Вместе с письмом пришло разрешение редакции на выезд и обещание доброго Лазарева устроить самолет до Молотовска.

В этот день в противоположную от Москвы сторону, в верховья Волги, как раз туда, куда партизаны вынесли свой золотой груз, выходил трофейный вездеход с офицерами связи. После гибели Леонида Лося корреспондентам запрещено давать самолеты без специального на то разрешения. Февральские метели совсем замели дороги. О том, чтобы добраться в те места на нашей «лайбе», не может быть и речи. А тут такой случай — комфортабельный вездеход на гусеничном ходу. С вечера договорился с офицерами связи, молодыми, веселыми ребятами, в военторге заправил горячим флягу на дорогу — с рассветом выедем.

И вот это письмо, привезенное мне фотокорреспондентом. Общественное шиблось лбом с личным, да так, что искры полетели. С одной стороны, добраться до такого интересного материала, а с другой — опасная болезнь сына.

Личное, увы, возобладало. Я забрал письмо жены, вызов редакции и отправился к корпусному комиссару Д. С. Леонову с просьбой дать в эскадрилью связи распоряжение срочно доставить меня в Москву...

Офицеры связи чуть свет выехали на вездеходе без меня. А пока я хлопотал, из редакции пришла телеграмма, подписанная Лазаревым: «Жена сообщает, что сыну лучше, опасность миновала. Работайте спокойно, вызов отменен. Привет товарищам».

Шел с узла связи, радовался и горевал. Радовался, что сын поправляется, а горевал, что не удастся побывать у своих, которых не видел с начала войны.

А вечером пришло известие — и мурашки побежали по спине. Оказывается, совсем недалеко от деревни Сафонтьево, при выезде с полевой дороги на большак немецкие пикировщики прямым попаданием разнесли вездеход.

Вот и не верь после этого в провидение!

22. Смерть Матвея Кузьмина

Так до места, куда партизаны вынесли свое золото, добраться мне и не удалось. Впрочем, их я бы там уже и не застал. Всех троих на самолете эвакуировали в тыловой госпиталь. Живы, все трое сильно обморожены, но, говорят, поправляются. Мне только удалось прочитать их письмо, написанное в записной книжке, которую они в последнюю минуту прикололи тесаком к дереву. Они не имели сил идти, но знали, что Красная Армия приближается. И вот ей-то эту записку и адресовали.

Мы с Евновичем и Высокоостровским до того, как она была переслана в Москву, с ней ознакомились. Вот она:

«Товарищ, который найдет эту книжку! К тебе обращаемся мы, три советских человека... Когда вы найдете эту книжку, нас, может быть, не будет в живых... Мы просим тебя, товарищ, взять спрятанный под корнем у нас за спиной мешок с ценностями, принадлежащими государству, и доставить его в б л и ж а й ш у ю п а р т и й н у ю о р г а н и з а ц и ю... Мы сделали все, что могли, и не выполнили задания, потому что заболели, ослабли. Просим передать наш последний привет доблестной Красной Армии, Ленинскому комсомолу и большевистской партии».

Хорошо бы записку эту передать куда-нибудь в музей. Она этого заслуживает...

А на другом, на великолукском направлении нашего наступления произошло еще одно примечательное событие. Немцы устроили у околицы деревни Дорохово укрепления, чтобы прикрыть отступление и дать отходящим частям оторваться от наших лыжников. Завязался бой. В разгар его немцы услышали со стороны деревни крики «ура». Решив, вероятно, что их обошли и атакуют уже с тыла, они, побросав укрепления, отступили с дороги к лесу, где лыжникам было легко их преследовать. Большинство, увязнув в снегу, подняло руки.

Лыжники решили, что помощь им оказал партизанский отряд, но выяснилось, что помогло население деревни Дорохово.

Житель этого селения, фельдшер, участник гражданской войны, потерявший на ней ногу, увидев, что на дороге у подходов к селу строятся укрепления, ночью собрал подростков и женщин, вооружил их охотничьими ружьями, вилами, косами, и когда подошли наши лыжники и завязался бой, за спиной у немцев грянуло «ура». Так старый красный воин помог без потерь ликвидировать узел немецкого сопротивления. Фамилия его Горшков, а звать Степан Филаретович.

Могло ли быть что-нибудь подобное, когда гитлеровский «Тайфун», воплощенный в 75 отлично вооруженных дивизий, рвался к Москве? Нет, конечно. А вот сокрушение этого «Тайфуна», разгром немцев под Москвой, «котел», устроенный им под Калинином, так подорвали дух

в отступающих войсках, что они боятся даже призрака окружения. И в то же время наши победы последних месяцев пробудили в оккупированных краях и привели в движение такие народные силы, что теперешнее немецкое отступление временами, правда пока лишь временами, начинает напоминать отступление армии Наполеона из-под Москвы.

— Безногий старик... Женщины с вилами... Да это уже прямо из кутузовского похода. Денис Давыдов... Василиса Кожина... Разве не похоже? — кричал наш энтузиаст Дедов, обсуждая вечером этот случай.

— Сходство чисто внешнее. Частный случай, не переросший в явление. Гитлер еще оправится и еще будет наступать, — охлаждал горячие головы Евнович. — Немцы задумываться стали — это верно. Верно и важно... И не от наших листовок, и не от громкоговорителей милейшего нашего Зусмановича. Действует сила, которую мы показали, но до бегства еще далеко... Бегство когда-нибудь будет, однако не скоро.

Но что там ни говори, как сдержанно ни относишься к оценке происходящих событий, примеры из истории русских народных войн, когда стар и млад приходят на помощь солдатам, все чаще повторяются. Вчера утром в политдонесении с самого западного участка нашего наступления мы прочли, что старый крестьянин из колхоза «Рассвет» вывел немецкий горнолыжный батальон альпийских стрелков на нашу засаду и погиб при этом смертью храбрых.

Евнович тотчас же передал сообщение в Совинформбюро, а я через час был в пути. Нет, не на нашей «лайбе». Какие уж тут легковые машины — на грузовике полевой почты. В этот день мне здорово повезло. Преодолев всеми видами транспорта больше полутора километров, я прибыл в колхоз «Рассвет», как раз когда гвардейцы, похоронив прах старого патриота на крутом берегу реки, давали траурные залпы.

Колхоз с таким поэтическим названием оказался беспорядочным скоплением изб, будто из горсти высыпанных на поляне, на берегу реки. Здесь в стороне от дорог и располагался до недавнего времени штаб немецкого горнолыжного батальона, который командование, видимо, берегло и до поры до времени держало в резерве. Очевидно, это была какая-то привилегированная часть. Ее солдаты имели надпись «Эдельвейс» на рукавах, ни в боях, ни в карательных операциях они не участвовали. Солдаты с жителями были вежливы и, по словам колхозников, никаких бесчинств не совершали.

— Не охальничали, даже девок не трогали, будто и не фрицы вовсе, — не без удивления говорила председательница колхоза, крупная костистая женщина.

И вот три дня назад эта часть получила приказ выступать. Ей была поставлена задача — ночью выйти в тыл нашим частям и внезапно атаковать их, пробить брешь для сил контрнаступления. Советская авиация сейчас эффективно контролирует с воздуха дороги, и, видимо, поэтому егерей решили вести в рейд лесами. Нужен был проводник. Эту роль командир батальона, уже успевший приглядеться к населению, и предложил Матвею Кузьмину, старому охотнику, последнему в деревне одиноличнику, человеку замкнутому, слышшему среди односельчан «контриком».

Командир вызвал Кузьмина, и, как водится, в этом техника вербовки предателей мало изменилась со времен, когда офицер шляхетского отряда, пытаясь подкупить костромича Ивана Сусанина, посулил ему золотые горы. Кузьмин согласился. Это стало известно деревне, и деревня не удивилась — такой уж он человек, недаром Бирюком зовут. Но никому не было известно, что, узнав по карте маршрут колонны и место, куда ему надлежало вывести егерей, Кузьмин послал своего

внука Васю по кратчайшему пути в нашу часть предупредить о готовящейся вылазке.

Сам он повел колонну, долго кружил с нею по лесу и к утру вывел усталых, замерзших егерей прямо на нашу пулеметную засаду. Ну, разумеется, батальон «эдельвейсов» полег на месте, а тех, которым удалось бежать, догнали и переловили в лесу наши лыжники. Но командир батальона успел застрелить старика до того, как его самого настигла пуля...

С похорон мы с корреспондентом дивизионной газеты лейтенантом Лопуховым заехали в колхоз «Рассвет», не очень от войны пострадавший. И тут за яичницей, поданной нам в большой глиняной миске, председательница с грубоватым, выдубленным холодными ветрами лицом, рассказывая о Кузьмине, вдруг расплакалась:

— Ну как же, товарищи начальники, все виноваты мы перед Матвеем! За человека его не считали, не верили ему. Бирюк — больше и имени ему от нас не было. По гроб жизни себе этого не прошу...

Председательница, у которой и муж и сын воюют неизвестно где, неизвестно, живы ли еще, теперь берет Васю, внука Матвея Кузьмина, четырнадцатилетнего курчавого парня, к себе в дом. Уплетая за обе щеки вместе с нами яичницу, этот самый Вася, поджарый, смугловатый, цыганистого вида паренек, смущен общим вниманием. Он совершенно не понимает значения того, что с его помощью совершилось.

— Деда приказали, я и пошел. Что ж тут такого? — говорит он, почему-то называя деда на «вы». — Мы с ними вместе все эти леса обшарили... А там, куда они этих фрицев вывели, там береговой такой лесок, туда мы с дедой ходили весной засадки на глухарей устраивать... Места мне очень знакомые. Глухарей там весной навалом.

— А ты не боялся?

— Вы что? Кого бояться? Кто в лесу тронет?.. А на зверя у меня ружье...

Командир дивизии сообщил, что представляет Матвея Кузьмина к ордену, а Василия Кузьмина — к медали «За отвагу». Парень, услышав эту весть, усмехнулся:

— Медаль! А за что? По лесу ночью прошелся — всего и дела... Вот деда, они заслужили.

— Дикой он, как дед, дикой, — говорит председательница и вытирает глаза своей большой ладонью.

Впрочем, здесь все буднично. Никто не видит в подвиге Матвея Кузьмина ничего особенного. Будь на месте старика кто другой, сделал бы то же. Разве только хитрости не хватило немцев обдурить. Даже смерть, принятая старым охотником, не произвела на односельчан впечатления: пожил, вволю пожил, ему сильно за семьдесят было, а умер правильно, дай бог каждому такую смерть.

Командир, руководивший похоронами Кузьмина, отдал мне неотправленное письмо, извлеченное из кармана убитого командира егерского батальона. Но, увы, ни я, ни мой коллега из дивизионной газеты лейтенант Лопухов по-немецки не понимали.

С Лопуховым на саночках добрался я до штаба дивизии. Там командир расщедрился на вездеход. Он должен был довезти меня до штаба армии, но не довез, что-то случилось в моторе. Шел пешком, а остаток пути завершил в будке артиллерийского трактора, тащившего тяжелое орудие. До узла связи все-таки к темноте добрел. Написал корреспонденцию. Через узел связи фронта передал в Москву. Получил извещение о получении. И вдруг почувствовал такую усталость, что тут же и заснул за печкой в каморке дежурного. Он разбудил меня утром и

сообщил, что утреннее радио в очередной сводке Совинформбюро передало о подвиге Матвея Кузьмина, а потом была прочтена из свежего номера «Правды» моя корреспонденция.

23. Орден

Вечером позвонил порученец члена Военного совета, неопределенного возраста капитан Юношев. Шепотом, точно это могло обеспечить сохранение тайны, он сказал, что решением Военного совета за активное участие в освобождении города Калинина меня наградили орденом Красной Звезды.

— Завтра командующий будет вручать награды отличившимся в борьбе за Калинин военным и штатским лицам. Вручат и вам, готовьтесь.

Признаюсь, известие это я принял не без сомнения. Розыгрыши, и иногда самые невероятные, процветают в журналистской среде. Но Юношев, как мне кажется, человек, вообще лишенный умения улыбаться. Об этом известии я никому из коллег не сказал — мало ли что? Береженого бог бережет.

Однако сообщение подтвердилось. На следующий день утром адъютант генерала Конева майор Соломахин поздравил с днем Красной Армии и передал приказание в двенадцать ноль-ноль прибыть в штаб-квартиру командующего фронтом в полной форме. Полная форма! Это хорошо сказать! Валенки, ватные штаны, гимнастерка с сопревшим воротничком. Больше у меня ничего нет. Но, как говорится, с миру по нитке — голому рубашка. Коллеги пришли на помощь. Евнович снял с себя новенькую скрипучую портупею, корреспондент «Красной звезды» одолжил щегольские хромовые сапоги. Подшили свежий подворотничок. Напутствовали в шутку и всерьез:

— Вы там от переживаний язык не проглотите.

— Получив награду, надо стать по стойке «смирно» и четко произнести: «Служу Советскому Союзу», — поучал наш архистратиг из «Красной звезды».

Порадовало меня, что среди прибывших получать награды было много знакомых, в том числе и мой друг майор Николаев, тоже награжденный «Звездочкой». От него я узнал, что в этот же день в другом месте Вера получает орден Красного Знамени.

— Ну теперь-то землячки оставят ее в покое.

— Им этого не придется делать. Она готовится к новому заданию.

— Вместе с ним?

Майор кивнул. Спрашивать, к какому заданию и куда, было бы и бесполезно и бестактно.

Награды вручил сам командующий. Передавая коробочку с орденом крепко тряхнул руку. В ответ на поздравление я так рубанул: «Служу Советскому Союзу», что он удивленно глянул на меня.

Ну, а вечером изба наша просто трещала от переполнивших ее друзей. Чтобы, по обычаю, «обмыть награду», мы по общему согласию слили наше трехдневное водочное довольствие в хозяйский самовар. Гости — майор Николаев, подполковник Зусманович — добавили туда свое подношение из фляг. Получилось весьма прилично. А на закуску был вывален на стол целый котел вареной картошки, выставлена миска с солеными груздями и тазик с огурцами, выменянными Петровичем у хозяев на пару моего теплого белья. Был и лук, настриженный кружочками. И пайковая селедка, замоченная в молоке и приготовленная «по способу Петровича».

Роскошнейшая еда, которой могли бы позавидовать и маршалы Советского Союза. По фронтовому обычаю, орден, «чтобы он не облупился», положили на дно большой кружки, и каждый отпил из нее, сколько мог за один глоток. Ну, а потом начались тосты, и все, конечно, перелилось в песни.

Пели старые волжские, пели новые комсомольские. Но с особым энтузиазмом исполнялись военкоровские, неведомо кем сочиненные, неведомо кем снабженные музыкой, нигде не опубликованные и неизвестно какими путями разошедшиеся по фронтам.

С особым старанием спели элегическую песенку, совсем недавно занесенную к нам, кажется, с Южного фронта:

Погиб репортер в многодневном бою
От Буга в пути к Приднепровью.
Послал перед смертью в газету свою
Статью, обгавленную кровью.
Товарищ редактор статью прочитал
И вызвал сотрудницу Зину.
Подумал, за ухом пером почесал
И вымолвил: «Бросьте в корзину».
И только один старичок метранпаж,
Читая тот опус, заметил:
«Остер был когда-то его карандаш,
И славно он смерть свою встретил».
Наутро обычная жизнь началась,
Как будто ничто не бывало.
И новый товарищ поехал туда,
Где пламя войны бушевало.

Допев это, мы, старожилы фронта, невольно посмотрели на Дедова, присланного к нам взамен Леонида Лося. Посмотрели, вздохнули. Простодушный Дедов, ничего не подозревая, уплетал горячую картошку. Это был настоящий солдат, и грустные аналогии были ему чужды.

— ...Да, потери цех военных журналистов несет немалые,— после молчания проговорил Зусманович.— Если брать в процентном отношении к наличному составу, наверное, они даже выше, чем у разведчиков... Ведь так, Николаев?.. Давайте, други, выпьем за то, чтобы снизить этот процент.

Все переглянулись, смотря на пустые стаканы. Из самовара, сколько его ни наклоняй, больше уже ничего не текло.

Тогда Зусманович вышел в сени, где висел его полшубок, и вернулся с флягой, обшитой немецким зеленым сукном.

— Плох тот командир, который, ведя наступательное сражение, не заботится о резервах,— сказал он под общее ликование.

На прощанье он перевел мне неотправленное письмо командира егерей, застрелившего Матвея Кузьмина. Судя по тексту, адресовано оно было брату в Верхнюю Саксонию.

Вот оно:

«...Милый Вилли, вот уже месяц, как я собираюсь тебе написать и все не могу собраться. Не потому, что у меня не хватает времени. Нет, времени, как это ни странно, у меня сейчас больше чем достаточно. Чтобы убить это время, мы, сидя в этих страшных лесах, снова и снова повторяем все те же учения, которые нам, вероятно, никогда не пригодятся, потому что красные перевернули войну с ног на голову и воюют без всяких уставов и правил. Но сегодня мы выступаем на ответственное задание, и я решил тебе написать до того, как снова испытаю судьбу...

...Поздравь меня. Я, кажется, сегодня одержал большую и, признаюсь, неожиданную для меня победу: нашел ключи к этой загадочной русской душе, которая доставляет нам столько хлопот и неприятностей...

Нет, нет, дорогой брат, ничего нового. Это старый добрый ключ, который безотказно открывал нам сердца по всей Европе. Деньги, мой милый Вилли, обычные, умело преподнесенные деньги, которые мы, к сожалению, в этой стране мало предлагаем, предпочитая действовать страхом, так как думаем, что эти русские — народ особенный и что они лучше понимают язык пистолета. Ты помнишь, я тебе писал в последнем письме о местном патриархе — охотнике с внешностью короля Лира. Сегодня я проэкспериментировал на нем, и эксперимент этот, представь себе, мой дорогой брат, удался. Для виду поколебавшись и поломавшись, он согласился за ружье марки «Золинген», которое мне здесь абсолютно не нужно, потому что, охотясь в здешних лесах, легко самому стать дичью партизан, так вот за это ружье и деньги он согласился провести мой батальон по лесным тропам в нужный нам для этой операции пункт... Ну вот Клаус докладывает: мои люди готовы выступить. Прощай пока, Вилли! Письмо придется дописывать в другой раз, после операции».

Оно так и осталось недописанным, это письмо. И адрес не был представлен. Под диктовку Зусмановича я записал перевод, а само письмо он у меня отобрал, заявив, что оно показалось ему интересным и, может быть, пригодится для изучения души немецких солдат. Я жалею, что вовремя не имел перевода, ибо корреспонденция о Кузьмине с этим документом была бы куда богаче.

24. Путешествие из Сафонтьева в Москву

Получил из редакции поздравление с наградой и вызов в Москву. Может, удастся хоть на несколько дней слетать к моим в этот самый благословенный Молотовск, где, по письмам жены, им живется так хорошо, что не хватает только меня... Мечты, мечты! Наступление-то продолжается... Как бы там ни было, еду. Мне в Москве дали квартиру: две комнаты в правдинском доме на Беговой, куда уже вселилась мать. Надо хоть посмотреть, как она устроилась. У Петровича свои планы и свои интересы в столице. Он катается вокруг машины колобком, добывает бензин, масло и даже запасные части.

Мутным от изморози февральским утром трогаемся. Путь наш лежит по дорогам недавнего наступления, и хотя снега нынче на редкость глубоки и машина порой идет в прорубленной в сугробах траншее, справа и слева видишь свидетельства недавних боев. То тут, то там виднеются вытаявшие из снега немецкие трупы, торчат останки сгоревших машин, стволы брошенных орудий, побуревшие от огня танки и самоходки. Нет, что там ни говори, война моторов — это не публицистический образ. И все же пейзажи занесенной этой дороги напоминают картины наполеоновского отступления, запечатленные Верещагиным.

Тут и там толпы крестьянских женщин с лопатами. Какие-то ветхие дядьки управляют ими. Несмотря на крепкий мороз, работают усердно, весело, шутками провожают машины с бойцами, движущиеся в сторону фронта. Но дорога в одну колею. Чтобы разминуться со встречными, приходится ждать на разъездах. Краснощекие регулировщицы в полушубках, напоминающие кукол-матрешек, строго командуют движением, и ни мандат «Правды», ни карие плутовские очи и сладкие речи Петровича не действуют на них. Ждите, и никаких разговоров!

Подъезжаем к Калинин у уже на закате. Все в снегу. Белыми пирамидами стоят старые ели Комсомольской рощи. Фанерные домики пионерского лагеря, где нам пришлось заночевать по пути к Ротмистрову, заметены по самые крыши. Они походят на игрушки, оставленные убежавшими ребятами. Вон слева стоит так называемый «домик эстон-

ца» — старенький, деревянный. За него несколько дней шла борьба, он переходил из рук в руки. И на вот тебе: без окон, без дверей, но целый... А дальше обезглавленная церковь погоста Николы Малицы, где мы с Евновичем просидели самые трудные для нас сутки за все время войны.

Ну как не остановиться и не осмотреть это памятное место! Теперь это глубокий тыл. Над уцелевшими избами вьются мирные дымки. Обезглавленные артиллерией деревья как бы уже смирились со своими ранами, затянули их смолой. У самого шоссе из толпы хвойных выступает высокая строевая сосна. Подкалиберный снаряд расщепил пополам золотой ствол, расщепил, но не пробил. Так и остался торчать в расщепе. И подумалось, что было бы хорошо сохранить сосну в таком вот виде, как напоминание о славной битве, которую провели здесь танкисты-гвардейцы, разгромившие с помощью девяти оставшихся машин авангард 3-й бронетанковой группы генерала Готта. Кстати, мне говорили, что вчера полковнику П. А. Ротмистрову — командиру, похожему на ученого, — за это сражение был вручен орден Ленина.

Двигаемся дальше. С вершины Горбатого моста открывается вид на город. Он ожил, и если металлические громады цехов вагонного завода еще заметены снегом, то над «Пролетаркой» поднимаются в безветрии клубы дыма, да и над городом, над уцелевшими домами торчат оранжевые дымки, похоже же на лисьи хвосты.

Ну, конечно же, засветло до Москвы нам не добраться. Да и нельзя миновать родной город, как нельзя, будучи рядом, не посетить тяжело раненного воина, у которого дела пошли на поправку. Ночлег? Для солдата это не проблема, тем более что с 1 января, как я знаю, «Пролетарская правда» находится уже в городе. Большое, трехэтажное, выходящее окнами на площадь здание, которым мы, тверские журналисты, так гордились, сожжено и стоит теперь, как старая театральная декорация, за ненадобностью вынесенная на улицу. Редакция же разместилась в первом этаже жилого дома, заняв в нем всего две квартиры. Но работа кипит. Сотрудники напялив на себя все, что у них сохранилось из одежды, дуют от холода в кулаки, выпускают, в общем-то, неплохую газету, отражающую и военные и тыловые заботы своего верхневолжского края, над которым совсем недавно проносились смертоносные сокрушительные смерчи гитлеровского «Тайфуна».

Василий Кузнецов встречает своего бывшего сотрудника с улыбкой во весь рот, едва дав снять полушубок и прислониться спиной к печке, кричит:

— А знаете, что мы тут надумали?

Этой газете всегда везло на редакторов-выдумщиков. Одна из старейших рабочих газет в стране, она славилась тем, что умела заметить любое доброе начинание, подсмотреть любую хорошую инициативу рабочих, колхозников, интеллигентов в самый момент ее рождения, умела раздуть искру почина в пламя, которое порой обнимало уже не только город, но распространялось по всей стране. Производственные смотры... Договоры тысяч... Показательные процессы над лодырями, прогульщиками, разгильдяями... Всесоюзная кампания за овладение техникой и сдача норм на значок «ЗОТ»... Митинг машин... Сквозные стачановские бригады... Моляковское движение льноводов... Все, что рождалось в умах и сердцах тружеников Тверского края, газета умела вовремя подсмотреть, приподнять, подхватить, понести.

И вот теперь в кабинетике с окнами, забитыми фанерой, греясь у печки, Василий Кузнецов шумно развивал новую идею:

— «Пролетарская правда» для партизан! У нас сейчас десятки отрядов, сотни разрозненных групп. Формируется еще один батальон, полк, не знаю уж как и сказать, — «За родную землю». Перебросим воз-

духом в самые западные районы... Нужна же им газета. Представляете: в отрядах собкоры. Заметки будут передавать по радио, очерки — со связными... Что, плохо? Вы сами когда-то редактировали «Пролетарскую правду для начинающих читателей», адресованную малограмотным текстильщикам. Помните? Вот такого же формата. Газета-листочка, газета-призыв. Ну что вы скажете?¹

Закрыв дверь на задвижку, он достает из недр письменного стола поллитровку, чайный стакан и, порывшись в бумагах, извлекает из них окаменевшую ватрушку. Видя мое приятное удивление, он поясняет:

— Не улыбайтесь. Порядок прежний. Это я для вашего брата военных и для партизан держу. Вы ведь не можете без ворошиловской дозы?

В редакции встречаю Алексея Лазарева — своеобразную калининскую достопримечательность, с незапамятных времен директорствующего в местном театре. Теперь он по военному времени командует всеми музами области. Он известен в городе не меньше, чем собор XVI века Белая Троица, и является как бы живой историей местных театров, филармоний и хоров, историей и самым точным справочником о людях искусства.

Да, Калининский городской театр, которым земляки так гордились, сожжен. Но только коробка, коробка. А театр живет и здравствует. Да еще как здравствует-то! Труппа играет в сохранившемся помещении бывшего ТЮЗа. Играет на двух площадках. — основной и гастрольной. Создали две концертные группы — своеобразный «театр на колесах», который кочует по фронту, ставит скетчи даже на передовых. Компактной группой труппа уходила в эвакуацию, но на второй день после освобождения уже играла в помещении Дома Красной Армии. Лазарев так гордится всеми этими людьми и их делами, что не хочется задавать ему вопрос, который вертится у меня на языке:

— А Сергей Виноградов?

Энтузиазм на лице собеседника гаснет. Он мрачнеет:

— Сволочь! Законченная сволочь... Был я на суде. Мерзавец. Все сам рассказал: и как немцы его купили, и за сколько, и как он для их офицерни всяческие танцплясы, голых баб организовывал, и... Ну, ладно, не хочется говорить... Во всем признался, а в заключение попросил сохранить ему жизнь, чтобы дать возможность — что бы вы думали? — написать работу о драматургии Чарли Чаплина, которую он, видите ли, обдумывал в тюрьме... А? Каков?

— Ну и как?

— Что как? Десять лет... Считаю, мало, таких на гребешке давить надо...

С минуту молчим, потому что оба знаем этого местного суперортодокса. Помним его «сверхпринципальные» статьи об искусстве, о театре, об исполнителях. Вероятно, чтобы сгладить тяжелое впечатление, Лазарев говорит:

— А Лиду Тихомирову, Лидию Петровну, которая тут при немцах наш госпиталь вела и восемьдесят раненых сохранила, так ее выпустили... Проверили все и выпустили... Ей, говорят, сам Иван Павлович Бойцов предлагал любую работу в любой нашей больнице. Хорошие хирурги, ты знаешь, как сейчас нужны...

— Ну, а она?

— На фронт — и все. Как ни уговаривали, ушла на фронт. Где-то там в одном из медсанбатов раненых зашивает...

¹ В июне 1942 года действительно стала выходить «Пролетарская правда для оккупированных районов». Газета имела за линией фронта своих собкоров. На самолетах доставлялась в тыл. Очень интересная была газета, и вышло ее до полного освобождения области около семидесяти номеров.

С нашего жесткого ложа из газетных подшивок поднимаемся чуть свет и продолжаем путь. Теперь уже по отличной дороге, описанной когда-то Радищевым: проплывают знакомые по его «Путешествию» селения... Городня на Волге... Черная Грязь... Раньше, бывало, едешь по асфальтированному шоссе — и все время в голове сравнения с радищевскими описаниями. Сейчас опаленная войной дорога рождает уже иные мысли и иные сравнения.

Глаз жадно ищет ростки возрождения на опустошенной войною земле. Нет, деревни по-прежнему стоят изуродованными. Пожарища лишь слегка запорошило снегом. Но дорога уже в отличном порядке, расчищена. На обочинах в сугробы воткнуты таблички с названиями колхозов, шефствующих каждый над своим участком. Они, колхозы, как бы из рук в руки передают это фронтовое шоссе: «Заря» — «Первой пятилетке», «Первая пятилетка» — «Красному богатырю». Это один из их вкладов в военные усилия. Взорванные мосты подняты, заштопаны. Только большой мост через реку Шошу, как оборванное кружево, свисает на лед, и мы едем по льду, в то время как саперы уже строят рядом новый. В большинстве изб окна забиты фанерой, избы слепы, но из труб поднимаются уютные, совсем мирные дымки.

Приметы отшумевшего сражения видишь на каждом шагу: те же скелеты машин, торчащие из сугробов, стволы орудий, коробки танков. Где-то у Завидова в лесу виднеется хвост нашего «ястребка» со звездой на горизонтальных рулях. Чуть дальше — сгоревшая туша немецкого бомбардировщика. А у Клина попался навстречу целый санный обоз в шесть-семь подвод, на которых рядком, как дрова, лежат окоченевшие трупы в темно-зеленой форме. Рядом с подводами с вожжами в руках идут закутанные в шали женщины, идут неторопливо, понукая лошадей и переговариваясь между собой, совсем не обращая внимания на необычный груз.

— Их тут по полям да по овражкам много лежит, — прокомментировал наш попутчик, саперный командир, которого к нам в машину посадили девушки-регулировщицы. — Тогда в горячке наступления всех не собрали. Где ж соберешь? Снегом их замело, а теперь вот как оттепель, они из-под снега и вытаивают. Так и зовут их — подснежники. Приходится собирать, хоронить. Сколько людей для этого от работ на дорогах отрываем: и рабочую силу и подводы... У Шоши по крутому берегу трупов двести — двести пятьдесят так-то, в прошлую оттепель, вытаяло... И наших тоже находим.

Только километров за двадцать пять до Москвы, где-то у переезда через железнодорожное полотно, кончаются эти верещагинские картины, и шоссе обретает как будто мирный вид. Но баррикады на перекрестках московских улиц не разобраны, а лишь раздвинуты, сурово щетинятся ржавые массивные ежи, торчат из снега бетонные зубы эскарпов. И бдительность прежняя: то и дело, и весьма тщательно, проверяют документы...

25. Урок

Редакция «Правды» мало изменила свой военный облик. То же небогатое существование, тот же холод в кабинетах и коридорах. Те же тщательно зашторенные окна, которые не расшториваются и днем. Только кабинеты уже не пустые. Из Куйбышева вернулись те, кто составлял там редакцию-дубль. Людей стало больше, и эхо, которое так поразило меня в коридорах, просто-таки горное эхо, когда, идя, слышишь впереди себя звук своих шагов, не то чтобы вовсе исчезло, а стало повежливее, потише.

На житье меня разместили в маленьком кабинетике Ивана Кирюшкина. Товарищ, что привел меня сюда, предупредил:

— Поосторожнее, у него тут всякое оружие понапихано.

— Оружие?

— Ну да. Он ведь опять ушел в рейд с партизанами, ну а от прошлого оружие осталось... Он бывший чапаевец.

И действительно, стеля постель на диване бывшего чапаевца, я обнаружил в уголке дивана три гранаты в брезентовом мешочке, а за столом в углу — карабин и коробку с патронами. Я уже знал, что в декабре редакция посылала Кирюшкина написать корреспонденцию о московском истребительном полке особого назначения. Полк этот должен был быть заброшен в ближайшие тылы врага группами по тридцать — сорок человек для диверсионной работы на ближних подступах к Москве. Старый воин решил, что лучший способ собирать материал — это самому отправиться в операцию. Так он и заявил командованию полка, состоявшего из московских коммунистов. Такое же заявление сделал и фотокорреспондент Сергей Струнников. Они позвонили в редакцию, получили разрешение и тут же отправились на вещевой склад переобмундировываться. Когда трогался в путь этот первый диверсионный отряд, чапаевца Кирюшкина, как имеющего военный опыт, назначили комиссаром. Он участвовал в рейде, в ночном налете на немецкую тяжелую батарею, в минировании дорог, в схватке с минометчиками. Отряд выполнил задание, вернулся, вынес всех своих раненых. Так и родилась корреспонденция Ивана Кирюшкина, которая своей насыщенностью обратила тогда на себя внимание.

А вот с другим корреспондентом «Правды», комната которого оказалась пустующей, получилось еще интересней. Начинаящий, вроде меня, правдист, он получил корреспондентское удостоверение в начале августа и писал о падении Гомеля, об обороне Тулы. Писал аккуратно, часто и вдруг пропал... Замолчал, и все. Ну пусть «тихий» фронт, но если нечего писать для газеты, держи хоть отдел в курсе своей деятельности. Все удивлялись, стали на него сердиться: так хорошо начинал... Решено было поставить вопрос о его работе на редакционной коллегии. И тут он появляется загорелый, с облупившимся носом, с исхлестанным ветрами лицом и кладет на стол пять «Писем из партизанского края». Кто из читавших «Правду» тех дней забудет эти необыкновенно интересные письма, впервые рассказывавшие о том, что в глубоком немецком тылу есть целые районы, как бы закрытые для глаз врага, районы, куда немец не смеет сунуться, где сохраняются советские порядки.

Оказалось, что Михаил Сиволобов узнал о существовании таких районов, понял, какой интересный материал может он дать, и, особенно не задумываясь, с группой партизан перешел линию фронта. Он сделал одну существенную ошибку — не уведомил об этом редакцию. Рации в партизанском краю не было. И он исчез. Мне рассказывали: когда он докладывал об этом на редколлегии, все сидели взволнованные, а Емельян Михайлович Ярославский вытирал слезы:

— Это же как град Китеж, сокрытый от глаз врага. Живет своими обычаями, в привычной атмосфере живет, и нет туда ходу врагу.

Холодно, очень холодно в редакции. Большинство сотрудников, в том числе и женщины, шеголяют в полной партизанской справе — в валенках, стеганых штанах, ватниках. Особенно шикарно выглядит известный международник Яков Викторов — высокий красивый человек с внешностью лорда Невилля Чемберлена, которому по лицу были бы сигара, монокль в глазу. Только кадровый военный полковой комиссар Лазарев ходит, поскрипывая сапогами, в отлично пригнанной форме, как бы подчеркивая этим необычность одежды остальных.

В Москве относительно спокойно. Бомбежки уже редки, да и те мало кого загоняют в подвалы. Редакционное бомбоубежище по ночам превращается в кинозал, где демонстрируются старые, преимущественно английские и американские фильмы. Окинув взглядом этот маленький зальчик, можно сразу увидеть весь цвет «Правды»: и старых уже знакомых, из тех, кто вынес на своих плечах «Правду» в тяжелые дни — Поспелова, Ильичева, Шишмарева, Толкунова, Парфенова, Штейнгарца, Гершберга, Бронтмана, — и вернувшихся из Куйбышева Ярославского, Рябова, Заславского, Колосова, Елену Кононенко, и самых боевых фотомастеров Калашникова, Устинова, Струнникова, Коршунова...

И вот смотрим на экране что-то из приключений Чарли Чаплина. И два знаменитых журналиста, Заславский и Викторов, по очереди переводят тексты, иногда даже в два голоса передавая один — мужские, другой — женские реплики. Изредка из зала вызывают то одного, то другого сотрудника, понадобившегося для работы над номером. А фильм продолжает крутиться, и в этой атмосфере деловой, хорошей дружбы, которая, вероятно, и есть правдивая атмосфера, я отдыхаю от фронтовых треволнений.

Еще вечером Лев Толкунов сказал, что после номера со мной хочет поговорить Петр Николаевич Поспелов.

— В чем дело, не знаешь?

— Там увидишь. Не бойся — очень ругать не будут. — Толкунов известен среди правдивых как человек веселый, шутник, мастер розыгрыша. Наверное, розыгрыш. За что меня ругать?

После номера, когда «загорелась» последняя полоса, я появился у редактора. Эта ночь почему-то выдалась беспокойной. Начались налеты, и где-то, то далеко, то близко, громыхали бомбы. Большинство сотрудников в эту ночь все-таки работало внизу, в бомбоубежище. Редактор оставался у себя. Он сидел за просторным своим столом в той же стеганке и в тех же ватных штанах, как и остальные. И в самом деле. по «климату» кабинет напомнил мне подвал силикатного завода под Калинином, где началась моя правдивая деятельность.

Я сразу заметил, что на просторном столе редактора поверх еще влажного оттиска лежит номер газеты с корреспонденцией о Матвее Кузьмине, которой я так гордился. Заметил и взыграл духом: наверное, будет хвалить.

Но редактор начал разговор не с этого. Он вынул из какой-то папки копию письма, адресованного Алексею Суркову, и протянул мне:

— Прочтите.

В письме были подчеркнуты следующие строчки:

«Дорогой товарищ Сурков! Вчера на переднем крае, где расположены подразделения нашей части, пуля немецкого снайпера убила коммуниста Снежко. В меткости немецкому снайперу не откажешь. Пуля попала в самое сердце бойца. Когда мы достали из кармана его гимнастерки партийный билет, из него выпал кусочек бережно хранимого листка газетной бумаги, залитого кровью. Сквозь яркие капли крови виднелись строки стихотворения Алексея Суркова, вашего стихотворения, напечатанного в «Правде»...

Многие из нас в этот миг подумали о любви советского бойца к Родине и к родной литературе... Мало того, у многих огрубевших на фронте людей под влиянием вашим появилось страстное желание писать»...

Письмо было подписано: «Зам. командира по п/ч Вл. Брагин».

— Видите, что такое литература в дни войны, — говорил редактор, и каждое слово его в холоде кабинета вырывалось у него изо рта с облачком пара. Потом он взял газету с моей статьей о Матвее Кузьмине. — Это интересный материал и своевременно передан. На ред-

коллегии его отметили, но считаю долгом сказать, что я сам об этом думаю. Разве так надо было об этом написать? Ведь вы литератор! Как вы могли бы рассказать об этом интереснейшем случае!

Зенитки снова принялись кудахтать, как куры в птичнике, куда забрался хорек. Стекла за шторами мелко звенели, на столе редактора посверкивал, вздрагивая, стакан с недопитым чаем. Бледный человек у стола, протирая очки, переживал грохот. Потом, когда бой зениток отвалил в сторону и стало тише, он опять водрузил очки на нос и спокойно, я бы даже сказал, академическим тоном обобщил:

— Я и вам, и всем военным корреспондентам постоянно советую: записывайте подробнейшим образом все выдающиеся события, свидетельства которых вы становитесь. Записывайте с деталями, с фамилиями, с точным обозначением места действия. Это ваш долг. Если угодно, ваша партийная обязанность.

Редактор вышел из-за стола, подул в сложенные ладони, мягко ступая валенками, бесшумно прошелся по комнате и сел в кресло напротив.

— В этой войне народ наш встал во весь рост. Мужество его превосходит мужество героев древней, средней и новой истории. Вот этот ваш Матвей Кузьмин, он же выше Сусанина. Тот жизнь за царя отдал, а этот за социализм. Не знала еще земля такого героизма, который мы теперь наблюдаем каждый день. Народ — герой. Это ведь не громкая фраза, не заголовок передовицы... И как важно, чтобы в сумятице этой нечеловечески трудной войны ничего не затерялось. Чтобы дети, внуки, правнуки наши знали, как мы защищали и защитили социализм... Записывайте, все записывайте. Некогда сегодня записать — запишите завтра, некогда завтра — запишите послезавтра, пока свежо в памяти... Вот увидите, какую все эти записи приобретут цену. — Собеседник снова подышал в согнутые ладони. — Ваш Кузьмин! О нем еще когда-нибудь и песни запоют, и улицу назовут его именем, и памятник ему поставят¹, а вы заметку на полтора строки дали!

Я мог бы, конечно, пуститься рассказывать редактору, как далась мне эта заметка, как добирался я до места всеми видами транспорта, как я ее написал на узле связи. Но говорить это было не к чему. Он был совершенно прав, редактор, старый наш тверской большевик. Я учел этот урок, один из добрых уроков, полученных мною в «Правде», и по фронтовым записям, которые когда-то вел, по старым, пожелтевшим тетрадкам сейчас постарался восстановить картину сокрушения гитлеровского «Тайфуна» такой, какой я видел ее на Калининском фронте, на правом фланге нашего первого грандиозного наступления.

Ведь в те дни в великой битве под Москвой действительно забрезжила заря нашей победы!

Калининский фронт. Октябрь 1941 г. — февраль 1942 г.
Москва. 1970 г.

¹ К двадцатипятилетию со дня начала Отечественной войны Матвею Кузьмину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, поставлен памятник и одна из улиц в Великих Луках названа его именем.



ПУБЛИЦИСТИКА

ЛЕВ ЮДАСИН

★

МАНГЫШЛАКСКИЙ КОМПЛЕКС: ПРИРОДА, ЭКОНОМИКА, ЧЕЛОВЕК

То, что природные ресурсы выгоднее использовать комплексно, признается всеми. Немало серьезных, научно обоснованных статей доказывают, убеждают, что комплексное развитие отдельных районов, особенно осваиваемых заново,— это темпы расширенного воспроизводства, рост накоплений, повышение производительности общественного труда. В общем, быстрая отдача вложенных средств.

Несогласных с тем вроде бы нет. И все же пока еще трудно назвать такой район новым освоением, развитие которого было бы строго подчинено комплексному принципу. Более того, само исследование значительных территорий нередко ограничивается локальными проблемами, не обеспечивая должной их взаимосвязи. Отдельно изучаются минеральные, земельные, водные ресурсы. Между тем земля и богатства недр, вода и климат всегда взаимосвязаны и органически взаимодействуют при их хозяйственном использовании. Нет, ни Сибирь, ни Дальний Восток, ни Средняя Азия полным учетом этого обстоятельства пока похвастать не могут. Не составляет исключения и Мангышлак.

Конечно, в каждом случае — причины разные, как различны сами условия и возможности экономических районов. Однако есть и общие причины. Чаще всего — это просто узковедомственный подход. Поэтому, пожалуй, главное теперь заключается в том, что назрела необходимость серьезной организации таких исследований, которые позволили бы выработать научно обоснованные рекомендации для всестороннего и целостного освоения новых территорий. Это большая задача для многих разделов науки. Насколько такая необходимость действительно назрела, нетрудно убедиться на примере Мангышлака.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Лет двадцать назад, когда ленинградская экспедиция Всесоюзного нефтяного научно-исследовательского геологоразведочного института (ВНИГРИ) начинала свою широкую программу изучения Мангышлака, вход на полуостров был один: Форт-Шевченко с баутинским рыбным портом.

Низменная часть суши, на которой расположен Форт,— это в прошлом дно Каспия. Потом море отступило, обнажив широкую песчаную полосу.

С моря старый берег похож на гигантскую, выщербленную временем ступень. Только поднявшись на нее, оставив позади крутизну, выложенную ноздреватым ракушечником, можно было попасть на плато, откуда и простирались шестьдесят тысяч квадратных километров загадочного, дремотного, безмолвного Мангышлака.

Горы Мангышлакского полуострова — хребты Каратау и Актау — округлые, словно согбенные старческие спины, и степи с глубокими впадинами — это добрая половина пространства между Каспием и Аралом. Дальше — снова крутая ступень вверх: ска-

листый чинк, ведущий на плато Устюрт, в царство однообразных безводных равнин, которые, обрываясь, вплотную подходят к Аральскому морю и пескам Каракумов.

Достаточно хотя бы мысленно представить себе гнетущую монотонность и дикость этого пространства, чтобы оценить подвиг открывателей мангышлакской нефти, промышленные залежи которой были обнаружены почти в трехстах километрах от основной базы искателей — от Форта-Шевченко.

Казалось бы, под лучами новой славы полуострова именно Форт-Шевченко должен был быстро пойти в рост. Однако сложилось все иначе. То, что произошло с Форт-Шевченко, бывает с человеком, который в молодости замахнулся на многое, вознесся в мечтах высоко и, не жалея трудов, довольствуясь малым, оставляя заботы о собственном устройстве на потом, действительно многое сделал; но когда пришло время жатвы, время подумать о себе и появилась возможность уделить весомую толику от плодов своего труда на личное благополучие, оказалось, что годы прошли, что менять привычный уклад жизни не просто, и уж не успеть ни за веяниями века, ни в такт его бурным ритмам, а главное, все это важнее и сподручнее тем, кто помоложе.

Форт-Шевченко и поныне — одноэтажный приморский городок, он лепится все в той же низине под крутым обрывом. Большая часть городка — это казахские приземистые мазанки с двумя металлическими трубами на плоских крышах.

Есть здесь и двухэтажные, крытые железом и шифером дома. Это, как правило, общественные здания: районный комитет партии, районный Совет, Дом культуры, школы, кинотеатр «Заря Мангышлака», даже бильярдный зал, контора «Заготскот», больница, довольно большая автобаза, которая обслуживает грузовым и пассажирским транспортом район до Таучика, то есть до самых гор Каратау.

Постоянные жители Форта-Шевченко — в основном казахи. У каждого по два-три верблюда, с десятков овец — этим они отчасти и живут. Иная хозяйка прямо на улице доит верблюдицу. Держат здесь и коров. Низкорослые, мохнатые, тощие, они бродят по улицам, подбирая очистки и клочки бумаги. Я впервые увидел таких диковинных коров, которые к тому же едят бумагу. Мужское же население работает в каменном карьере (пилят ракушечник для Астрахани), в городской пекарне, в учреждениях на Баутинском рыбокомбинате — в трех километрах от города.

Там же, в Баутине, недалеко от порта, стоит несколько белых коттеджей, построенных когда-то ленинградской экспедицией. В них и поныне живут немногие ее участники, продолжающие исследовательскую работу. Но центр интересов ВНИГРИ — уже не в Баутине, не в Форте-Шевченко, не в близлежащих районах. Участники экспедиции большую часть лета работают на юге, да и зимой время от времени наезжают туда. Не только они. Многие туда подались насовсем.

Совершенно удивительное, уникальное место в городе находится под горой, где пилят ракушечник. Это парк имени Шевченко. Он обнесен каменной оградой и составляет законную гордость и предмет забот местного населения. Еще бы — настоящий парк в городе, не имеющем на улицах ни прутика, ни травинки, ни деревца!

За каменной оградой вокруг музея Тараса Шевченко густо стоят красивые, ухоженные деревья — ивы, а земля все лето покрыта травой. Это пошло от тех ивовых прутьиков, которые в свое время привез и посадил здесь поэт.

Ухоженность парка, его неувядаемая свежесть кажутся просто невероятными в этом бесприютном краю. Вот ведь чего можно добиться даже здесь, если к земле приложить руки!

Но пока что парк имени Шевченко — единственное место, где живая зелень может служить отдохновением от всеобщей угнетающей желтизны ландшафта.

В общем, о Форте-Шевченко никак не скажешь, что он — воплощение динамизма века. Какой уж тут динамизм, если в нем столько брошенных и заключенных домов! Некоторые жители продают свои постройки. Едут всё туда же, на юг полуострова.

Отправился на юг и я автобусом, который здесь ходит два раза в неделю. При хорошей дороге, которая зависит от погоды, он преодолевает свой маршрут за четыре часа, или за пять, или за шесть, или... Но дальше уже имеется в виду то, что бывает при плохой дороге.

ТАМ, НА ЮГЕ

...Автобус был набит битком. Ехали по своим делам служащие, другие отправлялись на новое место — устраиваться на работу, третьи возвращались домой, навестив родню.

Среди своих попутчиков я как-то сразу заметил двоих: оба лет по двадцати пяти. То ли молодожены, то ли брат с сестрой. Одеты подчеркнуто по-европейски, на ногах — нарядные, не по местным дорогам, туфли. Я подумал, что это скорее всего студенты, приехавшие на каникулы, или служащие областного центра, и (как выяснилось позже) не угадал. Их провожала многочисленная родня, одетая разношерстно, но в соответствии с национальными казахскими обычаями.

Наконец подъем на плато остался позади. Машина отдышалась, выбралась на ровную дорогу и весело покатила вперед. Всего несколько километров на юго-восток — и вот она, нескончаемая, абсолютно ровная, едва заметно стекающая к югу степь. Ни холма, ни впадины, ни взгорья, ни какого-нибудь другого приметного ориентира. Едешь, едешь и постепенно теряешь ощущение движения. Кажется, и автобус и ты в нем — все стоит на месте, потому что вокруг ничего не меняется. Кажется, что в мире замерло абсолютно все. И одна только дорога сама собой струится навстречу. Невольно появляется ощущение какой-то отрешенности от всех людских дел, ощущение тщетности человеческих усилий: что можно сделать с этой извечной бескрайней пустыней, размахнувшейся от горизонта до горизонта?

И хотя отлично знаешь, что на западе, у моря — цепочка прибрежных аулов, а между ними — отары овец и верблюдов в тихих логах, хотя знаешь, что на востоке полуостров уже подтянут к Большой земле огромным крюком новой железнодорожной ветки, бегущей от гурьевской магистрали до городка Узень, — все равно избавиться от ощущений, которые рождают зримые картины, невозможно.

И вдруг — колодец. Небольшое бетонированное возвышение у земли, заменяющее то, что у наших деревенских колодцев зовется срубом. По одну сторону от него — металлическое корытце, по другую — широкая деревянная доска с ушками, конец которой привален к земле камнями для устойчивости. Придет пастух, вставит в ушки ось небольшого колесника с канавкой по ободу — получится блок. Перекинет через блок крепкую волосяную веревку, к одному ее концу привяжет кожаный мешок, в другой запрыгает лошадь или верблюда и достанет из колодца воду, как это делали сотни лет назад; кстати сказать, в степи и соленые колодцы не заброшены, потому что овцы и верблюды пьют соленую воду.

Изнутри колодец, выложенный плитами известняка, идеально круглый и ровный — сверху видно зеркало воды. Каменная труба с локоть шириной. Можно только поражаться искусству мастеров, которые умели опустить на глубину до семидесяти метров абсолютно ровный ствол. Причем все делалось вручную — проходка, обработка камня, кладка. Не всякому современному бурильщику доступна такая точность.

И снова автобус спешит вперед. И снова вокруг — неподвижная степь и ползущая навстречу от самого горизонта дорога, плохо различимая на поверхности желто-бурой степной кошмы.

Но вот остановка. Кто-то из пассажиров приехал. Кто же? Примеченная мною молодая пара.

Пользуясь остановкой, все выходят размяться.

— Что здесь находится? — спросил я у молодого человека.

Вопрос удивил его, но, улыбнувшись, он сказал как о чем-то само собой разумеющемся:

— Мы здесь живем...

Он сказал это в том смысле, что именно здесь и дом их, и работа, то есть постоянное местожительство. Значит, не сюда они приехали на побывку, а в Форте навесщали родню. Сбитый с толку внешним видом молодых людей, я не угадал в них традиционных для Мангышлака скотоводов. И еще, видимо, загипнотизированный разговором о нефти, как-то упустил из виду, что, сколь ни характерна для полуострова теперь фигура геологоразведчика, она — отнюдь не единственная для примета современности: иными стали и чабаны.

Впрочем, понять, как они догадались, что приехали домой, что где-то неподалеку их аул,— я по сей день не могу. По чему узнали, что сойти им надо именно здесь, а не где-то на полчаса езды раньше или позже? На мой взгляд, «посреди степи» было что там, что здесь. Но они приехали домой. У них здесь была какая-то своя, знакомая с детства стежка, которая вела к родному очагу, как ведут к нему все едва приметные деревенские тропинки, начинающиеся от большака...

Был и у них большак в степи, не меченный ни столбами, ни обочинами, а только людской приметливостью.

Час спустя слева от дороги показалась буровая вышка.

— Дунга,— сказал кто-то.

Дунга? Одна из первых локальных структур, обнаруженных геофизиками на Южном Мангышлаке. Вот только когда пришли на Дунгу! Говорят, уже получен фонтан нефти.

Но раз Дунга — значит, под нами западное крыло погребенного Беке-Башкудукского вала. Отсюда начинается Южный Мангышлак.

Стало гораздо теплее. Небо эчистилось от туч. Солнце весело светило. Там, около Форта-Шевченко, в ста двадцати километрах отсюда, на северных склонах гор и оврагов еще лежал снег. А здесь ничто не напоминало об уходящей зиме.

Судя по тому, как прибавил скорости шофер, нам оставалось немного. Автобус подпрыгнул в последний раз на грунтовой колдобине и выкатился на неизвестно откуда взявшееся асфальтированное шоссе.

Еще полчаса пути — и впереди сквозь запыленное ветровое стекло вдруг возник... Как ни тривиально сравнение, без которого не обходится ни один рассказ о пустынях и безводных степях, но мне действительно показалось, что впереди возник мираж. Однако то, что я увидел, не парило в воздухе, а, вне всякого сомнения, прочно стояло на земле и выглядело во всех деталях вполне четко и с каждой минутой становилось яснее, крупнее, различимее. Это были девятиэтажные дома.

Это был город Шевченко! Вполне реальный новый город, которому Форт-Шевченко уступил и первенство на Мангышлаке, и следование новым веяниям и ритмам века, и, возможно, отчасти и на время свое будущее.

Это он, новый город, был виновником и пустующих в Форте коттеджей геологоразведчиков, и других проданных там и заключенных домов; это он притягивал к себе тех, кто оставлял в Форте и насиженные места, и привычную работу.

Новый Шевченко красив и во многих отношениях, я бы сказал, даже элегантен. Он занимает выгодное географическое положение. Побережье обширной бухты, вдоль которой расположились его микрорайоны, хорошо защищено высоким берегом мыса Мелового от холодных северных ветров. На противоположной стороне бухты построен огромный морской порт, названный Актау («белый камень») — по имени приметного мыса. Зимой на берегах незамерзающей бухты теплее, чем на севере. Летом морской ветер несет в дома, поставленные боком к пляжу, спасительную прохладу.

Принцип застройки всюду примерно один — микрорайоны, включающие в себя весь жилищный комплекс, с двориками и проходами, украшенными зеленью. У всех домов с одной стороны — лоджии-балконы, с другой — балконы-галереи, служащие одновременно и коридорами, связывающими отдельные квартиры в этажи.

Архитектурный стиль, в общем-то, един для всего города — современная строгость, удобство, лаконизм, рациональное изящество. Материал — желтый ракушечник и стального отлива железобетон.

Правда, в городе еще маловато стекла, а вечером света. Еще многое в нем от макета — особенно безлюдье вечерних улиц. Заметны недостаток культурно-бытовых учреждений и обилие общежитий: они встречаются буквально на каждом шагу. Но город еще так молод.

Вдоль всех улиц и меж домов — газоны, клумбы, растет кустарник и много деревьев. Летом все это зелено. За посадками ухаживают, их поливают.

Город пока живет на всем привозном. Но многочисленные современные магазины, с высокими витринами, с прилавками-холодильниками, полны товаров, что привлекает в Шевченко покупателей со всего полуострова.

Впрочем, в Шевченко уже есть своя пекарня, где выпекают прекрасный белый хлеб и булки; свой молочный завод, снабжающий жителей молоком, кефиром, сметаной и творогом, сырьем для которых служит привозной порошок. Кондитерский цех готовит торты, а собственный цех безалкогольных напитков выпускает игристый лимонад, что по достоинству оценивается в жаркие летние дни.

Промышленная часть города отделена от микрорайонов широкой полосой степи. Новенькие автобусы делают эти расстояния необременительными. Труднее тем, кто живет в Шевченко, а работает на нефтепромыслах. Тут заключена весьма сложная для разрешения проблема.

Шевченковцы часто любят пожаловаться на летнюю жару в сорок градусов, на ветер и на пыльные бури. Но это в начале разговора, чтобы удивить. А потом выясняется, что жара тут не особенно чувствуется, так как все время веет прохладой от моря, а пыльные бури бывают далеко не каждый год. Зима тоже мягкая — не ниже десяти—пятнадцати градусов мороза. Сильные холода редкость. И единодушное заключение таково, что здесь жить можно.

Что касается самих шевченковцев, то это народ покладистый, веселый, преимущественно молодой и очень верящий в большое будущее своего города.

Если же добавить, что в городе достаточно школ (есть и музыкальная), работают ясли и детские сады, что город в избытке снабжается питьевой водой, электроэнергией, теплом и газом, то станет понятно: оптимизм его жителей имеет хорошую основу.

Уже сейчас Шевченко — один из крупных городов Западного Казахстана. А в будущем, когда он протянется вдоль побережья на десять километров, его население возрастет до трехсот тысяч человек.

Принцип застройки останется линейным — не дальше километра от берега, чтобы все население имело ближайший выход к морю. У подступающей к городу степи — свои климатические особенности, и это диктует жесткие условия в планировке города.

Многие шевченковцы любят говорить: «Мы здесь начинали, когда еще ничего не было». Потом они ведут показывать первые дома и тот каменный сарай у шоссе — одно из первых местных строений, — где когда-то помещался горком партии. И тогда разговор невольно переходит на Узень и Жетыбай, которые на Мангышлаке многому дали толчок и которые по-прежнему многое определяют в сегодняшней жизни полуострова и в том, каким ему быть в будущем.

ЧЕРНАЯ ГРОЗДЬ

Там, где пробиваются первые изыскатели, потом обычно проклевываются и идут в рост экономические центры, города, поселки.

Мангышлакский хозяйственный комплекс еще только зарождается. Основой его, несомненно, нужно считать нефть и газ. Их запасы, выявленные после того, как в 1961 году ударили жетыбайский и узеньский фонтаны, огромны. Здесь крупнейшие залежи.

Из всего числа нефтяных и газовых месторождений в мире крупнейшие можно пересчитать по пальцам.

О месторождениях-гигантах можно судить хотя бы по тому, что на начало 1966 года, например, в СССР насчитывалось 775 нефтяных и 310 газовых месторождений. Из них крупнейшие составляли только 2 процента, но содержали они в своих недрах около 40 процентов всей нефти. С открытием Жетыбая и Узеня значительная доля тех запасов, которые прогнозировались в Западном Казахстане, выявлена.

К тому же удивительные свойства мангышлакской нефти — ее насыщенность парафином — сделали новую провинцию уникальным районом добычи, стоящим несколько особняком среди всех других добывающих областей страны. Однотипна не только нефть Жетыбая и Узеня, но и всех других, более мелких месторождений, обнаруженных по соседству с ними за прошедшие годы.

В Карамандыбасе один геолог записал в своем отчете: «Получена колбаса нефти». Она действительно там не текла из трубы, а выдавливалась подобно пасте и обламывалась кусками. Никак не скажешь: «Получен фонтан».

Карамандыбас — северо-западнее Узень и по запасам сравнительно невелик. Но он лишь одна ягода в этой крупной черной грозди, висящей в центре Мангышлака, — Тенге, Тасбулат, Актас, Восточный Жетыбай, Южный Жетыбай, Дунга...

Первый эшелон мангышлакской нефти отправили с Узень на Гурьевский перерабатывающий завод 10 июля 1965 года. А с тех пор полуостров уже дал стране более пятнадцати миллионов тонн нефти.

К концу следующей пятилетки удивительный полуостров по уровню добычи обогнал старейший советский нефтяной район — Баку.

Природный и попутный газ Мангышлака также очень высокого качества.

Но не только нефтью и газом богат полуостров. В его недрах — запасы фосфоритов, есть самородная сера. Его горная часть в районе Каратау, как выяснилось, располагает месторождениями марганца, железа, там выявлены признаки меди и других цветных металлов. К тому же вблизи от Мангышлака расположен залив Кара-Богаз-Гол — крупнейший поставщик хлоридов и сульфатов натрия, магния, калия. В общем, район в целом должен рассматриваться не только как центр нефтедобычи, но и как серьезная база химической промышленности. Вот оно — основное содержание мангышлакского комплекса.

Разумеется, развитие такой базы невозможно без достаточного обеспечения водой. Прежнее представление о Мангышлаке как о пространстве совершенно безводном, к счастью, оказалось ошибочным. Рек там действительно нет. Ни одной. Озер тоже. Но есть подземные залежи. В восточной части полуострова, в недрах песчаных массивов Саускан, Тюесу, Сам, Бостанкум гидрогеологи обнаружили обширные линзы пресной воды. Уже не первый год они исправно поят Узень исключительно вкусной водой.

Но сколь ни обилён этот источник, ему не выдержать было бы такой нагрузки, как снабжение всего Мангышлака. Питье полуостров стал... Каспий. А вернее, Каспий, помноженный на энергию атома. Речь идет об атомном опреснителе, построенном в Шевченко.

О том, насколько не проста решаемая этим сооружением проблема, говорит такой примечательный факт. Еще в XVI веке королева Англии Елизавета издала указ, по которому изобретателю дешевой способа опреснения морской воды обещалась премия в десять тысяч фунтов стерлингов. Англичане чтут традиции: высочайший указ до сих пор остается в силе. Однако за четыреста лет так и не нашлось претендента на королевскую премию. Сложен не сам процесс опреснения — трудно добиться того, чтобы пресная вода, полученная из морской, была бы не слишком дорогой.

Только комплексный подход к решению проблемы (и здесь, как видите, комплекс) дал ощутимый эффект. Шевченковский опреснитель — это крупная комбинированная атомная станция. Она опресняет огромное количество каспийского рассола и одновременно вырабатывает много дешевой электрической энергии. Пресная вода получается всего лишь вдвое дороже, чем водопроводная где-нибудь в маленьком городке Средней России. Она станет еще дешевле, когда будет реализован интересный проект Всесоюзного института галургии¹, позволяющий извлекать из сбросовых рассолов самого опреснителя важное химическое сырье — соли натрия, калия, магния, йод и бром.

Существует на полуострове и еще один важный источник влаги — геологический. В недрах хребта Северный Актау выявлен артезианский бассейн, вода которого содержит два грамма соли на литр. В таком виде она не пригодна для питья. Но годится скоту и на технические нужды. Бассейн в состоянии давать до ста тридцати тысяч кубометров воды в сутки. Вот вам и безводный полуостров!

Однако продолжим о мангышлакском комплексе.

Прежде всего большие перспективы для развития химической промышленности открывает комплексное использование природного и попутного газа. Местный природ-

¹ Г а л у р г и я — соляное дело.

ный газ уже служит бытовым нуждам в Шевченко и в Узене. Он пришел также на промышленные предприятия этих городов. Больше того, он стал сырьем для производства минеральных удобрений. Это уже зримые черты зарождающегося комплекса. Им нельзя не порадоваться. Но, честно говоря, их могло бы быть побольше, этих зримых черт.

Речь идет об огромных ресурсах попутного газа, пропадающих пока что втуне. Миллионы и миллионы кубометров этого химического сырья сжигаются в факелах на мангышлакских нефтепромыслах. Достоинства местного попутного газа столь велики, что о строительстве газо-бензинового завода на полуострове начали говорить чуть ли не с первых дней добычи нефти. Увы, о нем говорят и поныне. А между тем того, что уже сгорело, хватило бы для получения бензина, этана, пропана, бутана на многие и многие миллионы рублей.

Уместно заметить, что на этом газовом сырье мог бы также работать большой полиэтиленовый завод. Учитывая растущие потребности Казахстана, вообще было бы целесообразно расширить в Гурьевской области производство полимерных материалов и пластмасс.

Впрочем, в отношении утилизации попутного газа уже разрабатываются планы и даже проекты предприятий. Здесь даже известно, с кого спрашивать и кого корить за медлительность реализации проектов — Министерство нефтедобычи.

Что же касается хозяйственных связей южного нефтяного Мангышлака с Мангышлаком горным, связей с сельским хозяйством огромного пространства степей, а также всего полуострова с Кара-Богаз-Голом, то здесь пока многое гипотетично. Развитие химической промышленности на Кара-Богаз-Голе сдерживают трудности с топливом, с пресной водой, отсутствие железнодорожного сообщения. Ряд специалистов считает, что выгоднее перекачивать рапу из залива в район Узень — Шевченко и там создавать крупное галургическое производство. Есть также предложение вообще «законсервировать» Кара-Богаз-Гол, перекрыв узкую горловину дамбой (ведь залив с его испарением — чудовищный расточитель морской воды, он — один из главных виновников падения уровня Каспия), а производство сульфата натрия перенести в мангышлакскую впадину Ашйсор. Она неглубока, отделена от моря узкой (меньше километра) полосой берега. Периодическое заполнение впадины через специальный канал позволило бы, при довольно скромном расходе воды, создать предприятие, возможности которого в перспективе превысили бы нынешнее суммарное мировое производство всех щелочей. Какой вариант предпочтительнее — это можно решить только с учетом сложных местных условий (природных, экономических, технических) в их взаимосвязи.

Но кто конкретно всем этим должен заниматься — изучать, выдавать рекомендации, направлять, организовывать? Не ясно. Местные организации? Им не подчинены крупные мангышлакские производственные объединения союзного значения. Да и возможностей маловато, и проблемы не местного значения. Видимо, пришла пора (такое мнение высказывают и ученые и производственники) поставить перед Госпланом СССР вопрос о создании союзной межведомственной комиссии по размещению и развитию производительных сил Казахстана, аналогичную тем комиссиям, что некоторое время назад были созданы для Средней Азии и Закавказья. В состав межведомственной комиссии могла бы войти специальная мангышлакская группа. Тут как раз тот случай, когда особенно болезненно ощущается отсутствие научно обоснованного общего принципа освоения нового района в целом. А ведь неясности в общих вопросах прямо или косвенно неизбежно вносят путаницу в решение частных проблем.

Одна из таких проблем — чисто человеческая — заслуживает особого внимания.

РОЗОВЫЙ АЖУР ИЛИ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ?

Несколько лет назад крупные научно-исследовательские институты страны подготовили фундаментальный труд — технико-экономический доклад (ТЭД) по комплексно-развитию промышленности Мангышлака на ближайшие полтора десятилетия. Разумеется, авторы ТЭДа задумались также над тем, где и как лучше жить людям на полуострове.

В определении схемы расселения и планов застройки они исходили из перспектив развития Мангышлака и руководствовались при этом гуманным стремлением создать по возможности всем новоселам наилучшие условия. Коротко их мысль заключалась в следующем: пусть каждый максимально пользуется тем, что можно назвать благами местной природы и климата, и в наименьшей степени страдает от их пороков. Намерения, как видите, самые похвальные. В соответствии с ними и были выданы рекомендации.

Но прежде стоит задаться вопросом: что же считать перспективой для Мангышлака — развитие главным образом прибрежной полосы или всего полуострова, включая его глубинку с примыкающей на востоке малоисследованной территорией Устюрта?

Видимо, в ответе на этот вопрос была допущена некоторая неточность, а скорее, неопределенность, что и сказалось на рекомендациях авторов ТЭДа.

Они отдали предпочтение прибрежной полосе, развитию приморских городов Южного Мангышлака, где должно разместиться в основном все население полуострова.

А как же быть с работающими на промыслах? Возить. За тридцать километров — обычным транспортом, еще дальше — скоростным. Причем в первом случае имелось в виду, что люди будут ездить ежедневно: утром — на работу, вечером — домой. А если расстояние от дома — больше тридцати километров, то ездить уже будут сменные вахты — примерно каждые две недели. Приедут, проживут недалеко от места работы в общежитиях гостиничного типа, а на выходные вернутся. За ними — следующая вахта.

Итак, жизнь у моря, вдали от суровостей континентального климата, и — дорога, дорога... Таким представляли себе авторы ТЭДа бытие нефтепромышленников на Мангышлаке.

Впрочем, в этом не было ничего нового. Примеры такой жизни имелись в практике бакинцев — на морских промыслах Нефтяные Камни, в Али-Байрамлы, в Сиазани Тот же скользящий график работы, те же временные общежития гостиничного типа, те же суммированные выходные.

Но то, что оправдало себя в старом промышленном районе, оказалось весьма сомнительным в новом. Да и условия, в общем-то, иные. Конечно, климат в Узене более суров, чем в приморье, но это не металлические эстакады Нефтяных Камней и не болота западносибирских месторождений. Какая-никакая — все-таки земля, где извечно, пусть на свой лад, жили люди.

И потому, вопреки первоначальным рекомендациям, в Узене все же вырос настоящий, не гостиничный город. Но произошло это, надо сказать, в тяжелых муках. О них вообще-то теперь можно бы и не вспоминать. Однако из прошлого, к сожалению, не был извлечен полезный урок. Поэтому рассказ о прошлом будет не лишним.

Узень и Жетыбай отстоят от Шевченко значительно дальше тридцати километров.

Справедливости ради нужно сказать, что один из вариантов ТЭДа предусматривал такое использование скоростного транспорта для доставки рабочих, чтобы продолжительность поездки в один конец не превышала часа. Но когда поднялись в Узене первые общежития гостиничного типа, до скоростного транспорта еще руки не дошли: из Шевченко пополз обычный рейсовый автобус. (Кстати, никакого иного пассажирского транспорта массового пользования нет по сию пору.)

То, что мыслилось большим удобством, обернулось большой маетой. Семья — в Шевченко, сам — одной ногой здесь, другой — там, в Узене. В общем, известная жизнь на два дома.

Результаты, как говорится, не замедлили сказаться. Причем в двух направлениях: в текучести кадров и в стихийном росте поселка Старый Узень. Как это ни смешно, но существовавший без году неделю Узень уже делился на Старый и Новый и стоящий особняком железнодорожный поселок. Между ними — тоже немалые концы, от нового до старого — двадцать с лишним километров.

Старый Узень строили для себя разведчики. Им было не до генерального плана и не до архитектурных стилей. Поэтому Старый Узень — это стихия и пестрота. Там и бараки под шифером, сложенные из ракушечника, и аккуратные коттеджи, и земляники,

полуземлянки, казахские мазанки с плоскими крышами, закутки для тощих овец и для верблюдов.

Весной большая часть жителей выезжала оттуда на «дачу», и тогда в степи по соседству с землянками появлялся еще один поселок — кибиточный.

Когда в Новом Узене поднялись первые общежития гостиничного типа, Старый стал шириться и расплзаться, подобно масляному пятну. В объединении «Казахстан-нефть» забили тревогу: надо создавать в Узене крупный город — настоящий центр нефтедобычи.

И только тогда там развернулось большое строительство. Поднялись трех- и четырехэтажные дома шевченковского типа — с лоджиями и галереями. Потянулись друг за другом жилые микрорайоны. Заблестели витринами новые магазины. Побежали вдоль улиц зеленые посадки, привезенные из шевченковского питомника.

Так поднялся в желтой суровой степи в буквальном смысле слова розовый город: залегающий близ Узеня ракушечник был розового цвета.

Сейчас в Новом Узене, имеющем уже двадцатитысячное население, — большое промышленное и жилищное строительство. Количество пробуренных скважин исчисляется сотнями. А ежегодное поступление грузов приближается к двумстам тысячам тонн.

Узень принял под свое крыло и опеку Тенге и Карамандыбас. И как ни трудна эта задача, пытается поглотить население старого поселка (тоже больше десяти тысяч человек).

Сколько ни поучителен пример Узеня, а идея преимущественного развития приморья оттого — увы! — не померкла. Второй ее жертвой стал Жетыбай.

Строго говоря, Жетыбаев тоже несколько — не меньше четырех: Старый, Новый, поселок строителей и железнодорожный. Сколько в них живет народу, никто толком до переписи не знал. Говорили тогда, что здесь не меньше двадцати тысяч.

Старый Жетыбай, как и Старый Узень, — творение геологоразведчиков. Теперь, конечно, он разросся. Белые, чистенькие коттеджи с небольшими участками вытянулись двумя длинными рядами вдоль Коммунистического проспекта. Он засажен деревцами. Ни тени, ни прохлады они еще не дают, но уже поднялись в рост человека. А в километре от этого поселка жив еще и другой — с прежними землянками, голыми песчаными проулками.

Между тем строительные организации, считающие Жетыбай своей основной индустриальной базой, основали и расширяют собственный поселок — далеко в стороне от Старого Жетыбая, с которым тот не имеет никаких точек соприкосновения.

А что же Новый Жетыбай? Тоже полная разобщенность с остальными поселками. В сущности, Новый Жетыбай — это несколько трехэтажных общежитий гостиничного типа. И они давно уже заняты под постоянное жилье. Как ни хорош Шевченко, охотников кататься туда и обратно за семьдесят километров, видется с семьей раз в неделю, а то и реже нашлось мало. Люди предпочитают жить в более трудных условиях, но поближе к работе и вместе. Потому-то в полном несоответствии с генеральными планами, с их голубыми перспективами и розовым ажуром разрастаются неказистые поселки.

То, ради чего было прекращено строительство Нового Жетыбая — постоянное жилище в условиях приморского комфорта, — обернулось на деле своей противоположностью. И в Шевченко жить не с руки, и в гостиничных клетушках — не великое удобство.

Было у нас в стране время, когда освоение новых районов и даже просто строительство промышленных комплексов начиналось в жилищном отношении с мизера. Ставились временные бараки, которые потом по долговительству грозили поспорить с египетскими пирамидами. Сейчас к строительству жилищ принципиально иной подход. Но на Мангышлаке создается странное положение. С одной стороны — очень разумные, очень гуманные рекомендации и планы, в соответствии с которыми растет и развивается только Шевченко и отчасти Узень. С другой стороны — совсем неразумная стихия застройки полуострова мелкими разобщенными поселениями.

Уместно также задаться вопросом: почему из перспективных планов проектировщиков напрочь выпало «современивание» Форта-Шевченко и таких больших старых по-

селений горного Мангышлака, как Таучик и Шетпе? Не сказался ли здесь узковедомственный, «нефтяной» подход?

Широкое изучение и промышленное освоение района Каратау с его богатством разнообразных полезных ископаемых немислимо без крепких опорных пунктов. Почему бы не быть такими Форт-Шевченко, Таучику и Шетпе? Наверное, с годами Форт мог бы стать большими морскими воротами горного Мангышлака; для этого уже сейчас есть «отправная точка» — пригородный портовый Баутино с удобной бухтой. К тому же близ Форты — огромные природные запасы строительных материалов. Ну, а в пользу Шетпе говорит то, что он теперь напрямую связан железной дорогой с Гурьевом и Шевченко. Но всерьез всем этим еще не занялись.

Впрочем, здесь сказывается не только узковедомственный подход, но и нечто другое.

Строительство Нового Жетыбая прекратили еще и потому, что посчитали его невыгодным с точки зрения нефтедобычи. Наверное, расчеты были точны. Но те, кто их делал, явно оказались в плену у чистой арифметики, в плену у «сиюминутной» выгоды.

Ведь в свое время те же разговоры велись и в связи со строительством города Узень. А сейчас он — не только центр нефтедобычи. Узень с его складами, предприятиями и ремонтными базами, с его аэродромом и железнодорожной станцией стал крупным опорным пунктом для хозяйственного наступления дальше на восток, для разведки и освоения Южного Устюрта. Нетрудно представить себе и уровень геологических исследований, когда тылы — это мощь промышленного города. Вот тут-то истинная выгода!

Аналогия с Жетыбаем, с Форт-Шевченко и с горными поселками напрашивается сама собой. Видимо, в определении их судьбы следует исходить не только из сегодняшней себестоимости тонны нефти или кубометра газа, но учитывая и будущие нужды Мангышлака в целом. (Кстати, Жетыбай уже сейчас стал и базой строительной индустрии, и центром геологоразведки. Он обустривает близлежащие промыслы и посылает специальными самолетами сменные вахты бурильщиков на Устюрт.)

В общем, к Форт-Шевченко и поселкам Каратау тоже надо бы поприспальней приглядеться с позиций алгебры экономики, которая в конечном счете и является душой комплексного развития Мангышлака.

Довольно часто мне приходилось слышать: «Года через два вернемся на Большую землю. Если каждый отдаст Мангышлаку, как мы, пять лет, — это будет хорошо». Так обычно говорят те, кто приехал на полуостров, когда здесь почти ничего не было. Это говорит в людях усталость приспособления к непривычным условиям. Оказывается, мало одного желания и даже энтузиазма, чтобы, попав из лесистой, зеленой средней полосы России или с тучных черноземов в степную сушь, прижиться здесь навсегда. Нужно здоровье и духовные силы, чтобы преодолеть прежде всего психологический фактор привычки. Люди тоскуют по лесу, по зеленому лугу, по речке, хотя, будучи горожанами, может, и выбирались-то на природу, дай бог, раз в месяц.

И они правы, когда говорят, что пять лет, отданные Мангышлаку, — это немало. Надо смотреть реально на вещи. Запах земли, где родился, человек впитывает в себя не намного позже, чем молоко матери, и этот запах живет в нас всю жизнь. Одно только сознание привычки обстановки часто задает тон всему духовному настрою. Приспосабливаться к резкой перемене условий жизни, приспособляться быстро и легко — это тоже своего рода дар, которым наделены далеко не все.

И вряд ли заслуживают упреков люди, которые, честно поработав определенное количество лет на Мангышлаке, все-таки возвращаются на свою Тамбовщину или Смоленщину, потому что во все эти годы она не переставала быть для них желанным домом. Таково уж одно из свойств человеческой души.

Но человек не был бы человеком, если бы сверх всякой меры цеплялся только за привычное. Многие, очень многие из новоселов останутся на Мангышлаке навсегда. По разным причинам. Одни — потому, что не знают себя. Им кажется, что только и дел: съездить, подзаработать, раз прилично платят, и вернуться с деньгами. Но они еще не знают, как умеют привязываться к новому месту и к новым людям. Не знают, как через несколько лет будут бойко оглядываться вокруг и удивляться содеянному: неужели все это мы сделали?! У других причина чисто профессиональная: нефтяника всю жизнь тя-

нет туда, где покрупнее месторождения. Он считает: была бы большая нефть, остальное приложится. А на Мангышлаке, по самым масштабным понятиям, нефть очень большая.

Но истинное будущее Мангышлака — это дети. Не многие деревья, перенесенные на трудную землю уже взрослыми, принялись в шевченковском городском парке. Но от саженцев, выращенных из семян, пошла крепкая зеленая поросль. Так же, наверное, и с людьми. Для детей, родившихся на полуострове, Мангышлак — отчий дом, та земля, запах которой остается самым дорогим на всю жизнь.

Но новосел не торопится с рождением детей, пока скитается по общежитиям, даже если они гостиничного типа. Современные жилища зависят от планов индустриального строительства. А самые возвышенные планы тем реальнее, чем ближе к здравому смыслу и интересам дела.

СТЕПЬ

Жизнь современного человека и все так называемые комфортные условия начинаются с его дома. Но не кончаются им. Они не кончаются даже улицей, на которой живешь, даже окраиной твоего поселка или города. Где бы ни находился на Мангышлаке, постоянно чувствуешь дыхание степи. И планируя будущее полуострова, следует задуматься над тем, какова она сегодня и какой может стать завтра.

Она разная даже в одно время года.

В конце зимы степь становится темно-серой — там, где сохранилась верблюжья колючка, задеревенелая полынь и жидкие сухие стебли ползучей травы с цепкими корнями. Ну, а где не сохранилось ничего, где голо — степь темно-желтая. И эти цвета остаются неизменными на десятки и сотни километров. Зыбучие пески, совершенно лишенные растительности, встретишь лишь изредка, чаще всего в самой низменной части огромных впадин вроде Карагие и поменьше.

Чем севернее, тем более изрыта прибрежная полоса высохшими водостоками и тем чаще попадаются вытянутые с запада на восток невысокие гребни возвышенностей.

На Южном Мангышлаке возвышенности редки. Встречаются голые скучные холмы, поверхность которых тверда, словно прикатана дорожным катком. И почти никаких четко прорезанных стоков. Все в рельефе плавно, расплывчато, неопределенно.

Совершенно особое место — Карагие. В нее окунаешься, как в котел, сваливешься, как в преддверие мрачной преисподней. Вдруг с абсолютно ровной низменности машина начинает скатываться еще ниже. Но куда может быть ниже, если мы выехали из Шевченко, начав свой путь почти что с песчаного пляжа, то есть буквально с уровня соленой волны, и по дороге не почувствовали даже намека на какой-нибудь подъем? Но асфальтовая автострада сбегает все ниже и ниже, словно струится по широким уступам, и начинает закладывать уши, как это бывает в самолете, идущем на посадку.

Наконец — о, чудо — белый железобетонный мост через ручей. Но не следует топиться останавливать машину и бежать к воде за питьем и прохладой. Зовущие нежной желтизной пологие берега — это трясина, а влага в ручье — горько-соленая, из скважины.

Поток убегают в южную часть Карагие, чтобы пропасть бесследно. Там — непросяхающее соленое болото, безжизненная падь. Там в невидимой отсюда дали и расположено самое низменное на нашей планете место суши — сто тридцать два метра ниже уровня моря.

Там — сор, сток воды. Песок пропитывается влагой, она испаряется на солнце, а соль остается. Получается песок, пропитанный перенасыщенным соляным раствором. Трудно сказать, насколько глубоки соры в обычном, обиходном смысле.

Сверху их часто покрывает солевая корка, предохраняя от испарения воды. Корка хрупка, провалиться сквозь нее ничего не стоит. А болото под ней не высыхает летом и не замерзает зимой.

Таков еще один облик мангышлакской степи. И таков один из возможных источников пресной воды. Именно пресной. Потому что, научившись управлять хотя бы временными талыми стоками, образующими соры, можно избавиться от этих мертвых болот и получить надежный и довольно значительный водный резерв.

Асфальтовая автострада Шевченко—Узень, конечно, минует сор стороной. Она пересекает Карагие с запада на восток. А сверху, с борта,—изумительный вид: в утреннем тумане, словно видение,—далекие расплывчатые берега впадины.

На шоссе — оживленное движение. В обе стороны снуют служебные «газики», обгоняя тяжелые грузовики, самосвалы, подъемные краны, цистерны с надписью «Питьевая вода», специальные машины с раствором для цементировки скважин.

На шоссе как-то особенно чувствуется новый ритм пульса Мангышлака. И вообще шоссе — это качественно новое, очень значительное событие в степи.

Но достаточно свернуть в сторону, миновать первый же увал, как начинается царство безмолвия. Можно ехать часами, не встретив ни единого живого существа.

И вдруг — одинокая казахская могила. Надгробие сложено из ровно обтесанных и умело пригнанных блоков желтого ракушечника и напоминает домик без крыши. На одной из стен, согласно мусульманским обычаям, высечена цитата из Корана, написанная по-персидски. Наверное, какой-нибудь старый чабан тихо скончался посреди степи. Тут его и похоронили. Так часто поступают. Могильники — тоже своеобразная примета степи.

Земля в стороне от дороги — будто пуховик. В ней не то чтобы, как в песке, вязнут ноги, нет, не вязнут, а просто очень мягко под ногами — какая-то воздушная земля.

Я спустился в ложбину и, приглядевшись, заметил на склоне, между сухими кустиками прошлогодней потемневшей травы, молодую зеленую поросль. Поросль изреженную, едва тронувшуюся от земли, но очень дружную. Начинаясь март.

Травка поднималась совсем тоненькая, светло-зеленая, нежная-нежная на ощупь. И вместе с тем это было истинно степное дитя с такими сильными корнями, что совсем маленький кустик, который и пальцами-то как следует не ухватишь, удалось вырвать, только приложив заметное усилие. Он напомнил еще об одном облике степи — весеннем.

В апреле — мае свершается волшебство: степь становится почти сплошь зеленой и на редкость яркой, даже красочной. Это особенно неожиданно после снежной зимы. Еще недавно земля лежала белым-белая, с редкими желтыми и серыми пролысынами. Но вот пришли в движение овраги, водостоки потащили камни и грязь. Все это сползло на юге в Карагие, а на северо-западе скатилось в море. И чуть только ветер обсушил степь, она зазеленела и зацвела.

Запестрели тюльпаны, торопливо потянулась вверх всякая другая растительность. Появились даже грибы — шампиньоны. И наполнился воздух каким-то нежным легким ароматом. Не густым, не дурманящим — едва уловимым. Только весной понимаешь, что и эта суровая земля может быть девически ласковой и приветливой.

Но недолга зеленая весенняя песня. Летом — настоящее пекло. Все буреет, быстро выгорает. И снова степь черно-желтая. А жаркий, как из печки, ветер поднимает пыль. Он становится колючим, ест глаза, забивает пробками уши и нос. Песок скрипит на зубах.

Впрочем, и без ветра каждая проехавшая по раскаленной степи машина словно ставит дымовую завесу.

Через некоторое время наезженная колея становится непроходимой, потому что пыль, осевшая толстым слоем,— это «пухляк»: летняя распутица. В «пухляке» машины вязнут еще крепче, чем в осенней грязи.

Потом «пухляк» немного слеживается и становится той кажущейся воздушной почвой, в которой так приятно и мягко тонут ноги. Конечно, проехать здесь уже невозможно. Но разве в степи мало места? И побежала новая дорога где-то рядом.

Дороги. Не надо думать, что хотя бы прежде это было чем-то определенным. Ни какой «ленты дороги» здесь не существовало никогда. Скорее это были приблизительные маршруты пастухов. Некоторым дорогам на востоке дано более точное название — караванные пути. Но, во-первых, такие пути — уже крупные торговые коммуникации, а во-вторых, даже они почти не оставляли в степи заметного следа.

Когда же начали ездить на машинах, дорог появилось несметное множество. Это особенно бросается в глаза, если летишь над степью самолетом. Параллельные, переплетающиеся, скрещивающиеся — в общем, сколько шоферов, столько дорог. Практически это не дороги, а направления, указывающие, в какой примерно стороне то-то и

то-то. Конечно, шоферы тут ни при чем. Почва такая. Несколько машин пройдет по одной колесе, и — уже «пухляк». Но так или иначе, обилие грунтовых дорог — это тронувшаяся степь, движущаяся пыль, наступающие на поселения пески. И главное, гибель и без того небогатой растительности.

Когда-то около Жетыбая были традиционные пастбища. Сохранилась о том молчаливая память в виде могилы чабана Жетыбая, а самих пастбищ нет и в помине. Местные жители, держащие скот, специально нанимают старика, знающего нетронутые еще места, и он гоняет туда овец, потому что вокруг Жетыбая даже весной ни былинки. Все вытоптали и выездили.

Между прочим, степная растительность Мангышлака — не только средство (причем пока единственное реально существенное) укрепления почвенного покрова. При всей своей скудости, она может быть источником большого богатства. Да, богатства! В этом нет и доли преувеличения.

Как известно, существуют некоторые продукты, уникальные качества которых зависят не только от искусства людей, но в первую очередь от неповторимых природных условий. Редкое сочетание климата, почвы, воды, различных биологических факторов создает творение настолько своеобразное, что воспроизвести его где-то в другом месте практически невозможно.

Таковы твердые и сильные пшеницы, выращенные в Поволжье, Сибири и в Канаде, содержащие большое количество белка сложного состава, дающие на редкость вкусный и пышный хлеб и способные даже в небольшом количестве улучшать самое посредственное зерно.

Таковы красная рыба и черная икра, поступающие на мировой рынок главным образом с Каспийского и отчасти Азовского бассейнов.

Таков мех баргузинского соболя, подаренный миру таежным Забайкальем.

Такова «кабарговая струя» — знаменитый секрет мускусной железы самого маленького копытного зверя нашей страны. Французские духи во многом обязаны своей громкой славой сибирской кабарге.

Таков, наконец, и королевский каракуль — важная статья нашего экспорта. Трудно найти другой подобный продукт, который при весьма небольшой себестоимости принёс бы столь значительный доход, в том числе и валютный.

Каракульская овца, обитающая в основном лишь на пространствах за Каспийским морем, — совершенный механизм для переработки всякой пустынной колючки в звонкие рубли. Каракульская шкурка — дар природы. Еще в начале века предприимчивые скотопромышленники вывезли бухарскую овцу на Украину — в мягкий климат, на обильные корма. Но что-то изменилось в рисунке завитков на ягнячьих шубках: они словно потускнели, стали нечеткими.

Ее пытались разводить и в Америке, в Техасе. Ничего не получилось. Несколько бухарских баранов проследовали в свое время даже в Юго-Западную Африку. И благополучно расплодились там. А мех пошел не тот: волос начал расти мельче, плохо держался, а завитки изменились. Причина неудач известна: биологическая реакция овцы на несвойственные ей условия. А в привычном Закаспии она работает безотказно, несмотря на редкие кусты сухих трав, десятки километров кочевья, палящее солнце и соленую воду. А может, благодаря им?

По данным ООН, ежегодная потребность международного каракулевого рынка определяется в двадцать миллионов шкурок. Поступают же сейчас только десять. К этому следует прибавить растущую внутреннюю потребность Советского Союза. Понятно, что места разведения каракульских овец выгодно приумножить. Почему бы этими местами не стать пастбищам Мангышлака?

Вот какой ценностью может быть однообразная и скудная растительность полуострова. Правда, насчет того, возможно ли на Мангышлаке развитие каракулеводства, у специалистов нет пока единого мнения. Однако скорее всего этот спор мог бы решить организация какого-то опытного хозяйства.

И разве об одном только каракуле речь? А мясо? А шерсть?

Английские фермеры считают целесообразным вставлять тонкорунным овцам зубные протезы из пластмассы, чтобы продлить их жизнь на несколько лет. Обычно у овцы

к шести-семи годам собственные зубы стираются, в то время как способность приносить ягнят и давать хорошую шерсть сохраняется до пятнадцати лет.

Да, что говорить, овечья шерсть стоит и не таких мизерных затрат, как пластмассовые протезы. Тем более когда дает ее бросовый, по существу подножный корм.

Да почему, уместно спросить, только овечья? Верблюжья шерсть тоже, как известно, не нуждается в рекомендациях. А верблюдов на Мангышлаке, все на той же степной колючке, разводят испокон веку.

Конечно, улучшение пастбищ здесь дало бы (и быстро) колоссальную отдачу. Но до этого руки дойдут, видно, не скоро. Так надо по крайней мере хотя бы сберечь ту растительность, которую дарит природа. А пока что пастбищ на Мангышлаке становится все меньше.

Попутно с промышленным развитием полуострова человек ненароком успевает внести печальные коррективы и в животный мир степи.

Прежде по всему Мангышлаку водились стада диких сайгаков и джейранов, встречались волки и рыси. Рассказы геологов пятидесятых годов полны воспоминаниями об удачной охоте на машинах и даже на мотоциклах. Трудно в чем-либо винить геологов, месяцами живущих на консервах. Но животным крепко досталось.

Многие шоферы, далекие от интереса к зоологии, знают примечательные подробности в повадках местных животных. Увы, знание повадок было обращено не на доброе дело. Бедных копытных били все кому не лень.

В общем, всю дикую живность распугали настолько, что оставшиеся сильно поредевшие стада ушли в глубь полуострова, ближе к Южному Устюрту и Кара-Богаз-Голу.

Но в природе все взаимосвязано, и трудно сейчас сказать, как отразится на состоянии степи оскудение ее естественной фауны. Надо думать, что отразится пагубно.

Несколько лет назад сайгаки у нас в стране вообще считались вымирающим видом: настолько сильно их истребили. Однако с большим трудом на Арале и в Калмыкии удалось восстановить промысловое стадо, которое сейчас насчитывает около миллиона голов. Появилась возможность добывать ежегодно десятки тысяч сайгаков. Это — мясо, поступающее в фонд государства. Это — восковидные рога, высоко ценящиеся тибетской медициной и составляющие важную статью нашего экспорта.

Так не пора ли, пока не поздно, всерьез подумать и о мангышлакских сайгаках? А заодно о джейранах. Подумать об их судьбе и разумном использовании. Наверное, для новых городов и поселков полуострова этот дополнительный и постоянный резерв свежего мяса совсем не был бы лишним.

Но тут опять обязательно встанет вопрос о пастбищах. А между тем интенсивность движения в степи растет, и сохранение минимального степного покрова уже становится настоящей проблемой.

Невозможно себе представить, чтобы где-нибудь в степной Украине или в саратовском Заволжье какой-нибудь бойкий шофер ради сокращения себе пути безнаказанно раскатывал бы вкривь и вкось по луговине, с которой кормится скот. Да такого шофера живьем бы съели. Мангышлакская степь для овец и верблюдов — та же луговина или по крайней мере может быть ею. Но по этой степи ездить кратчайшими путями и вообще как бог на душу положит пока что в порядке вещей.

Вот почему единственное на Мангышлаке асфальтированное шоссе Шевченко — Узень — это качественно новое событие в степи, от которого следует начинать летоисчисление ее новой эры.

Шестиметровая лента твердого покрытия спасла от разрушения поверхность широченной полосы протяженностью в полторы сотни километров.

Но уже сейчас ширина дороги недостаточна. За сутки по ней проходит более двух тысяч автомашин. Встречные грузовики вынуждены съезжать на обочины. А с каждым днем интенсивность движения возрастает. Нужда во втором, параллельном, полотно ощущается все острее.

Дороги с твердым покрытием — это первое и обязательное условие спасения степного пространства от деградации и разрушения, первое и обязательное условие разумного и всестороннего развития полуострова.

Будет горько, если, войдя во вкус индустриализации Мангышлака, вспомнят о новых местных нуждах сельского хозяйства, лишь когда с почвой вообще будет покончено или когда станет неважно жить на всем привозном.

Открытие мангышлакской нефти — колоссальное событие. Но разве оно хоть в какой-то мере потускнеет от того, что рядом появится открытие мангышлакского каракуля, или от того, что полуостров станет крупным поставщиком шерсти и мяса? Насыщенность техникой уже сейчас позволяет положить в фундамент этих хозяйственных отраслей два таких весомых кирпича, как снабжение водой и электроэнергией.

Не должно получиться так, что пришел человек в степь, а превратил ее в пустыню. Пусть с оазисами зеленых городов, но все-таки в пустыню. Города должны жить и благоустраиваться не за счет окружающего ландшафта, а вернее сказать, не в отрыве от него. Тем более что степь, при кажущейся ее монотонности, многообразна и удивительно щедра. Она тоже — дом, где мы живем.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

О. ТУГАНОВА,
доктор исторических наук

★

ПРОТЕСТУЮЩАЯ АМЕРИКА

Шестьдесятые годы двадцатого века. Чрезвычайно важные для истории века в целом, для судьбы такого народа, как американский. Начало шестидесятых годов в США — первая настоящая оттепель со времен маккартизма. Возрождение либеральных демократов. Напористые молодые политики и ученые-мозговики, стремящиеся оседлать космический век. Потеря гибкости в официальном американском курсе, отмеченная гибелью президента Джона Кеннеди. Тяжеловесность техасского стиля правления в последующие годы, и наряду с этим бурная вспышка во второй половине десятилетия радикально-демократических, а также левацких и анархических настроений и движений, вспышка, оказавшаяся устойчивой и положившая начало новому большому течению, новому процессу в организме американского общества. Резкое столкновение левых и крайне правых тенденций на пороге семидесятых годов. Контраст между Соединенными Штатами начала и конца шестидесятых годов бросался в глаза и не мог не поражать.

* * *

О Соединенных Штатах и об американцах рассказывать трудно. Прошло девять лет после моей первой и три года после второй поездки в США, и только сейчас нашлось, «прорезалось» самое главное, основное впечатление от американцев, которое постоянно раньше ускользало, чем-то заслоненное, искаженное старыми, традиционными взглядами.

Бизнес, деловитость, технические чудеса — более или менее привычные и справедливые понятия для «определения» американца. Но, пожалуй, их быт сейчас другие характеристики. Современный американец любит объяснять самого себя, прислушиваться к своим внутренним духовным процессам, говорить о них. Кто я и что я? Каков мой семейный анамнез? К чему я стремлюсь? Американец как будто все время ставит диагноз самому себе.

С первых же дней первой моей поездки в США в 1961 году я столкнулась с этим психологическим диагностированием американцами самих себя.

Рассказать «свою историю» — эта жажда была у многих американцев. Возможно, они воспринимали это как свой долг. «Устали ли вы?», «Каковы ваши впечатления?», «Посмотрите сюда, вот это любопытно» — ничего подобного мы не услышали от улыбающейся женщины-инженера, которая везла нас с аэродрома в Сан-Франциско после оглушающего — впервые в жизни — перелета через океан и через американский континент: Нью-Йорк — Сан-Франциско.

— Здравствуйте, — сказала она. — Мы рады, что нам удалось наконец пробить эту канцелярщину и добиться вашего приезда сюда.

В машине она почти сразу же начала говорить о том, что ей, видимо, важно было рассказать нам:

— Наша семья пошла с бунтарства. Прабабка с материнской стороны — английская аристократка — полюбила батрака, отправилась с ним за океан и народила кучу детей. Прадед мужа — выходец из Брауншвейга; он отказался отбывать воинскую повинность,

бежал из-под ареста и тоже отправился в Америку. Гражданские права и борьба за мир — это наша семейная традиция. Мы с мужем поделили сферу своей деятельности. Генри — член демократической партии и участвует в движении за гражданские права. А я больше занята антивоенным движением и основала комитет по обмену дружественными встречами с людьми из других стран. Я уже говорила вам, что нам пришлось пустить в ход все свои связи в Вашингтоне, чтобы пробить для вас визу.

Скачок из далекого прошлого неожиданный и, казалось бы, слишком прямолинейный. И тон проповеди, каким велся рассказ, также был несколько неожидан, особенно для улыбающейся, спортивного вида женщины — инженера и совладелицы фирмы по изготовлению наглядных пособий для школ, — обеими ногами крепко стоящей на земле. Смысл ее рассказа мог быть только один: «Я не позволю себе быть зависимой от того, что делается в Вашингтоне. От себя и своих убеждений я и мне подобные не отказываются и не могли отказаться во все времена обожествления «лояльности», запугивания вражеским окружением и ядерного психоза. Такие, как я, — соль земли американской».

Иллюзии могут быть разного рода. Эта иллюзия принадлежала к числу тех, которые поднимают на действие. Самое основное, что ощущалось в США в 1961 году, была поразительная убежденность американского либерала в том, что он снова начинает возрождать, он снова в силах возродить свою демократическую традицию. В этом смысле была вполне «современна» и апелляция к памяти дедов и прадедов — они делали «свою» Америку сами.

Ведь и Джон Кеннеди, вступивший в должность президента в январе 1961 года, апеллировал к памяти дедов и отцов, призывая проникнуться духом первых поселенцев и быть достойными их, достигнув новых рубежей величия для Америки. Наступала эра очищения после скверны маккартизма, эра обращения к морально-этическим ценностям из духовной копилки далекого прошлого.

В этом было одно из решающих отличий 1961 года от второй половины шестидесятых годов, когда появились радикальные и особенно леворадикальные группировки, нарочито жестко и жестоко отрезавшие для себя возможность прибегнуть к идеалам прошлого в любой их трансформации, сконцентрировавшись только на будущем, пусть даже совершенно лишенном реальных живых образов, представляющем собой для них почти что полную пустоту, — это и было, с их точки зрения, благом.

Другое решающее отличие 1961 года от второй половины шестидесятых годов — в том, что американский либерал 1961-го не ощущал себя оппозиционером, сопротивителем. Он считал, что перелом к лучшему совершился, и он ждал от Кеннеди многого.

«Кеннеди надо дать время. Если мы будем настаивать на слишком крутых переменах немедленно, это вызовет активную контрреакцию правых сил, и мы можем погубить все дело. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Мы должны действовать очень обдуманно. Я верю, что Кеннеди будет еще более велик, чем Рузвельт. Но надо дать ему время. Нужно время, чтобы повести за собой, шаг за шагом, «среднего американца». Так говорили инженер Олив и ее друзья.

Состоятельная семья Олив; журналистка Рут из Нью-Йорка, продавшая свои акции, чтобы «не иметь отношения к системе эксплуатации»; тихая Френсис, одна из сотрудниц знаменитого Калифорнийского университета в Бэркли, — эти и еще многие семьи, можно сказать, кланы «кеннедиевских демократов», звено за звеном образовали единый и четкий конвейер, восходивший вплоть до правительственных учреждений в Вашингтоне. У вашингтонского конца этой цепочки находился в числе прочих сенатор Губерт Хэмфри. Именно Хэмфри был одним из тех влиятельных людей в Вашингтоне, который помог «пробить визу» для делегации советских женщин. Прибытие этой делегации само по себе, конечно, не было таким уж важным событием. Но важен был «тайминг» — верный расчет времени. Игра на русской карте уже не была, как несколько лет назад, неизбежным просчетом — скорее возможным политическим выигрышем.

Для «кеннедиевских демократов» главными, отправными позициями стали гражданские права, диалог с Советским Союзом, избавление от ядерного наваждения.

Отправная точка антивоенного движения была для большинства американцев

ной, чем для европейцев. Это движение, питаемое воспоминаниями о страданиях и унижениях второй мировой войны, прокатывалось высокими волнами по европейскому континенту в конце сороковых — начале пятидесятих годов, не вызвав отклика той же силы в США. Даже корейская война не вызвала сколько-нибудь широкого демократического движения в США. Начало заметного подъема антивоенного движения в США относится к концу пятидесятих — началу шестидесятих годов. Оно достигло силы европейского движения гораздо позднее — в связи с войной во Вьетнаме.

Психологический толчок дало широко распространившееся к концу пятидесятих годов среди политически активных американцев ощущение стагнации. Монополия официального государственного мировоззрения, навязанная «лояльность» еще могли быть, хотя и с трудом, терпимы американцем, пока США оставались тем, чем они привыкли быть, — страной «номер один». Но жертвоприношение гражданских свобод во имя эффективности системы оказалось напрасным: не США запустили первый спутник в 1957 году и не они вывели в космос первый корабль с человеком на борту 12 апреля 1961 года. Американца принудили быть конформистом, но это не прибавляло здоровья экономике. Ежегодный экономический рост упал до чрезвычайно низкой цифры в 2,5 процента. Безработными были в 1961 году пять миллионов человек (6,8 процента наличной рабочей силы).

Эффективность жесткой системы «лояльности» оказалась иллюзорной. Напротив, она отнимала разбег и темп. Военное усилие также оказалось во многом иллюзорным: после прорыва, совершенного Советским Союзом в ядерном и космическом исследовании, самое большее, на что могли рассчитывать США, это на постоянное соревнование в этой области с переменными успехами для той и другой стороны, но всегда примерно на равных уровнях и всегда тяжелое и изнурительное и сопряженное с видением апокалиптической катастрофы человечества.

На этом рубеже событий, совпавшем с рубежом между пятидесятыми и шестидесятыми годами двадцатого столетия, появились и сомкнулись кланы «кеннедиевских демократов».

И Кеннеди и «кеннедиевские демократы» искали новый угол зрения на роль и место США в мире. Кеннеди сказал о том, что не существует и не может существовать «американского решения» международных проблем. Решения могут быть найдены только в процессе взаимного приспособления и компромисса. Кеннеди указал те основные области, в которых, по его мнению, совпадают интересы США и Советского Союза: освобождение от бремени гонки вооружений, избавление от угрозы ядерной войны, нераспространение ядерного оружия, устранение вреда ядерного заражения атмосферы, расширение сотрудничества и обмена товарами, людьми, идеями.

Кеннеди выступил как защитник гражданских прав американцев — всех американцев, включая негров, и одним из первых его шагов на посту президента было продление действия комиссии по вопросам обеспечения гражданских прав и создание комитета по вопросу обеспечения равных возможностей в области труда, что в первую очередь касалось негров. Еще будучи сенатором, в 1959 году, Джон Кеннеди предложил сенату упразднить статью о присяге в лояльности, содержащуюся в Законе об образовании, в интересах национальной обороны 1958 года. Кеннеди сказал при этом в своей речи в сенате: «Конечно, многих из тех, кто в силу этой статьи лишится возможностей (получать материальную поддержку. — О. Т.), можно назвать неконформистами и несогласными. Но имея в виду наши усилия по привлечению к научным исследованиям самых талантливых, самые аналитические умы нации, мы, я уверен, не захотим отстранить неконформистов и несогласных. Вовсе не обязательно, что те, кто даст присягу, окажутся более лояльными или более талантливыми, чем те, кто откажется ее дать».

Став президентом, Кеннеди не пошел на уничтожение системы проверки лояльности. Эта система как установление постоянно присутствующее, хотя бы и на втором плане, продолжала существовать; однако антидемократические законы и процедуры применялись реже и мягче. Кеннеди шел, так сказать, от частных случаев: меньше дискриминации для негров, меньше ограничений для ученых. Конечно, это помогало очищению атмосферы, давало опору либеральным течениям.

Джон Кеннеди и «кеннедиевские демократы» часто говорили одним голосом и почти что в одних выражениях. Однако один из ключевых вопросов заключается в том, шли ли «кеннедиевские демократы» только теми путями, которые указывали им Кеннеди и его ближайшее окружение, или же они поднимались, когда чувствовали недостаточность и половинчатость правительственных решений, до критики, несмотря на свое увлечение личностью Кеннеди и динамизмом его политики. Ответ на этот вопрос определяет собой величину потенциального заряда, который был заложен в демократическом движении начала шестидесятых годов.

«Кеннедиевские демократы» видели опасность давления крайне правых кругов на правительство и отводили себе вполне самостоятельную роль борцов против этой опасности. Угроза справа. Угроза ультра. Многие из клана «кеннедиевских демократов» в Калифорнии говорили: «Угроза фашизма». «Поверьте, вы в Советском Союзе недооцениваете угрозу фашизма в США».

Угроза фашизма в США в 1961 году? Это перенесение на американскую действительность понятий и представлений, навсегда связанных с политикой третьего рейха, казалось почти кощунственным. Третий рейх должен был навсегда остаться в памяти особняком, вне всяких параллелей и сравнений.

— Вопрос меры, конечно, — парировали Олив и Рут. — Но и скидок делать нельзя. Пусть это не точный слепок с нацистской Германии — да точных слепков история никогда и не дает; но вспомните, как действовали нацисты...

Воинствующий дух антифашизма — ранее обращенный вовне страны, но после тяжелых лет маккартизма обратившийся вовнутрь. И в то же время проповедь осторожности и постепенности, чтобы не вызвать из преисподней духов фашизма... Два предела, между которыми колебался «кеннедиевский демократ»; два предела, давно знакомых левым всех мастей — и либералам и социалистам — в европейских странах. Однако «кеннедиевский демократ» не поставил Кеннеди над собой — это было несвойственно американскому политическому мышлению — и не гнал от себя мысль о возможном грехопадении президента. В какой-то мере он считал, что ведет сражение за самого Кеннеди. Критическая нотка и решимость «кеннедиевских демократов» нарастали по мере того, как, по их мнению, нарушалось молчаливое «джентльменское соглашение», исходившее из того, что новому правительству дается некий аванс доверия, но этот аванс надо отработать. Постепенно стали возникать кризисы во взаимоотношениях президента Кеннеди и «кеннедиевских демократов». И вот тут-то и произошла метаморфоза «кеннедиевского демократа» в американского либерала шестидесятых годов.

Первым взрывом, нарушившим медовый месяц Кеннеди и американских либералов, была злосчастная авантюра в Заливе Свиней в апреле 1961 года — публичное унижение США, к тому же всего несколько дней спустя после триумфального полета Юрия Гагарина. «У нас на улицы вышло больше трех тысяч человек, демонстрируя свой протест», — писала мне Олив из Сан-Франциско.

Во время поездки в США мы почувствовали интерес и довольно часто встречавшиеся выражения симпатии к Кубинской республике. В левых журналах и в студенческих газетах и листках появлялись статьи, доказывавшие, что на Кубе совершилась революция народа и что бойкот Кубы наносит ущерб самим США. Книга профессора Райта Миллса «Послушай, янки!», написанная в форме писем кубинского революционера американцу, разошлась в 400 тысячах экземпляров, что очень много для США. Кое-кто из американцев, чтобы увидеть все «своими глазами», отправился на Кубу. Куба была одним из тех явлений, от которых зачинался уже не только либерализм, но радикализм.

Для меня отношение левого американца 1961 года к Кубе осталось связанным с фигурой Ричарда Аллисона — в прошлом моряка и профсоюзного лидера, человека с жестким взглядом и напряженным торсом боксера, боксера наготове, боксера, наносящего быстрый упреждающий удар. Аллисоны побывали на Кубе.

«Фидель — настоящий руководитель. Народ Кубы счастлив. Вот что нам надо — вооружение народа, как это сделано на Кубе», — говорил Ричард. Куба для Ричарда Аллисона была как-то связана с тем, что он делал дома, в Калифорнии. Он изучал положение сельскохозяйственных рабочих, а большинство их в Калифорнии — мекси-

канцы. Ричард сделал несколько короткометражных фильмов о жизни, вернее, прозябании этих рабочих: «Сбор урожая», «Забастовка сельскохозяйственных рабочих в Импириэл Вэлли».

Куба — в апреле; а в конце лета 1961 года американский либерал снова выступил против Кеннеди. Берлинский кризис и воинственные речи президента по этому вопросу встревожили американца. Резкое столкновение двух ядерных «сверхдержав» запало в умы (кубинский кризис осени 1962 года еще больше сделал в этом отношении), и когда в те же летние месяцы Кеннеди заговорил о строительстве убежищ против ядерной бомбы, женщины США вышли на демонстрации в семидесяти городах под лозунгом: «Дайте нашим детям жизнь!»

Почва для организованного выступления была подготовлена той работой, рассказ о которой, признаюсь, не раз вызывал мысль о теории и практике «мелких дел».

— Сейчас в стране примерно двести пятьдесят ячеек, которые ведут борьбу против гражданской обороны (противоатомная подготовка и противоатомные учения), — рассказывали калифорнийские «кеннедиевские демократы». — Ядро — это один-два человека, которые ведут работу среди десяти — двенадцати человек, встречаясь с ними в семейном кругу. Иногда мы пишем письма или обращаемся лично к членам конгресса, возражая против бессмысленной траты средств на «гражданскую оборону». Нет, единого руководящего центра нет. Нам кажется, он не нужен, во всяком случае пока что.

Осенью Рут и Френсис написали мне о том, что создана новая, более решительная, чем все прежние, женская организация «Женщины, боритесь за мир» и что эта организация «вышла на улицы».

Сто девяносто американцев — делегатов, наблюдателей и людей, приехавших «сами по себе», — участвовали в работе Московского конгресса за разоружение и мир летом 1962 года. Американцев на конгрессе было больше, чем делегатов любой другой страны. На Всемирный фестиваль молодежи в Вене приехали 400 и на Фестиваль молодежи в Хельсинки примерно 450 молодых американцев.

Во все эти события вкраивалось что-то от запланированной Вашингтоном тактики «наведения мостов». Но история ставила и решала проблемы шире и глубже. 1961—1962 годы — это целая эпоха в либеральном движении в США: от семейных кланов до внушительных демонстраций у стен Белого дома против ядерной бомбы и ее испытаний. Американские либералы взорвали ограничения в общении с людьми из «другого мира». Они доказали свое превосходство над официальным правительственным либерализмом, отказавшись получать его дозированными порциями сверху.

Конечно, эти люди были пионерами по своему духу. И, как говорится, им благоприятствовало время; оно способствовало и тому, чтобы они не остались одиночками. На рубеже пятидесятых и шестидесятых годов начался подъем студенческого и негрятянского движений.

Облик студенчества, которое на протяжении долгого времени называли «безгласным поколением», изменился. Уклончивый, «себе на уме» молодой человек времен маккартизма и полумаккартизма перестал задавать тон. Студенчеством и учащимися колледжей овладела нерасчетливость, чувство товарищества, пристрастие к политическим дискуссиям. В университетах стали возникать группы по изучению международной политики и кое-где группы изучения социалистических учений и марксизма. Появились на свет студенческие издания, само название которых ясно говорило об их направленности; нам показывали некоторые из этих изданий: «Изучение левой мысли» (Висконсин), «Новая мысль в университетах» (Чикаго), «Дискуссия» (Корнельский университет).

Новое поколение не соглашалось перенимать на ходу ту идеологию, которую ему предлагали. Оно начало свою собственную проверку идей.

Национальная ассоциация студентов на съезде в 1962 году приняла специальные резолюции против закона Маккарена о проверке лояльности и против испытаний ядерного оружия. Съезд высказался также против предоставления Соединенными Штатами военной и экономической помощи реакционным диктаторским режимам

В университетах заговорили о «жизни, наполненной реальным смыслом».

Пробуждение у молодежи интереса к международной политике и к политике вообще, несомненно, подогревалось приходом к власти молодого президента и его гвардии гарвардских мозговиков. Тип молодого политика а-ля Кеннеди был распространен в учебных заведениях, особенно в привилегированных, типа Гарварда. Однако появление кружков по изучению марксизма, а также бурное увлечение многими студентами революцией «молодых бородачей», личностью Че Гевары и Фиделя Кастро были явлениями иного порядка. Левая часть студенчества попыталась выработать свою платформу и организовать в национальном масштабе. В 1960 году возникла организация «Студенты — за демократическое общество», выступившая с резкой критикой не только тех или иных сторон американской действительности и политики Вашингтона, но поставившая под сомнение ценность всего существующего «истэблшмента». Одним из основных лозунгов СДО стала «демократия участия».

— Наша «демократия» работает на холостом ходу,— объяснял нам один из студентов, входивших в СДО.— Где-то что-то делается, где-то что-то вершится, кого-то мы выбираем... Но ощущения реальности, реальной причастности к событиям у нас нет. Мы не хотим растворяться в каком-то ирреальном макромире. И кроме того, микромир тоже имеет право на существование — люди должны снова найти друг друга. Люди — как источник и как цель всего. Конечно, это общеизвестно, но когда-то должно быть воплощено в жизнь. Мы говорим: демократия участия немедленно; так же как негры говорят: свобода немедленно.

«Студенты — за демократическое общество» сформулировали свою платформу на съезде в Порт-Гуроне в 1962 году. Помимо требования «демократии участия», которое они объясняли нам в 1961 году, в программе были определены следующие перспективы: контроль общества над основными средствами производства, разоружение, бескорыстная помощь развивающимся странам, коренная реформа высшего образования.

Нам рассказывали о нескольких случаях, когда студенты организовали сбор продовольствия для бастующих рабочих. В ту пору это были случаи редкие, исключительные, однако свойственные общему духу движения студенчества.

Студенческие волнения, в которых участвовали и либералы, и более радикально настроенные студенты, имели общегражданский смысл и значение. Это было подчеркнуто отступлениями сил, державшихся за маккартизм. В 1962 году в университетах началось движение за право и возможность выступления в студенческих аудиториях людей любых политических взглядов. Эта кампания шла под лозунгами «выслушать всех» и «запретить запрет». Студенты добились своего, и лидеры коммунистического движения получили возможность выступить перед студенческими аудиториями. В 1965 году под давлением студентов, к которым присоединилась часть профессуры, в Нью-Йоркском университете было отменено принесение присяги в «некоммунизме», что прежде требовалось от всех преподавателей. В том же 1965 году коммунисты шли в рядах участников похода 25 тысяч американцев на Вашингтон, инициаторами которого была организация «Студенты — за демократическое общество». В дальнейшем при проведении общественностью крупных антивоенных акций политика неисключения коммунистов, в противоположность практиковавшейся до того политике исключения, стала правилом.

Расовые отношения, привычные для США, были перевернуты студенчеством вверх дном. Американский студент-белый начала шестидесятых годов не отстранялся от негра, но, напротив, стремился к самому тесному соприкосновению со своим сверстником, черным по цвету кожи, и даже в какой-то мере идеализировал его, считал своим долгом добиваться и заслужить ответные дружбу и уважение.

Душная атмосфера в американском обществе достигла такой точки, когда для значительного числа американцев личное благополучие переставало быть решающим критерием и склонность к пренебрежению им и даже к самопожертвованию возрастала. Это та самая важная черта, до которой обычно не начинаются крупные изменения в обществе.

Но и прикидка на свою личную судьбу имела, конечно, большое значение.

— Вот здесь обычно висели приглашения на работу. Их давно не видно,— говорили нам студенты.

Для негритянского движения материальный интерес — экономические условия существования — имел самое непосредственное значение; для многих он означал просто-напросто возможность или невозможность выжить. Большое число негров в результате технического прогресса в сельском хозяйстве, а также изменения его профиля (от хлопководства к скотоводству, не требующему такого количества рабочих рук) оказалось в 1960—1965 годах согнанными с земель Юга и растеклось беспомощной и безликой массой по городам Соединенных Штатов. Снялось с мест примерно два миллиона негров-южан, и многие из них стали в самом буквальном смысле аутсайдерами для американского общества — людьми, не находящими себе никакого применения. Однако даже для негритянского населения США восстание против существующего порядка диктовалось не только интересом экономическим, материальным. В конце концов появилась ведь и прослойка негров, относительно благополучных с точки зрения материальных условий своего существования. В южные штаты двинулась крупная индустрия; не последней причиной послужило то, что здесь не было мощных профсоюзов, с которыми хозяевам приходилось вести жестокую борьбу и торг при заключении коллективных договоров. Сотни тысяч негров на Юге влились в промышленность и прошли обучение, требовавшееся для этого. В значительной мере благодаря использованию негритянских рабочих рук Юг быстро индустриализировался и ко второй половине шестидесятых годов занял по численности рабочих третье место — вслед за Средним Западом и Северо-Востоком. Процесс вовлечения негров в индустрию шел повсеместно. К концу 1963 года три четверти всех занятых негров были рабочими. К 1967 году негры составили 11 процентов населения и примерно 20 процентов рабочего класса США. Американский негр стал частью сверхсовременной производственной машины США. И он и его дети захотели стать равными по крайней мере американскому белому рабочему, а может быть, и белому с университетским образованием. Поэтому даже «благополучный негр» вел борьбу. Забегая вперед, хочется в этой связи сослаться на ход восстания летом 1967 года негритянского населения города Детройта — одного из центров американской автомобильной империи, считавшегося к тому же «образцовым» по «расовым взаимоотношениям». В этом восстании, одном из сильнейших в бурные шестидесятые годы, участвовали не только безработные негры, но и вполне обеспеченные, получавшие высокую заработную плату кадровые рабочие-негры заводов Форда и Крайслера, а также негры-студенты. «Благополучный негр» еще не успел выделиться в касту лиц, безразличных к общим интересам бедствующего негритянского населения или хотя и сочувствующих, но отстраняющихся от борьбы. Напротив, он также вступал в борьбу не только за хлеб насущный, но за общие интересы негритянского народа, за его будущее. И тем, чем для американского радикала была Куба, для американского негра стала Африка. Американские газеты не могли не печатать новостей о событиях в Африке, и с их страниц на американского негра смотрели лица африканских лидеров, а в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН прибывали посланцы африканских государств.

Вождь американской нацистской партии Линкольн Роквелл заявил в то время: «Когда мы придем к власти, мы выделим пятьдесят миллиардов долларов, чтобы создать современное индустриальное государство в Африке, и предложим десять тысяч долларов каждой негритянской семье для переселения туда. Мы никого не будем принуждать возвратиться в Африку. Но те негры, которые останутся здесь, будут подвергнуты самой строгой сегрегации в резервациях».

В свою очередь в освободительное движение негров начинал вплетаться и крайний «мессианский» черный национализм («потерянная нация ислама», «час судьбы», «судный день», «собрание народа» — вся эта фразеология «черных мусульман» отражала идею мессианства).

Организация «черных мусульман» выступила за изоляцию негритянских общин от белых и за создание очага «черной нации» в США — закрытых для белых территорий расселения только черных в одном или нескольких штатах или в границах определенного района. Однако в начале шестидесятых годов отнюдь не эти настроения были преобладающими. Негритянское движение, опираясь на программу и обещания Кеннеди

и вызывая к Кеннеди, вело борьбу за равенство и по сути дела за ассимиляцию. Так же как американский либерал вел борьбу «за Кеннеди» против ультра. В негритянском демократическом движении выдающейся и трагической фигурой стал Мартин Лютер Кинг.

Это были основные линии гражданских столкновений в начале шестидесятых годов. И примечательно, что американский либерализм и освободительное движение негритянского населения вовсе не оказались беспомощными в «честном противоборстве» против ультра.

В последние годы своей жизни Кеннеди, казалось, заторопился, как будто чувствуя, что если он не сделает крупных шагов вперед, то будет смят правыми и обречен на поражение и потомки вынесут ему приговор как еще одной исторической посредственности. В Оксфорде и Тускалозе президент пустил в ход вооруженные федеральные силы для того, чтобы заставить местные власти выполнить решение верховного суда США о допущении негров в белые университеты. Были созданы некоторые преграды для пропагандирования, по крайней мере открыто, в армии взглядов ультра, настойчиво стремившихся превратить вооруженные силы в свой резерв.

Проходя через периоды оттепелей и новых кризисов во взаимоотношениях с Советским Союзом, Кеннеди пришел в итоге неполных трех лет своего президентства к укреплению своей веры в возможность разговаривать «нормальными голосами», «без предвзятости» с Советским Союзом и в необходимость избегать ситуации «последнего часа», когда перед обеими сверхдержавами остается только один выбор: унижительное отступление или ядерная война. В знаменитой речи «Стратегия мира», произнесенной в Американском университете в Вашингтоне 10 июня 1963 года, за несколько месяцев до своей гибели, Кеннеди выразил именно эту мысль и призвал «пересмотреть» «наше отношение к Советскому Союзу». Прямая линия связи между Вашингтоном и Москвой, запрещение ядерных испытаний и, в перспективе, ограничение распространения ядерного оружия — обо всех этих мерах было сказано в этой речи.

Позже в американской прессе высказывалось мнение, что эта речь и твердая решимость, прозвучавшая в ней, стоили Кеннеди жизни. Как бы то ни было, в этой речи были воплощены главные внешнеполитические итоги, к которым пришел Кеннеди.

Возможно, что к 1963 году Кеннеди понял, что у него нет уже большого резерва времени, и в то же время ощутил, что та политика, которую наметил молодой Кеннеди и которую еще раз теперь подтвердил уставший и постаревший президент, пользуется достаточной поддержкой в стране и что если он придет с ней на выборы 1964 года, он снова победит.

Ультра также со своей стороны считали, что у них не остается времени. В 1961 году правые нащупывали друг друга и налаживали между собой связи. В 1963 году они нанесли удар. Приход к власти правительства Джонсона означал поворот к официальному консерватизму.

Примечательно, однако, что правые прибегли к террористическому акту — убийству. Правые не рассчитывали на возможность широкой поддержки в том случае, если они выступят с открытым забралом. Кроме того, ультра не смогли получить значительного влияния в правительственных сферах. Все это говорит о том, что влияние либерального движения было намного весомее, чем можно было бы ожидать, если подсчитывать его сторонников и шансы только арифметическим путем.

Однако и арифметика кое-что значила. На выборах 1964 года демократическая партия победила, получив самый большой перевес голосов за всю американскую политическую историю. Это был еще капитал, накопленный Кеннеди, из которого черпал новый президент Линдон Джонсон в первое время своего правления. В то же время и призрак ультра не уменьшился в своих размерах. Республиканская партия выдвинула своим кандидатом на пост президента в 1964 году сверхреакционера Барри Голдуотера, и он хотя и не победил, но собрал 27 миллионов голосов.

«1968 год (следующие выборы президента.— О. Т.) будет годом, когда нам особенно придется поволноваться из-за фашистов. Я уверена, вы понимаете, чем вызвано у нас это явление. Наступил конец целой эпохи. Наши заводы загружены примерно на тридцать процентов ниже своих возможностей. Мы с легкостью могли бы

производить все то, что нужно нашему народу, и все же у нас еще осталось бы множество людей, для которых не нашлось бы работы. Но им можно было бы дать работу, если бы мы занялись совершенствованием качества нашей жизни — больше прекрасных городов, возможностей для отдыха человека. Автоматика находится у нас в самом расцвете... Чем больше чувствуется давление в пользу мира, чем ближе мы к концу холодной войны, тем больше нажима надо ждать и от этих безумных...» — писала мне в сентябре 1964 года Олив.

Она оказалась права, оценивая ситуацию 1968 года: на выборах в этом году ультра Уоллес собрал такое число голосов, какого никогда не имела ни одна «третья партия» в истории США. Позже и тезису о «качестве жизни» предстояло занять свое место в политическом лексиконе США. В 1970 году в послании конгрессу президент Ричард Никсон назвал совершенствование «качества жизни» американца главной заботой и целью своей политики, главной перспективой для американца.

В течение всех шестидесятих годов оказалось невозможным скинуть с политических весов ни американского либерала, ни ультра. Заслугой же американской истории второй половины сороковых годов и годов пятидесятых было то, что она дала американцу немалый политический опыт. Вследствие этого процессы либерализации стали во многих отношениях необратимы.

* * *

1961 и 1967 годы — прошло шесть лет между первой и второй встречей с американцами. Оба эти года были переломными. Начало 1961 года — приход к власти Джона Кеннеди, расцвет либерализма и возобновление диалога с Советским Союзом. Начало лета 1967 года — эскалация войны во Вьетнаме, дошедшая до обстрела советских судов в порту Хайфона; внезапная война на Ближнем Востоке. Выход оппозиционной Америки на улицы американских городов.

Теперь в Нью-Йорке и Лос-Анжелосе — городах, которые в 1961 году можно было проехать, не заметив ничего необычного, — возникало порой ощущение, будто вся Америка вышла на улицы и поселилась на них, особенно в вечерние и ночные часы, каким-то странным балаганом.

Эта вечерняя и ночная толпа — толпа, не помещающаяся на тротуарах и сползающая на мостовую, — не очень говорливая, скорее молчаливая толпа. По двое, по трое, в одиночку идут, молча остановятся, вдруг обнимутся. Увидели негра, сидящего на радиаторе оставленной у тротуара машины, подошли, расцеловались с ним: это почти как обряд. Идут дальше молча, почти молча. Стихийное братание, молчаливое, иногда два-три слова, поцелуй, похлопывание по плечу.

Философия этой молчаливой толпы выставлена напоказ: значки, прикрепленные к одежде, у некоторых вся грудь в комбинации различных значков. В полуподвальном магазинчике в Гринвич-вилледже — самом центре ночного бурления людей, «вышедших на улицы» в Нью-Йорке, — на прилавках книга «Ганди о ненасильственном сопротивлении», произведения Толстого и Торо, портреты Троцкого, книги Троцкого, портреты Мао Цзэ-дуна, красная книжечка с цитатами Мао, журнал «Анархия»... Все это продается вперемежку с советским политическим плакатом 1917, 1918, 1919, 1920 годов. Плакаты, призывающие к борьбе против Врангеля, Деникина, против помещика, попа, против гидры мирового империализма.

Новое кредо несут и «подпольные» фильмы.

Дело не в том, что они запрещены, — никто их не запрещает, заходи и смотри. Но их сделали режиссеры, сценаристы, актеры, ищущие новые пути, часто не профессионалы.

Многие подпольные фильмы — чистейший фрейдизм. Но есть и кое-что иное, хотя и с изрядной примесью тех же элементов. Например, фильм, названный «Рождение скорпиона».

Слепящая вспышка ярчайшей цветовой гаммы на экране. В страшном темпе пробегающие здания, здания, здания, машины. Детали машин, какие-то инструменты (вспоминаются полотна Леже). Затемнение. Комната. Кушетка. На кушетке парень, мускулистые ноги, туго обгнанные джинсами. Лица не видно. Он лежит, пово-

рачивается, снова поворачивается. Его комнату заслоняют мотоциклисты, мчащиеся на сверхскорости. Лиц нет; они закрыты мотошлемами. На мотоциклистах кожаные куртки, бляхи на поясах и нацистские железные кресты на шее, как свинчатки для свиревой драки. Затемнение. Снова юноша на кушетке. Он встает, одевается. Камера движется медленно, опять и опять показывая, как снаряжается этот парень — застегивает брюки, ременную бляху-свинчатку, вешает железный крест на шею. Руки движутся с каким-то сладострастным старанием. Наконец ненадолго возникает лицо. Но не успеваешь взглянуть — рука снимает со стены мотоциклетную каску, глубоко сажает ее на голову. Вспышки света. Бешено крутящаяся реклама. Одиночный мотоцикл на сверхскорости. Затемнение. Еще и еще мотоциклисты, мчащиеся на сверхскорости. Опять слепящие глаза красный, желтый, зеленый, фиолетовый — бешено крутящиеся цвета. Крик — первый звук человеческого голоса. Крик о помощи. Группа насильников избивает юношу. Намек на гомосексуализм. Крик.

И вдруг — пастораль. Мягкое освещение. Кадры проходят в розовато-кремовом, будто плывущем свете. Иисус Христос. Он идет пешком, едет на осле, исцеляет больного, входит в бедный дом. За ним движутся ученики...

И снова — разрывы цветовых гамм, вспышки огненной рекламы, детали машин, какие-то инструменты, разбросанные в беспорядке. Выхваченные детали комнаты, улицы. Мчащиеся мотоциклисты. Снова группа насильников, мучающих юношу. Крик, заполняющий весь зал, постепенно ослабевающий и затухающий: «На помощь! На помощь!»

Стены комнаты. Будничные, в полоску, обои. На них появляются паучки свастики — мельничные, как рисунок на обоях. Камера чуть двигается в сторону, показывает висящую на стене среди разноцветных полосочек обоев лубочную картину — лицо Иисуса Христа. Уже искаженного людьми Христа. Он лицемерно льет слезы; слезы каплют через раму картины, стекают по обоям.

Снова мотоциклисты, на бешеной скорости мчащиеся через экран на зрителя. Страшный скрежет. Мотоцикл на полном ходу врезается во что-то, взрывается. Бешеный ритм движения и гибель того ладного парня, который так медленно перед всеми нами застегивал ремень, навешивал железный крест на шею, натягивал куртку. Камера снова показывает мускулистые ноги в джинсах, бляху на поясе, складки кожаной куртки, пуговицы на карманах, железный крест, раскинутые руки. Застежки на перчатках. Лица нет. Лицо закрывает каска. Бешено мелькающие вспышки разноцветной рекламы. Конец.

Этот фильм можно воспринять как иллюстрацию к философии «новой левой оппозиции», вышедшей на передний план событий в США в середине шестидесятых годов. Хотя и с оговоркой: свести философию «новой левой оппозиции» к единому знаменателю невозможно. Она вобрала в себя радикал-пацифистов, радикал-анархистов, а также различные экстремистские группы, находящиеся под влиянием троцкизма и маонизма.

Потерявшие хозяина детали машин, зубчатые передачи, разбросанные в пустоте. Безликие люди. Они впряжены в ревушие мотоциклы. Они гибнут. Странные ассоциации. Разрозненные и потерявшие друг друга и связи между собой предметы. Современный хаос. Разорванность сознания. Современная жестокость. Насильничество в физическом и духовном планах. Все это — изображение художественными средствами политических тезисов: отрицание «индустриальной цивилизации», «однотипного индустриального общества», создающего «одномерного», «запрограммированного» человека. При этом не делается различия, идет ли речь о техническом аппарате производства и обществе капитализма или техническом аппарате и обществе социализма.

Но не следует забывать и важного вывода, сделанного авторами фильма: паучки свастики на обоях комнаты. Позиция авторов фильма — антинасилиничество, антифашизм.

Это течение не было «безродным». С середины шестидесятых годов подобные движения как будто бы скоординированно, хотя на самом деле этого не было, и как будто бы осознанно и целеустремленно, хотя и этого не было, возникли и бурно развились в США, во Франции, в Италии, в скандинавских странах и других высокораз-

витых странах западного мира. Они сопровождалась культом освобождения секса и новой музыкой (первая пластинка битлов была выпущена в США в январе 1963 года).

Фигуру современного бунтаря иногда единообразно называют словечком «хиппи». Американцы говорили нам, что это слово негритянского сленга и означает: «я — сведущий, знающий, понимающий суть вещей человек». Обойтись «одномерным» словечком «хиппи» невозможно, если только не ставить целью спрятать слишком серьезные явления за штампом забавляющегося сексом и наркотиками длинноволосого недоразвитого юнца.

После 1967 года прошло еще почти три года. Те, кого удалось легко перекупить легкими соблазнами, уже перекуплены. Однако рост радикальных и «сверхрадикальных» течений остался одной из характерных черт американского общества шестидесятых годов. Это была уже не борьба либералов и негров, добивавшихся освобождения, против ультра. Началась борьба против самой системы, самой власти.

В политическую борьбу сильно вплелось, как это всегда бывает в моменты кризисов, моральное осуждение верхов. Вашингтон вызывал не только критику, но и неуважение. Правящие круги говорили об анархии низов; на самом деле анархия царила в верхах, шла от верхов. О президенте говорили неуважительно. Странное расследование убийства президента Кеннеди породило у американцев брезгливость к делам «там, наверху». В 1967 году на театральных подмостках появилась пьеса «Макбэрд» — намек на шекспировскую трагедию «Леди Макбет» и на супругу президента, которую называли леди Бэрд. Властям пришлось закрыть глаза на представление этой пьесы, иначе скандал был бы еще большим.

Моральное отвращение усиливало отрицание «новой левой оппозицией» «традиционного общества» и современной цивилизации. Самой первой и примитивной ступенью гражданского сопротивления стало отстранение от общества, «уход» от «традиционного общества».

— Я не стараюсь заработать больше того, что мне нужно, чтобы прокормиться и иметь пару брюк и куртку. Работаю от случая к случаю — грузчиком, мойщиком посуды. Мы не хотим преуспевать, — объяснил нам один юноша.

Это — архиновое для Америки. Еще совсем недавно Соединенные Штаты в целом и каждый американец в отдельности рассматривались почти как синонимы преуспевания, стремления к преуспеванию во что бы то ни стало, любой ценой. Это было необходимой составной частью самоутверждения американца. Теперь уважается и самоутверждение прямо противоположного характера.

Ярче всего «уход из традиционного общества» воплотился в создании «антиобщины», которая должна была дать простоту и полнокровность человеческих отношений и одновременно развить эстетическое творческое начало, в том числе и во всех видах трудовой деятельности, в противоположность ощущению отчуждения и враждебности человека в отношении себе подобных, общества и природы, прививаемых «современной цивилизацией».

Дэвид Макрейнольдс, один из активных участников радикал-пацифистского «Движения сопротивления войне», рассказал нам об «антиобщине» «Два дуба». Это — 123 акра в Вирджинии, бывших прежде табачной плантацией, 13 членов «антиобщины» (и обычно пять-шесть заходящих гостей), объявивших себя «послереволуционным обществом». Их занятие: обработка земли, изготовление гамаков и разведение племенных телят на продажу. Отличие «антиобщины» «Два дуба» от многих других «антиобщин»: «признание» техники, отсутствие культа религии, секса и наркотиков, четкое распределение и очередность обязанностей. Члены «антиобщины» не стали проповедниками своих взглядов среди местного населения, так как «Два дуба» расположены в округе, где издавна силен ку-клукс-клан, но тем не менее они верят в то, что постепенно все больше людей «будет следовать их примеру».

В конце шестидесятых годов Нью-Мексико — сравнительно мало населенный штат (и потому «приспособленный» Вашингтоном для ядерных испытаний, военных баз и национальных парков) — начал переживать настоящий бум в связи с нашествием американцев, отошедших от «традиционного общества». Они стали открывать «макробиотические» рестораны, магазины неконсервированного и не проходящего никакой искус-

ственной обработки продовольствия, ткацко-прядельные и керамические мастерские, центры буддизма, кинокомпании, мастерские ремонта автомашин, студии изучения гимнастики йогов и приемов карате. Начался бум продажи земельных участков, на которых селились «антиобщины».

Бум «антиобщин» создал в штате Нью-Мексико драматическую ситуацию, вполне в духе «традиционного общества». Пришельцы гандистско-толстовского толка невольно оказались в роли колонистов-завоевателей. Они создали сильную конкуренцию страдающим от безработицы и лишенным земли чиканос — местному мексиканскому населению. А учитывая давний конфликт между индейцами и мексиканцами, возник осложненный трехсторонний антагонизм: «длинноволосые хиппи» — чиканос — индейцы.

Видимо, нет ничего нереального в мысли о том, что в будущем произойдет «отрицание отрицания» и механизмы огромных мощностей, но малых габаритов дадут возможность избавиться от сверхгородов и перенести центр тяжести на жизнь общины или коммуны при сильной децентрализации всего политического и экономического аппарата. Сверхтехника, община и высший эстетический идеал сольются тогда воедино. Настроения протеста участников «антиобщины» — иногда протеста высокого накала — несомненно, несут в себе положительный заряд. Но «антиобщины» были и остались навивной и бессильной формой протеста. Они не смогли и не могут выйти из круга старых социальных напряженностей, а многие «антиобщины» закрепились как новая предпринимательская машина, правда, не стремящаяся к сверхприбыли.

Философия и практика отхода от традиционного общества на практике остались где-то у края схватки. Те участники «антиобщины», которые жаждали действия, дополнили собой ряды гражданского сопротивления, развернувшегося как политическое движение в середине шестидесятых годов. Сидячие забастовки в поддержку требований негров и бойкот учреждений с расистской практикой, сидячие забастовки в поддержку студенческих требований, особенно требований свободы слова («фри спич мувмент»), были зачатками этого движения. Движение активного гражданского сопротивления также считало создание «антиобщин» и «демократии участия» одной из своих целей, однако путь был иной: не уход от общества, но вторжение в его недра и осуществление идеала в самой гуще жизни, захватным порядком. Студенты двинулись в негритянские гетто, и некоторые из них поселились там на год и больше, поставив себе задачей создание «антиобщины»; вместе с тем они помогали негритянскому населению налаживать кампанию за осуществление права голоса, которая развернулась с большой силой в середине шестидесятых годов. «Демократия участия» была провозглашена целью движения студентов в университетах, и одним из лозунгов было создание «контруниверситетов».

В то же время студенческое движение видело свою гражданскую роль много шире. «Студенты — за демократическое общество», крупнейшая организация, принадлежащая к «новой левой оппозиции», объявила себя организацией, через которую могут быть осуществлены радикальные изменения в стране. Она провозгласила также принцип полной независимости всех своих местных организаций от центра и наоборот, видя в этом одно из воплощений принципов «демократии участия».

Героями студенческого движения, а оно было наиболее сильной составной частью «новой левой оппозиции», стали студент, негр и борющийся латиноамериканец, а позже и вьетнамский партизан. Как о мечте, о тайне, говорили о намерении отправиться «туда», за южную границу, чтобы присоединиться к партизанам стран Южной Америки. Это был своего рода «антикорпус» в противоположность «мирному корпусу», в свое время затеянному Кеннеди.

Главное действующее или, пожалуй, главное воспринимающее лицо «новой левой оппозиции» — молодежь, молодой американец. Однако возрастные пределы «новой левой оппозиции» очень растяжимы. Здесь и молодежь до двадцати («тинэйджеры») и после двадцати лет. тридцатилетние, сорокалетние и много старше. И вдохновляются они учением отнюдь не только молодых: достаточно напомнить, что Герберту Маркузе — германо-американскому философу и социологу, одному из создателей критической теории «одномерного индустриального государства» — за семьдесят.

Отождествить радикализм и сверхрадикализм в Соединенных Штатах с «конфликтом поколений» — это попытка слишком легкого выхода из положения.

Известный американский политический сатирик Артур Бухвальд (он теперь известен и в Советском Союзе; в 1969 году вышел его сборник фельетонов на русском языке) в одном из своих фельетонов следующим образом изобразил проблему конфликта поколений: он заставил двадцатитрехлетнего парня говорить о «пропасти», возникшей между ним и шестнадцатилетним; шестнадцатилетнего — о «пропасти» и «непонимании» между ним и «этими невыносимыми» тринадцатилетними и так далее, сведя эту проблему к абсурду.

Вне зависимости от того, что именно имел в виду сам Бухвальд, его фельетон попадает в цель. Конфликт, развивающийся на Западе, не есть только и даже не в первую очередь возрастной конфликт, что, конечно, отнюдь не умаляет большой роли революционного действия молодежи.

Вопрос состоит не в том, как «обращаться с молодежью». Вопрос гораздо сложнее: как обращаться со старыми, нерешенными, и с новыми, такими же нерешенными, проблемами.

Ощущение всемогущества в науке и технике — ядерная энергия, выход человека в космос, пересадка сердца — сильно стимулировало стремление к разумной организации всей общественной жизни, стремление к освобождению личности, к высшим духовным ценностям и нонконформизму, раз человек уже как будто «управляет» природой. Однако научно-техническая революция, почти что идол современного официального мышления, далеко не достигла той стадии, когда бы ей сопутствовала соразмерная по масштабам социальная и духовная революция. Провозвестники и пропагандисты научно-технической революции далеко не все «прогрессисты». Напротив, в руководящих правительственных буржуазных кругах отчетливо обозначилось намерение «растворить» социальную революцию в революции научно-технической, заслонить первую второй, сосредоточить на ней весь энтузиазм, оставив без внимания или почти без внимания область социально-политическую.

В Соединенных Штатах второй половины шестидесятых годов этот контраст продолжал оставаться вопиющим. Не было сделано серьезной попытки (вопреки словесным декларациям Кеннеди о «новых рубежах», Джонсона — о «великом обществе» и Никсона — об «улучшении качества жизни») спроецировать великие достижения науки и техники на область социальных отношений. В то же время попытки продолжать доказывать, что пороки экономики и социальные проблемы представляют собой некую «квадратуру круга», не поддающуюся решению, никого не могли уже больше убедить.

Острее всего разрыв между всемогуществом человека в науке и технике и его бессилием и бесправием в социально-политической области в условиях буржуазной действительности осознавала интеллигенция. Демократическая интеллигенция трагически переживала свое собственное бессилие или даже вред, который она наносит, существуя как один из компонентов этого общества — эксплуатируемый в духовном и материальном отношении «мозг». В этом одна из причин того, что для нового периода в истории США стал характерен протест интеллигенции. Другая причина также коренилась в научно-технической революции: наука и научная интеллигенция стали крупной производительной силой; возросла также ее численность и концентрация на производстве и в крупных научных центрах. Следовательно, возросли способность к организации научной интеллигенции и понимание ею своего влияния.

Но была еще одна причина динамизма интеллигенции в борьбе против существующих порядков. За неполное десятилетие — с того времени, как Кеннеди создал свою лейб-гвардию «мозговиков»-гарвардцев, — прошла целая эпоха. Наука в США превратилась в большой бизнес и огромный бюрократический аппарат с неизбежной коррупцией и стандартным мышлением. Научный мир также раскололся, с одной стороны, на правящую бюрократию, смыкающуюся с капиталом и с военной верхушкой и разведкой, и на эксплуатируемую научную «массу», смыкающуюся с государственными служащими и рабочими и все больше чувствующую себя противопоставленной системе капитализма.

Научно-техническая революция «в голом виде» — без распространения ее выгод на область социальную — не удовлетворяла, естественно, и молодое поколение.

Американские социологи в качестве причины «анархии» в университетах называли превышение «оптимальных» масштабов высших учебных заведений, из-за чего последние и стали якобы неуправляемы. Многие высшие учебные заведения США действительно приобрели огромные масштабы. В 1940 году в США было 1,5 миллиона студентов, или 9 процентов всего населения в возрасте от 18 до 24 лет; в 1950 году — 2,3 миллиона и 14 процентов соответственно; в 1960 году — 3,6 миллиона и 22 процента; в 1969 году было уже 7,1 миллиона студентов — 30 процентов всего населения в возрасте от 18 до 24 лет. Некоторые университеты — среди них и Калифорнийский — насчитывали десятки тысяч студентов, сконцентрированных в кампусах — университетских городках. Но не число студентов само по себе имело значение.

Приведем свидетельство Марио Савио, лидера движения за свободу слова в Калифорнийском университете: «Настает день, когда действие машины становится таким одиозным и вызывает в вас такое отвращение, что вы больше не можете принимать в этом участие; вы не можете больше участвовать в этом даже молча. Вы чувствуете, что вы не можете иначе, вы должны навалиться своим телом на все эти колеса и рычаги и приводы и заставить ее остановиться. И вы должны ясно дать понять тем людям, которые владеют этой машиной и управляют ею, что пока вы не получите свободы, их машина будет стоять». Это выдержка из речи Марио Савио, произнесенной им в разгар борьбы за свободу слова в Калифорнийском университете в 1964 году.

Вот другое свидетельство. Профессор физики Питтсбургского университета Джозеф Липсон заметил в статье, напечатанной в университетском журнале «Номос»: «Часто говорят, что причина отчуждения... это большие масштабы современных университетов. Но виною не большие масштабы. Главная причина кроется в том, что применяются формально-управленческие методы и теории вместо развития принципов демократического участия».

Действительно, один из парадоксов научно-технической революции состоит в том, что она дает как будто бы возможность организовать все в огромных масштабах и направлять из единого центра. На деле же при отсутствии демократии экономическое и политическое управление функционируют в значительной степени на холостом ходу. Возникает кризис.

Такой кризис возник и в университетах и вызвал студенческое движение.

Особенно большое значение имело в этой связи то, что социальный состав студенчества продолжал изменяться. В 1967 году уже примерно четвертая часть студенчества была выходцами из рабочей среды. Триста тысяч были неграми. До трети студентов были вынуждены наниматься на работу, чтобы иметь возможность получать образование. И само положение студенчества, его ожидания (как и положение и ожидания научной интеллигенции и государственных служащих) стали иными. Это уже не была немногочисленная аристократия — сливки общества; большинство из них знало, что не может рассчитывать на что-либо большее, чем жизнь обычного среднего трудового интеллигента. Все это укрепляло демократический дух в университетах.

Вспышка радикализма и сверхрадикализма объяснялась, наконец, тем, что либеральное движение начала шестидесятых годов дало не много практических результатов и уж, конечно, никаких коренных перемен в устройстве общества. Убийство Кеннеди как бы все смяло и оставило либеральное движение в растерянности. Это было насилие, и для многих оппозиционеров стало ясно, что нужно не только движение, но активное неповиновение и сопротивление.

Потенциальный революционный заряд, накопленный американским обществом, был очень существен. Но возникает вопрос: если это так, почему же марксизм не стал верой американских радикалов шестидесятых годов, но, напротив, объектом их нападков и отсюда возник значительный крен «новой левой оппозиции» в сторону толстовско-гандистско-христианского учения или идей анархизма, троцкизма и маоизма?

Склонность к такого рода политической осмысленности — вообще свойственна средним слоям, сохранившим свою неустойчивость и в современной обще-

стве. Эта склонность была усилена в современной Америке под влиянием некоторых конкретных обстоятельств.

Вступление в мир новых возможностей, открытых человеком, породило жажду к новому самосознанию и новым оценкам, к созданию «нового» революционного учения, а если уж речь идет о восприятии некоторых тез марксизма, то в форме «нового», «неортодоксального», как назвал свое учение Герберт Маркузе, марксизма. С другой стороны, увлеченность объективными законами естественных наук создала большую восприимчивость к учениям, исходящим из «вечных» категорий духа, как гаизмизм, толстовство, христианство. Подавляющая масса «новой левой оппозиции» встала на путь критики марксизма, очень слабо зная его и не понимая, что диалектический материализм — это научный революционный метод познания и оценок, а не раз навсегда данная оценка не изменяющейся и не подлежащей изменению ситуации.

Повседневная американская действительность как будто подтверждала «несостоятельность» или по крайней мере «недостаточность» марксизма и необходимость коренных переоценок. «Средние слои», в том числе интеллигенция, находились в США на подъеме (и по своей численности, и по роли в обществе) и все больше осознавали себя как общегражданскую силу. Рабочий класс, напротив, действовал как «корпорация», отстаивая забастовочным движением в первую очередь свои непосредственные экономические интересы. Шрамы жестокой чистки профсоюзов, проведенной во времена маккартизма, когда изгонялись «красные» профсоюзные лидеры и подвергались полному разгрому «красные профсоюзы», все еще сильно чувствовались в рабочем движении, а напор (следовательно, возрастающая угроза конкуренции) вливающегося в промышленность негритянского населения сохранял и усиливал влияние на рабочую массу гипноза белого шовинизма. Наконец, и это имело важное значение, рабочая масса связывала сравнительно благоприятную экономическую конъюнктуру шестидесятых годов и уменьшение безработицы (хотя она в самые лучшие годы держалась, даже по официальным данным, на уровне около трех миллионов человек) с расцветом авиационной, ракетной и прочей военной промышленности. Восстать против милитаристского курса было в глазах рабочего, не слишком знакомого с внутренним механизмом экономической и финансовой политики, равносильно тому, чтобы восстать против самого себя. Рабочая масса не была политически активна, и вот почему новое поколение американцев легко воспринимало тезис о «приручении» рабочего класса, об его интегрировании в «традиционную систему» (Маркузе и другие).

С другой стороны, и в гетто и в партизанском движении стран Южной Америки американский радикал действительно мог найти настоящих героев, борцов реальных, действующих. Удивительно ли, что «новая левая оппозиция» поставила вопрос об отношении к национальному освободительному движению чуть ли не под номером первым.

Поиски «нового героя» объяснялись также тем, что осознать значение Советского Союза как рабочего государства и как революционной силы в международной политике американскому радикалу мешала пропаганда антисоветизма.

Нельзя не учитывать, что к официальной буржуазной пропаганде добавилась в последние годы злобная антисоветская пропаганда Пекина. Все это способствовало тому, что в представлении американского ультрарадикала марксизм и практика его применения в Советском Союзе принимали искаженный вид.

Вместе с тем, и как это ни парадоксально, движение студенчества за свободу слова в университетах и против системы проверки лояльности сделало много для того — об этом шла речь выше, — чтобы положить конец «отлучению» марксизма от науки и коммунистов — от общественной и политической жизни в США. «Новая левая оппозиция», и особенно ее молодежная часть, выдвигая на первый план «героя гетто», проделала также, отчасти осознанно, отчасти стихийно, немалую часть той работы, которая необходима, чтобы связать между собой оппозиционные силы в стране. Ее энтузиазм в отношении негра и партизана в Латинской Америке и Азии создавал иную шкалу ценностей, чем та, к какой был приучен американец, пробуждал и усиливал в американце чувство вины.

И наконец, сопротивление войне во Вьетнаме и росту милитаризма. Общественное движение шестидесятых годов, в том числе и «новая левая оппозиция», нащупало самые большие точки американского общества и сильно ударило по ним.

Пиковой точкой всего сопротивления стал Вьетнам. Он стал этой точкой не только и, может быть, даже не столько в силу соображений внешнеполитических. В сопротивлении войне во Вьетнаме отразилось возмущение пренебрежением внутренними проблемами, которые остро ощущались всем обществом, но как бы спокойно игнорировались (если не считать словесных заверений) властью; боязнь нового «завинчивания гаек» и усиления монолитности военно-промышленного комплекса вплоть до угрозы прямой диктатуры милитаризма; стремление к справедливой внешней политике и отвращение к великодержавности, сильно охватившие американскую общественность; шок от потерь убитыми и ранеными, число которых было не так уж велико по европейским масштабам, но непривычно велико для Соединенных Штатов, никогда прежде не несших больших потерь людьми.

Спор о Вьетнаме помогал отшлифовывать политические позиции. Вьетнам стал словом-паролем. Когда оно сказано, распахиваются ставни американских домов и каждого американца как будто застаешь в момент раздумий, наедине с самим собой; налет стандартности исчезает совершенно.

Лучше всего, быть может, воспроизвести высказывания самих американцев 1967 года.

«Вьетнам обнажает насилие, прячущееся за улыбками и внешней стороной американской жизни... Мы должны отправиться в предместья, маленькие городки, в гетто нашей страны и говорить с американцами о Вьетнаме. Мы должны заставить людей занять позицию по этому вопросу. Там, где молчат, мы должны возбудить дискуссию; где дискуссия идет, мы должны возбудить протест... Следующий шаг, который мы должны сделать, это начать массовое гражданское неповиновение... Когда нас будут судить, нас должны судить как политических преступников. Мы должны идти в тюрьму, как политические преступники, а не как «правонарушители» или «возмутители спокойствия»... Годы индоктринации антикоммунизма привели к тому, что американцы читают: «1000 вьетнамцев погубло» и не испытывают ни малейшего укора совести. Китайцы, Северный Вьетнам и Вьетконг — это не люди (русские постепенно становятся в наших глазах людьми)... Мы верим, что борьба в Америке против расизма, нищеты и бюрократического конформизма — это часть того же самого движения, что и борьба против американского милитаризма». Это выдержки из статьи «15, 16 октября — дни международного протеста», напечатанной в «Известиях» Комитета Дня протеста против войны во Вьетнаме в Бэркли. Эпиграфом к этой статье были поставлены слова Джонсона, который заявил, выступая перед студенческой аудиторией, что он хотел бы, чтобы американская молодежь выказала такую же фанатическую приверженность к политической системе США, «какую обнаружили молодые наци в отношении своей системы в период войны» (!).

«Почему мы протестуем?.. Смерть и налоги... И президент может ошибаться... Мы должны вывести наши войска, перестать истреблять вьетнамцев, дать возможность народу Вьетнама управлять своей страной так, как он этого хочет... Сотни тысяч американских граждан правительство Джонсона может приговорить к тюремному заключению за прямое сопротивление войне. Но пацифисты считают, что это часть того риска, на который должен идти тот, кто участвует в движении за мир» (листочка радикал-пацифистского «Движения сопротивления войне»).

«...мы требуем немедленного прекращения Соединенными Штатами бомбардировок (имеются в виду бомбардировки ДРВ.— О. Т.) и начала недвусмысленно объявленного и совершающегося быстро и поэтапно вывода всех американских войск и вооружения... Мы будем поддерживать и ободрять, насколько это в наших силах, тех молодых людей, кто в силу своих убеждений не может согласиться на несение военной службы во Вьетнаме» (выдержка из листовки американских квакеров).

«Центральный профсоюзный совет и профсоюзные центры строительных рабочих Санта-Клары и Сан-Бенито единодушно проголосовали на своем очередном собрании

в понедельник вечером за участие 15 апреля в демонстрации в Сан-Франциско, организуемой Весенним комитетом мобилизации в целях окончания войны во Вьетнаме... В настоящее время в Калифорнии 55% из нас работу дает оборонная промышленность. Однако... 20% рабочих автомобильной промышленности и 33% строительных рабочих уволены. На северо-западе в состоянии депрессии находится лесоразрабатывающая промышленность... Почему деньги находят только на войну во Вьетнаме?» — выдержки из листовки, распространявшейся в Лос-Анжелосе. Сбоку на ней стоит надпись: «Профсоюзный бюллетень». В центре изображен скелет в военном мундире с автоматом за плечом, обнимающий шагающего рядом понурого рабочего. На груди у скелета надпись: «Война во Вьетнаме», под мышкой у рабочего папка с надписью: «Увеличение призыва». Скелет говорит рабочему: «Итак, работа у тебя есть, а теперь скажи, готов ли ты отдать войне своего сына?»

А вот «почерк» сверхрадикалов.

— Почему вы не ответили с достаточной силой тогда, когда начались бомбардировки Ханоя? — спрашивал на одной из встреч в Лос-Анжелосе железнодорожный рабочий.

— Советский Союз слишком осторожен. Почему вы не делаете решающего усилия? Вы могли бы остановить США. У нас многие считают, что США нарочно провоцируют КНР, чтобы затем, если КНР вступит в войну, подвергнуть ее ядерной бомбардировке. Пресса также это отмечает. — Это слова одного из профессоров Пенсильванского университета.

В 1967 году я впервые услышала в США высказывание не справа, но слева против улучшения советско-американских отношений. И аргументом было: «Это может произойти только за счет интересов всемирной национально-освободительной революции». Позже, осенью 1968 года и уже в Москве на переговорах с делегацией представителей американских антивоенных организаций, эту линию развивал Сидней Ленс из Чикаго — сопредседатель Национального мобилизационного комитета за прекращение войны во Вьетнаме. Он был тем человеком, который в ходе переговоров и дискуссии атаковал нас с фланга, ведя наступление, в то время как вся американская делегация находилась в глухой обороне в вопросе об агрессии США во Вьетнаме. «Некоторые американцы очень боятся, — говорил тогда Сидней Ленс (я цитирую по записи самой американской делегации, опубликованной в «Нью-Йорк таймс» 9 марта 1969 года), — что разрядка во взаимоотношениях США и Советского Союза будет достигнута вразрез с интересами революционных движений». И еще один вариант того же самого мотива — претензии, предъявленные нам в Нью-Йорке представителями молодежных организаций: «Почему вы торгуете с правительствами стран Южной Америки? Они все реакционеры. Вы должны помогать революционерам, а не реакционерам».

Рекомендации вчерашнего дня: закрытость и отгороженность друг от друга и, следовательно, минимальные возможности для революционизирующих воздействий; американцы, пережившие времена маккартизма, могли бы кое-что об этом порассказать... Рецепты «военного решения» взамен умелой политической линии и влияния... «Крушение миров», лобовое гигантское столкновение между Советским Союзом и США... Левее левого, левее здравого смысла, как говорил Ленин. И отбрасывалось главное — вьетнамский народ держал фронт во Вьетнаме, опираясь в первую очередь на поддержку Советского Союза.

Я далека от того, чтобы обвинять людей типа Сиднея Ленса в спекуляции. Он участвовал с тридцатых годов в рабочем движении, был членом Рабочего союза — организации безработных в эти годы, — организовывал поход безработных в Трентоне (Нью-Джерси) и демонстрации в Чикаго. Он был одним из участников сидячих забастовок в Детройте в 1936—1937 годах. В шестидесятые годы он стал активным участником антивоенного движения. В мае 1969 года я увидела в американской прессе сообщение о том, что движение «Предотвратить возникновение Вьетнама в Латинской Америке» провело двухдневное пикетирование Форт-Джюлика в зоне Панамского канала и разъяснительный митинг («тич-ин») близости от Межамериканской академии обороны в Вашингтоне, где обучается военная элита из стран Латинской Америки и преподается «противоповстанческая тактика». Это был смелый протест против империализма.

стической политики Вашингтона в отношении стран Латинской Америки, и одним из организаторов был Сидней Ленс. Однако и он оказался в плену иллюзий «сверхреволюции». Они коренились в стремлении «подтолкнуть» события, во взгляде на ход международных событий «со своей колокольни», что неизбежно искажало общие пропорции.

Сверхреволюция была эффективна, обещала достичь быстрых решений, давала выход энергии для тех, кто чувствовал в себе силы для борьбы, но для борьбы обязательно «на баррикадах». «Партизанская борьба» (по примеру Вьетнама и стран Латинской Америки), «баррикады» (по примеру Франции мая — июня 1968 года), «десять дней, которые потрясут империю», «разрушение системы» — лозунги, выдвинутые сверхрадикалами из «новой левой оппозиции», — стали привлекательны для многих, их повсюду восторженно. Внутри организации «Студенты — за демократическое общество» часть ее членов требовала перехода целиком на эту тактику, механически перенесенную из других стран и других исторических обстоятельств, и отказа от антивоенного движения как якобы отвлекающего от главной цели — «разрушения системы».

Эта позиция сверхрадикалов, а также «анархия» в университетах и волны «хип-пизма» на улицах растревожили американского либерала. «Возмутительное хулиганство, — писала мне из Калифорнии Олив. — Я решила теперь сосредоточить свое внимание на проблемах роста народонаселения в мире. Антивоенное движение иногда кажется мне безнадежным, и что-то в нем совершается не то, на что я надеялась...»

Американские либералы оказались между двумя крайностями: с одной стороны, «хулиганы» — сверхрадикалы и хиппи; с другой стороны, обыватель, в лучшем случае дремотный, в худшем — воинствующий ура-патриот и белый шовинист. Постепенно нарастало также ощущение бесполезности и малой эффективности усилий, граничивших с жертвами («Мы боремся, но война идет»).

Неверие, повышенная психологическая рефлексия, почти чеховская атмосфера «умирания» чего-то отжившего и метания «честного интеллектуала-либерала», не умеющего справиться с этим процессом, выпутаться из него и стать твердой ногой на новом берегу, — все это сильно ощущалось в США в конце шестидесятых годов.

Был и худший вариант. Не так уж немногочисленны были те, кто не находил в ответ на утверждение: «Моя страна права, так как это моя страна», контраргументы, которые не выглядели бы как предательство. Были талантливые и сильные люди, которые дали себя сломить в угаре шовинизма. Таким печальным явлением была эволюция Стэйнбека. Проще — и закономернее — совершилась эволюция бывших либералов, оказавшихся в верхах. Губерт Хэмфри, избранный вице-президентом США на выборах 1964 года и получивший поддержку избирателей как хранитель заветов покойного президента Кеннеди, быстро преобразился и стал одним из столпов джонсоновской политики эскалации войны и позже поплатился за это, проиграв на президентских выборах 1968 года. Ученый-«мозговик» Уолт Ростоу, специальный советник президента по вопросам национальной безопасности, также совершил такую эволюцию и также поплатился: его альма матер не пожелала принять Ростоу обратно, и он, после ухода Джонсона, пристроился в малоизвестном ординарном университете Аризоны.

Однако отчаявшиеся и ренегаты все же не составили большинства. Либеральные американцы в своем большинстве продолжали оставаться верными своим убеждениям. Им пришлось в то же время решить для себя вопрос о возможности переступить пределы ненасильственного действия. Дозволено ли уничтожение документации на призывников, разгром призывных пунктов? Дозволена ли для умеренных пацифистов коалиция с другими, более радикальными (не говоря уж о сверхрадикалах, которые, впрочем, сами на это сотрудничество не шли) организациями? Если ненасильственное сопротивление не дает результатов, следует ли отказаться от сопротивления вообще или отказаться от принципа ненасилия? Этим проблемам уделяли большое внимание. Возник Институт изучения ненасильственного сопротивления, одним из его организаторов была Джоан Баез.

Многие перешли этот рубикон. Антивоенное движение радикализировалось. Радикал-пацифисты и анархо-пацифисты резко отличались от старого типа умеренного ненасильственного сопротивления. Заслугой умеренных либералов было, однако, то, что они

проделали большую работу по накоплению информации (в том числе и собиранию ее «на месте», для чего совершались поездки во Вьетнам) и выдвинули свои собственные политические варианты, противопоставленные официозным.

Организация квакеров опубликовала специальную книгу-доклад о проблеме Вьетнама и Юго-Восточной Азии в целом. Один из главных выводов был сформулирован в этой книге следующим образом: если некоторые страны Юго-Восточной Азии и станут коммунистическими, «это отнюдь не обязательно будет угрожать законным американским интересам»... «США нашли возможным поладить с коммунистическими странами Восточной Европы и, предположительно, могут сосуществовать с коммунистическими странами в Юго-Восточной Азии». Лидер молодых демократов Нью-Йорка Уильям Ф. Розенблум сказал нам: «Необходим возврат к Женевским соглашениям. Может быть, нам следовало согласиться в 1954 году на проведение выборов во Вьетнаме. Я не могу согласиться с утверждениями, которые делаются у нас, что Хо Ши Мин — это марионетка Пекина. На мой взгляд, это лидер типа Тито или Насера — самостоятельный национальный лидер».

Эти взгляды были диаметрально противоположны концепции «домино», в соответствии с которой война во Вьетнаме оправдывалась тем, что в случае поражения на этом фронте все страны Юго-Восточной Азии постепенно подпадут «под власть коммунизма». Выработка либеральной общественностью своих политических программ в какой-то мере ослабляла гипноз ведомственной «компетентности» и многократно просеянной различными инстанциями официальной информации, только на основе которых и возможно якобы принимать конструктивные и правильные решения. А самым важным было то, что умеренные, как и радикальные, пацифисты не отступали перед угрозой арестов и преследований.

Молодому американцу — и либералу и радикалу — пришлось решать вопрос не только о том, принимает он или не принимает войну во Вьетнаме, но вопрос о том, осмелится ли он не пойти воевать во Вьетнам. Вопрос этот пришлось решать уже сегодня, немедленно.

В Джорджтаунском университете в Вашингтоне, несколько чопорном и замкнутом, мы слушали, как идет обмен аргументами **между** студентами, определяющими их отношение к войне во Вьетнаме.

Первый студент:

— Вьетнамцы имеют право на гражданскую войну так же, как мы его имели когда-то. Они сами должны решить свои проблемы. Мы используем вьетнамский народ в интересах самовозвеличения. Для меня совершенно ясно, что мы сами **были** ~~инициаторами~~ провокации.

Второй студент:

— Совершенно естественно и закономерно, что великая нация устанавливает свое влияние в определенном районе. В течение примерно шестидесяти лет мы осуществляли свое право на интервенцию, и каждая великая нация поступает так же.

Третий студент:

— Скоро выборы, а для того, чтобы одержать победу на выборах, надо одержать военную победу. Нет такого правительства, которому удалось бы вызвать энтузиазм в народе, ограничиваясь всего лишь политикой сохранения статус-кво.

Четвертый студент:

— Меня призывают, и хотя я выступаю за одностороннее прекращение бомбардировок и вывод войск, мне придется идти служить. От этого зависит моя дальнейшая карьера.

Невольные участники войны. И убежденные участники войны. Были также баловни судьбы — «герои» этой войны, делающие в настоящее время карьеру.

В июле 1969 года в Москве на приеме в американском посольстве в честь Дня независимости героем дня был американский космонавт Борман. Но там были также рослые молодые парни в черных с красным мундирах и орденами на груди. У всех одинаковый взгляд; таких обычно выводят на парад.

— Мы работаем теперь здесь. Да, здесь, в посольстве. Прибыли сюда из Вьетнама, — объяснил один из них. В голосе его слышалось: «Вьетнам — это очень хорошо для

послужного списка, если ты уцелел. А такие, как мы, и не думали умирать. Вот мы здесь, и вам придется это проглотить».

Эти — уже отмеченные, они опора режима. Решительности им не занимать. Истребление населения Сонгми в 1968 году показало, что Пентагону удалось воспитать в американской армии разновидность «белокурых бестий».

Но в то же время все больше становилось тех, кто, преодолев психологические ловушки и откинув соображения карьеры, рубили концы, заявляли: «К черту! Нет, мы не пойдём!» — и уезжали, чтобы избежать призыва, в Канаду или Европу или заявляли о своем отказе нести воинскую повинность и садились за решетку.

Это было прямым столкновением с военной машиной США. Оно развивалось и в других формах.

В Пенсильванском университете (Филадельфия) нам рассказали, что в мае 1967 года опекунский совет университета принял решение не заключать контрактов на выполнение работ, результаты которых не могут быть опубликованы. Это решение было принято в результате того, что студенты и профессура выступили с протестом против проведения в стенах университета работ, которые имели отношение к разработке методов ведения химической и бактериологической войны.

Движение против секретных военных исследований в университетах возникло, несмотря на то, что значительная часть государственных ассигнований на высшие учебные заведения предназначалась на проведение военных исследований. Участие в военных исследованиях означало обеспеченную работу и возможное быстрое продвижение. Тем не менее значительная часть студентов, а также профессуры сочла своим долгом противодействовать «ползучей» военизации высших учебных заведений.

Прямое столкновение молодого американца с военной машиной — пусть оно даже не происходило в массовых масштабах — имело значение, которое трудно переоценить. Это было противодействие всеохватывающей милитаризации страны и культу милитаристской психологии, что так успешно удалось осуществить нацистской Германии в преддверии войны.

Осенью 1967 года произошло событие, взволновавшее тогда мир почти так же, как взволновала его два года спустя высадка американских космонавтов на Луну. Четыре американских солдата дезертировали с американского авианосца «Интрепид» — Майкл Линднер, Крейг Андерсон, Ричард Бейли, Джон Барилла; не состояли в прогрессивных организациях до службы в армии и не принимали участия в антивоенных демонстрациях.

В 1969 году американская печать опубликовала данные, в соответствии с которыми число дезертиров из вооруженных сил США достигло 73 тысяч человек, что равно почти пяти американским дивизиям.

Ничто ни в настоящем, ни в будущем не сможет совершенно изгладить или замаскировать этот шрам американской военной машины — шрам, нанесенный в войне, которую общественное мнение считает несправедливой и которая стала достаточно изнурительной. Строя любые политические планы, американские правящие круги всегда должны будут помнить об этом шраме, тем более что его нанесли те, чьи руки будут лепить оставшиеся тридцать лет двадцатого века.

Особого рассмотрения заслуживает вопрос о позиции рабочей массы.

И в Лос-Анжелесе и в Вашингтоне у нас были встречи с профсоюзными лидерами. В Вашингтоне это были: Стэнли Гринспан — заместитель директора международного отдела профсоюза рабочих автомобильной промышленности, Билл Доддс и Гэри Буш из этого же профсоюза, Антони Мазоччи — представитель профсоюза работников нефте-газовой, химической и атомной промышленности, Ал Ловентал — заместитель председателя и заведующий международным отделом профсоюза электриков, Лео Гудман — секретарь комиссии по атомной энергии отдела промышленных профсоюзов АФТ — КПП. Приведу наиболее интересное из сказанного ими.

Мазоччи:

— В центре внимания профсоюзного руководства стоят сейчас Вьетнам, расовые проблемы, проблемы взаимоотношений с молодежью, проблема превращения рабочего

в мелкого буржуа. Последнее мы считаем причиной пассивности рабочих в вопросе о Вьетнаме.

Мы:

— Но все же такие крупные профсоюзные лидеры, как Уолтер Рейтер, и не он один, высказались против правительственной политики в отношении Вьетнама.

Мазоччи:

— Это особая позиция. Подавляющее большинство профсоюзных лидеров ее не разделяет. А что касается рядовых членов профсоюза, то это самый консервативный слой. Их труднее всего привести в движение. Есть, конечно, профсоюзные отделения «Движения за разумную ядерную политику», но все же в этом движении мало рабочих, мало профсоюзников.

Гринспан:

— Большинство руководителей местных отделений профсоюзов — «ястребы». Их точка зрения такова: это проклятая, жестокая, вонючая война. Надо поскорее убраться оттуда. Но как убраться? Просто так уйти невозможно — из-за национального престижа и по многим другим соображениям. Следовательно, единственный выход: чтобы покончить с войной, надо ее эскалировать.

Мазоччи:

— У нас стали в последнее время больше бояться КНР, чем Советского Союза. КНР только разминает мускулы и неизвестно, где и когда нанесет удар.

Ловентал:

— Ситуация во Вьетнаме аналогична ситуации на Ближнем Востоке. Там ведь у арабов советское оружие.

Гудман:

— Конечно, конфликт по вопросу о Вьетнаме в нашей стране очень острый. У меня самого в семье такой конфликт. Дочь против войны. Она сейчас в составе «мирного корпуса» в Индии, занята планированием жизни семьи. А сын физик, и он и его друзья поддерживают войну во Вьетнаме. За моим столом разыгралась не одна жаркая схватка.

Мазоччи:

— Помогите нам выйти из войны во Вьетнаме. Вот вы здесь, скажите нам, что мы, на ваш взгляд, можем и должны сделать, чтобы покончить с войной.

Мы:

— Очевидно, в первую очередь активизировать профсоюзную массу. Разбудить у рабочих чувство международной солидарности и ответственности. В конце концов профсоюз — это ведь не корпорация для отстаивания интересов только членов корпорации.

Мазоччи:

— У рабочего класса США чувство международной солидарности развито очень слабо. Это объясняется историческими обстоятельствами, но это факт.

«Дежурными блюдами», которые ни один профсоюзный лидер не упустил случая предложить нам, были события в Венгрии 1956 года и «еврейский вопрос» в Советском Союзе. В Лос-Анжелосе открылась новая линия «наступления»: представитель профсоюза докеров и портовых рабочих доказывал, что Советский Союз пренебрегает Азией (прекратил оказывать помощь КНР!).

Традиционные линии политики профсоюзных лидеров на протяжении пятидесятих и шестидесятих годов: жалобы на косность рабочей массы и ее пассивность, причем в ультрасовременной формулировке — рабочий «превращается в мелкого буржуа» (сравни с Маркузе: интегрируется в «систему»). Кое для кого это было добросовестным заблуждением — например, для Мазоччи, который сам активно участвует в антивоенном движении. Но очень многие профлидеры подыскивали аргументы в оправдание жесткой международной политики Вашингтона, упорно и последовательно проводили линию на то, чтобы поставить Советский Союз и США «на одну доску». Это было им тем более необходимо, что руководство АФТ — КПП заняло позицию поддержки войны во Вьетнаме и как-то должно было обосновать эту свою позицию.

Руководство АФТ—КПП поддержало тот тезис, что экономика США в состоянии обеспечить и пушки и масло. «Великая производственная мощность американской экономики в состоянии обеспечить прочную основу как для продолжающегося социального прогресса внутри страны, так и для почетного урегулирования и прекращения войны во Вьетнаме»,— говорилось в одном из заявлений исполкома АФТ—КПП.

Политическая пассивность, зараженность шовинизмом и расизмом рабочих масс — все это лежало на поверхности. Идеализировать рабочий класс, так же как питаться иллюзиями в любом другом вопросе, опасно, это может лишь нанести вред развитию рабочего сознания и движения. Однако большую долю ответственности за грехи мелкобуржуазной обывательщины в рабочих массах несли профсоюзные боссы. Наконец, положение, какое существовало на протяжении почти двадцати лет, вовсе не могло служить доказательством того, что исключено возникновение ситуации, когда бы рабочий класс взволновался и пришел в движение. Напротив. Социальная и вся международная история второй половины двадцатого века как раз и характерна маловероятными или даже «невероятными», с точки зрения настоящего, ситуациями и поворотами. А позиция рабочего класса США трактовалась самими же профсоюзными лидерами (!) как некая постоянная, не изменяющаяся величина, почти что как «закрытая» в силу своей «очевидности» проблема.

А между тем уже сама суровая чистка в профсоюзах во времена маккартизма свидетельствовала о том, что профсоюзная масса в сороковых годах была основательно заражена политической оппозицией правительству. Оппозицию сломали, опираясь на антирабочие законы и на законы борьбы с инакомыслием. Просоюзам было также запрещено (законом Тафта—Хартли 1947 года, внесшим большие ограничения в деятельность профсоюзов) субсидировать избирательные кампании, что в такой стране, как США, где политические действия и борьба развертывались в основном в связи и во время избирательной кампании, было почти равносильно запрещению политической деятельности вообще.

Политическая оппозиция в профсоюзах была подавлена, а профсоюзная верхушка стала чуть ли не правой рукой правительства в стараниях обеспечить лояльность рабочих масс.

И конечно, внутренняя политика профбоссов была достаточно хорошо продумана. В 1960 году АФТ—КПП приняла программу, которая содержала требования минимума заработной платы в один доллар двадцать пять центов в час, помощи бедствующим районам, увеличения пособий по безработице, медицинского обслуживания для престарелых, увеличения масштабов строительства школ и жилья, защиты семей фермеров, пересмотра налоговой системы. Двумя годами позже исполком АФТ—КПП принял решение начать кампанию за тридцатипятичасовую рабочую неделю с сохранением оплаты за сорок часов рабочего времени и выдвинул требование повышения минимума заработной платы до одного доллара пятидесяти центов в час. Такого рода программы, естественно, укрепляли веру в профлидеров.

Каждое это требование должно было быть, однако, поддержано рабочими боями. Рабочим приходилось вести тяжелые бои и за возможность переквалификации, получения другой работы в связи с развитием автоматизации, и за уровень заработной платы, которая росла, но постоянно перехлестывалась ростом стоимости жизни и инфляцией, ставшей особенно острой в годы войны во Вьетнаме, и за снижение пенсионного возраста, и за самую возможность получить работу. Это были крупные бои.

Политическая пассивность рабочей массы в целом — да, конечно. Но нельзя отрицать и политического значения забастовочных боев крупных масштабов. Кроме того, нельзя все мазать одной краской. Были и профсоюзы и профсоюзные лидеры, не следовавшие линии профсоюзной верхушки.

В апреле 1960 года, когда АФТ—КПП выдвинула свою конструктивную экономическую программу, она одновременно провела конференцию по международным вопросам, на которой один оратор за другим заявляли, что никакое соглашение с Советским Союзом невозможно и «ироба сил» между США и СССР неизбежна. Но уже в то время Национальный союз моряков во главе с Джо Кэрраном принял решение послать делегацию в Советский Союз, а Эмиль Мэзи из профсоюза автомобильной промышлен-

ности, Найт из профсоюза нефтяников, Патрик Горман из профсоюза мясников, Фрэнк Розенблюм из профсоюза швейников и другие начали участвовать в антивоенном движении, и Уолтер Рейтер, руководитель Объединенного профсоюза рабочих автомобильной промышленности, хотя и настаивал на «равенстве сил как необходимой предпосылке переговоров», призвал все же к «эффективному, всеобщему и гарантируемому разоружению». Свою линию проводил, не соглашаясь с линией АФТ — КПП, профсоюз докеров и портовых рабочих, давно известный как «красный профсоюз», во главе с Гарри Бриджесом.

В результате тех процессов в рабочей массе, которые произошли на протяжении шестидесятых годов, можно было ждать дальнейшей политической ее активизации.

На протяжении этого десятилетия в рабочий класс США влилась свежая кровь. Быстрыми темпами шел процесс омоложения. В конце 1969 года молодые люди в возрасте от четырнадцати до двадцати четырех лет составили около 18 процентов рабочей силы. В таких важных отраслях, как сталелитейная и автомобильная промышленность, например, рабочие моложе тридцати лет составили к концу шестидесятых годов уже более 40 процентов. Увеличилось число негров-рабочих, и большая часть из них — также молодые люди. В профсоюзах возникли негритянские профсоюзные группы, рвавшиеся в бой. Нажим со стороны молодых рабочих заставил профлидеров кое в чем пересмотреть свои позиции. Кое-где пассивным профбоссам пришлось уйти со своих постов.

К тому же война во Вьетнаме все более настоятельно давила на рабочие массы, требуя от них определения своей позиции.

Больших политических выступлений рабочей массы не было. Их нет и до сегодняшнего дня. Не было и крупных массовых выступлений американских рабочих против войны во Вьетнаме. Однако важно то, что рабочий класс США отказался воспринять войну во Вьетнаме как «национальное усилие», предполагающее жертвы с его стороны. 1967 год был рекордным по сравнению с предыдущими пятнадцатью годами по числу и продолжительности забастовок. За период с января 1965 года и по апрель 1968 года на каждый месяц падало в среднем 574 забастовки и 325 тысяч бастующих. С середины шестидесятых годов оппозиция войне в профсоюзах уже заставила говорить о себе. В 1965 году возникли профсоюзные секции при «Движении за разумную ядерную политику». В конце 1966 года состоялись профсоюзная конференция по вопросам мира и массовый митинг в Питтсбурге и в Чикаго — конференция представителей Среднего Запада, посвященная обсуждению вопроса об ответственности профсоюзного движения в поисках мира. Чикагская конференция отвергла тезис «и пушки и масло» и заявила, что программы «великого общества» остались на бумаге и что повинна в этом война. В ноябре 1967 года в Чикаго собрался уже Национальный съезд профсоюзного руководства, посвященный борьбе за мир.

Армия. Дезертирство из армии... Это тоже было характеристикой позиции рабочих: ведь во Вьетнам отправляют служить не одних студентов.

Антивоенное движение снова остро поставило и в профсоюзном движении проблему права на несогласие с правительственной линией, на инакомыслие. На Чикагской конференции 1966 года руководитель Чикагского объединения меховщиков и кожевников Роберт Хербин заявил:

— Вам не надо бороться за право несогласия в рабочем движении. У вас есть это право. Вам остается осуществлять его.

Конечно, это было сильным преувеличением: скорее констатация принципа, чем отражение действительного положения вещей. Однако во времена маккартизма на такие речи никто не отваживался, и на Чикагской конференции 1967 года многие ораторы предупреждали, что надо быть начеку и не допустить восстановления производства маккартизма под предлогом «поддержки наших мальчиков во Вьетнаме».

Движение за гражданские права задело, таким образом, какой-то своей стороной и рабочую массу. Но процесс этот развивался очень медленно. Национал-шовинизм держался на боязни конкуренции со стороны негров, пуэрториканцев, мексиканцев, и это слишком долго было элементом мироощущения американского белого рабочего. Он угрюмо замыкался или взрывался, слушая рассуждения о подлинных свободе и равен-

стве для всех. Антисоциалистическая пропаганда внушила ему к тому же презрительно-настороженное отношение ко всяким «интеллигентским штучкам» и «словоблудию».

И тем не менее недовольство правительственной политикой и левое течение в рабочем движении явно усиливались. Война во Вьетнаме не скрепляла, но размывала внутренние устои; их не удалось укрепить при помощи ура-патриотизма — характерная ситуация в том случае, когда налицо далеко зашедший внутренний кризис в стране.

* * *

Этот кризис не только не разрешился, но и не смягчился итогами выборов 1968 года и приходом к власти нового правительства в 1969 году. Произошло иное. Страх и ярость обывателя легли своей тяжестью на политические весы, и грань между либеральными и радикальными силами, с одной стороны, и теми, кто шарахнулся вправо, соприкоснувшись с ультра, стала еще резче. Политика восстановления единства страны, которую обещал Никсон, была очень скоро заменена сознательной и целеустремленно проводимой политикой «позитивной поляризации», как ее определил вице-президент Агню. Ее направление было в том, чтобы «собрать» правые силы и одновременно выделить несогласное «меньшинство», указать на него пальцем, натравить на него воинствующего обывателя, во что бы то ни стало стремящегося восстановить свою уверенность в том, что он является «правильным человеком», существующим в рамках «правильного общества».

Еще в 1967 году мы увидели одного из тех, кто, очевидно, сделал погоду на выборах 1968 года. В Ричмонде наше внимание привлек высокий, крепкий, молодой, светловолосый, чуть с рыжиной мужчина, работавший во дворе своего дома. Все спорилось у него в руках, и все в доме, во дворе и в саду было сделано его руками, а молоденькая жена нянчила второго ребенка.

— Здесь, в Ричмонде, жили мои отцы и деды, но я построил новый дом. А работаю в «Дженерал электрик» чертежником...

Осмотр дома и усадьбы, восхищенные возгласы, взаимные улыбки... И уже уходя, кто-то из нас спросил:

— Интересно, а за кого вы голосовали на прошлых выборах?

— За Голдуотера.

Тут надлежало бы поставить только одно: «Занавес». Но чертежник из Ричмонда не отступил:

— Да, за Голдуотера. В общем, это не имеет особенного значения, за кого именно я голосую, но я считал, что у Голдуотера более сильная программа. Он не даст этим неграм на Юге поднять свое знамя.

Здесь, в тихом городке штата Массачусетс с его прохладными лесами, оленьими тропами и кленами, мы не встретили беглецов от традиционного общества. Но вспомнивая этот разговор, я отчетливо себе представила то, о чем прочла в 1969 году в статье, описывавшей нашествие американцев, решивших вернуться в «лоно природы» в Нью-Мексико: «Тучи сгущаются, и назревают местные погромы», — говорилось в этой статье.

В начале 1969 года можно было прочесть и в студенческой газете Мэдисонского университета (Нью-Джерси) следующее: «Последняя волна студенческих восстаний в стране достигла точки полнейшего безумия... Радикалы, очевидно, решили, что надо разрушить университет для того, чтобы спасти его... Но они не считают с фактами. Они не учитывают того, что живут в стране, где средний класс — один из самых сильных, если брать мировой масштаб, а пролетариат — наименее революционный... Они не отражают даже мнения большинства студентов, но лишь мнение небольшого, но громкого меньшинства. И, наконец, они не понимают, что если они не изменят своей тактики, власть (истэблишмент) ударит по ним, и очень сильно... Установленным фактом является то, что коммунисты стараются усилить студенческий радикализм для того, чтобы увеличить хаос, создающий идеальный климат для подрывных действий».

Большинство серьезных, уважающих закон студентов удовлетворены тем, что близятся решительные меры, которые давно следовало принять».

Эти документы дают некоторое представление о том, почему Ричард Никсон победил на выборах, а ультра и расист Уоллес собрал около десяти миллионов голосов.

«Независимая партия» Уоллеса собрала самое большое число галосов, какое когда-либо в истории США удавалось собрать третьей партии. При этом 29 процентов членов профсоюзов (которые со времен Рузвельта считались «младшим партнером» демократической партии и поддерживали его на выборах) проголосовали за Никсона и 15 процентов за Уоллеса. Примечательно также, что за Уоллесом пошло значительное число молодых людей в возрасте от двадцати одного до двадцати девяти лет. Правда, значительное число молодых людей поддерживало кандидатуру Роберта Кеннеди или сенатора Юджина Маккарти (возникло даже движение «Молодежь за Маккарти»), но Роберт Кеннеди был убит, а Юджин Маккарти не был выдвинут кандидатом от демократической партии, верхушка которой убоилась его «левизны».

Демократическая партия понесла расплату за Вьетнам. Но дело было не только в этом. Никсон и Уоллес выиграли, обещая восстановить «закон и порядок» в стране, что совершенно точно понималось как обещание обуздать негров и студентов. Никсон чуть ли не номером первым своей программы сделал борьбу с преступностью, а в глазах обывателя уголовный гангстеризм (тоже представляющий собой в конечном итоге социальное явление) сливался в одно с политическими выступлениями. И Никсон и Уоллес не брезговали социальной демагогией. Никсон говорил о «забытом человеке», а Уоллес — о «маленьком человеке». Никсоновский «забытый человек» был заимствован у Франклина Рузвельта, который в 1932 году обращался таким образом к безработным, бедствующим рабочим и фермерам. Но никсоновский «забытый человек» — это по сути дела «крепкий белый хозяин». Именно для него были как бальзам по сердцу критика Никсоном социальных программ демократов и их неэффективности, его заявление, что «для части американцев, хотя они и не беспомощны, социальное вспомоществование стало образом жизни» и что «мы не улучшим по-настоящему положение бедняков до тех пор, пока не переведем их из списка получателей пособий в ведомости на получение заработной платы», и обещания, что федеральное правительство будет поощрять в социальной области «частную инициативу» (предоставление налоговых льгот корпорациям, занимающимся повышением квалификации или переквалификацией бедняков, обучением молодежи, перестройкой районов трущоб). Никсон говорил, правда, и о том, что он предпочитает контролируемый рост безработицы росту инфляции, но слово «контролируемый» внушало надежду; кроме того, высококвалифицированный белый рабочий видел себя затронутым угрозой безработицы в последнюю очередь.

Чтобы яснее представить себе рост белого шовинизма и отвращение «крепкого белого хозяина» к социальным программам, следует иметь в виду некоторые фактические данные из этой области. По официальным статистическим данным, приводившимся в американской печати, число людей, получавших социальное пособие от городских властей в Нью-Йорке, например, составило в 1969 году один миллион человек (из 8 миллионов жителей города). Значительная часть получавших пособие были неграми. «Белый крепкий хозяин» чувствовал себя ограбленным «черномазыми» и белыми «бездельниками» и «растяпами».

Ярость обывателя подогревалась тем, что экстремисты из «новой левой оппозиции» не только не искали его понимания, но, напротив, дразнили его, выставляя напоказ свое к нему неуважение. Обыватель мог также указать теперь пальцем на очевидные крайности в негритянском движении.

Воинствующие негритянские лидеры и организации выдвинули лозунг «сегрегации наоборот» — создание чисто негритянских учебных заведений, столовых, общежитий, куда бы белые не допускались, чисто негритянских организаций, ведущих борьбу за права негритянского населения. Крайние группировки в негритянском движении заявили о своем отказе от «полумер» (то есть борьбы за выполнение социальных программ, касавшихся негров) и потребовали взамен выплаты репараций негритянскому населению США за четыреста лет перенесенной им эксплуатации. Идея создания «Новой Африканской республики» в составе пяти штатов — Луизианы, Миссисипи, Алабамы, Джорджии, Южной Каролины — приобрела значительное число сторонников.

Деформация негритянского движения в некоторой его части подказывала обывателю и такое решение: «Надо брать в руки винтовку» — тем более что все больше негров отправлялось на войну во Вьетнам и сколько их там ни убивали, все большее

число негров возвращалось с войны обученными солдатами. Антинегритянский «синдром» был самой важной причиной, определившей позицию «среднего американца» на выборах 1968 года.

Конечно, «средний американец» был не настолько близорук, чтобы вовсе не видеть в большом бизнесе враждебной силы. Но и большой бизнес нашел подходящую тактику. Молодые сравнительно монополии Юго-Запада и Юга, где развились «независимые» нефтяные компании, где особенно стала процветать ракетно-космическая промышленность, где всегда были сильны расисты (Юг) и где особенно усилились ультра, изображали свое соперничество с более старой монополистической группировкой Востока как борьбу «против капитала восточных штатов, захватившего политическую власть и стремящегося прибрать к рукам природные ресурсы всей страны». «Среднему американцу», таким образом, и в этом отношении указывался точный адрес для ненависти: «настоящая Америка» против «нового Вавилона» — Нью-Йорка, «забытый американец» против восточной плутократии, покровительствующей «черномазым» и «свихнувшимся интеллигентам».

На авансцену, где доминировали во второй половине шестидесятых годов американский либерал и радикал, вышел и воинствующий обыватель. Исход выборов 1968 года наметил эту линию, но после прихода нового правительства к власти возникла на некоторое время пауза. Антивоенное движение, волнения в гетто и университетах пошли на спад. Общественное мнение ждало, а представители правительственных сфер говорили о всеобъемлющем анализе всех аспектов политики США, на что требуется время, и намекали на «конфиденциальные усилия» в международных сферах.

Но к лету — осени 1969 года кредит, который получило новое правительство, был исчерпан. Пауза кончилась. Осенью снова заволновались гетто и университеты, и начались крупные антивоенные выступления, шедшие непрерывной волной. Правительственный план «вьетнамизации» войны вызвал разочарование и критику не только в либеральных и в леворадикальных кругах, но и центра демократической партии и республиканцев-«прогрессистов». К тому же к концу лета 1969 года во внешней политике вообще, в том числе и во взаимоотношениях с Советским Союзом — что особенно волновало американцев, — все еще было слишком много от «эры противоборства» и слишком мало результативности от «эры переговоров», которую обещал Никсон.

И вот тут-то в ответ на волнения позднего лета и осени, на исходе первого года победы Никсона на выборах правительство в полную силу развернуло политику «позитивной поляризации». Речь Никсона от 3 ноября поставила точки над «и» в этом отношении. Американцы снова были разделены на праведников и грешников: первые были названы «великим молчаливым большинством», а вторые — «крикливым меньшинством». Воинствующий обыватель, смыкающийся с ультра, получил авансом ощущение безнаказанности — важный психологический и политический переломный момент в подготовке избиения несогласных.

Официальная карательная политика пришла в движение. Семь руководителей демонстраций, состоявшихся в Чикаго в августе 1968 года, были осуждены на пять лет тюремного заключения по основному обвинению, к которому были еще добавлены разные сроки по дополнительному обвинению в «оскорблении суда». Началось проведение операции по физическому истреблению негритянской левой организации «Черная пантера», участились нападения «неизвестных» на штаб-квартиры левых организаций. Дэвид Макрейнольдс прислал мне номер журнала «Уин» с фотографиями, запечатлевшими разгромленную штаб-квартиру «Движения сопротивления войне».

Однако одних репрессий оказалось недостаточно. Интеллектуализм осуждался почти что официально, и вместе с тем начались поиски возвышенной идеи. В послании конгрессу 22 января 1970 года Никсон выдвинул новую цель, к которой следует стремиться: улучшение «качества жизни». Борьба с «загрязнением окружающей среды» была неожиданно выдвинута в ряд главных национальных проблем наряду с обузданием роста цен и преступности. Никсон умело «присвоил» идею, которая завоевала популярность в стане врагов — внутри радикального движения.

В конце шестидесятых годов увлечение проблемами взаимоотношения человека с окружающей средой (экологией) стало формой протеста против «современной цивили-

зации». «Антиобщина», в частности, должна была решить и проблему взаимоотношения человека со средой. В Калифорнийском университете возникла организация «экологического действия» со своей эмблемой: три вписанных друг в друга круга — Земля, Вселенная и Элементы (вода, воздух) и под ними три волнистые линии, обозначающие «интеллект в действии». В «Анархосе» — журнальчике анархистов, распространяемом в Нью-Йорке, — появились статьи о проблемах экологии, а «Уин» — орган «Движения сопротивления войне» — посвятил этим проблемам целый номер. Все это случилось задолго до знаменательного выступления Никсона.

Теперь проблема экологии наряду с научно-техническим прогрессом и космосом была интегрирована в официальную философию, и элемент бунта, который она содержала, поблек. Американцы оказались одновременно и перед лицом крупных репрессий, и перед лицом крупных идеологических искушений. Однако у американца-сопротивленца уже был некоторый опыт в этом отношении.

В июле 1969 года американцы высадились на Луне, и весь мир праздновал этот триумф научно-технического гения человечества. В Соединенных Штатах царил воодушевление, а Вашингтон сделал все, чтобы поддержать энтузиазм и укрепить веру в то, что новая администрация возвращает США подобающее им «первое место» в международных делах и в области научно-технического прогресса. Успех в космосе должен был подкрепить «консолидацию» внутренних сил в стране, помочь постепенному расставанию оппозиции.

Однако реакция многих американцев была иной. Они не думали отрекаться от гордости за историческую победу, одержанную их страной. Но социальные нужды были слишком насущны и политическое несогласие слишком велико, чтобы успехи в космосе могли подменить их решение. «Аполлон-11» и «Аполлон-12» не смогли предотвратить нового нарастания негритянских и студенческих волнений и непрерывных антивоенных демонстраций октября—ноября 1969 года.

Желание включить важные социальные и научные проблемы в правительственную свиту не ускользнуло от глаз оппозиционеров. В радикальных кругах прозвучали нотки иронии по адресу официальной экологии. «Мы объявим о создании отряда «мальчишек зеленых гор»... Мы начнем набирать рекрутов в отряд... в то же время и в тех же местах, когда и где набираются рекруты в армию. Мы можем основать оркестр, организовать фестиваль и разработать планы Осеннего наступления» — эти иронические слова в адрес экологии в одном из леворадикальных журналов служат напоминанием о том, что экология не должна заслонить собой антивоенное движение.

Но все же каковы перспективы гражданского — особенно антивоенного — движения в США в оценках самих американцев?

— Теперь, когда демократическая партия перешла в оппозицию, нам будет легче. Демократической партии в оппозиции придется задумываться над новым курсом. — Это слова одного из членов национального руководства организации «Друзья на службе мира» (квакеры), сказанные в 1969 году. — Мы, например, — продолжал он, — и впредь будем поддерживать тех, кто отказывается от несения военной службы. После Сонгми мы решили собрать широкую конференцию, на которой объявим, что всеми силами будем поддерживать и защищать тех, кто отказывается подчиняться преступным приказам. Мы начали также новую программу — изучение военно-промышленного комплекса. Я думаю, что правительство будет усиливать репрессии, но к 1972 году положение в этом отношении должно улучшиться. (Сакраментальный 1972 год! Уоллес уверен, что он или победит, или улучшит свои позиции на выборах 1972 года. Молодые демократы, поддерживавшие Юджина Маккарти, ждут этого года, чтобы взять реванш...)

Однако не затухнет ли движение общественных сил, если во Вьетнаме начнется серьезная дэскалация и тем более если США уйдут из Вьетнама и Камбоджи? Никто не может с уверенностью ответить на этот вопрос. Однако можно констатировать, что общественные круги США уже подняли вопрос о национальных приоритетах политики США. Все более отчетливо выдвигается новая цель: противодействие «раздутой» внешней политике США с ее неизбежно милитаристским уклоном.

Излишек, «перебор» вооружений — об этом заговорили видные демократы, перешедшие теперь в оппозицию. Аверелл Гарриман — председатель комитета по вопросам

внешней политики Совета демократической партии следующим образом выразил эту точку зрения:

— Речь уже не идет о выборе между пушками и маслом. Ныне вопрос стоит так: более мощные орудия или внутреннее здоровье нашей страны.

Эти слова проливают свет на итоги голосования в сенате в начале августа 1969 года по вопросу о создании системы противоракетной обороны, получившей название «Сейфгард». Правительственное предложение о том, чтобы начать создание этой системы, получило пятьдесят один голос «за» и пятьдесят «против» — неслыханный результат голосования по важному военному и внешнеполитическому вопросу. Это голосование было равносильно поражению правительства, но формально Никсон, комитет начальников штабов и Пентагон добились своего.

Арифметическое соотношение голосов в конгрессе по вопросу о «Сейфгарде» не является, очевидно, случайным и скоропреходящим: в начале 1970 года по инициативе пятидесяти одного из ста американских сенаторов был внесен проект резолюции, требующий значительного сокращения американских войск в Европе. Оппозиция демократической партии уже дает себя знать.

Разработка альтернативной внешнеполитической и внутривнутриполитической программ общественностью продолжается. То, что ею занялись в самом конце шестидесятых годов не только «мозговики» демократической партии и вообще либеральных кругов, но «мозговики» левых профсоюзных кругов — это новое явление.

В 1969 году возник политический оппозиционный центр в недрах профсоюзного движения — «Союз профсоюзного действия», образованный двумя профсоюзами: «Международным братством водителей грузовых машин» и «Объединенным профсоюзом рабочих автомобильной и авиационной промышленности», охватывающими вместе примерно четыре миллиона человек; к ним затем присоединился профсоюз рабочих химической промышленности со 110 тысячами членов.

СПД предложил программу, соединившую экономические и политические требования: прекращение войны во Вьетнаме, отказ от создания системы противоракетной обороны (АФТ — КПП высказалась за ПРО), переговоры с Советским Союзом, Англией и Францией относительно прекращения всех ядерных испытаний и сокращения как наступательного, так и оборонительного стратегического оружия, принятие законодательства, на основе которого был бы осуществлен перевод военных отраслей на рельсы гражданского производства при обеспечении полной занятости, немедленное сокращение военного бюджета на 20 миллиардов долларов.

Новый профсоюзный центр выдвинул самый необходимый в тактическом отношении лозунг: единство всех групп, выступающих за обновление страны и ее политики. В программном документе СПД, который называется «Соглашение о совместных действиях», сказано о цели сближения рабочего движения с негритянскими организациями, со студенческими и академическими группами, с реформистской оппозицией в демократической партии. Эта тактика противопоставлена курсу правых на раздраживание «взбесившегося обывателя» для того, чтобы направить его против негра и против «интеллектуала».

У СПД есть своя «южная стратегия», противопоставленная южной стратегии Никсона, опирающегося на диксикратов. СПД намеревается активно действовать на Юге — особенно среди неорганизованных масс, все еще составляющих здесь весьма высокий процент. Если правые хотят иметь в тылу крупных индустриальных и интеллектуальных центров нечто вроде своей «Вандеи», то левое профсоюзное крыло в свою очередь стремится лишить вождей «Вандеи» свободы маневра, создать им угрозу с тыла.

Возникновение нового левого профсоюзного центра уменьшает ту пропасть, которая зияла в течение многих лет между Коммунистической партией США и профсоюзным движением. Левое крыло профсоюзного движения снова существует, и Коммунистическая партия в решениях своего XIX съезда (проходившего 30 апреля — 3 мая 1969 года) предупредила, что «величайшей опасностью было бы недооценивать процесс радикализации, происходящий в рабочей массе».

Оживление рабочего движения — это большое изменение и в личных судьбах американских коммунистов. Во второй свой приезд в США в 1967 году я познакомилась с семьей коммунистов. Глава семьи — в прошлом профсоюзный организатор, попавший в период маккартизма в черные списки и лишившийся работы. Потом пришлось работать водителем грузовика; когда атмосфера стала немного легче, получил работу преподавателя математики в школе. Жизнь на протяжении многих лет — скитания, бедные жилища, долги. По временам ощущение тупика.

— Отцу очень трудно. Он готов жизнь отдать, если надо. Но мы не знаем, что надо делать.

Это говорит дочь. Такие настроения были, наверное, нехарактерны для основной массы коммунистов, однако и они также имели место. Гэс Холл в выступлении перед коммунистами, работающими в промышленности, в 1968 году говорил о том, что «...наши товарищи в промышленности... не шли в ногу с процессом радикализации и возрастающей активности рабочих».

В семье, с которой я познакомилась, дочь и мать также коммунистки. Дочь и ее друзья заняты созданием какого-то «нового театра». Конечно, участвуют в антивоенном движении. Она пишет антивоенные стихи. Мать говорит о дочери:

— Меня она беспокоит. Бросила учиться. Теперь этот театр. Вообще меня беспокоит их поколение. Кажется, что у них мало чувства ответственности. Нет дисциплины.

— Я не хочу говорить о дисциплине. Но я принимаю ответственность. Убеждения — это и есть, собственно, ответственность, — возражает дочь.

Но отец, мать, дочь — они все трое говорят все же на одном языке. А четырнадцатилетний сын и брат их убеждения и участие в демонстрациях считает «старомодными» и «блажью», а главное, это делает его «смешным» в школе.

— Это потому, что он рос тогда, когда с ним нельзя было откровенно разговаривать. С Джин мы всегда говорили обо всем, как со взрослой. А при нем молчали...

Все бури США пятидесятых и шестидесятых годов пронесли над этой семьей. Наверное, не так-то легко было каждому из членов компартии, когда начался подъем либерального движения, а затем возникла «новая левая оппозиция», определить свое отношение и к либералу кеннедиевского толка, и к бунтующему студенту — полуанархисту-полутолстовцу. Нелегко спорить с ультралевыми, в том числе и с негритянскими экстремистами. Нелегко вступить в диалог с профсоюзниками из Союза профсоюзного действия, которые все же записали в своих решениях изжеванную формулу осуждения «коммунистических, фашистских и военных диктатур...».

Однако эта пестрота — возвращение к жизни после глухого молчания в течение многих лет. Коммунистическая партия сформулировала в новых условиях свою позицию, которая означает отрицание сектантства. В партии раздавались голоса за политику «отстранения» от мелкобуржуазных радикальных течений. Но партия избрала другую тактику: бороться с левачками крайностями, ни в коей мере не снижая в то же время наступательности оппозиционных сил. Грань здесь часто трудно уловима. Она определяется главным образом каждодневными решениями, принимаемыми в действии.

Возможно, сложнее всего было сделать шаг навстречу молодому поколению — и потому, что партия мало пополнялась молодыми в годы гонений (у нее долгое время не было возможности высказаться перед ними), и потому, что именно новое поколение шестидесятых годов особенно воинственно отвергало все «старые партии» и «устаревшие мировоззрения», причисляя к ним и коммунистическую партию и марксизм. Тем не менее XVIII съезд компартии США сказал о том, что «в силу своей численности, уровня борьбы и взаимосвязей между молодежными проблемами и проблемами общества в целом молодежь как группа уступает лишь негритянскому населению в качестве потенциального союзника».

Когда в партию снова пошла — в конце шестидесятых годов — молодежь, выяснилось, что для нее психологического барьера во взаимоотношениях с молодежью из «новой левой оппозиции» почти не существует. И в университетах и в негритянских гетто велись совместные бои. Молодые коммунисты участвовали в кампании против призыва в армию.

— Мы легко находим общий язык,— говорили нам молодые американцы-коммунисты в ответ на наш вопрос. Для них это не было проблемой.

Левая часть рабочего движения пошла, таким образом, навстречу негритянскому бунтарю из гетто, навстречу либералу-интеллекту и радикалу из «новой левой оппозиции».

Тем временем происходил и встречный процесс: фигура рабочего снова обрела знак плюс в сознании радикала из «новой левой оппозиции». Подтолкнул к этому и собственный и международный опыт.

События во Франции в мае 1968 года произвели большое впечатление на американское студенчество. «Баррикады» стали *mot d'ordre* — лозунгом дня. В крупнейшем и одном из наиболее воинствующих университетов США — Калифорнийском — в июне 1968 года собрался митинг в поддержку французских рабочих и студентов. Когда появилась полиция, чтобы разогнать митинг, были построены баррикады, вспыхнуло пламя пожаров...

Из майских событий 1968 года во Франции «новая левая оппозиция» сделала немало ложных выводов: она, как и «сверхлевые» в самой Франции, обвиняла французскую компартию чуть ли не в предательстве. Но был извлечен и другой урок: без рабочего класса успеха в борьбе добиться невозможно. Самая активная организация «новой левой оппозиции» — «Студенты — за демократическое общество» на своей национальной конференции в декабре 1968 года заявила о том, что она намерена стать движением не только студентов, но всей революционной молодежи. В резолюции «Вперед — к революционному молодежному движению» было сказано, что СДО отказывается от своего определения молодежи как самостоятельного класса и считает необходимым интегрировать борьбу студентов в борьбу всех трудящихся.

Все это было много ближе к марксизму, чем «неортодоксальный марксизм» Маркузе. Сам Герберт Маркузе был несколько раз освистан молодежными аудиториями.

Печатные издания организаций «новой левой оппозиции», как, например, «Движение» на Западном побережье, стали помещать материалы о событиях на заводах. Возникло понятие «уорк-ин» (*work-in*) — что-то вроде агитационной работы студентов среди рабочих. Важное значение имеет то, что в феврале 1970 года возникла молодежная марксистско-ленинская организация «Союз молодых рабочих за освобождение». Развитие политического движения в рабочем классе и хождение студентов «в народ» начало давать свои плоды. Участие студентов в пикетах бастующих рабочих стало в 1968—1970 годах входить в студенческий «быт», как вошли в него в 1966—1967 годах отказы от воинской службы. «Новая левая оппозиция» открыла наконец для себя рабочего.

Движение мысли внутри «новой левой оппозиции» сказалось и на воинствующем негритянском движении. Как раз тогда, когда полиция предприняла свою акцию по физическому истреблению «Черных пантер», в этой организации наметился отход от националистических перегибов. «Черные пантеры» пересмотрели свой прежний лозунг «У черных нет союзников среди белых» и вместо него выдвинули как цель единство трудящихся независимо от цвета кожи и создание «Объединенного фронта борьбы против фашизма в Америке». В подготовительной конференции, созванной «Черными пантерами» под этим лозунгом в июле 1969 года, приняло участие три тысячи человек; 80 процентов участников были белыми. Этот поворот, наметившийся в одной из воинствующих негритянских организаций, бесконечно важен. США — единственная страна из западных стран, где национальное меньшинство — 25 миллионов человек — так велико и где оно поднялось на восстание.

Сумеют ли белые и черные левые организации справиться с национал-шовинизмом и националистическим экстремизмом? Сложится ли между левыми рабочими организациями и рабочим движением в целом и левыми интеллигентскими кругами прочное взаимодействие? Это решающие вопросы внутреннего положения США. Ответ на них дадут события семидесятых годов. Жизнь подвела, однако, США к тому рубежу, когда исключить сильные оппозиционные группировки из политической жизни уже невозможно.

Революция? Расовая война? Фашизм? Война и апокалиптическая катастрофа? Все эти варианты называют американские политологи и философы, гадая о будущем Америки.

Одно можно утверждать с полной уверенностью: у правительства Никсона не так уж много резервов для того, чтобы избежать острого противостояния левых и правых сил, чтобы, идя правоцентристским путем, выйти без поражений из испытаний, которые уготовило ему развитие внутренних событий в стране.

Эра суровости способна вызвать ускоренный процесс рассеивания оппозиционных сил, и без того мало связанных воедино. Она способна вызвать и перерождение части оппозиционных сил: кто-то так и останется на позициях отстранившегося от «традиционного общества», не найдя себя и так и не успев вступить в борьбу; кто-то, устав от борьбы, сломается и вернется в цепкие объятия «кобыденной Америки»; кому-то покажется соблазнительным отождествить себя с торжествующей силой, совершить поворот на 180 градусов — надеть военную каску или, вступив в военизированные отряды ультра, встать на защиту чистопородной белой и не терпящей ереси Америки. Такие повороты возможны и среди ныне сверхлевой молодежной части оппозиции. Такие повороты случаются. Они известны истории. Однако в процессе развития оппозиционного движения образовались новые линии соприкосновения, новые силовые поля, что в свою очередь способно компенсировать возможные потери.

Самое заметное, что происходит в настоящее время с Соединенными Штатами, это то, что у американской нации формируется новое самосознание. Вера в свою «лучшую систему» и «непогрешимость» разбита. Соединенные Штаты становятся страной, совершающей ошибки и попадающей впросак, страной, проигрывающей войны (или по меньшей мере не выигрывающей их), страной с обыкновенными заботами и очень сильным стремлением всего населения лечить свои собственные болезни.

Милитаризация с последующим выходом на новые международные конфликты — теоретически этот путь всегда «открыт» перед США, как и перед любой другой империалистической страной. Однако народ этой страны огромных просторов с трудом переваривает мысль о войне во имя «жизненных интересов» США в заокеанских районах и — если нет большой идеи, какой была идея уничтожения фашизма во второй мировой войне, — восстает, как только войны США начинают перерастать масштабы «малых экспедиций». Это доказал Вьетнам.

И вместе с тем это не изоляционизм и не неоиоляционизм. Американский капитал стал «интернационален». Однако и простой американец начал приобретать международное самосознание. Бурлящая рядом Латинская Америка и Вьетнам сделали свое дело. Вьетнам, Латинская Америка и шире — отношение к борьбе других народов за свою свободу — стали в силу конкретных обстоятельств важнейшим пробным камнем американской либеральной мысли и американского радикализма. Для каждого народа империалистической страны настает время, когда ему приходится учиться отождествлять себя с интересами других народов — против своего правительства, проводящего несправедливую политику. Этот путь прошли в свое время демократические силы Франции, создавшие сильную оппозицию колониальным войнам Франции во Вьетнаме и в Алжире. Для американцев эта пора пришла теперь.

Невозможно недооценивать силу духовного кризиса и кризиса власти, возникшего в США: сопротивление расизму, угрозе милитаризации и угрозе фашизма, «носящейся в воздухе». Сопротивление привело к вооруженным боям на улицах, и это так сильно напоминает старую, все повывавшую и пережившую Европу. Стремление к новому мировоззрению и к новым социальным отношениям иногда так же внезапно затухает, как внезапно вспыхивает. Но трудно ждать от оппозиционной Америки такой внезапной «усталости» — она только в начале своего пути.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ПИСЬМА ИНЕССЫ АРМАНД

Инесса Федоровна Арманд — видный деятель нашей партии и международного женского движения, большевичка-подпольщица, долгое время работавшая под непосредственным руководством В. И. Ленина, — в революцию пришла не сразу. Выйдя девятнадцати лет замуж за сына фабриканта, Александра Евгеньевича Арманда, она длительное время жила интересами семьи и хотя и интересовалась социальными проблемами, но была еще далека от революции. Однако революционные веяния проникли и в семью Арманд: Инесса завязывала связи с революционерами, знакомилась с нелегальной литературой и в 1903 году, став убежденной социал-демократкой, вступила в ряды большевиков. «Марксизм, — пишет она в одном из писем, — для меня было не увлечение молодости, а завершение длительной эволюции справа налево». С этого момента Инесса решительно порвала с прежней обеспеченной жизнью в буржуазной семье, раз и навсегда встала на путь революционной борьбы и твердо выдержала все испытания полицейских преследований — арестов и ссылки. Никогда, в самые тяжелые годы реакции, не теряла она веры в грядущую победу революции и все свои силы и способности отдала делу партии — отдала тому, чтобы эту победу приблизить.

Публикуемые ниже письма (в отрывках), за исключением первых, относятся к раннему периоду революционной деятельности Инессы, когда она подпольно вела пропагандистскую и организационную работу в районах Москвы в 1904—1907 годах, участвовала в создании социал-демократической организации в Пушкине, вела пропаганду среди ссыльных в Мезени и подпольную работу в Петербурге в конце 1908 года. В условиях царской цензуры все это, разумеется, не могло найти отражение в частной переписке — вернее, отражалось только косвенно, через письма из тюрьмы и ссылки, или намеками в виде отдельных фраз в письмах о том, что она осталась без ног от беготни перед Первым мая, что в Мезени у нее постоянно очень много «гостей», что ссыльные отмечали 9 Января и т. д. Исключением являются письмо к Аскнази и письма из тюрьмы, посланные с оказией.

Таким образом, источником для истории революционной деятельности Инессы предлагаемые письма могут служить только в известной степени.

Они интересны другим. Ее описание как очевидца отдельных событий революции 1905 года, рассказ об условиях жизни в тюрьмах, московской и архангельской, описания жизни ссыльных в Мезени, наконец отзвуки в письмах на культурные события того времени — диспут о символизме, новые картины в Третьяковке и т. п. — дают живую картину эпохи. Очень интересно письмо конца 1908 года, где она пытается объяснить отход значительной части интеллигенции от революции после ее поражения. В этом письме она пишет и о том, как она сама пришла к революции и как революционная борьба стала делом ее жизни.

Письма интересны и тем, что перед нами возникает образ живой Инессы с ее думами, радостями и горестями. Мы видим ее человеком, полным энергии, с горячим сердцем, светлой голозой и широкими интересами. Видим ее стойкость и оптимизм в трудные моменты жизни, ее бурную радость после побега из ссылки и тоску по детям, с которыми она разлучена. Видим, и какую трудную задачу ставит подчас перед ней

Настоящая публикация подготовлена дочерью Инессы Арманд — Инной Александровной Арманд.

жизнь: как соединить свои обязанности перед партией, перед революцией с обязанностями перед семьей — тяжело больным мужем и детьми. Все это искренне и просто отражено в письмах к близким, и в этом их ценность.

Почти все публикуемые письма Инессы адресованы Александру Евгеньевичу и Владимиру Евгеньевичу Арманд. Включено только одно письмо к детям — писем к детям за этот период почти не сохранилось — и два письма к знакомым социал-демократам — Анне Яковлевне и Владимиру Монсеевичу Аскнази и Александру Николаевичу Родду.

Со своим первым мужем, Александром Евгеньевичем Армандом, у Инессы и после того, как они разошлись, сохранились близкие, дружеские отношения. Инесса очень ценила его внутреннюю культуру и большую доброту. Да и политически она доверяла ему, так как Александр Евгеньевич, не будучи активным революционером, все же сочувствовал революционному движению и оказывал партии отдельные услуги. К тому же их связывали дети, которых они совместно воспитывали. Переписка между ними продолжалась до конца жизни Инессы. Основной темой их переписки всегда оставались пятеро детей — заботы об их здоровье, воспитании, успехах в школе и т. д. Из того, что писалось о детях, многое, конечно, носило характер «текущих дел», повседневных мелочей — включать все это в публикацию не имело смысла.

С Владимиром Евгеньевичем Армандом Инесса связала свою жизнь с 1903 года — с переломного года своей жизни, когда она встала на путь большевика-подпольщика. Владимир Евгеньевич — социал-демократ по убеждениям — был студентом Московского университета и подавал большие надежды как будущий ученый-биолог. Однако тяжелая форма туберкулеза, которым он заболел в тюрьме в 1905 году, вынуждала его постоянно прерывать учебу. В январе 1909 года, еще совсем молодым, он умер в Ницце. Приехавшая к нему Инесса застала его уже умирающим.

Публикация кончается письмами 1908 года. Следующий, 1909 год ознаменовал новый этап в жизни Инессы. Три с половиной года она находилась в эмиграции. Для Инессы это были годы непрерывной учебы, углубления и расширения своих теоретических познаний, годы непосредственного знакомства с международным рабочим движением и практической работы в партийных группах Брюсселя и Парижа. А главное, это были годы, когда она познакомилась с Владимиром Ильичем Лениным и Надеждой Константиновной Крупской, часто общалась с ними, работала по заданиям Ленина, училась у него, набиралась опыта. Все это привело к тому, что уже в эти годы Инесса из рядового подпольщика выросла в крупного деятеля партии, успешно выполняла ряд ответственных поручений партии в эмиграции и подполье, а позднее немало сделала для пропаганды в международном масштабе ленинских идей в период мировой войны и оставила ощутимый след своей работой по подготовке Октября и по строительству советской власти в первые годы революции.

И. Ф. АРМАНД — А. Е. АРМАНДУ ИЗ МОНТРЕ¹ В ЕЛЬДИГИНО

Около 25 апреля 1899 года.

...Вчера я ездила в Вэв слушать концерт. Пели и играли в temple Requiem Verdi². Музыка прямо замечательная. Хор тоже хороший, солисты недурны... Сегодня я абонировалась в Cabinet de lecture³, здешнем, и взяла книгу Жером К. Жерома, и читала и покатывалась, до того бывает смешно. Но, знаешь, хотя он и делает вид, что только шутит, а, в сущности, он затрагивает массу вопросов. У него масса идей и воззрений, которые сначала вас поражают как парадоксы, а потом с ним соглашаешься.

Я хочу приняться за химию и за «associations ouvrières»⁴. Последнюю книжку я сегодня начала читать. А химию еще не начинала. Надо будет все это регули-

¹ И. Ф. Арманд в 1899 году ездила в Швейцарию для лечения сына.

² В храме Реквием Верди.

³ Библиотека.

⁴ Рабочие ассоциации.

ровать, а то ничего не выйдет, пожалуй. Потом мне хотелось бы кое-что написать. Знаешь, я хотела перевести «Митрошкину жертву»¹, но забыла перед отъездом купить «Начало». Так досадно, что ужас. Ну, можно будет это сделать из Москвы.

...Милый, тут очень прекрасно, но как я буду рада, когда снова буду в Ельдигине! Как говорит Жером, мы никогда не бываем довольны тем, что у нас есть, это старая истина, но она вечно нова, и он ее очень оригинально высказывает. Он, между прочим, берет в пример Золушку и доказывает, что, в сущности, ее крестная мать поступила очень неосторожно и что, кроме несчастья, ничего не может ожидать Золушку в ее новом положении, но все-таки тут же доказывает, что если она попала бы в другое положение, то все же была несчастлива, потому что не знала бы тогда, что под блеском и богатством может прикрываться горе. Он очень остроумно все это доказывает. И ведь действительно есть такие беспокойные характеры, которые всегда что-то хотят, что-то ищут: да большинство таково. Я знаю, может, только двух или максимум трех, которые были бы довольны своим положением и своей жизнью; да и то они, пожалуй, притворяются...

И. Ф. АРМАНД — А. Е. АРМАНДУ ИЗ МОНТРЕ В ЕЛЬДИГИНО

Начало мая 1899 года.

...Сегодня был чудный закат. Я ходила довольно долго по набережной; озеро такое тихое, без звука, солнце тихо закатывается, освещая горы самыми различными оттенками, но тоже такими мягкими, гармоничными. Прямо ты не можешь себе представить, каким необыкновенным спокойствием дышат эти горы; мне всегда кажется, что они похожи на какую-то душу, которая так высоко стала над всем, что навсегда успокоилась и удовлетворилась. Да, здешние горы именно такие успокоенные и удовлетворенные; и эта величаявая умиротворенность производит страшно сильное впечатление. Как-то хочется плакать и преклоняться. Ведь себя чувствуешь перед этими молчаливыми горами такой нервной, слабой, неуравновешенной; чувствуешь себя такой суетливой, мелочной, дисгармоничной, как крикливая нота среди этой вечной гармонии, и, главное, чем-то таким еще недоразвитым, недоразвитым. Ведь (хотя это и не так) кажется, что эти горы дошли до своей точки, что они облеклись именно в ту форму, в какую им хотелось. А мы, а нам еще так много времени надо, чтобы дойти до этой точки...

И. Ф. АРМАНД — В. Е. АРМАНДУ В ПУШКИНО

2 августа 1903 года.

Дорогой Володя!

Когда сегодня утром писала тебе, совсем забыла (мне было ведь не до того) сообщить тебе одно маленькое соображение. Ты хотел сообщить человеку во вторник утром не только твое имя, но и место, где будет находиться библиотека. Последнее, насколько я понимаю, не полагается. Прости, что вмешиваюсь в это дело, но я как-то недавно собиралась сделать такой же промах, и он меня сразу заставил молчать. Присылаю тебе обещанные книги...

И. Ф. АРМАНД — А. Е. АРМАНДУ ИЗ МОСКВЫ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Октябрь 1904 года.

Мой дорогой Саша, накопилось так много к тебе материалу, что прямо придется писать не письмо, а целую книгу. Начну с детей: они были в большом восторге от карточек, которые ты им послал, и все собираются тебе ответить. Варе страшно понравилось, что ты ее называешь «жуликом». Дети теперь все здоровы. Анд-

¹ Николай Рубакин «Митрошкино жертвоприношение (Из рассказов о голодном годе)», журнал «Начало», № 1—2, 1899.

рюша был очень, очень болен. У него была очень сильная дизентерия, так что доктор мне сказал, что если бы он не был крепким, здоровым мальчиком, то он был ни за что не выдержал. Теперь он поправляется... Федю почему-то не приняли в Медведниковскую [гимназию]; по-моему, попросту вышло какое-то недоразумение... поместила его к Залесской, где его даже приняли во второй класс... У Залесской дело поставлено хорошо, и мне очень нравятся как и сама Залесская, так и ее преподавательницы, но все же это только przygotowительная школа, а в дальнейшем ведь было бы желательно, чтобы он попал в Медведн[иковскую], так как это все же лучшая гимназия в Москве... Саша учится ничего себе, хорошо... Недавно было родительское собрание, я там была... было интересно и довольно дельно. Саше довольно много дела в нынешнем году, они стараются, чтобы их ученики были вне конкурса. — Я детей водила раз в театр на «Снегурочку», им страшно понравилось, как-нибудь возьму их опять; им ужасно хочется видеть Фауста, может быть, сведу их как-нибудь. Недавно было два дня праздника, и я их на эти два дня отпустила в Соколово к Котову (трех мальчиков), отпустила их с Дашей. Они были страшно возмущены, что Даша их сопровождает: что же, мол, за ручку, что ли, нас будут водить! В один из этих дней мы с Иночкой отправились в Ельдигино. Выпал как раз первый снег, так что мы ехали на санях. Иночке было страшно весело. Она там играла с девочками Старшинова и Наума, так что она мечтает снова попасть туда. Я переписывала книги в нашей библиотеке: мне хочется привести ее по возможности в порядок. Я теперь все книги переписала, теперь буду их систематизировать и записывать в известном порядке...

Что тебе сказать о себе. Я здорова и в этом отношении чувствую себя несравненно лучше, чем эти последние два-три года. Работы пока все нет. Я тебе описала наши планы с Ваней¹, но пока еще не удалось устроить, потому что большие затруднения с объявлениями. Надеюсь, что теперь этого скоро можно будет добиться. Хочу снова пока что обратиться к переводам.

Была в театре, видела «Слепых» и т. д. Первые производят потрясающее впечатление: в театре совсем темно, играет музыка, тихая, отдаленная, грустная; на сцене тоже темно, так что зритель совершенно не замечает, как занавес распахивается. И вот в окружающей [темноте] перед тобой вдруг начинает что-то оформливаться, что не сразу разбираешь, наконец начинаешь различать лес, большие деревья лежат на земле, между ними есть что-то еще, разбираешь наконец, что это люди! Получается такое впечатление, что с вышины прилетаешь на землю, впечатление очень сильное. Сыграно, в общем, слабовато. Они до таких вещей еще не доросли. Теперь играют Иванова — говорят, замечательно². Была еще на двух заседаниях в психологическом обществе (читали о реализме) и в секции того же общества, где читали о Метерлинке. На втором я от тоски чуть язык не проглотила. На первом реферат был скучный, или, точнее сказать, вместо реферата было пустое место, но возражали интересно. Референт был против материалистического понимания истории, возражали ему Богданов, Суворов и т. д. как поборники материалистического понимания истории. Народу было очень много. Мне, в общем, немного напомнило за границу. Только там все это гораздо энергичнее и живее, там этого самого референта так бы распушили, что от него осталась бы одна слизь. И мне, честное слово, хотелось бы этого! Уж очень досадно, когда подобные глупцы лезут в критики.

В Москве были студенческие демонстрации, окончившиеся избиением части студентов. Во время второй демонстрации они с развернутыми знаменами прошли Никитскую, Бронную, пересекли Садовую и вышли на Живодерку, где и произошло избиение; полиция подговорила дворников и... лавочников! Уж эти Kleinbürger³. Недавно на Рязанском вокзале произошли печальные вещи! Воло-

¹ Ваня — Иван Ильич Николаев, студент-медик, жил в семье И. Ф. Арманд, пока учился. И. Ф. Арманд собиралась вместе с ним зарабатывать уроками на дому.

² «Слепые» Метерлинка и драма Чехова «Иванов» ставились Московским Художественным театром

³ Мелкие буржуа.

годские запасные приехали в Москву. Вместо еды им дали горячей воды с капустой, они стали требовать еды, заявляя, что уже дней пять, как не ели горячего. Им отказали, тогда, возвращаясь на поезд, они разгромили лавки, утаскивая вино, хлеб, колбасу. Возвратившись на вокзал, они снова стали требовать еды, офицер ничего не отвечал, а когда они стали подступать к нему с кулаками, он выстрелил и убил одного из запасных, тогда остальные бросились на него с палками и камнями. Вызваны были войска, их тоже приняли палками и камнями. Тогда было дано 2 холостых и 2 боевых залпа, 6 чел[овек] убито, 50 раненых. Их затем силою разместили в вагон.

Да, а слышали ли вы о съезде земских представителей в Петербурге? Здесь ходит упорный слух, что они созваны для того, чтобы выработать конституцию, а другие уверяют, что хоть они и не для этого созваны, но все же будут обязательно ее требовать. Конституция, конечно, уже ходит по рукам. Между прочим, она прекущая, учреждаются две палаты и т. п. прелести. Либералишки несчастные! Душа у них коротка!..

По Москве ходит презабавный анекдот: одно москов[ское] высокопоставленное лицо (имена догадывайся сам, пожалуйста), найдя, что московское купечество слишком мало жертвует на нужды некоего всерос[сийского] учреждения (тоже прошу догадаться, какое), собрал глав[ных] золотых мешков Москвы и стал спрашивать их, почему они так мало жертвуют. Один из них, Морозов, встал и заявил, что в начале года он сделал большое пожертвование (40 тыс. одеял) и что через несколько времени его приказчики стали покупать их по дешевым ценам. После этого он, Морозов, решил больше ничего не жертвовать в данное учреждение. Высокопоставленное лицо страшно обиделось, и на другой день Морозов был призван к Крестикову, который заявил ему, что арестовывает его. Морозов ответил: «Хорошо, только позвольте мне распорядиться относительно своих дел и по телефону переговорить с братом». Крестиков предоставил телефон. «Брат, — говорит по телефону Морозов, — меня арестовывают, ввиду этого я больше не могу заниматься своими делами и потому прошу тебя завтра же прекратить работу на всех моих фабриках». Крестиков, конечно, в ужасе (у Морозова не менее 16 тысяч рабочих), просит его отменить решение, но тот стоит на своем. Кончилось тем, что его отпустили...

И. Ф. АРМАНД — А. Е. АРМАНДУ ИЗ МОСКВЫ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

7 января 1905 года.

...Ну, кажется, сообщила тебе все семейные новости. Теперь перейду к общественным. Ты, конечно, уже читал и знаешь, что правительственная весна пришла к концу, очень усиленно говорят за последнее время, что Святополк-Мирский уходит и что его замещает Оболенский¹ (товарищ министра финансов). Но, конечно, то, что правительственная весна прошла, нисколько не изменяет общего положения дела. Был целый ряд демонстраций: в Петербурге, Москве, Варшаве, Харькове и т. д. Всюду были избиения. В Москве очень даже жестокие. Демонстрация происходила на Тверской. Демон[страция] разбилась, как рассказывали мне, на несколько кучек. Часть демонстрантов шла с Кузнецкого моста и там была избита, другая часть шла со Страстного монастыря, но успела дойти только до Леонтьевского переулка: ее встретили жандармы и городовые с шашками наголо, врезались в толпу и рубили направо и налево, рубили всерьез, так что раненых было довольно много и несколько убитых. Между прочим, одна курсистка. Она растерялась, отделилась от толпы и, растерявшись, на углу пер[еулка], остановилась; один из «фараонов» тут и рубанул ее и перерезал шею. Один студент, очень мирный по натуре, философ, вечно разрешающий какие-нибудь мировые вопросы и лично стоящий принципиально против демонстрации, пошел на нее из товарищеских чувств, чтобы при случае помочь. Когда толпа от напора «фарао-

¹ Министр внутренних дел Святополк Мирский был заменен Бузыгиным.

нов» побежала, он бежать не пожелал и остался один; на него набросились не то четверо, не то пятеро и так избили его, что он потерял сознание и не знает, как очутился в каком-то магазине. Говорят, что он теперь стал не только философ, а и еще кое-чем. Наконец, третья группа демонстрантов пошла от Брюсовского пер. вниз по Тверской. Ее совершенно так же встретили городовые, причем тут не только рубили, но некоторые пристава даже стреляли. Напр., был такой факт: один пристав ворвался в толпу с револьвером и стал гнаться за каким-то студентом, догнал его и почти в упор выстрелил ему в голову. Демонстрантов вытеснили в переулок, а затем на Никитскую. Затем перестали их преследовать, так что они прошли всю Никитскую, Арбат и дошли до конца Zubовского бульвара. За ними шла толпа городовых и дворников, причем количество последних постоянно увеличивалось. Дойдя до конца бульвара, демонстранты стали расходиться, не успела разойтись небольшая кучка, на нее набросились дворники и жестоко избили. Тут был избит и наш бедный Ваня. Его било пять человек, и он пришел домой распухший, сгорбленный, хромой; так было его жаль, что я и сказать не могу, и так больно и обидно за него. А дети, вероятно, никогда не забудут этого впечатления! Да, вот какие дела творятся на свете! Ходит слух, что перед демонстрацией Трепов получил предостережение, что если будут производиться какие бы то ни было зверства, то он будет казнен. Должно быть, это правда, потому что за последние три дня на него произведено три покушения, а со вчерашнего дня ходит упорный слух, что он убит. Не знаю, подтвердится ли это? Во всяком случае он покидает Москву и уезжает на Восток. Среди либералов брожение все продолжается. Во-первых, был съезд земцев в Петербурге, на котором они потребовали свободу слова, собраний, союзов, печати, неприкосновенность личности, амнистии всем политическим; избрание земск[их] гласных на уравни[тельных] началах, уравнения в правах крестьян с остальными русск[ими] подданными, уничтожения волостного суда, учреждения мелкой земск[ой] единицы, и наконец необходимость участия выборных от лица народа (избранные всеобщим равным и тайным голосованием) в законодательной власти. И созыва земского собора. Как видишь, это все недурно-таки. Через несколько времени, после демонстраций в Питере, Петербургская Дума попыталась привлечь Клегельса (полицеймейстера) к суду за превышение власти, за то, что городовые позвали дворников себе на помощь для избития демонстрантов, тогда как они на это не имеют никакого права; и, кроме того, один гласный предложил больше не вотивать деньги на полицию, а вычеркнуть эту сумму из городского бюджета, да и все тут. Первое нельзя было сделать Думе как учреждению, но можно сделать каждому отдельному домовладельцу, кажется, собираются это сделать. Затем Московская Дума при обсуждении бюджета стала говорить о всех необходимых реформах, причем пришла к заключению, что для того, чтобы провести эти реформы, необходимо провести главную реформу, т. е. чтобы представители от всего народа, избранные всеобщим, прямым и тайным голосованием, принимали участие в законодательной власти, в этом смысле был составлен адрес на высоч[айшее] имя и послан Кристи для передачи в Петербург. Из шестидесяти гласных, присутствующих на этом заседании, только трое (Герье, Найденов и еще какой-то) отказались подписать адрес. Кристи, верный себе, адрес не послал, а послал телеграмму в Петербург, куда Голицын был вызван и получил выговор. Его, конечно, переизберут в головы, но думают, что его не утвердят. Если так будет, то большинство гласных Думы выйдут в отставку. — Герье по случаю отказа подписать адрес торжественно и громогласно освистан студентами, причем ему сначала прочитали, почему его освистывают. Через некоторое время биржевой комитет присоединяется к адресу Думы и преподносит Голицыну благодарственный адрес. Биржевой комитет! Это что-нибудь да значит! Затем во всех городах России банкеты присяжных поверенных с огненными речами, оканчивающиеся адресами, в которых присяжные заявляют, что только тогда законное судопроизводство будет возможно, когда будет свобода слова, собраний и т. д. и когда избранные от всего народа и т. д. Одним словом, то же самое, сказанное только в более или менее свободной, смелой форме. Затем

выступают земства: из Вятского, Калужского, Ярославского, Полтавского, Черниговского и нек[оторых] других земств посылаются подобные же адреса, правда написанные в довольно робкой форме, но требования всюду одни и те же. Самое смелое — заявление Черниговского земства, и оно за это получает «дерзко и бестактно». Тем не менее через несколько дней Московское земское собрание делает такое же заявление. Правда, этот московск[ий] адрес огирлянден цветами красноречия и другими сладостями, но адрес все же говорит все о том же. Я была на этом заседании. Была такая масса народа, что оба зала были переполнены: мы стояли по трое на стуле. Просили перенести заседание в большой зал, но, конечно, Трубецкой¹ на это не решился. В общем, публика была разочарована: она ожидала, что адрес будет обсуждаться, его же только прочитали и затем был молебен; публика осталась, все надеясь, что будет еще что-нибудь, но после молебна заседание объявили закрытым. Какой-то оратор обратился было к гласным. «Господа гласные!» — говорит, а ему кричат: «Оратор, это не гласные, а певчие». На другой день объявлено заседание и рассмотрение докладов о народном образовании. Публики опять столько же, сколько и накануне. Но в этот день в дневных телеграммах был, во-первых, указ, во-вторых, правительственное сообщение, в котором заявлялось, что все председатели, допустившие в земских заседаниях обсуждение предметов, не касающихся земств (другими словами адреса), а носящие характер общегосударственный, будут предаваться суду. Гласные очень взволнованы и довольно значительным большинством решают отложить заседание до 8 января, чтобы хорошенько обдумать и обсудить, как им реагировать на данное сообщение. (Завтра будет это заседание; что-то будет!) Затем заседание объявляется закрытым, но публика не расходится. Встает на стул один студент и что-то читает: немного поодаль в другом месте что-то читает другой и т. д. — Вечером того же дня должен был состояться большой банкет в «Эрмитаже», но он запрещен полицией. В тот же день вечером должно было быть заседание Думы, на котором студенты должны были прочесть Думе благодарность и одобрение. В Думу направляется и там скучивается большая толпа, как говорят, больше чем в тысячу человек. Но в зале Думы может поместиться только 200 человек, и заседание не состоялось, но зато банкет, запрещенный в «Эрмитаже», состоялся в «Континентали»; на нем присутствовало более трехсот человек. Говорят, что речи были замечательно энергичные и интересные. Я, к сожалению, не попала, хотя легко могла бы попасть! — Недавно была на обеде (знаешь, четвертого каждого месяца бывает). Было больше 100 человек, а прошлый месяц было около 400 человек. В этот раз, кажется, не так было оживленно, как бывает вообще, вероятно, потому, что пришлось скитаться. Обед был назначен в «Континентали», но запрещен, перенесен в «Прагу»; там хоть это и не было официально, но, очевидно, тоже последовало запрещение, наконец нас приютили в Б. Московском. Говорили все-таки довольно много. Были, между прочим, речи след[ующего] содержания, конечно, лишь вкратце и приблизительно: «Черниговцы получили — дерзко и бестактно — через неделю Московск[ое] и некот[орые] другие земства были тоже дерзки и бестактны, призывали все общество быть дерзкими и бестактными». — Другой доказывал необходимость объединяться и организовываться, так как необходимо не только делать заявления, но и действием их подкреплять. Как действовать, он не решает еще указать, но во всяком случае общество должно постоянно, ежеминутно протестовать против всяких запрещений, неразрешений и т. д. В этой речи наряду со стремлением действовать проглядывала нерешительность, дряблость наших либералов, им хочется, и вместе с тем они не подготовлены, они боятся, они никак не могут отучиться от эзоповского языка. Между прочим, по поводу эзоповского языка произошел след[ующий] забавный инцидент. Встает председатель и делает поистине эзоповское заявление; за ним встает другой оратор и заявляет, что считает, что «заявление г. пред-

¹ Трубецкой П. Н. — председатель Московского губернского земского собрания.

седателя было сделано в очень неправильной форме. Нам давно пора отучиться от эзоповского языка, нам следует говорить прямо, безбоязненно». Ну, думаю я, наконец-то услышим нечто энергичное и смелое. Но, увы! После своего заявления оратор впал в тот самый грех, который только что порицал, а уж слово конституция (не говоря уже о чем-либо более крайнем) гг. либералы никак не могут решиться выговорить, подавиться боятся. Некоторые так и называют ее «прекрасной незнакомкой»...

Приписка 8 января 1905 года.

Только что узнала, что на юге начались крупные крестьянские волнения. В Баку была громадная стачка. В Петербурге забастовало 76 фабрик и заводов и все типографии, в Риге тоже забастовал большой завод.

И. Ф. АРМАНД — А. Е. АРМАНДУ ИЗ ПУШКИНО НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

14 января 1905 года.

...А у нас вроде революция! Оживление необычайное. Весь Петербург бастует, начинает бастовать и Москва; забастовало уже все Замоскворечье, и не только фабрики, но и некоторые мелкие заведения вроде прачечных. Бастует много типографий, так что большинство газет не выходит (а в Петербурге ни одной). На днях на улицах в Москве было расклеено следующее остроумное объявление: «Стачки не только в Москве и Петербурге, но даже и в Вестфалии являются делом японцев, которые тратят миллионы на провокацию и т. д.». Главное написано, что это сообщение от какого-то Латинского агентства! Несуществующего. Ну не глупо ли! А как тебе нравится назначение Трепова?!

И. Ф. АРМАНД — А. Е. АРМАНДУ ИЗ ТЮРЬМЫ ²

Начало лета 1905 года.

Мой дорогой Саша, спасибо тебе за твое последнее письмо. Я была до слез тронута твоей преданной и самоотверженной дружбой, которую ты высказываешь в нем. Саша, какие между нами установились хорошие отношения! Какое наша дружба хорошее чувство! Честь и слава тебе...

Саша, относительно хлопот о моем освобождении, то ты слишком много не возись, ведь я себя чувствую хорошо, т. е. я совсем здорова, а ведь они, наверное, с тебя возьмут большие деньги, а денег ведь так мало у тебя. Относительно хлопот у генерал-губернатора я не знаю, что тебе ответить: если это общий ход хлопот об освобождении на поруки, то обратись к нему, если же это «особая милость», то не следует этого делать.

Я здорова. Одно время очень тянуло на волю, теперь это чувство успокоилось, оно, вероятно, было вызвано тем, что многих освободили на днях, ну воображение и разыгралось, а теперь это улеглось...

И. Ф. АРМАНД — А. Е. АРМАНДУ ИЗ ТЮРЬМЫ

Начало лета 1905 года.

...Знаешь, Саша, что я хотела тебе сказать: когда я была на воле, то мы с мальчиками сделали план проехать по Волге или съездить недели на две на Финляндские озера. Если у тебя есть деньги и охота, может быть, вы это выполните.

¹ После событий 9 января 1905 года Трепов был назначен петербургским генерал-губернатором с чрезвычайными полномочиями.

² И. Ф. Арманд была впервые арестована в начале февраля 1905 года и привлечена к суду за принадлежность к социал-демократической партии. В июне была отпущена на поруки, под гласный надзор полиции, в октябре амнистирована.

Я думаю, что меня еще долго не освободят, во всяком случае, вероятно, не раньше как через месяц; ведь они сказали, что освободят меня только после окончания следствия, а следствие продолжается самое меньшее 4—4½ месяца, а то 5—6 месяцев, так что вы успеете, если поедете теперь, съездить и вернуться до моего освобождения... Саша, ты обещал мне прислать вашу Думскую программу и не сделал этого; правда, она появилась в газетах, но здесь приходится читать очень спеша, чтобы передать другим, так что если тебе не лень, то вырежи эту программу из газет и пришли мне. Я ничего, здорова, как и все время. Мое хорошее здоровье здорово меня вывозит. Я рада за Ваню и Володю¹, что они на свободе... Здесь время идет понемногу, много читаю, хотя последнее время не читается как-то, погода слишком хороша и невольно мечтаешь о зелени, лесе, ну и т. д. Ну, черт с моими мечтами. А мы, говорят, снова потерпели генеральное поражение на море! Несколько потопленных судов, 4 судна, взятых в плен! Да, поражения идут чуть ли не *crescendo*². Для революции это полезно, но когда подумаешь, что нашему проголодавшемуся народу придется еще платить контрибуцию, то становится жутко, и кажется, что мы и на самом деле летим в пропасть! Надо скорей, скорей сбросить с себя это ненавистное и губительное ярмо, в этом единственный путь спасения... Спасибо тебе за деньги, Саша, теперь я обеспечена, если снова понадобится, скажу. Саша, попроси детей собрать в лесу лесных и полевых цветов и передай их тем же путем, как и письма. Мне так хочется именно диких цветов... Сашечка, еще вот что: я задумала составить маленькие лекции по истории для наших мальчуганов (я им давно обещала), и мне для них нужно бы: по английской истории Эшли и Гиббинс (у нас есть, они среди книг, которые были в нынешнем году в Москве), Guisot—*Histoire de la civilisation française*³ тоже есть, но, кажется, в Ельдигине, и, наконец, нельзя ли купить Thierry—*Histoire du thiers état*⁴. Есть и в русском переводе, может, лучше приобрести последнее. Затем мне бы хотелось что-нибудь хорошее вообще по средним векам, а по истории Германии в частности; только что-нибудь хорошее и не слишком объемистое...

И. Ф. АРМАНД — А. Е. АРМАНДУ ИЗ НИЦЦЫ В ПУШКИНО

9 ноября 1905 года.

Мой дорогой Саша, я очень давно начала это письмо, но не могла продолжать, потому что Россия была совсем отрезана от нас и не было ни писем, ни телеграмм. Известия из России глубоко волновали и радовали за нее. Хотелось так быть тоже там и также принести великому народному делу хоть самую свою скромную лепту; вообще в такие великие моменты тяжело бездействовать; вместе с радостью за общественные дела возникало, конечно, сильное беспокойство за вас всех, за тебя, за Ваню, за Боря⁵, за других товарищей, одним словом, за всех более энергичных и отзывчивых. Я и до сих пор ничего не знаю о Ване, например, о Максиме и др. Напиши. Я была очень огорчена смертью Баумана. Это был славный, хороший человек и, как я слышала, энергичный и ценный деятель. А как великолепно держались рабочие! Какие они герои; какая сила и величие в этой стройно, дружно борющейся массе. Едва ли в истории была когда-либо более великолепная, более величественная борьба. И теперь этот великий исторический момент смазан, запачкан, опорочен черносотенными погромами евреев! Это так тяжело и стыдно! И теперь в Москве черная сотня тоже начинает действовать. Страшно за всех вас! Ведь это систематическое избивание интеллигенции! Да,

¹ И. И. Николаев и В. Е. Арманд были арестованы вместе с И. Ф. Арманд, но вскоре освобождены.

² Все усиливаясь.

³ Гизо. «История французской цивилизации».

⁴ Тьерри. «История третьего сословия».

⁵ Б о р я — Борис Евгеньевич Арманд.

хотелось бы быть там, и Володе тоже хотелось бы, но надо еще потерпеть и подождать¹.

А думцы скандалят и дрожат; ведь это надо было ожидать, они не могли бы перемениться в такой короткий срок; и признаться, я от вашей головы большего и не ожидала — так как признаюсь, лично, несмотря на весь его либерализм, никогда им не увлекалась. А Гучков, говорят, заявил, что стачка — грязное средство! Вот что значит по карману-то бьет! Это какой из них отличился? А ты, мой дорогой, говорят, много работаешь, волнуешься и хлопочешь? Это ведь хорошо, правда, и я рада за тебя. Пиши мне обо всем, что там делается, мне тоже хочется знать подробности... Вообще теперь великолепное, но вместе с тем страшное время. Саша, ввиду амнистии нельзя ли раздобыть бумаги и отослать сюда: ведь это было бы очень удобно, я скажу более — это было бы необходимо...

И. Ф. АРМАНД — А. Е. АРМАНДУ ИЗ ФИНЛЯНДИИ В ПУШКИНО

Конец июля 1906 года.

Мой дорогой Саша, спасибо тебе за твои письма, я была так рада их получить. Мы едем ничего себе, хорошо. Особенно хороша была поездка по озерам: они прелесть какие красивые, и так хорошо было катить на пароходе. Эти озера очень разнообразные. В некоторых местах, например на Сейме, очень большие водяные пространства, затем в других местах они становятся совсем узкими проездами между лесом, к тому же они испещрены островками, покрытыми лесом, а это очень красиво. Мы доехали по озерам до Куопио — маленький городок на озерах. — По правде сказать, я ожидала другого немного от Финляндии. Я думала, что Финляндия как в смысле промышленности, так и в смысле земледелия опередила нас, но, насколько я могла судить (я, конечно, видела очень небольшую часть Финляндии), промышленность почти отсутствует, города, как, напр., Куопио, больше похожи на большую деревню. Земледелие тоже мало развито, во всяком случае обработанных полей встречаешь очень мало и небольших размеров. — Должно быть, сильно промышляют лесом — леса здесь великолепные — и еще не знаю чем. Может быть, финны очень культурны, но во всяком случае мне кажется, что по стадии своего экономического развития они от нас отстали: конечно, мои сведения очень поверхностны и недостоверны и вовсе даже не сведения, а впечатления...

Пока мы здесь, были беспорядки в Свеаборге, о которых ты, конечно, знаешь: много убитых, говорят от 200 до 500. «Мятеж» подавлен, и настроение тоже подавленное: «Красная гвардия» хотела объявить всеобщую забастовку, но она не удалась. Между красной и белой гвардией было кровавое столкновение, много раненых и убитых. По известиям финляндских газет, убийца Герценштейна² открыт: это русский жандарм, я его фамилию забыла, но она была помещена *en toute lettre*³. Впрочем, само собой разумеется, что это убийство могло быть только черносотенным, не раз это сделал жандарм, то, может быть, это даже не черносотенное, а... ты меня понимаешь! Трудовики и с.-д. думская фракция выпустили очень хорошее воззвание к солдатам, оно появилось в местных газетах и переведено было вновь на русский язык; видели ли вы его? Когда произошли все эти события в Гельсингфорсе, мы очень побоялись быть отрезанными от России и потому решили ехать сейчас же, надеясь поспеть до забастовки; но затем забастовка не состоялась, и мы остались...

¹ В. Е. Арманд был тяжело болен после тюрьмы, Инесса была вынуждена оставаться с ним.

² Герценштейн И. Я — член 1-й Государственной думы, один из лидеров кадетов, убит черносотенцами в Финляндии.

³ Полностью.

И. Ф. АРМАНД — В. Е. АРМАНДУ ИЗ МОСКВЫ ВО ФРАНЦИЮ

11 мая 1907 года.

Мой дорогой Володя.

Спасибо тебе за письма, я была так рада их получить. Я очень радуюсь при мысли, что ты скоро выедешь оттуда и что скоро вернешься к нам...

Обо мне больше не беспокойся, я на свободе уже давно. Я не понимаю, почему мое письмо из участка шло так долго к тебе... Я много работаю, так что подчас остаюсь совсем без ног; особенно много пришлось бегать на прошлой неделе, так что я до сих пор не могу еще вполне отдышаться...

В университете дела плохи. Немногочисленная сходка постановила открыть университет, следующая сходка, которая носила лишь совещательный характер, так как не была в составе, постановила предоставить Ц.У.О.¹ решить относительно открытия или закрытия университета; сегодня оно постановило университет закрыть; но слова его не будут уже иметь значения, и, вероятно, занятия начнутся и будут продолжаться. Положение получается самое нелепое. Что касается меня, то прямо не знаю, как быть, как поступать; принципиально я стою за закрытие, и с этой точки зрения хотела бы поддержать Ц.У.О., но думаю, что толку из этого не выйдет. — Ну, до свидания, пока крепко целую.

Твоя Инеса.

И. Ф. АРМАНД — В. Е. АРМАНДУ ИЗ ТЮРЬМЫ²

Июль 1907 года.

Мой дорогой Володя.

Все жду, что получу от тебя словечко. Тебе, верно, теперь уже передали, каким путем мне писать, и я надеюсь, что что-нибудь получу от тебя. Я чувствую себя ужасно оторванной, совершенно не знаю, что у вас там делается и что происходит, и иногда в голову приходят самые безумные мысли; кажется, что, может быть, вы все там уже переболели, а я ничего не знаю. Особенно беспокоюсь за Андрюшу. Ведь когда мы виделись в последний раз, он был нездоров, и то, что ты ничего о нем не дал знать в тот день, когда вы были здесь, тоже меня пугает, как-то кажется, что ему хуже и что ты это скрываешь, и потому даже страшно додумывать до конца те жуткие мысли, которые иногда приходят в голову. Спасибо тебе за вещи, теперь у меня достаточно белья; впрочем, на отдельном листе пишу все, что мне еще нужно. Живется мне здесь недурно. Говорят, что осенью и зимой наши камеры очень сырые, но теперь это незаметно. Спим с открытыми окнами. Едим хорошо. У нас здесь коммуна, и мы все по очереди дежуриим, т. е. сами готовим, стираем полотенца и т. д. Я один раз уже дежурила и, как ты понимаешь, очень волновалась за суп; он вышел довольно удачен, но только овощи были *demi nature!*³ Целый день очень занят, это лучше, так как он проходит скорей. Утром я читаю до 2-х; около трех у нас обед и чай, затем урок французского, затем мы гуляем полтора часа, затем ужин, после ужина еще два урока французского (последнее конспирация). Из арестованных в несчастную субботу, кроме меня, здесь сидят еще трое: 1. Маруся, которую ты знаешь; во 2-ых, одна из тех, которая с вами разговаривала, знаешь, такая полная с короткими волосами, ее зовут Ирина, и, в-3-х, Ольга. Мы с Марусей все еще за охранкой, Ольга же и Ирина и еще несколько человек — за следователем; сегодня они в палату ездили на допрос. Оказывается, они двое и еще несколько человек, переданные следователю, будут лишь свидетелями, до суда же будет содержаться только одна. Ирину освободят завтра, а Ольгу, вероятно, на днях, как только будет удостоверена

¹ Ц.У.О.— созданный в 1905 году общестуденческий центральный университетский орган.

² В этом письме речь идет о третьем аресте И. Ф. Арманд в 1907 году, после которого она была отправлена на два года в ссылку в Мезень.

³ Полусырые.

ее личность, во всяком случае прокурор заявил, что никакой вины за ними не видит. Я за них очень рада. А наше дело с Марусей ни с места. После допроса ротмистр заявил, что освободит меня через два-три дня, и вот все сию. Ну, черт с ними. Володя, вот какая у меня к тебе просьба: зайди туда, где я квартировала в течение июня (ты понимаешь), там спроси «Иду» (ее лучше всего застать около пяти часов) и попроси ее от моего имени попросить мой паспорт у хозяйки. Я все забывала тебе сказать и очень о нем беспокоюсь. Еще сообщи мне, что вышло с университетом. Крепко целую тебя и всех и часто обо всех вас думаю.

Твоя Инеса.

Пиши, так хочется знать о всех вас.

И. Ф. АРМАНД — А. Е. АРМАНДУ ИЗ МЕЗЕНИ В МОСКВУ

Середина декабря 1907 года.

Дорогой Саша, вот мы и в Мезени, и, наконец, я могу писать. В Архангельске меня посадили вместо пересыльной тюрьмы, где сравнительно свободно, в тюремный замок в одиночку, притом такой одиночки я еще не видывала — только две одиночные камеры для политических, остальные все уголовные. В другой камере сидела политическая уже девять месяцев, и милый режим так подействовал на нее, что нервы ее совершенно расшатались. У нее были галлюцинации, ей все казалось, что она видит какие-то лица, причем она часто стонала, кричала — жаль ее было ужасно. Она совсем молодая девочка, лет 18-ти. В этом милом склепе я пробыла две недели, и затем мы отправились в Мезень. По дороге сюда мы действительно поняли и вполне оценили железн[ые] дороги. Когда подумаешь, что раньше приходилось по всей России разъезжать так, как теперь ездят из Архангельска в Мезень, и на каждой станции, т. е. приблизительно каждые десять верст, так же бороться из-за лошадей, причем станционные смотрители вам сплошь да рядом заявляют, что еще для казенной надобности они дадут лошадей, ну а для частной ни в коем случае, то благословляешь цивилизацию. И мы сравнительно еще доехали довольно скоро, благодаря сопровождающим «архангелам» — мы 340 верст проехали в 5 дней, другие ездят 7 и даже 10 дней. Тем не менее на одной станции нам пришлось ждать сутки, а на другой 12 часов. Станции все на один лад — стереотипная комната для приезжающих, в которой либо один диван, либо широкая двуспальная кровать, и то и другое очень грязные, так что мы предпочитали спать на полу, затем стол и несколько стульев и всегдашняя громадная белая печь. Зато кухни здесь очень интересные. Громадные русские печи (я никогда таких не видывала) с углублениями сбоку для рукавиц, вален и т. д. Тут же ступеньки, чтобы влезать на нее, — вся печь украшена деревом, выкрашенным в красный или желтый цвет, нередко с разными украшениями в виде кругов и полукругов. Вместо умывальников у некоторых висят изящные медные ковши. Костюмы тоже очень любопытные. Их верхняя одежда состоит из так называемой малицы — это такая цельная меховая шкура, сверх которой нашита шерстяная материя, нередко очень ярких цветов. В ней только отверстие для шеи, так что она надевается через голову — у более богатых вокруг шеи широкий меховой воротник. Рукава очень широкие и узкие только у кистей. Ямчики сверх этой малицы надевают еще меховую малицу мехом наружу. В общем, эти костюмы очень красивы. Особенно сильное впечатление произвел на меня один старик — он был в черной малице, у него было такое тонкое строгое лицо — он просился на картину. В дороге то было очень холодно (напр., накануне нашего приезда в Мезень было 37 градусов), то было довольно тепло — вообще погода очень переменчивая. Напр., вчера было довольно тепло, а сегодня ветрено и очень холодно. Когда мы прибыли сюда, меня хотели послать еще на сто верст к северу, к самому морю, в деревню Койду. Мне это не очень улыбалось, во-первых, потому, что там нет совсем политиков, кажется один или два экспроприатора, а ведь экспроприаторы бывают очень разные — некоторые из них просто даже хулиганы, а во-вторых, там, говорят, вся деревня сплошь заражена

сифилисом, это ведь тоже не ахти как приятно. Пока что удалось устроить так, что оставили в Мезени. Здесь около ста человек политиков, с некоторыми из них познакомились — мы первые дни жили у одних политиков, теперь мы переехали на собственную квартиру, которая состоит из кухни в здешнем стиле, так что она мне очень нравится, и из большой комнаты, в которой почти нет мебели, так что она смахивает на сарай, есть большая кладовая — целое хозяйство...

О здешней жизни ничего путем не могу еще сказать, так как мы здесь так еще недавно. Все переношусь мысленно к вам, в Пушкино... Большое, большое тебе спасибо за все твои хлопоты обо мне, я так тебе благодарна за все. — Ты не знаешь, как я рада была вас всех повидать на московской станции: я ведь совсем этого не ожидала и это была для меня очень, очень большая радость. — Твой букет я сохранила на память. Не знаю, как я проживу два года без детей, мне это подчас кажется невозможным, я все надеюсь, что удастся перебраться в Архангельск. туда ведь они могли бы приехать. Напиши мне, как ты устроился с мальчиками, с Инессой. Мне так все хочется знать, и пиши подробнее — мне все интересно и про тебя и про детей. О своем настроении писать не буду — оно изменчиво. В Архангельске оно было очень тяжело и ухудшалось еще лихорадкой — первое время здесь оказавшись на воле, наконец, возможность свободно передвигаться, видеть людей придавала мне бодрость, а теперь что-то опять невесело, но жаловаться не хочу: ведь в сравнении с другими мне очень, очень хорошо, но по детям тоскую...

И. Ф. АРМАНД — ДЕТЯМ ИЗ МЕЗЕНИ В ПУШКИНО

Середина декабря 1907 года.

Мои дорогие Саша, Федя, Инеса и Володя¹, долго не могла писать вам потому, что по приезде в Архангельск меня засадили в тюремный замок, где сообщения с волей очень затруднены, а оттуда я вышла только тогда, когда села в сани, чтобы ехать в Мезень. Из Архангельска в Мезень всего 340 верст, но мы их проехали в 5 дней! — Как говорят, это еще скоро, многие делают этот переезд в 7, даже 10 дней. Дело в том, что на почтовых станциях полагается от 4-х до 7-ми лошадей, потому часто оказывается, что лошадей нет, и приходится долго ждать. Нам, например, на одной станции пришлось ждать сутки, а на другой 12 часов. — Дорога местами очень красивая — здесь всюду очень большие реки, и зимой в большинстве случаев едешь по ним. Берега высокие, часто покрытые сосновым лесом, вся дорога очень холмистая; в одном месте мы ехали берегом реки, большим сосновым лесом, и мне эта местность очень напомнила Пунканарью (помните, в Финляндии). День здесь очень короткий — становится светло к 10 часам, и в 2 часа уже темно, но в ясные дни освещение замечательно красиво. Снег отликает самыми разнообразными красками, ярко-розовыми, лиловыми, голубыми и гораздо ярче, чем у нас, например, местами на снегу были такие ярко-голубые пятна, что я прямо не верила своим глазам, так как раньше никогда не видывала ничего подобного. Леса здесь громадные, так дорога в одном сосновом лесу тянется в продолжение 160 верст — этот лес называется здесь тайгой. — Когда мы прибыли в Мезень, меня сейчас же хотели отправить еще на сто верст дальше, в деревню Койдо. Мне этого очень не хотелось, во-первых, потому, что туда почта неизвестно как ходит, и, пожалуй, останешься совсем без известий, во-вторых, там совсем нет политических, и потому было бы скучней. Удалось остаться в Мезени. В Мезени ссыльных около ста человек. Сам город состоит из двух параллельных улиц, между которыми короткие переулочки — в общем, этот город не больше села Пушкино. В нем 2000 с чем-то жителей. Но все-таки есть школа, и больница, и почта, и телеграф, но почта приходит только два раза в неделю. И люди живут здесь не в юртах, как я себе представляла, а

¹ Володя — Афанасьев, воспитанник И. Ф. Арманд.

в избах с громадными печами, но сколочены избы плохо и плохо проконопачены, так что в них что называется ветер гуляет. Сегодня очень сильный мороз, а так как мы вчера по неопытности не протопили печи второй раз, то у нас вода замерзла в кадке и вообще в кухне был такой мороз, что руки стыли — так что когда я мела и кофе варила, то все охала и метала шпильками в Володю¹, который оберистопник. Он теперь здорово научился топить и самовар ставить. Собственно говоря, ставить самовар должна бы я, но я ведь известная лентяйка, встаю позже и потому пока соберусь, всегда оказывается, что уж самовар почти готов. У нас теперь есть квартирка — она состоит из кухни и довольно большой комнаты, и я уже мечтаю о том, как вы приедете к нам летом (летом сюда ходит пароход) и как мы здесь устроимся. Мне кажется, что устроиться вполне будет можно, тем более что есть еще кладовая, которая теперь-то холодная, но которую летом можно будет использовать, — это уж выйдет целых три комнаты, и, следовательно, нам будет совсем просторно. Говорят, что летом здесь хорошо — много разных ягод, грибов, хорошая охота и рыбная ловля и т. д. Только одно, говорят, скверно: много комаров. Где вы теперь? Все думаю о вас — верно, Саша и Федя в Пушкинне, ведь вы были больны — поправились ли вы вполне? Уж вы, пожалуйста, берегите себя, не застудите свинку, а то может сделаться нарыв. А переселилась ли Инесса в Пушкино? С кем ты там занимаешься? А что Володя? Как дела — наверное, не пьет мясного сока и железа и потому все такая же худая глиста. Не предпринял ли ты какой-нибудь спектакль на праздники? Видишься ли с Мишей? Впрочем, теперь, когда ты чуть что не в шестом классе, ты, пожалуй, уж не так дружишь с ним: ведь ты много старше его. Что кто читает? Вышло ли что-нибудь новое и интересное по беллетристике? Здесь совсем нет беллетристики, так что на ночь глядя совсем нечего читать, а я так люблю лечь этак вечером в постель, взять книжку и почитать — так уютно, тепло и интересно, ну а если в такое время взяться за серьезную книгу, то заснешь сейчас же. Впрочем, умоляю вас, не следуйте моему примеру — ей-богу, плохой (впрочем, только в этом, во всем остальном, как известно, я совершенствую). Что делается у Сперанского? Как поживает клуб? Одним словом, пишите скорей, больше и подробнее. Я так давно ничего толком о вас не знаю. И ты, Володька, тоже не изволь лениться, а то, ей-богу, будешь побит. Ну, крепко вас целую, поцелуйте от меня малышей — про них тоже не забудьте рассказать — пишите.

Ваша мама.

Володя шлет вам привет. Хотела сосрить по поводу его, да что-то ничего не вышло.

И. Ф. АРМАНД — А. Е. АРМАНДУ ИЗ МЕЗЕНИ В МОСКВУ

Около 14 января 1908 года.

...Мы живем понемногу — конечно, здесь не весело, но особенно плохого тоже ничего нет, Мезень такой же уездный городишко, как и всякий другой на Руси. Я никогда не видала Дмитров, но думаю, что он, верно, как два близнеца, похож на Мезень. Население здесь, правда, довольно дикое: у мужчин опасное, тяжелое ремесло — рыбная ловля, и они постоянно в отъезде — зимой они ловят главным образом навагу, летом семгу, камбалу и т. д. И зимой в сорокаградусные морозы они эту самую семгу таскают руками — даже страшно подумать. Тут не знаешь, как укрыться, а они руками лезут в воду и по целым дням сидят на морозе — правда, их спасает малица, это замечательная одежда, в которой нет совсем щелей, так как она цельная и надевается через голову; они ходят тоже на тюленей, но, кажется, редко. Женщины остаются дома, и все хозяйство лежит на них, так что они так много работают, что страшно подумать, — в некоторых

¹ Володя — В. Е. Арманд.

деревнях неизвестны даже мельницы, и женщины, как древние невольники, мелют зерно на ручной мельнице. Теперь здесь ярмарка, и для Мезени большое оживление. Вчера был чудный, довольно теплый день, и мы отправились туда — я надеялась увидеть какие-нибудь местные изделия, но, как оказалось, вся ярмарка состоит из нескольких лавчонок, в которых продают всякую неместную дрянь — несколько оленьих шкур, зарезанные быки и коровы на дровнях и рыба. Впрочем, купцы, кажется, делают дела.

Одно время поговаривали о том, что меня вышлют из Мезени в деревню (и некоторых других) из-за 9-го января, которое мы поминали в колонии, — пока что эти слухи не подтверждаются, не знаю, что будет дальше. Вообще здесь, конечно, не прочно — ну, в деревню так в деревню. Исправник уехал в Архангельск представиться, вероятно, новому губернатору и, вероятно, познакомиться с новым курсом — по слухам, этот новый курс нам неблагоприятен. — Когда получишь ответ из Питера, то сообщи мне — я хочу попытаться хлопотать о том, чтобы меня в случае отказа на границу перевели в Архангельск, туда детей можно бы вполне привезти.

Впрочем, ввиду слухов о новом губернаторе мало надеюсь на успех — сюда же привозить невозможно, и по всему тому, что я слышала о здешнем лете, им лучше не приезжать и летом, так как они здесь не накопят, а лишь растратят здоровье: здесь, говорят, лето плохое...

И. Ф. АРМАНД — А. Н. РОДДУ ИЗ МЕЗЕНИ В МОСКВУ

1 февраля 1908 года.

Узнали на днях о Вашем аресте¹ из писем мамы² и из газеты. Чем объяснить такое чрезмерное внимание наших чинов к пушкинцам? Мама в своем письме описывает обыски — это целое нашествие варваров. Ну, как Вы себя чувствуете? Как чувствует себя Ваша мать — она, верно, очень, очень взволновалась Вашим арестом: ведь она так любит Вас и без Вас будет чувствовать себя так одиноко. Ну, надо думать, что Вас скоро освободят, мы с нетерпением ждем известия об этом, так хочется узнать, что Вы снова на свободе. Скажите, как проходит время в Таганке и каковы там условия. Слухи о ней очень разные: одни говорят, что очень плохо, другие, наоборот, что все по-прежнему — а раньше режим ведь был вполне сносный. Есть ли книги, Zeitung³. Здесь все по-прежнему — занимаемся, читаем, видимся с товарищами, совместно читаем «Историю общественных течений» Каутского, и это одно из лучших, что есть здесь. Есть хорошие товарищи — это тоже приятно.

Новоприбывшие иногда приносят свежие бодрящие известия, которые дают нам вполне понять, что под пеплом все еще горит, может быть, даже все более разгорается огонь — и что этот, правда неяркий, огонь все распространяется вширь. Сюда тянется бесконечная вереница крестьян — вот от них-то и получаешь утешительные известия.

Итак, терпение и бодрость — после блестящей, интересной деятельности перейдем к мелкой, серенькой кротовой работе — большой вопрос, какая из них окажется плодотворнее.

До свидания. Крепко жму Вашу руку, также и Володя⁴ — выходите скорее на свободу.

¹ А. Н. Родд, участник подпольной социал-демократической организации в Пушкине, был арестован в числе других после политической забастовки на фабрике Арманд в Пушкине в 1908 году.

² Мама — Варвара Карловна Арманд, мать мужа И. Ф. Арманд.

³ Газета.

⁴ Володя — В. Е. Арманд.

И. Ф. АРМАНД — А. Е. АРМАНДУ ИЗ МЕЗЕНИ В МОСКВУ

16 февраля 1908 года.

Мой дорогой Саша, я была так рада получить наконец письмо от тебя, так как очень, очень ждала его. Но мне так жаль, что я его получила лишь после того, как ты засел в тюрьму. Я все и каждый день жду известия, что ты наконец на свободе, мне кажется невыносимым, чтобы ты долго просидел: ведь дела никакого нет... Напиши мне, пожалуйста, в чем же они вас обвиняют? Ведь чем-нибудь должны же они мотивировать ваш арест и задержание! ¹ Как твоё здоровье?

...Мы живем себе да поживаем по-прежнему — все та же серенькая жизнь, дни не проходят, а как-то незаметно скользят — как бледные бескровные тени. Чем можем, обманываем себя, стараюсь убедить самих себя, что мы все-таки живем, что здесь тоже жизнь и так далее. Мне-то, конечно, лучше, чем другим, потому что я не одна, а ведь многие другие совсем одиноки и им приходилось плохо. С другой стороны, мне хуже других, потому что там в Москве есть дети, о которых я и скучаю и беспокоюсь... Что тебе рассказать о нас: на масленице хотим в частном доме играть — поставим несколько маленьких пьес, между прочим, одну из пьесок Чехова «Брак по расчету»! Не знаю, что выйдет, но некоторые, кажется, сыграют хорошо. Собираюсь печь блины — и боюсь, что ничего не выйдет: ведь первый раз приходится — блинчики-то я печь умею, ну а блины трудней, потому что их нужно поставить на дрожжах. Ну, попробуем. — Есть уроки. Вообще время идет, но однообразно... Погода у нас теперь не очень холодная — бывают даже теплые и ясные дни, — так что мы на днях гуляли. Можно бы каждый день гулять, но как-то не выходит со временем. Довольно много времени уходит на хозяйство, затем уроки, чтение, а затем очень большое знакомство, так что то мы в гостях, то у нас в гостях — особенно часто бывают у нас, у нас всегда полно...

И. Ф. АРМАНД — В. Е. АРМАНДУ ИЗ МЕЗЕНИ В ПУШКИНО

8 мая 1908 года.

...Я тоже читала «Мистерии», и мне было очень интересно. Многого того, что ты усмотрел и понял, я не сумела усмотреть, и потому мне было интересно прочитать твой анализ этой книги, так как он осветил ее для меня с новой стороны. Некоторые стороны мне страшно не нравятся, например, его сентиментальная благотворительность, во-вторых, всепоглощающий индивидуализм, в-третьих, я конечно страшно стою за оригинальность мысли, за «переоценку всех ценностей», но с тем условием, чтобы действительно создавались новые ценности. Нагель же, мне кажется, таковых не создает. У него много внешней оригинальности (он носит желтый костюм, на себя клеветает, в футляре для скрипки укладывает грязное белье), мыслит же он оригинально только в том смысле, что он мыслит, не справляясь предварительно с авторитетами, но склад его ума таков, что, мысля оригинально, он тем не менее новых ценностей не создает, и его отношение к жизненным вопросам и явлениям не ново — во всяком случае я не припомню ничего особенно нового или оригинального. Его замечание о Гладстоне мне действительно очень нравится — и оно очень метко. Чтобы быть таким общепризнанным героем буржуазного мира, каким был Гладстон, нужно быть выразителем этого мира, а так как буржуазная идеология новых ценностей уже не создает, то само собой разумеется, что такой общепризнанный ею герой и может говорить только обыденные вещи. Искатели нового, остающиеся в пределах буржуазной идеологии, даже если они ограничиваются ничего не переоценивающими парадоксами, сейчас же оказываются одинокими. И только новаторы пролетарской идеологии не ощущают одиночества и действительно переоценивают все ценности.

¹ А. Е. Арман্দ был арестован по обвинению в содействии политической забастовке на фабрике Арманд в Пушкине в 1908 году.

Однако я что-то пустилась в философию, и, верно, надоела тебе. Пора кончать. Спасибо тебе за описание твоей встречи с детьми. Я так ярко представила их себе в минуту встречи... Спасибо тебе за книги, большое спасибо, особенно обрадовалась я Штутгартскому и Лондонскому конгрессам. Если попадется еще партийная литература, то пришли ее, больше всего хочется именно ее. Может быть, есть сборники, вроде того, который ты мне прислал из Архангельска («Текущая жизнь»), это очень интересно — присылай и меньшевистские и большевистские. Если вышло что-нибудь с-д. по вопросу о парламентаризме, то, пожалуйста, пришли мне...

И. Ф. АРМАНД — А. Е. АРМАНДУ ИЗ МЕЗЕНИ В ПУШКИНО

Май 1908 года.

...Живу я здесь понемногу. В смысле помещения и т. д. устроилась очень хорошо. Обедаю с двумя товарищами, с которыми я хорошо сошлась, так что теперь больше не готовлю сама — я этому довольна, так как это отнимало много времени. У меня много уроков — готовлю трех товарищей на четыре класса гимназии и двух просто обучаю русскому языку. Здесь очень много поляков, евреев, латышей, и вся эта публика совсем плохо справляется с русским языком, и приходится слышать самое разнообразное ломание русского языка, но, в общем, получается очень быстро: некоторые приезжают сюда не зная ни слова и через несколько месяцев уже болтают. У местных жителей тоже своеобразный говор — многие «ч» произносят как «ц»: «пецка» вместо пэчка. И у них разные своеобразные выражения «парато хороша», «беда чиста» и т. д. Так говорит моя хозяйка. Здесь стало довольно тепло и грязь непролазная. Но до лета еще долго — говорят, еще будут морозы. День стал очень длинным. В 9 часов еще светло, а утром свистает очень рано. Со дня на день ждем распутицы — это будет неприятное время, так как не будет писем...

И. Ф. АРМАНД — А. Е. АРМАНДУ ИЗ МЕЗЕНИ В ШВЕЙЦАРИЮ

13 августа 1908 года.

Мой дорогой и милый Саша, как я обрадовалась вашему письму, т. е. твоему и Сашенькиному... Я рада, что вы в горах и на значительной высоте, мне кажется, там такой живительный, прекрасный воздух и вы все там хорошо поправитесь...

Относительно французских школ для детей¹ я больших подробностей не знаю — я слышала, что в Северной Франции есть какая-то очень хорошая школа, но подробно о ней ничего не могу сказать. Во всяком случае я согласна с тобой, что нужно быть очень осторожным в выборе школы и что даже так называемая «хорошая школа» может оказаться доступной только богатым детям и потому по всему своему направлению быть уж очень ультрабуржуазной, а это ведь тоже нежелательно, и даже очень. Я все-таки согласна с тобой, что во всяком случае первый год, пока ты не осмотришься хорошенько, лучше их устроить дома с частными уроками... Я надеюсь, что они хорошо апользуют за границу в смысле языков, это будет в школьном отношении плюс, который они получают от заграницы, — и, как мне кажется, в этом отношении единственный плюс, так как школа Сперанского мне казалась подходящей во всех отношениях, и я очень жалею, что им пришлось ее бросить, и с этой стороны жалко, что им пришлось поехать за границу. Но, конечно, жалко об этом только с этой стороны, в других отно-

¹ После освобождения из тюрьмы без права жительства в течение двух лет в Москве и крупных городах России А. Е. Арманд уехал с сыновьями во Францию, жил в Рубэ.

шениях я очень рада, что они с тобой, так как думаю, что и тебе будет лучше и им лучше, а то бы они уж очень скучали в Москве без тебя и меня. Ведь они у нас такие любящие, привыкшие к ласке, и это, конечно, все у них будет, раз они с тобой...

И. Ф. АРМАНД — А. Я. И В. М. АСКНАЗИ ИЗ МЕЗЕНИ В МОСКВУ

Август 1908 года.

Дорогие товарищи, не сердитесь на меня за долгое молчание, причин на это молчание было много: во-первых, Ваше письмо я получила за несколько дней до начала распутицы, которая продолжалась шесть недель, во время которой мы были совершенно оторваны от всего мира, не имея возможности ни послать, ни получить ни единого письма, а затем я опять болела лихорадкой...

Что Вам рассказать о своем житье-бытье: особенно хорошего, конечно, ничего здесь нет. Мезень — город мертвых и умирающих духовно, здесь нет ничего потрясающего или ужасного, как, например, на каторге, но здесь нет жизни, и люди здесь хиреют, как растение без влаги. Цивилизованные люди больших городов с их интенсивной жизнью и богатством интересов не могут ужиться в тихом мезенском болоте, и люди духовно хиреют, перестают быть приспособленными к той жизни, к которой они раньше привыкли и к которой они со временем вернуться. Здесь нет никаких интересов, никаких живых связей с населением, нет даже просто физической работы или если она есть, то лишь временная и случайная, мускулы разучиваются работать, мозг интенсивно мыслить — и печально видеть, как товарищи приезжают сюда бодрые, полные энергии и затем увядают, тяжело констатировать тот же процесс и в самой себе. Конечно, чем энергичнее, сознательнее и деятельнее человек, тем дольше он держится — и наоборот. Итак, несмотря на благоприятные внешние условия, мы все задыхаемся в окружающей сытой мещанской среде от недостатка жизни, но все же стараемся обмануть себя, создаем себе занятия, создали здесь организацию с.-д.-ковскую — сейчас же с.-р. последовали нашему примеру; устраиваем рефераты, кружки, теперь хотим устраивать дискуссионные собрания с с.-р., хотя их силы здесь настолько слабы, что не знаю, насколько такие дискуссионные собрания будут продуктивны, хотим также издавать листок с.-д. — это было бы самое лучшее для нашей публики, так как ведь теперь собрания приходится устраивать под сурдинку, благодаря реакции. Если у Вас будет время, напишите что-нибудь для нашего листка и пришлите мне — наш листок будет носить самый популярный характер, это будет скорее почти вроде пропагандистских листов, так как нам хочется приспособить его к беспартийной публике, которой здесь очень, очень много. Ссылных здесь около 300, и — боже мой — какая теперь разношерстная публика попадает в ссылку! Народовцы, студенты (среди которых есть и такие, которые подают прошения на высочайшее имя), другие отрещиваются от революции и тем более социализма и горько и громко раскаиваются в том, что из-за революции потеряли 2—3 года, другие пьют и куят — вообще пьянство здесь очень сильное, — и большинство этой публики анархистствующая или с.-р.-ствующая. Я должна сказать и повторить без всякого пристрастия, что вся с.-д.-ская публика выгодно от них отличается и по уровню своих потребностей, и по своему образу жизни.

Летом сюда высланы довольно интересные с.-д.-ки — это очень приятно, и среди с.-д. есть много хороших и близких товарищей. Меня поражает, что большинство здешних политиков жаждут лишь поверхностной агитации, требуют так называемой этико-эстетической политики, совершенно не умеют и не желают глубже вдумываться в тот или иной вопрос (исключаю опять-таки с.-д.), этим я и объясню, что здешние с.-р. не могут иметь среди них успеха, интересно, так ли тоже на воле? Какие Ваши наблюдения насчет этого?

А как поживаете Вы, дорогие друзья?

Ваше последнее письмо было бодрое, но все же не веселое. Разлад между интересами личными или семейными и интересами общественными является для современного интеллигента самой тяжелой проблемой, так как сплошь да рядом приходится жертвовать либо тем, либо другим, да и кто из нас не стоит перед этой тяжелой дилеммой? И как ни вырешешь, одинаково тяжело. У рабочих другое — там гармония, совпадение личных и общественных интересов, потому-то они такие цельные, крепкие, а мы все интеллигенты более или менее в противоречии с самими собой. Признаюсь, здешняя женская политическая интеллигенция меня сильно разочаровала в интеллигенции, примыкающей к левым партиям, хотя опять-таки должна сказать, что с.-д.-ская интеллигенция здесь много выше...

И. Ф. АРМАНД — В. Е. АРМАНДУ ИЗ МОСКВЫ В БОЛЬЁ

10 ноября 1908 года.

Мой дорогой Володя, итак, я выбралась из окраин и нахожусь наконец в центре¹ и с восторгом прислушиваюсь к шуму движущихся экипажей, к сутолоке толпы, смотрю на высокие многоэтажные дома, на трамваи, даже на извозчицьи клячи. Милый город, как я люблю тебя, как тесно связана с тобой всеми фибрами своего существа. Я твое дитя и нуждаюсь в твоей суете, в твоём шуме, в твоей сутолоке, как рыба нуждается в воде.

Дорогой мой, ничего больше прибавлять не буду, так как знаю, что ты и так все понял, и знаю, что ты рад за меня. Чувствую себя недурно, в общем, очень радостно и возбужденно, хотя, несмотря на то что нахожусь здесь уже около недели, никак не отдохну; но отхожу понемногу. Думаю остаться в России до лета, а там будет видно. Детей возьму с собой... Детей тоже еще не видала; послезавтра увижу Инессу и заранее так волнуюсь и радуюсь при мысли видеть ее. Других я еще не увижу по вполне понятным тебе причинам...

И. Ф. АРМАНД — В. Е. АРМАНДУ ИЗ МОСКВЫ В БОЛЬЁ

22 ноября 1908 года.

Мой дорогой Володя, опять пишу тебе, мой хороший, все думается о тебе, все хочется узнать, что с тобой и как ты себя чувствуешь... Я живу все по-прежнему — пока что все хорошо идет, на днях отсюда уеду. Я нашла здесь сравнительно хорошее настроение: всюду чувствуется некоторое оживление — общественная жизнь как будто бы просыпается. В своем городе я нашла очень большие перемены. Он очень оживился, становится совсем крупным городом — вечером на улицах так красиво, так много огней, так оживленно; положим, оживление продолжается не поздно, но временно оно есть. Так оживляют и трамваи; ведь они теперь проведены в самых разнообразных направлениях, так что расстояния, которые раньше здесь были такие громадные, теперь перестают существовать и движение по городу от этого значительно усилилось. Ведь все трамваи по всем направлениям всегда переполнены. Сначала мне казалось так весело на трамвае — теперь уж я привыкла, а известно, что к чему привыкаешь, то иногда перестаешь ценить. — И в смысле зрелищ и развлечений город мой тоже очень оживился — такая масса самых разнообразных лекций, концертов, зрелищ. Я первое время что называется залюбовалась всем этим увлекалась. Была три раза в Художественном, во-вторых, один раз в Малом и у Корша, два раза в синемаграфре, один раз в концерте.

Вчера попала на лекцию «о символизме». Читали Белый, Брюсов и еще двое других того же направления, но менее видные, и затем пела Оленина-д'Альгейм.

¹ 20 октября 1908 года И. Ф. Арманд бежала из ссылки с группой уезжавших легально на родину польских рабочих.

Мысли лекторов были приблизительно следующие. Двое из них (Белый и Рачинский) утверждали, что есть два сорта символизма. Одни берут природу такой, как она есть, не видя за ней никаких тайн и преклоняясь перед ней, ни в чем не сомневаясь изображают ее в тех или иных символах — они, значит, берут природу за основу своего творчества. Между тем что такое природа — это лишь ряд эмблем (явлений), за которыми скрывается их истинная непознаваемая сущность (вещь в себе Канта). Символисты другого типа, отлично понимая, что явление есть лишь «эмблема» истинно сущего, в сущности — создание наших органов чувств, творят уже не основываясь на этих явлениях, а как-то чисто субъективно, совершенно не опираясь на природу. Символисты же будущего, предвосхищая вещь в себе, будут раскрывать ее тайны. Брюсов был ближе к земле — он утверждал, что, когда мы говорим об искусстве, нам приходится говорить только на основании опыта нашего, так как искусство олицетворяется, воплощается в произведениях искусства, а мы до сих пор еще не знаем таких произведений искусства, которые бы не воспроизводили в том или ином виде краски, звуки, формы, которые ведь все взяты из мира явлений. Но так как он согласен с другими лекторами, что природа лишь эмблемы, другими словами — «символы» истинно сущего, то и символизм, по их мнению, совпадает с реализмом. Символизируя природу, они лишь воспроизводят ее, так как она сама лишь символ. Таким образом, искусство наряду с наукой является способом лучшего познания природы. Брюсов, конечно, очень сочувствует идее об искусстве будущего, которое будет предвосхищать тайну вещи в себе, но он думает, что время для такого искусства еще не настало и что потому о нем рано думать и говорить.

Одним словом, у меня получилось впечатление, что они все кантианцы, только на разный лад. Возможно, и даже более чем вероятно, что я не умею достаточно разобраться в оттенках...

И. Ф. АРМАНД — В. Е. АРМАНДУ ИЗ МОСКВЫ В БОЛЬЕ

Конец ноября 1908 года.

Мой дорогой Володя, долго что-то от тебя ничего нет — боюсь, что ты не получаешь моих писем и потому так долго не пишешь сам... Я все там же, где и раньше, хотя со дня на день все собираюсь уезжать, но одно обстоятельство задерживает меня еще на несколько дней. Что тебе сказать о том, что я здесь делаю? Перевидала я очень много народа, между прочим, несколько человек из бывших пречистенских¹ знакомых, и почти обо всех пречистенских узнала все подробности — исключая Ольги Саниной, о которой я не узнала ничего ровно, как ни старалась. Узнала мало веселого: двое сходят с ума — Маруся и Надя Олигер, двое находятся в стесненных денежных обстоятельствах — одна потому, что ей «не дают» делать тс, что она бы хотела, другая тоже — и обе такие бледные и измученные, — третья только что вышла из Бутырок — она еще так молода, ей всего 19 лет, но у нее такая горькая складка у губ и лицо ее становится таким трагическим, когда она вспоминает хоть на минуту то, что сама испытывала, или то, что пришлось испытывать другим. Да, тяжело сейчас жить в России! А помнишь толстую Ирину, которая тоже была в Пречистенке — ее обвиняют в деянии, которого она и не думала совершать, и ей предстоит военно-окружной суд. А помнишь Галину мать? Ее теперь судят тоже военно-окружным. Так тяжело приходится прежним моим пречистенским сожителям. Перевидала за последнее время всю нашу семью — или почти всю с немногими исключениями. Все живы да здоровы, много о тебе спрашивают. Еще побывала я в театре и наконец видела «Синюю птицу» — мне очень, очень понравилось. Обстановка положительно сказочная. Я не только никогда не видела ничего подобного, но, конечно, не могла даже и себе представить, что можно дойти до такого техниче-

¹ То есть бывших заключенных в пречистенском доме предварительного заключения.

ского совершенства. Описывать не буду, потому что описывать слишком трудно, но очень хотела, чтобы ты это увидал... Сейчас строчу тебе эти строки в Румянцевской библиотеке. Здесь тихо и довольно уютно, хотя, на мой вкус, слишком людно. У «нас» в университетской библиотеке было лучше — там создается какое-то особое настроение, как-то особенно хорошо работается, а здесь этого нет. Верно, потому, что так тесно.

Сегодня утром опять бегала в Третьяковку. Там много новых картин. Мне особенно нравятся две: вихрь Малявина и демон Врубеля — и они такие противоположные! В одной столько красок, столько движения, бодрости, удали! И теперь хочется смотреть именно ее, и только ее, чувствуешь, как в тебя самого вливается какая-то радость жизни, а это так хорошо! — Врубелевский демон — воплощенное отчаяние, отчаяние бессмертного, для которого нет выхода, нет даже смерти! И тут только ясно понимаешь, как могло бы быть ужасно, если бы быть бессмертными, — становится понятен ужас бессмертия. И как гармонируют с демоном и его настроением скалы, разбросанные павлиньи перья. Я заметила несколько левитановских картин, которыми я раньше недостаточно прониклась, еще хороши серовские картины. Прекрасен портрет Брата. Очень заинтересовала меня одна новая картина — человек в очках. Стоит человек в очках — худой, нервный, в очках, лоб интеллигента — он чистейший продукт города. За ним большое окно, а за окном его естественный фон: большой город с его высокими домами, трубами — эта картина дает очень много. Есть еще такая интересная картина Рущина, но вся ее прелесть в красках, так что ее не опишешь. — Картина Рериха древний городок — ну да всего не опишешь. Там теперь много хорошего. Я теперь опять так наслаждаюсь всем этим...

И. Ф. АРМАНД — А. Е. АРМАНДУ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В РУБЭ

14 декабря 1908 года.

Мой дорогой Саша, я вчера перестала писать, потому что было очень поздно. Расскажу теперь тебе, где я нахожусь и что делаю. Я с Аней К.¹ в Питере, мы сюда приехали присутствовать на женском съезде. Съезд подчас очень скучен, подчас бывает интересен. Я записалась в экономическую группу и там уже прослушала доклады о крестьянской женщине, о женщине-работнице (выступали целый ряд работниц), говорили о проституции сегодня, о браке, семье, материнстве и т. д. Не могу сказать, чтобы все эти доклады дали мне что-нибудь новое или что-нибудь очень яркое. Единственно хорошие минуты — это когда подчеркивается партийная и классовая дифференциация, тогда поднимается целая буря, разгораются страсти — одним словом, все оживает. Несколько раз «рабочей группе» удалось провести свои резолюции на секциях, не знаю, пройдут ли они на общем собрании.

Получаешь ли ты какие-нибудь русские газеты или журналы? А то без них ведь скучно. Я очень усердно их теперь читаю. Мне очень нравится «Современный мир». Знаком ли ты с его теперешним направлением? Появился тоже или на днях появится новый журнал «Возрождение». Судя по выставленному списку будущих участников, журнал будет интересен. Получаете ли вы какие-нибудь французские газеты? Для Феи и Саши я бы очень хотела, чтобы вы получали «Humanité». Нечего и объяснять почему, и, верно, ты ничего не имеешь против. Интересно мне также, бывают ли рабочие собрания в Рубэ? Ведь там, кажется, рабочий центр? Посещаете ли вы эти собрания? Ведь Саша и Федя уже порядочные, может быть, это им было бы интересно?..

¹ Анна Евгеньевна Константинович, урожденная Арманд (с 1913 года — член партии большевиков).

И. Ф. АРМАНД — В. Е. АРМАНДУ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В БОЛЬЁ

Середина декабря 1908 года.

...Сегодня вечером еще есть общее собрание съезда, но ни я, ни Аня на него не пошли, потому что рабочая группа вышла из съезда и мы вышли вместе с ней. Рабочая группа вышла вот по какой причине: на 3-ей секции была вынесена резолюция (общеполитическая), предложенная рабочей группой. По политическим соображениям эту резолюцию решено бюро съезда не выносить на объединенное заседание секций и не баллотировать ее, а вынести кадетскую резолюцию, предложенную бюро. Тогда рабочая группа и решила выйти из заседания и из съезда. Конечно, такой выход нужно было устроить с треском и шумом, но этого сделать не сумели, так что, в общем, ничего не вышло, и осталось тяжелое впечатление. Вообще у меня такое впечатление, что кадетки сорганизовались, и вот единственный результат этого съезда. Хорошо было бы организовать покрепче и пролетарку — но сделать это много труднее, и во всяком случае это до сих пор непочтатый угол. Посмотрим на местах, может быть, и удастся что-нибудь устроить по этой части на местах. В общем, женская раб[очая] группа на съезде воочию доказала, как еще неопытна и как еще неумела наша пролетарка. Хотя, с другой стороны, должна сказать, что единственные дельные резолюции были резолюции пролетарок. Кадетки же оказались дельны лишь в политике — они удачно гнули свою линию и создали свою организацию, в экономических же вопросах они все смазывали и подчас несли невероятную чушь. Впрочем, может быть, это тоже политика... Очень много, между прочим, уделялось времени на съезде вопросу о свободе любви. Сказать, чтобы окончательно по этому вопросу что-нибудь выяснилось, я не скажу, но кое-что наводило на новые вопросы, а следовательно, и способствовало выяснению их если не всем съездом, то во всяком случае отдельными личностями. В жизни есть одно противоречие: с одной стороны, стремление к свободе любви, и, с другой, то, что пока у женщин так ничтожен их заработок, для большинства из них эта свобода недоступна, или уже тогда она должна оставаться бездетной. И вот в этом кругу съезд и вертелся, как белка в колесе. Мне как-то особенно захотелось выяснить себе что-нибудь по этому вопросу. Может быть, в результате своих дум я что-нибудь и напишу по этому поводу...

И. Ф. АРМАНД — В. Е. АРМАНДУ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В БОЛЬЁ

20 декабря 1908 года.

...Ты совершенно прав, что психология Вани, которую ты так хорошо и метко охарактеризовал, есть, хотя, может быть, и не очень ярко выраженная, психология современной интеллигенции. Теперь в большинстве интеллигентских голов происходит «переоценка всех ценностей». Чем интенсивнее работает данная голова, тем этот процесс происходит сложнее и интереснее. Как выразилась одна курсистка, интеллигенция не имеет или потеряла «ариаднину нить» и потому мечется, кидается то в одну, то в другую сторону, это последствие неимоверной путаницы, которая происходит в ее голове. По мнению этой девицы, теперь за самое последнее время стало замечаться, что головы постепенно стали приходить в порядок, и она просила меня объяснить, какие, по моему мнению, причины приведут к более определенному мировоззрению русского интеллигента. Я это объяснила так (нового в этом, конечно, ничего нет): во время революции почти вся интеллигенция, увлеченная движением, была как бы свалена в одну кучу — и эта интеллигенция могла быть свалена в одну кучу лишь потому, что она не имела времени отыскать свое настоящее место в обществе, выработав себе твердо обоснованное мировоззрение. Но пока интеллигент участвовал в движении, он и не чувствовал потребности его выработать. Но когда отхлынула общественная волна, когда сильно упала возможность общественной активности, интеллигент оказался без дел, не у места. И тут он стал кидаться из стороны в

сторону и поставил себе вопрос: кто же я? И теперь началась дифференциация интеллигенции. После многих блужданий одни решительно и обоснованно примыкают к буржуазии, другие к пролетариату, — и прижнувшие к тому или другому течению уже делают это вполне обоснованно и сознательно. И вот мне кажется, что Ваня — представитель тех, кто еще на распутье — чем закончится его эволюция, трудно еще сказать. Боря¹ же закончил свою эволюцию — хотя мне думается, что тут едва ли даже и была какая-либо эволюция: его мирозерцание по массе вопросов и раньше не было социалистично, теперь же он только это сознательно для самого себя оформил.

И напрасно ты меня как будто хвалишь за мою стойкость — я думаю, в ней меньше всего виновата я сама. Дело в том, что, во-первых, я на этот путь пошла позже других — марксизм для меня был не увлечение молодости, а завершение длительной эволюции справа налево. На последних ступенях этой эволюции ты немало сделал для меня — благодаря тебе я многое усвоила и поняла лучше и скорее, потому что ты сам так верно и глубоко, так вдумчиво вникал в разные вопросы марксизма. Наконец, и last not least², последний реакционный год я провела среди пролетариев, тогда как другие провели его в совершенно иной атмосфере. Итак, не я, а обстоятельства сделали меня более стойкой. Что касается тебя самого, то твое мировоззрение, мне кажется, было воспринято не под влиянием чувства увлечения, а было глубоко продумано. Хотелось бы мне знать, Володька, каково ты мнения на переоценку ценностей интеллигенции. Напиши мне об этом...

И. Ф. АРМАНД — А. Е. АРМАНДУ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В РУБЭ

26—27 декабря 1908 года.

...Мои планы несколько изменились, и я осталась здесь вместо того, чтобы ехать в тот город, куда собиралась³. В некоторых отношениях несомненно прогадала (в смысле климата, напр.), и в других, может быть, напр., в смысле заработка. Для меня решающим аргументом был тот, что здесь легче сохранить «здоровье». Относительно комнаты оказалось очень трудным устроиться с детьми⁴... Мне ведь так хочется их поскорей увидеть. И не везет — мешает то одно, то другое. Подумай, вот уж скоро 1½ года, что я их не видела...

Я провела праздники отвратительно — чувствовала себя ужасно одиноко и совсем впала в уныние. Я только теперь поняла вполне, как я была избалована жизнью, как я привыкла быть окруженной людьми, которые мне близки, которых я люблю и которые любят меня. И когда я подумаю о том, как мне стало невыносимо тяжело, когда я очутилась совсем одинокой, тогда как столько людей всю жизнь одиноки, мне стало даже неловко перед самой собой. А может быть, когда жизнь очень богата чувством, может быть, тогда и потребности больше. Во всяком случае такого одиночества, как здесь, на севере не было — потому что там даже, когда уехал Володя, были свои кругом, которые благодаря совместной жизни стали одной большой семьей. Ну скажу, что теперь чувствую себя бодрее, и больше надеюсь, что в смысле личной жизни кое-что порядочное удастся устроить. В смысле общественной я уже устроилась, и легко...

¹ Боря — Борис Евгеньевич Арманд.

² Последнее, но не последнее по значению.

³ Киев.

⁴ Речь идет о трех младших детях, оставшихся на попечении бабушки.



ЛЕВ ТОЛСТОЙ И МАХАТМА ГАНДИ

Интерес советских людей к личности и деятельности Ганди определяется не только признанием его выдающихся заслуг в борьбе за освобождение Индии от пут колониализма, но и связями Ганди с русской культурой, в частности его дружбой и перепиской с Л. Н. Толстым.

Истории взаимоотношений Толстого и Ганди посвящен публикуемый ниже очерк советского литературоведа, лауреата международной премии имени Джавахарлала Неру А. И. Шифмана.

1

24 сентября 1909 года, разбирая утреннюю почту, Лев Николаевич Толстой раскрыл письмо от молодого индийского адвоката Мохандаса Кармчанда Ганди, писавшего из Лондона. Неизвестный ему человек описывал бедственное положение индийских рабочих в Южной Африке и тяжелую борьбу, которую они ведут против преследований и расовой дискриминации.

«Беру на себя смелость,— так начиналось письмо¹,— обратить Ваше внимание на то, что делается в Трансваале (Южная Африка) вот уже почти три года. В этой колонии живет около 13 тысяч британских индийцев. Эти люди уже долгие годы страдали от различных правовых ограничений. Предубеждение против цветных, а в некоторых отношениях и прогив азиатов вообще, очень сильно в этой стране».

Далее в письме сообщалось, что против индийцев принят специальный билль, рассчитанный на их дискриминацию и унижение. Однако 2500 индийских рабочих предпочли тюрьму подчинению «черному» закону. Люди полностью разоряются, лишаются работы, жилищ, их бросают в застенки, но они, не прибегая к ответному насилию, не покоряются властям. «Борьба,— писал Ганди,— еще продолжается, и неизвестно, когда закончится, но она показала, по крайней мере некоторым из нас, что пассивное сопротивление может и должно победить там, где грубое насилие бессильно. Мы также поняли, что борьба затягивалась из-за нашей слабости, порождавшей в умах правительства убеждение, что мы не окажемся в силах выдерживать длительные страдания».

Письмо неизвестного корреспондента заинтересовало Толстого. К тому же ему пришлось незадолго перед этим получить ряд горестных посланий из Индии и в ответ написать большое гневное «Письмо к индусу», в котором он заклеил английских колонизаторов, творивших суд и расправу над индийским народом. Поэтому в его дневнике появилась запись: «Получил приятное письмо от индуса из Трансвааля» (57, 144)².

25 сентября Толстой ответил на письмо Ганди дружеским посланием, в котором выразил искреннее сочувствие угнетенным индийцам и пожелал им успеха в борьбе за свои человеческие права. «Сейчас,— писал он,— получил ваше в

¹ Письма М. К. Ганди (на английском языке) хранятся в архиве Л. Н. Толстого. Опубликовано в «Литературном наследстве», № 37—38, М. 1939. Подробно о переписке Толстого и Ганди см. в моей книге «Лев Толстой и Восток» (М. 1960).

² Здесь и ниже выдержки из сочинений, дневников и писем Л. Н. Толстого даются по его Полному собранию сочинений в 90 томах. Цифры в скобках означают том и страницу.

высокой степени и интересное, и доставившее мне большую радость письмо. Помогай бог нашим дорогим братьям и сотрудникам в Трансваале» (80, 110).

Толстой одобрил намерение Ганди перевести и распространить в Индии его «Письмо к индусу». Он согласился с просьбой Ганди исключить из «Письма» несколько строк, содержащих осуждение индийской веры в перевоплощение душ, хотя это суеверие он решительно не одобрял.

М. Ганди находился в Лондоне как раз по делу южноафриканских индийцев. Он добивался от английского правительства вмешательства в конфликт. Но британское министерство по делам колоний не собиралось портить отношения с южноафриканским правительством из-за каких-то 13 тысяч индийских эмигрантов, и дело замерло. Письмо Толстого пришло как раз в тот день, когда Ганди окончательно понял бесплодность своей затеи — искать защиты у англичан. И он дал волю своим горестным чувствам в новом письме к Толстому.

«По моему мнению,— писал он 10 ноября 1909 года,— индийцы в Трансваале ведут сейчас величайшую борьбу в современной истории, поскольку она идеальна как с точки зрения поставленной цели, так и методов достижения этой цели».

Далее Ганди сообщал, что его миссия в Лондоне потерпела провал. Он возвращается в Йоганнесбург, где его ждет тюрьма, в которой — уже в четвертый раз — заключен и его сын.

Вместе с письмом Толстой получил изданную в Лондоне книгу английского священника Джозефа И. Доука «М. К. Ганди — индийский патриот в Южной Африке». «Книга эта,— писал Ганди,— имеет отношение к моей жизни и проливает свет на ту борьбу, с которой я связан и которой я посвятил свою жизнь. Так как мне очень хочется привлечь на нашу сторону Ваш интерес и симпатии, я подумал, что Вы не сочтете присылку книги назойливостью».

Письмо Ганди и книга о нем еще более заинтересовали Толстого. Об этом можно судить по тому, что, отложив другие книги, он внимательно читал ее и сделал много помет. С намерением завтра же ответить на это письмо он вложил его в один из английских журналов, находившихся на его столе. Но в этот день он заболел, журнал без его ведома был унесен из кабинета, и письмо Ганди исчезло на пятьдесят лет¹. Поэтому оно осталось без ответа.

Переписка между Толстым и Ганди возобновилась через пять месяцев — в апреле 1910 года, когда Ганди прислал Толстому новое — третье — письмо и вместе с ним свою книгу на английском языке «Самоуправление Индии». «Это мой собственный перевод с языка гуджарати,— писал он.— Любопытно, что правительство Индии конфисковало книгу на этом языке, поэтому я поспешил с опубликованием ее перевода».

Ганди просил Толстого прочесть эту книгу и высказать о ней свое мнение. Вместе с письмом он прислал и несколько экземпляров изданного им «Письма к индусу» на английском языке и языке гуджарати со своим предисловием.

Предисловие Ганди к антиимпериалистическому воззванию Толстого — одна из его первых статей, пропагандирующих воззрения Толстого в Индии. Имеются сведения, что Толстой с одобрением прочел этот документ. Поэтому приведем некоторые выдержки из него. Но предварительно напомним о самом «Письме к индусу».

Это пламенное воззвание Толстой написал в 1908 году в ответ на письмо редактора прогрессивного журнала «Свободный Хиндустан» Таракнатха Даса и на многочисленные обращения к нему индийцев, описывавших бедственное положение своей страны под пятой британской колониальной администрации. Толстой изложил в нем основы своего учения и вместе с тем призвал индийский народ к гражданскому неповиновению поработителям. Он советовал индийцам не служить в колониальных войсках, не платить податей, не подчиняться чужеземной администрации.

¹ Письмо Ганди было случайно обнаружено в 1956 году научными сотрудниками музея-усадьбы Ясная Поляна Н. Пузыным и Е. Населенко при разборе старых журналов. Опубликовано мною в журнале «Советское востоковедение», № 1, 1957.

Все это подхватил и развил Ганди в своем предисловии к толстовскому воззванию.

«Письмо, публикуемое ниже,— начинает Ганди свое предисловие,— является переводом письма Толстого, написанного в ответ на письмо издателя журнала «Свободный Хиндустан».

Письмо это переходило из рук в руки и наконец попало ко мне от одного друга, который спросил меня как человека, очень интересующегося произведениями Толстого, считаю ли я письмо достойным опубликования. Я сразу же ответил утвердительно и сказал ему, что я сам бы перевел его на язык гуджарати и побуждал бы других переводить и издавать его на всех индийских языках».

Рассказав о своей переписке с Толстым относительно опубликования «Письма к индусу», Ганди продолжает:

«Для меня, скромного последователя великого учителя, которого я уже давно считаю своим руководителем, является делом чести быть сопричастным к опубликованию его письма, которое несомненно станет всемирно известным».

Цитируя важнейшие положения «Письма к индусу», Ганди солидаризируется с Толстым в его призывах к индийцам не участвовать в органах государственного управления, не служить в английских войсках, не платить податей и т. д. Иначе, по его мнению, Индия перестанет быть «колыбелью великих верований», и ее постигнет печальная участь европейских стран, подавшихся обманам буржуазной цивилизации. В заключение предисловия Ганди пишет:

«Не обязательно принимать все, что говорит Толстой,— некоторые из его положений сформулированы недостаточно точно. Надо ясно представить себе основную, главную истину, на которой зиждется его обвинение современной системы. Истина эта заключается в том, чтобы понять и положить в основу своих действий непреодолимую власть души над телом, неотразимую власть любви, которая является свойством души, над грубой силой, порождаемой в нас возбуждением дурных страстей.

В том, что проповедует Толстой, нет ничего нового. Но его трактовка старой истины свежа и действенна. Его логика неопровержима. И, самое главное, он пытается осуществлять в жизни то, что он проповедует. Он проповедует, чтобы убедить. Он искренен и серьезен. Он привлекает к себе внимание»¹.

Новое письмо Ганди, его предисловие к «Письму к индусу» и особенно присланная им книга о колониальном режиме в Индии с еще большей силой привлекли внимание Толстого к судьбе индийского народа. Больной, он в течение нескольких дней читал книгу «Самоуправление Индии», а также ранее присланную книгу Доука о Ганди. Свои впечатления о них он отмечал в дневнике: «Вечером читал Ганди о цивилизации. Очень хорошо» (58, 40). «Читал книгу о Gandhi. Очень важная. Надо написать ему» (58, 41). Свое намерение, однако, он в эти дни из-за болезни выполнить не смог. Он отправил Ганди лишь небольшую записку, в которой одобительно отозвался о присланной им книге. «Я прочел вашу книгу с большим интересом,— писал он [...] — напишу, как только мне станет лучше» (81, 248).

Под впечатлением прочитанных книг Толстой с одобрением отозвался о Ганди в беседе со своим другом П. А. Буланже, готовившим в это время книгу об индийской философии. Ганди, сказал он, опроверг бытующее среди западной интеллигенции мнение, будто буржуазная цивилизация сама по себе хороша, дурны лишь люди, насаждающие ее силой. Нет, дурна и сама лжецивилизация, выросшая на костях миллионов людей. К сожалению, однако, под напором европейцев и Индия подвергается ее тлетворному воздействию...

Последние письма Ганди и Толстого относятся к лету и осени 1910 года. В это время положение в Южной Африке еще более ухудшилось. Сотни семей индийцев, не пожелавших покориться расистским властям, оказались разоренными и лишенными крова. Чтобы спасти наиболее нуждающихся из них от голодной смерти, Ганди вместе с его соратником архитектором Германом Калленбахом создал под Йоганнес-

¹ Отрывок из предисловия Ганди к толстовскому «Письму к индусу» опубликован в книге «Лев Толстой и Восток».

бургом сельскохозяйственную колонию, названную ими «Толстовской фермой». 1100 акров земли были бесплатно предоставлены индийским рабочим для заселения и обработки. Обо всем этом Ганди, а вместе с ним и Калленбах написали Толстому в августе 1910 года.

Толстой был удручен дурными вестями. Вместе с тем он счел нужным высказаться по принципиальному вопросу — о ненасильственных методах борьбы. 7 сентября он отправил Ганди большое письмо, в котором развернул свою аргументацию в пользу «учения любви». Все несправедливости и бедствия человечества, утверждал он, возникли и происходят оттого, что люди отказались от закона любви и заменили его законом насилия. И все же сознание несправедливости господствующего строя жизни растет во всем мире и проявляется в многообразных формах борьбы угнетенных народов против их порабитителей.

В заключение письма Толстой затронул самый больной из волновавших его в последние годы вопросов — о захватнических войнах и колониальном разбое. Он отметил вопиющее противоречие между христианской доктриной милосердия, которую якобы исповедуют властители современного мира, и «признания вместе с этим необходимости войск и вооружения для убийства в самых огромных размерах на войнах» (82, 140).

Это было последнее письмо к Ганди. Через два месяца Толстой скончался. Ганди не успел ответить ему.

2

До конца жизни Ганди считал себя учеником и последователем Льва Толстого.

Еще в ранних беседах со своим биографом Джозефом И. Доуком он подчеркивал, что Толстой серьезно повлиял на формирование его мировоззрения. Об этом же он писал в 1925 году и в своей автобиографии «Моя жизнь». «Три современника оказали сильное влияние на мою жизнь: Райчандбхай¹ — непосредственным общением со мной, Толстой — своей книгой «Царство божие внутри вас» и Раскин — книгой «У последней черты»². И далее: «Я усиленно изучал также произведения Толстого. «Краткое евангелие», «Что делать?» и другие книги произвели на меня сильное впечатление. Я все глубже понимал безграничные возможности всеобъемлющей любви»³.

Как установили индийские исследователи, Ганди глубоко увлекся сочинениями Толстого двадцатичетырехлетним юношей в 1893 году, в первый год своего пребывания в Южной Африке. Следы этого увлечения обнаруживаются уже в его первой речи в Претории, когда он в духе Толстого призывал индийских рабочих забыть все личные обиды и объединиться для совместной ненасильственной борьбы за свои права. В то время Ганди еще не полностью разделял идею непротивления злу насилем. Неумоимо ища свой собственный путь, он подвергал сомнению многие учения Запада и Востока. Книги Толстого открыли перед ним новую область духовной жизни. Впоследствии, в 1928 году, в речи перед молодежью Ганди вспоминал:

«...Когда я переживал жестокий кризис скептицизма и сомнения, мне попала в руки книга Толстого «Царство божие внутри вас», и она на меня произвела глубокое впечатление... Больше всего мне импонировал тот факт, что Толстой на деле, в своей жизни, осуществлял то, что он проповедовал в своих книгах, не останавливаясь ни перед чем в своем стремлении к правде»⁴.

В последующие годы, до начала переписки с Толстым, Ганди прочитал почти все его произведения, вышедшие к тому времени на английском языке. Об этом свидетельствует его книга «Самоуправление Индии», в которой он среди высоко це-

¹ Райчандбхай — выдающийся индийский поэт и философ. Ганди сблизился с ним в Южной Африке.

² Раскин (Рескин) Джон (1819—1900) — английский теоретик искусства, критик и публицист.

³ М. К. Ганди. Моя жизнь. М. 1959, стр. 107, 161.

⁴ М. К. Gandhi. Tolstoy and the Youth. — Leo Tolstoy. 50th Death anniversary Nov. 21-27-1960. New-Delhi.

нимых им произведений мировой литературы называет и ряд произведений Толстого — «Так что же нам делать?», «Царство божие внутри вас», «Что такое искусство?» и другие.

До последнего времени оставался неясным вопрос об участии Ганди в переводах сочинений Толстого. Сейчас установлено, что перу Ганди принадлежат переводы и переделки четырех рассказов Толстого, опубликованные им в 1905 году в журнале «Indian Opinion» («Индийское мнение»). Впоследствии они были изданы и отдельными книжками на языке гуджарати в руководимом Ганди издательстве «Интернэйшнл Принтинг Пресс» (Феникс, Наталь, Южная Африка). Это народные рассказы: «Бог правду видит, да не скоро скажет» (опубликован под заглавием «Бог любит правду»), «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях» (индийское заглавие: «Сказка о глупом Иване и его братьях»), «Чем люди живы» (индийское заглавие: «Нить жизни») и «Много ли человеку земли нужно?» (индийское заглавие: «Алчность»). Перу Ганди принадлежит и краткое предисловие к переведенному им рассказу «Бог правду видит, да не скоро скажет». Оно гласит:

«В Европе издается множество рождественских рассказов, книжечек и брошюр, повествующих о достопримечательных фактах и событиях. Пользующийся широкой известностью м-р Стэд¹ издал в Англии книгу, в которой описывает жизнь графа Толстого².

Мы уже познакомили наших читателей с графом Толстым. Человек большого состояния, он ведет суровую жизнь аскета. В мире мало таких образованных людей, как он. В своих произведениях он показывает, как радикально может быть перестроена жизнь человека. Ту же цель он преследует в своих коротких рассказах.

Ниже следует перевод рассказа Толстого, который считается одним из лучших. Мы просим читателей сообщить нам свое мнение о нем. Если читатели найдут его интересным и полезным для себя, мы и впредь будем печатать рассказы Толстого. Говорят, что происшествия, описанные в этом рассказе, случились в действительности»³.

Высказывания Ганди о Толстом в большинстве не известны русскому читателю. Приведем поэтому выдержки из одной его статьи, которая по сути является первым биографическим очерком о Толстом, предназначенным для читателей Азии. Статья эта была опубликована за четыре года до начала переписки Ганди с Толстым — 2 сентября 1905 года — в журнале «Indian Opinion» под заглавием «Count Tolstoy» («Граф Толстой»).

«...В западном мире,— пишет Ганди,— нет такого талантливой и ученого человека, такого аскета, как граф Толстой. Хотя ему уже около восьмидесяти лет, он совершенно здоров, деятелен и сохранил всю силу своего интеллекта».

«Толстой родился в знатной семье в России. Его родители обладали огромным богатством, которое он унаследовал. Сам он — русский дворянин, в молодости служил своей стране, доблестно сражался в Крымской войне. В то время он, подобно другим дворянам своей эпохи, предавался радостям жизни, любил женщин, пил вино и много курил. Однако когда он увидел кровопролитие и ужасы войны, душа его исполнилась жалости и сострадания. Его взгляды изменились...»

«Примерно в это же время он открыл в себе большой писательский талант. Он написал очень сильную книгу о пагубных последствиях войны. Так его слава распространилась по всей Европе».

«Для того, чтобы повысить нравственность людей, он написал несколько романов, с которыми могут сравниться лишь немногие произведения европейских писателей. Взгляды, которые он высказывал во всех этих книгах, были настолько прогрессивны, что русское духовенство в гневе и раздражении отлучило его от церкви».

¹ Стэд Уильям (1849—1912) — видный английский журналист и общественный деятель. Посетил Толстого в мае 1888 года.

² Имеется в виду книга Стэда «Truth about Russia» («Правда о России»), в которой несколько глав посвящено встречам с Толстым.

³ Цит. по материалам Дома-музея М. К. Ганди в Дели.

Не обращая на это внимания, он не ослабил своих усилий. Он энергично продолжал распространять свои идеи.

«Новые идеи оказали на него самого большое влияние. Он отказался от богатства и стал жить жизнью бедных людей. Уже много лет он трудится как крестьянин и зарабатывает себе пропитание собственным трудом. Он отказался от всех своих прошлых привычек, ест очень простую пищу и стремится не наносить обиды ни одному живому существу — мыслью, словом и делом. Он проводит все свое время в труде и молитве».

«Толстой еще и сейчас пишет с большой силой. Сам русский, он тем не менее написал много горького о правителях своей страны в связи с русско-японской войной. Он написал царю очень едкое и сильное письмо по поводу войны. Эгоистичные чиновники смотрят на него со злобой и раздражением. Но они, и даже царь, боятся его тронуть. Такова сила его мысли и доброй жизни. Миллионы русских крестьян всегда готовы прислушаться к его призывам и начертаниям»¹.

В этой ранней статье можно обнаружить ряд биографических неточностей и временных смещений. Ганди, хотя и говорит о художественном гении Толстого, не называет в ней ни одного его художественного произведения. Не говорит он и о своем личном отношении к Толстому. Но это явствует из всего содержания статьи. Позднее, в 1921 году, на вопрос одного из корреспондентов: «Каково Ваше отношение к графу Толстому?» — Ганди ответил: «Отношение преданного почитателя, который обязан ему во многом в жизни».

После смерти Толстого Ганди переписывался с его английскими единомышленниками, в частности с шотландской писательницей Изабеллой Мейо.

В 1913 году, когда разгорелся спор между вдовой Толстого и его младшей дочерью из-за рукописей писателя, Ганди обратился с письмом к С. А. Толстой и высказал свой взгляд на этот сложный вопрос².

В двадцатых годах возобновилась переписка Ганди с единомышленниками Толстого в России, в частности с В. Г. Чертковым. В 1924 году Чертков направил ему приветственное письмо, в котором описал жизнь в Советской России и развернувшуюся здесь деятельность по изданию произведений Толстого³. В ответном письме мы читаем:

«Субармати, 24 апреля 1925 г.

Дорогой друг, я благодарю за Ваше приветствие от 28 февраля 1924 г. Я тогда не мог написать Вам. Надеюсь, что Вы будете по-прежнему держать меня в курсе Вашей деятельности в России и происходящих там событий.

Ваш М. К. Ганди»⁴.

Через несколько лет между Чертковым и Ганди разгорелась дискуссия по вопросу об отношении к войне. Как известно, Ганди участвовал в англо-бурской войне на стороне англичан как руководитель санитарного отряда. В этом же качестве он участвовал и в первой мировой войне. Позднее, выполняя обещание, данное лорду Чермсфорду на военной конференции в Дели, он активно содействовал вербовке индийских солдат в английскую армию.

«Я делал все это,— писал он впоследствии,— веря в то, что подобные действия должны принести моей стране равное положение в империи»⁵.

В 1928 году после появления в журнале «Молодая Индия» известной статьи Ганди «Мое отношение к войне», в которой он, из тактических соображений, признавал возможным — при известных условиях — участие индийского народа в войне на стороне Англии, В. Г. Чертков в ряде писем упрекал его в непоследовательности, в

¹ Цит. по вышеупомянутым материалам.

² Письмо не сохранилось.

³ Письма В. Г. Черткова к Ганди хранятся в мемориальном Доме-музее Ганди в Дели.

⁴ Письма Ганди к Черткову хранятся в Отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого.

⁵ Цит. по статье «Tolstoy and the Youth», стр. 3—4.

отступлении от толстовских принципов пацифизма и ненасилия во имя соображений временной целесообразности.

В ответных письмах Ганди, объясняя свою позицию, заверял русских друзей Толстого в том, что он в принципе был и остается убежденным противником войны. «Я надеюсь,— писал он 7 декабря 1928 года,— в ближайшее время ответить на возражения, так мягко сделанные Вами. Но если даже мой ответ не убедит Вас, пожалуйста, поверьте, что соображению временной целесообразности нет места в моей доктрине. Все, что я делал до сих пор против войны, я делал, веря, что это мой долг в данный момент».

В письме от 14 июля 1929 года Ганди снова писал: «Вы можете быть уверены, что я не намерен принять участие в вооруженном конфликте, где бы он ни возник, включая и мою собственную страну». Это же он подтверждает и в письме от 21 июля 1929 года: «Я без малейшего затруднения готов подтвердить свое глубокое убеждение, что любая война, под каким бы предлогом она ни велась, преступна».

Как явствует из этой переписки, Ганди не раз приходилось в его сложной политической борьбе маневрировать, идти на временные компромиссы с английским правительством и даже поддерживать его, когда, как казалось ему, это было в интересах Индии. Не раз он с горечью убеждался в бесплодности подобных компромиссов. Но основные гуманистические принципы его убеждений, близкие к убеждениям Толстого, оставались неизменными.

3

Ганди пережил Толстого почти на сорок лет. Это были годы суровой борьбы индийского народа против английского империализма. В эти годы Ганди вырос в подлинного вождя индийских народных масс. Значительную часть этих лет он провел в тюрьмах, куда его бросали британские колониальные власти. Не раз в результате многодневных голодовок его жизнь висела на волоске. Но свое ощущение идейного родства с Толстым, свое глубочайшее уважение к нему Ганди сохранял в течение всей своей жизни. Свидетельство этому — его речь перед молодежью, произнесенная в 1928 году в связи со столетием со дня рождения Толстого. Эта еще не переведенная на русский язык речь дает ответ на вопрос, как Ганди оценивал Толстого через два десятилетия после его переписки с русским писателем. Вот некоторые выдержки из этой речи:

«Толстой был самым правдивым человеком нашей эпохи. Его жизнь была непрерывным исканием истины, постоянным стремлением к правде и желанием действительно претворять ее в жизнь. Он никогда не пытался скрыть правду или смягчить ее. Он возвещал ее миру во всей полноте, без увиливаний и компромиссов, без всякого страха пред земной властью».

«Критики Толстого иногда говорили, что его доктрина была большой неудачей, что он никогда не нашел своего идеала, своей фантастической «зеленой палочки», в поисках которой прошла вся его жизнь. Я не согласен с этим. Правда, иногда он сам говорил так. Но это свидетельствует лишь о его величии. Возможно, что ему не удалось полностью осуществить в жизни свой идеал, но ведь это свойственно каждому человеку. Никто не может достигнуть совершенства, пока он находится в своей телесной оболочке. Идеальное состояние невозможно до тех пор, пока человек не преодолел полностью своего я, а от своего эгоистического я невозможно полностью освободиться, пока человек связан оковами плоти. Это было любимой мыслью Толстого: в тот момент, когда человек уверует, что он достиг идеала, его дальнейшее духовное развитие останавливается. Идеал всегда таков, что чем больше мы к нему приближаемся, тем дальше он от нас отстает. Поэтому, когда говорят, что Толстому, по его собственному признанию, не удалось достигнуть высшего идеала, это ни на йоту не умаляет его величия. Это только говорит о его скромности».

«Часто старались придавать чрезмерное значение отдельным проявлениям непоследовательности в жизни Толстого. Но они были больше кажущимися, нежели действительными. Развитие есть закон жизни, и человек, который во что бы то ни

стало отстаивает свои старые, отжившие догмы, ставит себя в ложное положение. Эмерсон сказал: «Глупая последовательность — привилегия мелких умов». Так называемая непоследовательность Толстого была симптомом его движения вперед. Он иногда казался непоследовательным, потому что постоянно перерастал свои собственные доктрины. Его неудачи становились достоянием широкой гласности, победы же оставались скрытыми».

«Критики Толстого пытались нажить капитал на его ошибках, но ни один из них не мог быть более требовательным, чем он был по отношению к самому себе. Всегда проверяя истинность своих принципов, он еще перед тем, как критики успевали заметить его недостатки, сам раскрывал их миру, порою тысячекратно преувеличивая их. Он приветствовал критику в свой адрес даже тогда, когда она была преувеличена. Подобно всем подлинно великим людям, он страшился похвал и был велик даже в своих неудачах. Его неудачи говорят не о тщетности его идеалов, а являются для нас критериями его величайших достижений».

«Важным моментом в мировоззрении Толстого была его доктрина «хлебного труда». Каждый человек, говорил он, обязан трудом добывать свой хлеб. Большая часть страданий и бедности, утверждал он, происходит оттого, что люди не выполняют этого своего долга. Все проекты смягчения бедности при помощи филантропии он считал тщетными, если богатые сами увиваются от труда и продолжают жить в роскоши. Он говорил, что, если бы только они слезли с плеч бедняков, так называемая филантропия сделалась бы ненужной».

«Для него верить означало действовать. И вот на склоне лет этот человек, который провел свою жизнь в довольстве, взялся за тяжелый труд. Он занимался сапожным и земледельческим трудом, тяжело работал по восемь часов в день. Физический труд, однако, не притупил его мощного интеллекта — он сделал его еще более сильным, острым и блестящим. Именно в этот период его жизни было написано его самое сильное произведение — «Что такое искусство?»¹».

В заключение своей речи Ганди призывал индийскую молодежь следовать в жизни примеру Толстого — бескорыстно служить своему народу и всему человечеству, стремиться к нравственной чистоте в своих действиях и помыслах. Это, по его мнению, действительный путь к достижению свободы.

4

Ромен Роллан в книге «Жизнь Толстого» отмечал огромное влияние русского писателя на общественную мысль Азии.

«Воздействие Толстого на Азию, — писал он, — окажется, быть может, более значительным для ее истории, чем воздействие его на Европу. Он был первой стезей духа, которая связала всех членов старого материка от Запада до Востока».

И еще:

«Молодой индеец Ганди принял из рук умирающего Толстого тот божественный свет, который старый русский апостол вносил в своей душе, согрел своей любовью, вспоил своей скорбью; и он сделал из него факел, который осветил Индию. Отблески этого света проникли во все части земного шара»².

Эти утверждения звучат несколько абстрактно, поскольку Роллан не раскрыл социально-исторического содержания толстовского влияния на Азию. Влияние это, как известно, сказалось в разных странах по-разному, да и внутри каждой страны различные социальные группы воспринимали доктрину Толстого по-разному. Вместе с тем несомненно, что гуманистическое наследие Толстого оказало и продолжает оказывать большое влияние на мировую общественную мысль, и этот факт заслуживает серьезного осмысления.

Нет надобности говорить о том, что роднило обоих мыслителей. И Толстой и Ганди олицетворяли собою, несмотря на исторически обусловленную ограничен-

¹ «Tolstoy and the Youth», стр. 3—4.

² Ромен Роллан. Собрание сочинений, т. 14, Л. 1933, стр. 328—329.

ность и противоречивость своих доктрин, освободительные стремления своих народов. Оба они были борцами за счастье людей, великими гуманистами, чей голос был слышен не только в своей стране, но и во всем мире. Вместе с тем их воззрения не во всем совпадали, а иногда и существенно расходились. Это и закономерно, если учесть различие их идейных позиций и различие исторических условий, в которых они жили и действовали.

В нашу задачу не входит подробный сравнительный анализ концепций обоих мыслителей, всесторонняя оценка их личностей. В. И. Ленин с исчерпывающей ясностью раскрыл силу и слабость Толстого-мыслителя и показал, в чем заключается его значение для всего человечества, в том числе для Азии. Вместе с этим Ленин дал и исчерпывающую оценку тому этапу национально-освободительного движения индийского народа, который выдвинул на историческую арену сложную личность Ганди и его социально-религиозное учение.

Ленин не раз подвергал критике — и в учении Толстого, и в доктрине Ганди — их утопическую проповедь непротivления злу насилем, упование на моральное самосовершенствование как на единственное средство социального переустройства мира. Вместе с тем Ленин — как и в отношении Толстого — был далек от огульной отрицательной оценки личности и деятельности Ганди. Знаменателен в этом отношении ставший недавно известным спор Ленина о Ганди с известным деятелем индийского революционного движения М. Н. Роем, участником Второго конгресса Коминтерна. Как вспоминает Рой, в его интересных беседах с Лениным в 1920 году «роль Ганди была основным пунктом разногласий. Ленин считал, что как вдохновитель и вождь массового движения Ганди является революционером» (сб. «Коминтерн и Восток». М. 1969, стр. 234).

Этот широкий и вместе с тем конкретно-исторический взгляд на деятельность Ганди преобладает сейчас в нашей литературе, не замалчивающей и слабых, реакционных сторон доктрины великого индийца.

Дружба между Толстым и Ганди была весьма недолгой. Молодой Ганди начал свою деятельность в годы, когда Толстой уже завершал ее. В этом была своя историческая закономерность. Но и кратковременное общение мыслителей дало свои плоды. В их лице великая русская культура встретила с древней культурой Индии.

А. ШИФМАН.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

★

ЗА ДАЛЮ—ДАЛЬ

(К шестидесятилетию Александра Твардовского)

Юбилейная статья всегда рискует превратиться в зазданный тост, но в отличие от него она более управляема. Начиная здравицу, отчетливо представляешь себе его традиционный конец, но середина, как правило, теряется в импровизационном тумане. И если не обладать даром Расула Гамзатова и Кайсына Кулиева, ощущение неуверенности не оставит тебя до конечной фразы, смысл которой доходит до самого непонятливого из присутствующих. Управляемость статьи позволяет совершать любые композиционные перестановки, не полагаясь на импровизацию, а, как говорится, с заранее обдуманым намерением: перо дисциплинированное языка.

И я начну статью с середины, в уверенности, что начало ее мог бы написать любой из миллионов читателей крупнейшего советского поэта. Его биография, стихи и поэмы известны каждому школьнику, и нет нужды повторять азы классных сочинений. Я скажу о том, чем характерно, на мой взгляд, литературное явление, носящее имя Твардовского.

Ибо Твардовский — это, конечно, явление, размеры и содержание которого определяются не только личными качествами поэта, но и литературным процессом, общественными устремлениями, всей нашей действительностью. Оно, это явление, в силу своей значимости и весомости стало не просто объектом, а субъектом этих движущихся сил — литературы, общества, действительности — и само оказывает влияние на их динамику. Такова, впрочем, судьба художественного творчества всех значительных писателей прошлого и современности, к чис-

лу которых можно спокойно и уверенно отнести Твардовского.

Его творческое развитие шло не от малого к большому, как у многих талантливых людей, а прямо от большого к большому, что уже представляется исключением. Эту исключительность создали равно дарование поэта и исторические условия, в которых оно формировалось. Твардовский с первых своих строк заявил себя певцом русского села, начинавшего новый этап своего существования. Ушла в прошлое деревня Некрасова, Кольцова и Никитина, прошли горнило трех революций чеховские и бунинские мужики, есенинская Русь перешагнула порог коллективизации. Русское крестьянство стало колхозным крестьянством, решительные перемены в социальном и жизненном укладе вызывали нравственные и психологические изменения, с прежними мерками к этой новой деревне подходить было нельзя. И молодой поэт, каким был тогда Твардовский, не стал в эпоху метрической системы мерить старым аршином новосрубленные стены. Чутко и верно отозвался он на изменившееся биение пульса народной жизни. Каждому из нас трудно отбросить напрочь пресловутый аршин, столько на нем точных и глубоких зарубок, и «Страну Муравью» я назвал бы благовестом новой крестьянской жизни. Это действительно благовест, светлый и праздничный, торжественный и лиричный одновременно. Он зазвучал тогда, когда и должен был зазвучать, не раньше и не позже. Раньше — было бы по пословице «не глянув в святцы, да бух в колокола» — шли трудные роды колхозного строя, позже — все ближе надвигалась вой-

на и слух тревожили иные звучания. «Страна Муравия», как всякое настоящее произведение, появилась вовремя. В ней властвует праздничное ощущение удавшегося начала. Бесчисленные Никиты Моргунок в тридцатых годах, с тревожной настороженностью сделавшие первые шаги в зыбкую неизведанность будущего, ощутили под ногами твердую почву. Колхозный строй, вчера еще манящий и пугающий, стал реальностью и, как говорится, принял. Принялся и, как молодое дерево, стал пускать обильные и цепкие корни, зеленеть шумной листвою, начинать раннее цветение.

Светлая фантастичность русской сказки как нельзя лучше подходила к передаче и воплощению такого праздничного чувства. Разительные перемены в жизни села произошли и впрямь настолько быстро, что вызывали представление о фантастичности. Шутка дело — в несколько лет перевернуть тысячелетний уклад, которым плохо-бедно, но жила Россия всю свою историю! Сказочный сюжет, да и не только сюжет, а сама обстановка и звучание сказки позволяли единым взглядом окинуть бескрайние российские дали, на которых происходили эти перемены, перекинуть невесомые, но достаточно прочные мосты из прошлого в будущее.

Сам Никита Моргунок оказался на редкость удачным образом, соединившим в себе фантастичность и реальность крестьянского бытия. В музыке поэмы этот образ выполняет назначение контрапункта, стягивающего в узел основные мотивы. В русском крестьянстве удивительно соседствовали трезвая практичность с безоглядной мечтательностью, прочная приземленность со «взысканием града». Хори и Калинычи не только шествовали рядом по российским путям-дорогам, но часто уживались в одном человеке. Из ручьев сливаются реки, и уже не отдельным личностям, а целым народным движениям становились присущи романтические черты. Бородатый казак, ни единой чертой не напоминающий худосочного голштинского принца, полгода просидевшего на императорском престоле, принимает его имя, и вся мужицкая Россия славит в нем крестьянского царя Петра III, не забывая при этом об его истинном имени-прозвище. От избы к избе бежит смутный и сладкий слух о «золотой грамоте», по которой будто бы жить мужику без крепостного права, без помещиков и чиновников, без налогов и поборо́в, без рекрутчин и повинностей, а

так — самому по себе. Уже на рубеже XX века снаряжают уральские раскольники трех степенных мужей на поиски загадочной Беловодии, где все от мала до велика крестятся двумя перстами и живут по старинному чину. И те впрямь объезжают полсвета. мыкаются по Египтам и Индиям, Китаю и Япониям, пока не убеждаются в несбыточности дедовских мечтаний.

Фантастика! Но как всякая фантастика опирается на вполне определенные жизненные реалии, так и здесь самые диковинные вымыслы и домыслы основывались на доподлинных требованиях крестьянской среды. За странным ликом бородатого Петра III вставал беспощадный пугачевский бунт, потрясавший устои империи. «Золотая грамота» упразднила крепостное право задолго до его отмены. Поиски Беловодии зывали к свободе совести, так и не объявленной в старой России.

Никита Моргунок, плоть от плоти практиков и мечтателей тысячелетней Руси, ищет и находит страну Муравию в окружающей его яви. Все шире и доверчивее распаивается он душой к счастью не для одного себя, а для всех своих единоплеменников. От заманчивого, но крохотного идеала прежнего крестьянского бытия, обрисованного в знаменитых строках «Земля в длину и ширину — кругом своя. Посеешь бубочку одну, и та — твоя», он приходит к идеалу всеобщего благоденствия, основанного на коллективном труде. «Бубочка», конечно, страшно трогательна, она дорога и мила крестьянскому сердцу, но глядя на нее глазами, опущенными долу, можешь ничего не увидеть вокруг. А тут — невообразимые престоры открываются взгляду, они прежние и не прежние, вековые и невиданные, и праздничной новизной звенит над нами стих молодого Твардовского:

И едет, едет, едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырех сторон
И сверху — облака.

По склонам шубою взялись
Густые зелена.
И у березы полный лист
Раскрылся за два дня.

• • • • •

И над полями голубой
Весенний пар встает,
И транктор водит за собой
Толпу, как хоровод.

Белеют на поле мешки
С подвезенным зерном.
И старики посевищники
Становятся рядком.

Молитву, речь ли говорят
У поднятой земли,
И вот, откинувшись назад,
Пошли, пошли, пошли...

За плугом плуг проходит вслед.
Вдоль — из конца в конец.
— Тпру, конь!.. Колхозники ай нет?..
— Колхозники, отец...

Чуть веет вешний ветерок,
Листвою шевеля.
Чем дальше едет Моргунок,
Тем радостней земля.

Земля!..
От влаги снеговой
Она еще свежа.
Она бродит сама собой
И дышит, как дежа.

Земля!
Она бежит, бежит
На тыщи верст вперед.
Над нею жаворонок дрожит
И про нее поет.

Земля!..
Все краше и видней
Она вокруг лежит.
И лучше счастья нет, — на ней
До самой смерти жить.

Земля!
На запад, на восток,
На север и на юг...
Припал бы, обнял Моргунок,
Да не хватает рук...

В «Стране Муравии» впервые обозначились со впечатляющей силой обобщающие свойства поэзии Твардовского. Едва ли не любой образ является обобщением, но здесь речь должна идти о масштабах. Когда поэт отталкивается от случая, образ, при любой степени яркости, тоже часто приобретает черты случайности. Твардовский шел от события, а не от случая, и поэме сообщился событийный размах. Тут легко соскользнуть в банальность: мол, сам материал предопределил обобщение. Ничего подобного! Десятки, а то и сотни поэтов, не хуже Твардовского знавшие деревню, захлебывались и тонули в этом самом «материале» и ограничивали обобщения либо пределами видимости протянутой руки либо разграничивали их уже до совершенно неосознаваемых пределов. Последнее шло, кажется, от того трагикомического отчаяния, знакомого многим пишущим: тема чувствуется, но не

охватывается — так она велика, и вот на помощь призываются слова-знаки, должныствующие подчеркнуть ее величие. Но такое решение вопроса, кроме почтения поэта к избранной теме, характеризует и бессилие с ней справиться.

Твардовский не только почувствовал, но и охватил тему во всей ее объемности и глубине. Частности были подчинены общей мысли и приобрели вес и значение благодаря одушевляющей их идее. Беспредметность никогда не была уязвимым местом Твардовского, он не любил фразу, стих его был вещным и всегда опирался на прочные реалии. Художественное обобщение событий огромного размаха оказалось ему по плечу.

«Страна Муравия» была воспринята как большая творческая удача поэта. Об этой удаче заговорили повсюду, но молодой Твардовский мог бы прокомментировать эти разговоры сердитыми словами старика Суворова: «Удача, удача, но, помилуй бог, когда-нибудь и талант». Ибо все умные и серьезные слова, которые говорились и говорят в адрес поэмы, сами по себе ровно ничего не стоят без этого короткого слова. А поэма — намеренно употребляю это озорное определение — была чертовски талантлива. И написал ее двадцатипяти-двадцатилетний человек, почти мальчик по перешнанным понятиям.

Обобщающая сила поэзии Твардовского, раз возникнув, могла найти и нашла бы приложение к новым событиям в жизни русского села, так хорошо знакомого поэту. Но как будто сама судьба горько озабочилась о том, чтобы он пошел от большого к большому, и поставила его, как и всех нас, перед лицом таких событий, которые в своем развитии и исходе определяют судьбы народа в целом. Началась Великая Отечественная война.

В эти годы создается эпопея «Василий Теркин», и в ней и с ней неслучайно и закономерно крестьянский поэт становится поэтом общенародным. Это становление происходит тем естественнее, что Твардовскому не нужно перестраивать себя и приобретать доселе неведомые качества. До войны свыше половины населения страны жило крестьянским трудом, и соответственно, армия, защищавшая страну от немецких фашистов, больше чем наполовину состояла из жителей села. Крестьянин, одетый в сол-

датскую шинель, но крестьянин не прежний, а прошедший ломку «Поднятой целины» и апофеоз «Страны Муравии», стал действующим лицом эпоса, развертывавшейся на огромных просторах России от Баренцева до Черного моря. Эта жизненная эпопея почти немедленно превратилась в эпопею поэтическую силой таланта Твардовского. «Василий Теркин» появлялся в свет главами, составлявшими как бы отдельные художественные произведения. Соединяясь, они образовывали живую летопись военных удач и невзгод, ведущуюся живым свидетелем и участником событий, и невероятная сила достоверности скрепляет воедино ее страницы.

Сам Василий Теркин, именем которого названа «Книга про бойца», от страницы к странице, от главы к главе и как бы помимо воли автора вырастает в огромный образ, воплощающий в себе не только советское крестьянство на войне, а нечто значительно большее. Как тысячеликкий Иванов, родившийся в одной из тысяч Ивановок, разбросанных по Руси, укрываясь одной шинелью с ленинградским рабочим Петровым и деля фронтovou пайку с московским студентом Сидоровым, неприметно вбирал в себя их черты, а те в свою очередь приобретали нечто ценное у него, так Василий Теркин, проходя через горнило войны, не теряя прирожденных крестьянских черт, усваивает черты общенародные. Сознание национального единства, созревшее в годы тяжелейших испытаний, когда-либо выпадавших на долю Руси, в высшей степени присуще герою Твардовского. Оно, это сознание, уходя корнями в далекие глубины истории, воскресло и укрепилось с новой силой, когда под угрозой было поставлено само существование России. И ее сыновья жили и сражались, умирали и побеждали равно под стенами Москвы и Ленинграда, в полях под безвестными селами и деревнями в этом свягом сознании.

И в одной бессмертной книге
Будут все навек равны —
Кто за город пал великий,
Что один у всей страны;

Кто за гордую твердыню,
Что у Волги у реки,
Кто за тот, забытый ныне,
Населенный пункт Борки.

И Россия — мать родная —
Почетъ всем отдаст сполна.

Бой иной, пора иная,
Жизнь одна и смерть одна.

«Василий Теркин» — подлинно национальная эпопея, и все лучшие черты русского народа запечатлелись в ней с изумляющей силой. Это не панегирик, который вообще не свойствен Твардовскому, а глубокое раскрытие народного характера. Примечательно, что такие крупнейшие события нашей истории, как Отечественная война 1812 года и гражданская война, вызвали к жизни эпические произведения прозы «Войну и мир» и «Тихий Дон». Великая Отечественная война создала свой эпос средствами поэзии, и в прозе пока равного «Василию Теркину» произведения нет. Об этом необходимо помнить, оценивая место, занимаемое Твардовским в нашей литературе.

Горького приоритета жертв, принесенных русским народом войне, и его светлого первенства в утверждении победы невозможно оспаривать. Но подвиг русского воина был подвигом советского солдата, а его победа над врагом — торжеством всего нашего правого ленинского дела. Эпопея защиты родины переходила в эпическую историю освобождения Европы от фашистского ига. На дорогах 45-го года, за Дунаем и Вислой, Одером и Эльбой, русских и украинцев, грузин и армян, казахов и узбеков в пилотках с красными звездочками тысячеустая молва объединяла единым словом «Советы». Звали нас и просто русскими, не разбираясь особенно в различиях акцентов, глаз и волос, но опять-таки со смыслом «Советов». Нам, современникам, очень памяты эти дни, а в стихах Твардовского они запечатлены навечно:

На восток, сквозь дым и копоть,
Из одной тюрьмы глухой
По домам идет Европа.
Пух перин над ней пургой.

И на русского солдата
Брат француз, британец брат,
Брат поляк и все подряд
С дружкой будто виноватой,
Но сердечню глядят.

На безвестном перекрестке
На какой-то встречный миг —
Сами тянутся к прическе
Руки девушек немых.

И от тех речей, улыбок
Залит краской сам солдат.
Вот Европа, а спасибо
Все по-русски говорят.

Он стоит, освободитель,
 Набок шапка со звездой.
 Я, мол, что ж, помочь любитель,
 Я насчет того простой.
 Мол, такая служба наша,
 Прочим флагам не в упрек...

«Такая служба наша!» Но эта служба человеку и человечности началась задолго до этих счастливых дней — на июньском рассвете 1941 года, когда советский пограничник ответным выстрелом встретил залп фашистских орудий. Она, эта служба, продолжалась на заснеженных полях Подмосковья, в блокаде Ленинграда, в окопах Сталинграда. Она завершилась поднятием знамени над германским рейхстагом, разгромом немецкого фашизма, освобождением Европы. И человек, сослуживший эту службу людям и времени, рядовой советский солдат Василий Теркин совершил тем самым не только национальный, не только государственный, но и всечеловеческий подвиг.

Переправа, переправа!
 Пушки бьют в крошечной мгле.

Бой идет святой и правый.
 Смертный бой не ради славы,
 Ради жизни на земле.

Переправа с одного речного берега на другой, с такой поразительной силой запечатленная в поэме, стала переходом от национальной задачи к всемирно-исторической «ради жизни на земле». И обе эти задачи, неразрывные между собой и объединенные в одно великое целое, были решены и выполнены.

«Василий Теркин» — произведение, которое трудно и даже невозможно рассматривать как событие одной литературы. Это сама жизнь, сама история, сама философия народа, советского строя, социалистического государства в напряженнейший момент их исторического существования. И непреходящее значение эпопеи Твардовского состоит именно в этом.

Если бы Твардовский не написал после «Василия Теркина» ни одной строчки, он и тогда бы закрепил за собой выдающееся место в истории советской литературы и нашей общественной мысли. Но спустя пятнадцать лет по окончании войны им завершается новая эпопея — «За далью — даль», расширяющаяся и без того широкие горизонты его творчества.

Опять в центре внимания поэта становится главное содержание жизни народа, но теперь уже в послевоенное время. Говорю «содержание», а не событие, ибо великая стройка на Ангаре была лишь частью строительства коммунизма, того величайшего строительства не только производственных объектов, но и душ человеческих, которое разворачивается в нашей стране. Твардовский и теперь шел от большого к большему, и само название поэмы «За далью — даль» красноречиво свидетельствовало, что так он и осознает свою задачу. Для него как поэта и человека было плодотворно и то обстоятельство, что великая стройка, о которой говорил весь мир, началась за тридевять земель от его родных мест, в незнакомой ему доселе Сибири. Поэту такого размаха, как он, необходимо было ощутить вживе всю нашу огромную страну от края до края, а не одну ее европейскую часть. Дело, конечно, не в географии, а в том, что пульс народной жизни бьется с неослабевающей силой на широчайших просторах от Балтийского моря до Тихого океана, и большому художнику нужно услышать его биение не только в привычных краях, чтобы явственнее представить и ощутить страну, от имени которой он говорит. В новых местах ждали его и новые герои — не люди села, не люди войны, а люди строительства. А народ в нашей стране немыслим без своего ведущего отряда — рабочего класса. Не легко думать, что Твардовский заранее определял себе цель стать народным поэтом, но сама жизнь, как мы видим, вела его от большого к большему, пока редкое сочетание двух слов само не обозначило его значение в литературе.

Не социальный переворот и не потрясение государства (как это было в «Стране Муравии» и «Василии Теркине») обозначили рождение поэмы «За далью — даль». Бурное и стремительное, но планомерное течение народной жизни к великой цели вынесло на свой стрежень раздумья поэта о судьбах общества, страны, государства. Свободный разговор с читателем, ведущийся в поэме, начиная с первой и кончая последней строкой, это по сути разговор со всем народом. На такой прямой и откровенный разговор претендуют многие, но не каждому он удается: либо сообщить нечего, либо слушать не хотят — по той же причине; а у Твардовского такой разговор получается сам собой, и для этого ему не нужно

становиться в позу оратора или проповедника,— это доверительная беседа.

Когда же вдруг, где-то в конце этой беседы, вы слышите одновременно простые и пафосные слова о родине и своей судьбе, связанной с ней,—

Она не просто сотня станций,
Что в строчку тянутся на ней,
Она отсюда и в пространстве
И в нашем времени видней.

На ней огнем горят отметки,
Что поколению моему
Светили с первой пятилетки,
Учили смолоду уму...

Все дни и дали в грудь вбирая,
Страна родная, полон я
Тем, что от края и до края
Ты вся — моя.

моя,
мой!

На все, что внове
И не внове.
Навек прочны мои права.
И все смелее, наготове
Из сердца верного слова,—

эти слова окажутся вашими словами, так как драгоценное свойство поэзии Твардовского—всеобщность—превращает сказанное им в достояние каждого из нас.

Так от большого к большому развивался талант Твардовского. И если попытаться оценить значение его творчества для нашего общества, я бы сказал, что оно — это значение — определяется прежде всего объемным и многосторонним охватом советской действительности в ключевых ее событиях. Эта сухая формула скажет, пожалуй, о главном, но только уму, а не сердцу. А сердцу скажут сами строки Твардовского, над которыми люди радуются и грустят, смеются и плачут, как плакал я сам и многие мои товарищи, читая поразительные строки «Переправы»:

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...

Кому память, кому слава,
Кому темная вода.—
Ни приметы, ни следа.

И уже не только уму, не только сердцу, а некоему глубинному чувству, переданному нам с молоком матери, неслышимо многое скажет сама речь Твардовского — прекрасная русская речь, где, по гоголевскому выражению, что ни звук, то и подарок. Эта речь звучит во всех поэмах и стихах Твардовского. О стихотворениях я здесь ничего не говорил вполне сознательно. При оценке выигранного сражения обращается внимание прежде всего на роль соединений, а не подразделений. Эпос — это армейские соединения поэзии, и, обращаясь к великим примерам, вы будете судить о Данте раньше по «Божественной комедии» и уже после по канонам, о Гёте по «Фаусту», о Пушкине по «Евгению Онегину», о Некрасове по «Кому на Руси жить хорошо», а потом уже по их лирике. Примеры, конечно, большие, но и Твардовский — поэт немалый.

Немалый! Только пуританская сдержанность журнальных оценок да естественная боязнь смутить хорошего и серьезного человека заставляют меня опустить те эпитеты к его имени, которые он вполне заслужил. Я выберу из них пока лишь один, освященный нашей традицией и прилагаемый только к нескольким писателям нашей страны,—выдающийся.

Выдающемуся советскому поэту Александру Твардовскому исполнилось шестьдесят лет. Что пожелать ему в этот день?

— От большого к большому,— мог бы я снова повторить не раз повторявшиеся здесь слова. Но лучше сказать словами самого Твардовского:

— За далью — даль!



СТАНИСЛАВ ЛЕМ

★

МИФОТВОРЧЕСТВО ТОМАСА МАННА

Печатаемый ниже очерк известного польского писателя Станислава Лема написан для задуманной им книги «Философия случайности». Однако он представляет, безусловно, и самостоятельный интерес, и когда во время своего визита в Советский Союз Станислав Лем предложил этот очерк для опубликования на страницах «Нового мира», редакция охотно приняла это предложение, полагая, что очерк привлечет внимание читателей. Не со всеми положениями автора, развиваемыми им в этой работе, можно согласиться — даже и при тех оговорках и разъяснениях, которые он делает сам в специально написанном для публикации небольшом предисловии. Однако проблемы, которые ставит в своей работе Станислав Лем, заслуживают, несомненно, самого серьезного внимания и обсуждения.

Предисловие автора

Это эссе входит в книгу, названную «Философия случайности» и снабженную подзаголовком «Литература в свете опыта» (фрагмент этой книги опубликован на русском языке в «Вопросах философии» № 8 за 1969 год). Как явствует из подзаголовка, проблематика книги сосредоточена на познавательных ценностях литературного произведения, а ценности эти исследуются при помощи методов, позаимствованных из разных областей естествознания и наук, использующих логико-математические приемы. Несколько упрощая (это неизбежно при столь кратком вступлении), можно сказать: главная мысль книги — это то, что литературный текст, как и всякий прочий, не самостоятелен, как, скажем, звезды, деревья или камни; материальные предметы существуют совершенно объективно, сами по себе, а знаковые системы, передающие информацию, соотносятся с людьми, которые ими пользуются. Поэтому литературное произведение всегда недоопределено, и эту его «недоопределенность» восполняет лишь процесс восприятия «чтения». Читателю подчас кажется, что чтение книги — это отдельное, изолированное явление (1 читатель — 1 книга); на самом же деле здесь налицо процесс, в сути своей общественный. Говоря коротко, одна и та же книга в различных культурных средах, то есть в разных исторических формациях, значит не одно и то же, поскольку в своей семантике она вступает в зависимость от данного множества читателей. Доопределение совокупности смыслов литературного произведения читателями в конкретный исторический период я называю восприятием, стабилизирующим семантику произведения — по аналогии с теорией стабилизирующего отбора в биологической эволюции. «Доопределение» текста вызвано ходом и переменами в истории людей, и мы не можем утверждать, что древние понимали «Одиссею» или «Гильгамеша» более (или менее) «верно», чем эти шедевры понимаем мы. Просто-напросто они воспринимали эти произведения во многих отношениях и на ч е, чем мы. Лишь на недоразумении основана разница во взглядах на проблематику «Доктора Фаустуса», которую вскрыл С. Апт в статье «Читая письма Томаса Манна» («Иностранная литература», № 9, 1969). С. Апт говорит, что, отрицая правомочность применения фаустовского мифа как модели фашистской Германии, я ломилась в открытую дверь, поскольку «Доктор Фаустус» этой моделью не был. Главная же тема книги — судьба художника, проблема ответственности — в рамках трагедии немец-

кого народа. С. Апт совершенно правильно утверждает, что не следует обвинять роман в том, чего в нем нет, поскольку сам автор не собирался этого выражать. Однако критические замечания С. Апта по адресу помещенного ниже эссе о Томасе Манне были бы верными, если бы равенство «Доктор Фаустус» = историческая трагедия Германии являлось моим частным вымыслом, то есть если бы я сам сперва счел, что Манн «должен был» в «Докторе Фаустусе» осуществить это равенство, а потом уж напал на него за то, что он этого не сделал. Но я опираюсь на хор голосов европейской критики, особенно немецкой: ведь многие знатоки творчества Т. Манна твердили, что «Доктор Фаустус» воплотил судьбу всей Германии (или трагедию падения немецкой культуры и крушение общества, к которому привел фашизм). Этот тезис не раз настойчиво повторяла западногерманская критика, и я полагаю, что сравнение — в плане художественной метафоры — того выбора, который совершает доктор Фаустус, соблазненный дьяволом, с тем выбором, который «делает» немецкая нация, «соблазненная» Гитлером, определенным образом «облагораживает» несомненный позор Германии. Если преступление доказано, приговоренному приятней слышать, что он совершил убийство, как Гамлет, пронзивший мечом Полония, или как Ахиллес, убивший Гектора, чем узнавать, что он зарезал безоружную жертву, словно профессиональный убийца-гангстер. Не столько сам Томас Манн, сколько критика (или почти только критика) старалась истолковать «Доктора Фаустуса» в духе этого сравнения. Чужовищность фашизма осталась чужовишной, но ее чуть-чуть «облагородили», включив в систему возвышенных мифов человечества. Вот этому и противостоит мое эссе; и объектом моей критики в основном служат те толкования романа, которые метят позорные страницы истории печатью возвышенного трагизма и трансцендентной тайны.

Почему же я полемизирую тогда не с конкретными критиками, а как бы с самим произведением? Дело в том, что общее мнение — «судьба Леверкюна отображает судьбу всей Германии» — очень распространилось и стало уже не «частной собственностью» отдельных людей, которые, возможно, пустили его в обиход, но привычным штампом толкования романа — штампом, ложность которого я и пытался показать.

С. Лем.

Москва.

Одно из основных свойств человеческого разума — склонность находить порядок в окружающем нас мире. Свойство это возникло не на высших ступенях эволюции — оно есть у всех животных. Но человек свободнее всех ищет упорядочения мира. В сущности, и мифотворчество, и философствование, и теодицея, и рациональная эмпирическая деятельность сводятся к поискам порядка, правящего миром. Магия, религия, онтология, человеческий опыт одинаково стараются ответить на вечные: «Что, как и почему». Но если опыт открывает в мире порядок, на который опирается наша техническая деятельность, и порядок этот проверяется на каждом шагу, миф дополняет мир, навязывая ему порядок, который не проверишь эмпирическим опытом. И здесь и там мы ищем единственный ключ, формулу явлений; и нет ничего странного, что аналогичные процессы отражает и литература. Эпос стремится переплотить мир так, чтобы, выловив элементы из бесконечного множества явлений,

соединить их и получить некие вечные истины. Это — все те же поиски постоянных величин, определяющих судьбу и мироздание. Не будем здесь искать ответа на вопрос, почему человек действует именно так и в какой степени можно свести эту его деятельность к элементарным биологическим движениям. Мы только описываем, как обстоит дело, чтобы впоследствии к этому вернуться. В творчестве Манна можно четко выделить борьбу двух диаметрально противоположных способов упорядочения действительности — мифического и эмпирического.

На вопрос о том, откуда явилась эпидемия чумы, можно дать исчерпывающий ответ, который одобряют все специалисты. Тем не менее всегда найдется еще одна причина: скажем, чума — еще и бич божий. Верующие наших дней должны покориться этой двойственности — не только толковать явление, но и делать что-то конкретное, техническое для борьбы с чумой (что с точки зрения религии совершенно излишне).

Правда, не всем явлениям реального мира верующий припишет такое «двойное» значение. Так, никто обычно не считает, что машину или часы сломали высшие силы. На трансцендентность возлагают ответственность тогда, когда речь идет о крупных событиях. Если бы оказалось, что, остановившись, часы вызвали мировую войну, положив начало лавинообразной серии событий, тогда и первое звено некоторые охотно снабдили бы высшей санкцией. Для приверженцев той или иной религии только она — истинная вера в отличие от религий «фальшивых», например мифов; мы не можем согласиться с таким делением не из антифиденстических, но из классификационных соображений. Все, что ищет связей вне реального мира, дополняя его «трансцендентными надбавками», относится — согласно единой классификации — к мифам.

На вопрос о том, откуда взялся фашизм, можно дать ответ социологический, экономический, в общем — причинный, хотя наши знания в этой области уступают, например, биологическим. Можно дать и ответ, который приведет нас к определенной «працепти» событий, раз навсегда установленной во вневременных категориях. Этим самым вместо эмпирического объяснения мы получаем откровение; вместо гносеологической динамики — псевдинамику неизбежного возвращения вечных ситуаций. Например, соблазна, греха и вины.

Все это значит, что даже очень точные знания не отключают от трансцендентности область, к которой относятся. В определенном — психологическом — смысле, конечно, легче очертить ее там, где знания вскрывают лишь вероятность: ведь нелегко искоренить веру в полную предопределенность мелких, каждодневных явлений. Даже совершенные социологические знания с трудом избавляют нас от мифологического толкования феноменов типа фашизма.

Функции литературы исторически менялись; во времена Манна в ее задачу не входило — как можно судить на основании множества значительных произведений — создание всеобщей эмпирической картины человеческого бытия. По многим сложным причинам, которые мы не будем здесь разбирать, позитивизм, приверженец такой картины, не пользовался особыми симпатиями художников. Ведь реалистическая эпика показывает истинные события, а к ним относятся и проявления веры, и все их прак-

тические последствия. Если же говорить о человеческих судьбах, сочетание обоих подходов (мифологического и эмпирического) может давать интересный в художественном отношении результат. Уже самый факт столкновения столь противоречивых взглядов чем-то трогает нас: борьба между порядком, вскрытым человеческой практикой, и порядком, данным в откровении, — пожалуй, одна из самых занимательных черт человека. Бывают темы, при разработке которых такие гибриды оказываются жизнеспособней, чем книги, держащиеся только на костяке действительности.

Сопоставим такие книги, как «Признания авантюриста Феликса Круля» и «Избранник». В одной можно выявить эмпирическое моделирование, в другой — парафразу мифа. Это крайние деления нашей шкалы; двигаясь по ней, мы обнаружим различное соотношение обоих типов порядка во всех больших произведениях Манна. Мы заметим, что бледная тень мифологического прототипа, в его сказочном варианте, просвечивает сквозь реалистическую оболочку «Королевского высочества». Следы его можно найти и в «Волшебной горе», где, правда, заметен перевес познавательной эмпирии. Общественные процессы моделируются там в замкнутой группе людей (под общественными процессами) мы понимаем здесь культуру эпохи, ее главные течения, так называемый «дух времени»). Эта книга не будет нас интересовать в такой степени, как последнее большое произведение Манна — «Доктор Фаустус». В ней отразились все навязчивые идеи великого писателя: проблема здоровья и болезни, проблема художника и его искусства, проблема соблазна и греха и *last but not least*¹ — проблема времени, породившего книгу, и нации, породившей Манна.

Конечно, и в «Волшебной горе» можно найти мифологический элемент — в том широком понимании, которое мы придали этому слову. Аллегорическое изображение судьбы мы найдем в большой главе «Снег». Да ведь и сам Ганс Касторп, по словам Манна, был в своей благой посредственности воплощением *Ното Деи*?. Но когда эмпирический строй романа сливается с его мифическим строем или когда один

¹ Последнее по счету, но не значению (англ.).

* Божий человек (лат.).

может опереться на другой, усилить его, углубить, осветить, когда оба не спорят друг с другом, — возникает то всеобщее согласие, которое удовлетворяет каждого читателя. И эмпирик и верующий отходят от этой картины мира в глубоком убеждении, что это «именно его мир», что писатель видит, как он. Эпос тщится изобразить модель, в которой царит множество порядков: мир эпического писателя «многомоделен», читать его можно по-разному — и этим он похож на мир «настоящий».

Как бы антитеза «Доктора Фаустуса» — «Иосиф и его братья». То, что «Избранник» показывает в сравнительно малом объеме, на ограниченном материале, здесь разрослось до монументальной библейской саги. Миф в чистом виде послужил «оригиналом», который Манн сопоставил со своими гигантскими познаниями — эмпирическими, рациональными, точными в каждом дюйме. Все доступные элементы культурной антропологии, истории, археологии, психологии послужили для того, чтобы сделать правдоподобной библейскую историю; ни одна черта ее не искажена, но все черты исчезли в огромном романе, как исчезает в теле скелет. Можно сказать, что в этих пухлых томах миф победил историю, точнее — подчинил ее себе и, напитавшись обширным ее материалом, стал куда правдоподобней библейского «подлинника». Однако роман не столько пересказывает миф, сколько являет нам процесс его возникновения и развития; о чем говорит уже огромная вступительная часть, которая сообщает нам, что автор собирается представить не столько определенные «состояния дел», сколько их «формирование» в бездне времени. Особое коварство и совершенство книги в том, что процесс мифотворчества переплетается здесь с самим возникающим мифом. Ни одной щелочки не осталось в этой конструкции; она одновременно — и действие, и его продукт. Читая книгу, мы вспоминаем романы первой половины нашего века, в которых описывался самый процесс их возникновения. Но в данном случае текст не обращен на себя — он направлен в прошлое и показывает два временных строя: динамический строй «обыкновенной» хронологии событий и строй их облагороженного рисунка, заставляющего в библейском повествовании. Кончая книгу, мы не вправе спросить: «А как там было на самом деле?» — роман, «рассказывающий о самом себе» (и этим

самым подражающий мифу, обрастающему в своих блужданиях побочными значениями и линиями), показывает тщету подобных вопросов. Он показывает нам, что достаточно отдаленное прошлое, о котором мы знаем доподлинно только то, что люди рождались в нем, жили, страдали и умирали, неизбежно обращается в легенду. Остальное — молчание или ослепительный блеск, которым миф, оживающий под пером писателя, награждает героев, не существующих уже тысячелетия.

Роман Манна в одно и то же время можно назвать и новым и старым. Ново совершенство его повествовательной техники; стар основной метод: ведь, прежде чем изображать мир, литература дополняла его, как дополняет религия. Изображение относится к функциям эмпирически познавательным, дополнение — к мифологическим.

Критику Манна предстоит нелегкая задача; этот великий писатель был и великим знатоком собственного творчества. Свои замыслы — особенно в годы творческой зрелости — он реализовал так, что лишь тот, кто не согласен с их принципами, может отвергнуть произведение. Я хотел бы ограничиться «Доктором Фаустусом» и объяснить, как возникли мои возражения против этой книги.

Томас Манн еще раз столкнулся с действительностью. При помощи фаустовского мифа он хотел так сформировать определенный ход событий, изображенных реалистически (то есть достоверно с точки зрения наивного реализма), чтобы события эти позволяли истолковать их совершенно буквально, но одновременно показывали фон сверхъестественного, потому что нисходящий оттуда окончательный лад определяет смысловое целое романа.

Это моделирование проходило в основном внутри полярных противопоставлений, создающих некие силовые линии. Можно их условно обозначить попарно на как бы мифологическом горизонте: Фауст — Мефистофель, а ближе к тексту — Адриан Leverkю — дьявол, здоровье (или нормальность) — болезнь, спасение — разрушение (при помощи искусства), или, в общих словах, добро — зло.

Итак, еще раз — дьявол: как воплощение зла. Разумеется, Манн открыл дверцу и «эмпирическому» толкованию: в тексте говорится о необратимых процессах в мозгу,

которые вызывает бледная спирохета, возбуждая галлюцинации. Но становится ли «Доктор Фаустус» на самом деле амбивалентным? Возможно ли такое его «отдельное» прочтение, которое сведет метафизическую проблематику к влиянию бледной спирохеты? Это более чем сомнительно. Дьявол Манна не выполняет той роли, какую играет черт в «Братьях Карамазовых». Тот ведь своим появлением ничего не изменил: мир остался, каким был, и будущее непостижимо. Манновский дьявол влияет на ход событий — вместе с ним является предопределенность. Если счастье его кошмаром больного мозга, роман распадется на части: печальные и позорные приключения Леверкюна, его жестокое одиночество, смерть ребенка, которого он полюбил, а до того смерть врача — это совпадения, случаи, их ничто не связывает, кроме большого вообржения. Перед нами просто-напросто «странные стечения обстоятельств», из-за которых Леверкюн страдал галлюцинациями, а галлюцинации эти осуществлялись так, словно он составил настоящий, а не только призрачный договор с адом. Вместо «дьявола» мы могли бы подставить — в плане «эмпирического» прочтения — человеческую злобу, но как эта злоба могла бы сама привести к тому, чтобы осуществилось все, взбудораженное болезнью? Итак, дьявол Манна вводит в роман жесткий детерминизм, предопределенность событий; он не только воплощение «антибога», но и фактор, превращающий содержание книги в содержимое часов.

Часовой механизм взят из мифа. «Доктор Фаустус» — воплощение аристократического мифа, потому что дьявол охотится на избранных. В сущности, он — важная персона, князь тьмы, и в договор вступает не с кем попало, а с гением. Дьявол Манна родом из минувшей эпохи. Это индивидуалист, для которого нет места в эпохе масс. Он, близкий родственник всеведущего демона Лапласа, следит за условиями договора, как бухгалтер, и за нарушение буквы неумолимо взыскивает причитающееся — убивает ребенка, которого полюбил Адриан.

Каков же фон времени, на котором развигается эта история? Испытать даже самое чудовищное зло, зная, что оно «адресовано лично тебе», потому что существует Некто, кто именно тебя выбрал жертвой, — это, что и говорить, роскошь по сравнению с нормами эпохи. Мы в Европе были зер-

нами, которые миллионами летели в жернова; и в щелях, разделяющих жизнь и смерть, миллионы существ не имели ни времени, ни места не только на разговоры с адом или с небом, но даже на один-единственный жест попанной человечности. Жертвы были лишены лица, имени, личности. Тот, кто, названный поименно, погибал за свои заслуги или грехи как избраннык дьявольских или недьявольских сил, — находился в чрезвычайной, в исключительной, в завидной ситуации: он хоть на мгновение выходил из безвестности, становился человеком хотя бы для убийцы, который распознавал в нем личность, а не только сырье для химических фабрик. Это была эпоха массовых боен, организованных хорошими специалистами. В стенах этих боен гениальность не имела ни малейшего значения, над ней не склонялся дьявол, распознающий великую душу, дабы подвергнуть ее соблазну. Можно ли представить себе дьявола в концлагере — не как метафору, а как личность, вступающую в переговоры с кем-нибудь из людей? Какая чепуха — и какая глупая, возвышенная фальшь! Каждый человек в центре Европы — и гений и не гений — мог превратиться в кучу костей и потрохов, которыми топили печи. Чтобы начаться, трагедия должна дать список действующих лиц, личностей, а его не было. Чтобы осуществиться, события — не важно, связанные с запредельным или нет, — должны располагать чисто объективными условиями, хотя бы пространством. Сама мысль о нотариальных контрактах с тьмою в ту конкретную эпоху кажется бессмысленной. Мифу не поднять действительность, которая слишком уж сильно отличается от него.

Это принципиальный вопрос. Дело не в шантаже; мы не требуем — в справедливом, но наивном моральном возмущении, — чтобы литература представила всю действительность и оценила ее: это невозможно. Сочувствие парализует перо писателя точно так же, как и равнодушие к судьбе человека. Наука и искусство выработали определенные методы, чтобы выстоять в борьбе с мирозданием; наука абстрагируется от конкретного хода событий, искусство его возвышает. Оно может поступать и иначе, и Манн об этом знал, но, когда сел за роман, чтобы говорить о своем народе, он сломал свой самый ценный инструмент — иронию, которой обычно пользовался. Он осмелился применить ее лишь частично, об-

ратив ее острее лишь на повествователя, Серенуса Цейтблома, но и тут она получилась довольно-таки плоской и легковесной. Нельзя отказаться от иронии или даже от более жестоких форм — гротеска, например, — когда надо спасти гуманизм; но Манн выбрал неправильный путь — путь возвышения.

В преступлениях нашего времени повторились, наверное, преступления, известные нам из истории, но наши — страшней, поскольку в ход пошла высокая техника. Библия, из которой Манн взял тему «Иосифа и его братьев», — это история не менее мрачных времен, и только дымка перспективы и многократно повторенный процесс обращения кровавых дел в их мифические версии оправдал их в наших глазах. Такой процесс действует на психологию. Свежие могилы для нас неприкосновенны, но величие смерти скоро испаряется: ведь могилы вековой давности можно вскрывать — например, в интересах науки. Очень трудно сочувствовать человеку, который безвременно погиб каких-нибудь три или четыре тысячелетия назад. Он бы и так не жил сейчас, и эхо его страданий не доходит до нас, гаснет в пропасти минувшего. Миф придает благородные позы анонимным, гипотетическим существам, изображает некий ритуал фатально неизбежных действий; и это не кажется нам непристойным. В понимании теории игр трагедия — это ситуация, лишенная стратегии выигрывания; тем не менее остается выбор между различными «стратегиями поражения». Отдельные стратегии поражения — результат отказа от различных (неожиданных) соперничающих ценностей. Выбор в трагической ситуации, принятие определенных ценностей и отказ от других не будет пустым — ни тавтологически, ни эмпирически. Кто-то гибнет, но благодаря его выбору спасена какая-то ценность.

Личность живет и действует в тройном кольце индетерминизмов и часто даже не знает, что больше влияет на ее будущее — личное свободное решение, нажим общества или, наконец, явления физические. То, сможет ли личность пользоваться свободой индивидуальных действий или попадет в сферу действия статистики, зависит от конкретной общественной, биологической и «естественной» ситуации. Человек, приговоренный к смерти палачами (социальная ситуация), катастрофой («естественная макро-

скопическая» ситуация), болезнью («естественная микроскопическая» ситуация) — одним словом, «стихий» человеческого или не человеческого происхождения, еще при жизни приравнивается к материальному предмету, лишенному возможности управлять собою и таким образом выброшенному за грань того свободного пространства, на котором может разыгаться возвышенная трагедия, выбор между ценностями.

Эта «двойственность» позволяет приговоренной личности чисто внутренне освободиться от предопределенности, если она как бы добровольно сочтет свою смерть жертвой во имя какой-нибудь идеи, спасения определенных лиц и т. д. Но для этого необходимы определенные предпосылки: легче «духовно подготовиться» тому, кто гибнет в одиночку на эшафоте или узнает от врачей, что болен неизлечимой болезнью, чем тому, кто идет на смерть в многотысячной толпе таких же смертников или гибнет вместе с населением всего города во время стихийного бедствия. Для такой «духовной подготовки» необходимо определенное умственное усилие, наконец — сознание, что ты на самом деле совершаешь самопожертвование. Стойкость веры тоже имеет свои психологические границы: тот, кто отлично знает, что гибнет не только со всеми родными, но и со всей своей нацией, должен обладать редкой, ненормально упорной верой в трансцендентное, чтобы сохранить убежденность в величии самопожертвования. Но даже столь исключительные личности может уничтожить достаточно опытный палач, предоставив ситуацию выбора, являющуюся карикатурой на трагедию. Например, можно сказать смертнику, что от него зависит, кто из его близких будет жить, когда другие отправятся на плаху. Спасти он может только одного, если же он откажется принять решение — погибнут все.

Уничтожить достоинство и человеческие ценности можно по-разному, и мы представили здесь только один крайний пример. Существуют методы, при помощи которых жертву можно превратить в соучастника преступления; есть и такие, которые позволяют жертвам долго верить, что они не только не поступают плохо, а, наоборот, спасают определенные ценности (скажем, чью-то жизнь во время очередной селекции).

Подобные ситуации и страшны и грагич-

ны для стороннего наблюдателя, но это не трагедия: тут нет свободы выбора, тут уничтожен всякий выбор. Всемогущий палач — только жуткая карикатура на судьбу или провидение.

Поэтому этическая традиция нашей цивилизации попросту не принимает во внимание таких ситуаций: вытолкнув их за пределы замечаемых явлений, она помогает своему «нормальному» функционированию. Жертвы обычно не отождествляют палачей с провидением, но такому перевоплощению помогает время и возвращение «нормальных» ситуаций. Глядя издали, можно снова назвать «стихией» фактор уничтожения. Но поскольку эта «стихия» означает случайность, человек старается изо всех сил ее «растолковать», придать ей подобие необходимости. Когда место слепого случая занимает Высший Порядок, предопределенным оказывается и то, что эмпирически предопределенным не было (а было именно непредопределенным). Возвышение, совершаемое религией или искусством, в сущности, — избыток порядка, который человек накладывает на мир, но которого в этом мире на самом деле нет.

* * *

На чем зиждется величие мифов? На их неизменности, на постоянстве. Гипотезы в духе «архетипов» Юнга, толкующие мифы как определенные связи и образы, укоренившиеся в общественном подсознании, принципиально излишни для объяснения мифотворчества. Основные нити мифов исходят из таких очевидных явлений, как возвращение определенных ситуаций (рождение, смерть, времена года, солнцестояние). Их структура часто бывает цикличной, но всегда — предопределенной. В них нет места для «случая». В мифах мирозданию приписывается определенный избыток упорядоченности, потому что миф выражает не только реальный факт действительного наступления весны после зимы, восхода солнца после его захода, но, применяя ассоциацию по аналогии, неправомерно доказывает тождественность явлений, чем-то похожих друг на друга. Такое течение мысли доходит до кульминации, когда явлениям приписываются сопутствующие сверхъестественные черты (кто-то одновременно — человек и бог, бог и солнце, мать ребенка и мать божья и т. п.). Перед на-

ми — инвариантная связь, весьма загадочная, и дальше констатации «тайн» сюжет не идет. Такие сюжеты предпочел культурный отбор, действовавший в лоне древних цивилизаций, а факт их сохранности окружает их ореолом, словно они — отблеск Истины, которая являет себя только в нескольких видах. Проводились опыты: экспериментатор рассказывал группе людей какую-нибудь историю, эта группа устно передавала ее следующей и так далее. Оказалось, что, если история опирается на элементы, культурно чуждые слушателям, уже после двух-трех «передач» (которые должны имитировать наследственную передачу мифической информации) она становится неузнаваемой. В этом смысле разум определенное содержание «пропускает», а прочие структуры «отсеивает». Наблюдается и другая закономерность: если передачи только устные, то после многих переименований и обработок структура повествования приобретает цельность и застывает в такой форме, которая при дальнейших передачах уже не меняется. Разумеется, это еще не объясняет, почему в одних культурных формах мифотворчество выбрало одни темы, а в других отдало предпочтение совершенно иным. Нельзя утверждать, что не только структура повествования, но и самое тему вызывали чисто лотерейные факторы. Но нельзя исключить влияние этих факторов на застывший вариант мифа.

Понимание мифа как «праструктуры» литературного произведения можно объяснить примерно так. Скажем, что порядок, который установлен в мифах, отличается от порядка реальной жизни, но он показывает стремление человека обратить текучую неопределенность жизни в хоровод масок, которые носят одни и те же персонажи. Если это так, в мифах проявляется «природа человека», и даже больше, чем в логических рассуждениях: ведь мифы возникли в чистом виде, их не испортила техническая наша деятельность, которая помогает поддерживать жизнь, но не объясняет ее. Мифы — это набор наших желаний, тревог и надежд; образное представление о человеке и мироздании. Тоска по полному охвату «всего», выраженная в откровении и перевоплощении, все сплавы желания и отвращения (страх перед запретом и желание нарушить его) — вот «прообраз» человека в чистом виде, это «человек в себе», еще не увлеченный на путь деловой суеты, ко-

торый тысячелетия спустя приведет его в машинную Аркадию, электронную карикатуру рая.

Мифы в таком понимании были бы проявлением тоски по «утраченному детству» человечества, по его «первому времени», то есть иллюзий, не только неосуществимой, но и просто невозможной потому, что такого времени никогда не было. У мифов вообще нет начала, точно так же, как нет его у зачатков речи (это значит, конечно, только одно: возникающий миф — еще не миф, как возникающий известняк — еще не известняк, а мириады мертвых тварей, чьи известковые панцири опадают на морское дно). Быть может, мифы возникали по ходу развития языка и были, как и язык, результатом действия статистических информационных движений, чьи исходные точки еще не определяли, какой вид речи возникает в данной группе. Происхождение языков относится к процессам, четким на своих поздних стадиях, но совершенно неопределенным на первых. Зачатки языка скорее всего чрезвычайно «свободны» — ранние их этапы не влияют на поздние; язык поначалу «блуждает», выходя из небольшого первичного центра. Возможно, и «прамифы» возникали так; группа выделяла определенные связи, укрепляла их, превращала в норму, быть может — вначале всего лишь эмоциональную. Однако лучше отказаться от таких рискованных гипотез. Пытаясь проследить «вспять» развитие речи, мы от одних древних языков переходим непременно к другим; так и от старых мифов мы можем только переходить к более древним, а мнимая бесконечность таких поисков объясняется тем, что процессы зарождения культурных явлений мог бы проследить лишь посторонний разумный наблюдатель, которого в те далекие времена быть не могло.

Манн отлично понимал все это, как свидетельствует вступление к «Иосифу и его братьям». Граница между «речью» и «неречью», «мифом» и «домифом» зыбка, и никакого начала установить здесь нельзя. Может только удивить суждение Леви-Стросса, который сказал, что каждый миф, «несомненно», имел своего единичного автора. Как будто единичный автор был даже у такого сравнительно свежего мифа, как Евангелие! В сущности, миф, как и языковые приемы, относится к внутрикультурным стереотипам поведения, а утверждать, что верова-

ния, нравы, магии выдуманы отдельными людьми, нельзя, хотя можно считать личным изобретением новый способ долбления колоды для лодок или открытие съедобного растения. Мифы, как и речь, порождены неопределенным состоянием структур и смыслов; этот процесс можно бы сознательно воспроизвести, но тут понадобятся такие познания в структурной антропологии, какие современным специалистам и не снятся.

Подчеркну, что мифы в основе своей — не проекция желаний в естественный мир. В них встречаются и жестокие и ужасные вещи, но мифотворчество применяет ко всему принцип детерминистской упорядоченности, которая, как нам уже известно, выше определенной границы приобретает возвышенные черты. Ведь возвышая, мы не только приписываем явлениям больше порядка, чем в жизни, но одновременно закрываем глаза на тот порядок, который в них есть, что нарушает единую классификацию, выдуманную нами. Хорошим примером может послужить миф жителей Тикопии. Тикопийцы верят, что существует два вида львов: обыкновенные львы и львы, в которых вселились души умерших. Настоящие львы едят людей, а другие львы — не едят. Таким образом, неупорядоченное поведение львов, которые то съедают человека, то нет, получает отличное, полностью детерминированное объяснение. Правда, от такого детерминизма не много пользы; явления можно объяснить лишь задним числом, а предсказать нельзя. «Мифическое толкование» не приносит пользы опыту.

«Упорядочивающая теория» тикопийцев — хороший пример человеческой реакции на проявления непонятого статистического порядка. Случайное поведение львов игнорируется, его место занимает «теория переселения душ», которая возвышает явление, приписывая ему какой-то Высший Порядок.

Другой пример подобного «возвышения» — уже современный — роман «Ното Габег» Макса Фриша, в котором кровосмесительная связь отца с дочерью вытекает из цепи внешне случайных явлений. По вине «совпадений», очень ловко подстроенных автором, мужчина знакомится на судне, плывущем в Европу, с молодой девушкой, вступает с ней в любовную связь, а в конце романа оказывается, что это его дочь. Трагедия — это «наказание», наложенное на отца судьбой за то, что он, как

можно предположить, в свое время бросил ее мать, еврейку, и уехал в Америку. Смысл книги («наши поступки когда-нибудь отомстят нам») совершенно неправильный: очень часто наши поступки совсем нам не мстят. В хаос человеческих отношений меняющегося современного мира Фриш вписал «единичный путь» героя, и вписал его так, чтобы он замкнулся в значащее целое, одновременно повторяя миф Эдипа.

Предприятие это, очень четкое литературно, методологически — такая же фикция, то есть точно такая же невероятность, как ситуация, в которой беспорядочные движения броуновских молекул составили бы — в поле зрения микроскопа — надпись: «Эй, человек! Это мы, атомы!» Конечно, частицы в своих бесконечных блужданиях могли бы когда-нибудь уложиться в подобную надпись, но это еще не означает, что кто-то или что-то (судьба, рок, мойра, бог и т. д.) сложил их так. Это было бы всего лишь чрезвычайно невероятным совпадением, одним из миллиардов и не имело бы никакого значения. В этом смысле никакого значения не имеет и «случай» из книги Фриша. Совершенно иной смысл она бы получила, если бы мать девушки была не преследуемой и брошенной еврейкой, а, например, отворотливой мегерой, которая выгоняет любовника за океан, сама не зная, что забеременела, а ведь это в такой же степени послужило бы предпосылкой для будущего, в котором отец не узнает родного ребенка, поскольку никогда его не видел. Попав в затруднительное положение перед концом романа, когда возникла гротескная перспектива встречи трех персонажей — матери, отца и любовницы-дочери, — Фриш убил девушку, и опять же не как-нибудь пошло (она ведь могла подавиться косточкой от отбивной), но пустил в дело куда более «мифологически» и «семантически» значащий объект — ядовитую змею.

Еще ярче выступает эта проблема в рассказе Манна «Обманутая». Стареющая женщина встречает юношу, который влюбляется в нее. Кровотечение она принимает за «возвращение молодости», однако причиной его оказывается рак матки, который вскоре убивает ее. Перед нами снова результат статистических явлений, совершенно случайных, на этот раз — не только на макроскопическом уровне человеческих отношений, но и на микроскопическом — явлений организма. Ведь человек как индивидуум одно-

временно входит в различные множества. Как homo socialis¹ он входит в «статистическое общественное множество», а как homo biologicus², как организм — сам называется «статистическим множеством собственных молекул». Возникновение рака — случайное явление. Причина его — определенная аберрация жизненных процессов в клетках организма, которые сошли с рельсов нормального биологического функционирования. Кровотечение, принятое за возврат менструаций, действительно может начаться у женщины, больной раком матки. Но Манн наложил на результаты этой случайности результаты другой случайной цепи явлений — той, что привела к встрече женщины с молодым человеком и к их любви. Совпадение двух случайных серий, причинно не зависящих друг от друга (кровотечение началось во время созревания любовных чувств героини), лишено — повторим еще раз — другого значения, кроме простого, чисто материального, имеющего определенную вероятность.

В большом городе можно, выйдя из автобуса, увидеть среди прохожих горбатого негра с черной повязкой на левом глазу, а спустя полчаса в другом месте заметить другого такого же; и подобное событие, хотя и несколько странное, не означает ровным счетом ничего. Можно также, собираясь напасть на банк, поскользнуться на банановой кожуре и сломать ногу, но это еще не значит, что справедливое провидение таким образом попыталось спасти банкира. Можно еще в колыбели отделить брата от сестры, и годы спустя они могут пожениться, но эта кровосмесительная связь означает одно: всякое бывает. Однако люди в подобных случаях склонны подозревать вмешательство тайных пружин. Этим самым они снабжают совпадения добавочным смыслом.

В рассказе получается, что природа (дьявол?) особенно гнусным способом издевается над героиней, «обманула» ее. Но когда мы говорим: «Природа обманула героиню», — самой конструкцией суждения мы приписываем вещам такой порядок, какого они на самом деле лишены. Мы не принимаем во внимание, что существует множество стареющих женщин, которые заболевают раком, но не влюбляются, и таких,

¹ Человек общественный (лат.).

² Человек биологический (лат.).

которые влюбляются, но не заболевают раком, и таких, наконец, которые не больны ни раком, ни любовью. Личность, входящая в определенное множество, не получает ни привилегий от провидения, ни кары от сатаны. Чисто случайный процесс нельзя толковать как predetermined. Тот, кто это делает, возвышает события, то есть выводит взаимосвязь явлений, которой на самом деле нет. Не было никакой связи между этапами А (женщина встречает мужчину, тот влюбляется в нее) и Б (эта женщина вследствие процессов, происходящих в ее организме, заболевает раком) — кроме той, что она считала себя «слишком старой» для любви и сочла кровотечение за отклик природы (то есть собственного тела). Между тем «отклик» природы неправильно был ею понят, потому что по сути дела он соответствовал первому ее мнению («слишком старая»: ведь рак более вероятен для старых людей).

Когда совпадают независимые цепи явлений, в чем-то особенных, человек, как правило, склонен искать случайные связи. Однако, как правило, таких связей нет. Пуля попадает в место, где кто-то минуту назад стоял и по пустяковой причине отошел; эту пустяковую причину немедленно окружает ореол спасительного вмешательства, и человек ищет связи между нею и спасением от смерти. Когда кто-нибудь принимает признак болезни за возвращение молодости или по неведению вступает в связь с собственным ребенком, проще простого увидеть здесь карающую длань судьбы. Но подобные совпадения необыкновенны лишь в том смысле, что статистически редки.

Цивилизация как целое развивает гомеостаз¹, а он в немалой мере закаляет личность и массу против статистических колебаний материального мира, к которому принадлежат и наши собственные тела. Статистический фактор в потоке информации выступает как нарушающий его шум, потому что живой организм функционирует благодаря четкости информационных связей (внутри клеток, между органами и т. д.). Каждая болезнь — это «шум», в том числе и рак; нельзя искать значение, то есть определенную информацию, в том, что вообще не информация, а только ее нарушение,

то есть попросту беспорядок, пробел, пустое место. Шум может показаться принимающему информацией, потому что принимающий ждет не нарушения, а порядка, не шума, а именно информации (как женщина в новелле Манна). Шум включается в неподходящую систему смыслов и приобретает свое «значение» на правах узурпатора, незваного гостя, притворщика. Явление это — «угасание статистических колебаний» — проявляется не только в цивилизованном гомеостазе, но и в литературе. Однако писатель все-таки не позволяет, чтобы в произведение проникло то количество статистических колебаний, какое соответствует «среднему» в жизни; он не допустит, чтобы его герой умер от болезни или спятил в середине действия, если питает к нему иные чувства как автор. В сущности, подбор допустимых колебаний подлечит различным категориям выбора: и эстетическим, все время меняющимся, которые раньше не позволяли показывать болезнь «ниже пояса» (очень долго пользовалась привилегиями одна лишь чахотка), и мировоззренческим (в очень широком понимании — писатели не раз выбирают такие системы событий, которые подтверждают их собственное видение порядка (в мире), причем главный критерий — не всегда конструктивный (как правило, не допускаются колебания, которые сделали бы невозможным запланированное заключение). Когда же литература принимает во внимание именно статистику, случайные явления, она старается найти в них взаимосвязь (как Манн и Фриш). Она не довольствуется простым их показом («всякое бывает на свете» или «чем черт не шутит»), но придает им значимость. Поэтому «Номо Faber» не кажется нам просто редкостной историей, но и указывает на эдипов миф. «Обманутая» Т. Манна, правда, более ценна, потому что фальшивые связи вскрываются на основе психики героини и автор вроде бы показывает нам ее, а не свои убеждения. Поэтому мысли «обманутой» в психологическом отношении чрезвычайно точны и только эмпирически оказываются фальшью. А вот Фриш «заставил» случайные явления уложиться в predetermined рисунок и этим совершил мистификацию. (У Манна «шум» в конце концов оказывается «самим собой», у Фриша он до конца остается «рукой судьбы», не «шумом», а «кем-то» — мстителем.) Режиссером греческой трагедии становится

¹ Система, собственными силами приходящая в состояние равновесия (философ.).

Броунова статистика движения молекул. Новелла Манна «о чем-то говорит» — особенно в психологическом смысле; роман Фриша — абсолютно ни о чем, если не о том, что события иногда складываются черт знает как.

«Упорядочивающее возвышение» не стоит совершать вне психики литературных героев, если уж ты собрался лепить реалистическую модель действительности.

Мы установили, что «возвысить» — значит переначить реальный (случайный) порядок явлений, сделать его предопределенным, хоть он и не таков, вскрыть связи, которых нет, придать смысловой избыток совпадениям, которые в реальном мире отличаются разве что своей редкостью, или — попросту излишне умножать состояния (в противовес к «*entia pop sunt multiplicandae praeter necessitatem*»¹ Оккама). Естественно, бритва Оккама обязывает лишь того литератора, который не намерен (в одном из родов литературы, именно эпическом) вступить в конфликт с познанием реального мира.

Что же касается «Доктора Фаустуса» — «однократного выбора ценностей», — такая модель может сохранять сходство с реальными ситуациями. «Однократное применение» фаустовского сюжета можно было бы защитить. Но это лишь часть проблемы, и не самая существенная.

* * *

Роман, если говорить упрощенно, вышел из «высшего лада», из мифов и приблизился к действительности так, что расстояние между ними очень мало, чтобы потом снова вернуться к своему первоисточнику или хотя бы искать пути к нему. Пути он ищет такого, который бы не требовал отбросить все приобретенное столетиями. Это можно проследить у самых крупных прозаиков XX века — у Фолкнера, которого вдохновляла Библия, у Джойса, который наложил Дублин на «Одиссею», наконец у Манна. Они старались сотворить особый синтез, наложить друг на друга два вида порядка: тот, который подтверждается личным опытом, и тот, который путем «культурной селекции» подтвердился опытом тысячелетий. Чисто структурные достоинства мифов отвергнуть нельзя. Мифы отличаются стран-

ным совершенством — тем, каким наделяны в царстве жизни все организмы. Мы говорили уже о том, что все мифы «хорошо» построены, потому что конструкции менее четкие отсеивает фильтр естественного отбора. Над мифами это проделывают бесчисленные поколения, так что — в плане организации материала, точного расположения его элементов по главной оси повествования и, наконец, семантического груза — мифы оптимально приспособлены к восприятию. Иначе бы они не сохранились, их бы не пропустил фильтр поколений. С точки зрения конструкции, миф — «верняк», но с существенной оговоркой. Современный автор употребляет ведь не эти мифы; то, что он может сказать, он сходными способами располагает на структурном фоне, излучающем одобрение веков. Однако не каждое содержание удается «подогнать» под любой миф; такой прием всегда рискован. Мы встречаемся с ним даже в «новой волне» французов, но наша задача здесь — анализ «Доктора Фаустуса», и мы ограничимся им «Доктор Фаустус» — не «беллетризованный миф» типа «Избранника». Это результат столкновения двух генетически различных порядков. Трансцендентность не автономна, она следит за творческим процессом, продолжая его реальность. В книге нет прямого равенства: «немцы — зло» или даже: «немецкий народ — фашизм». Гениальный великан, отказавшийся от любви, — это прежде всего Адриан Левверкюн. И все же такое сопоставление неотвратно приходит на ум. Тем более что нам уже известно произведение содержит не то, что может заметить изолированный читатель, а скорее то, что видит в нем совокупность потребителей. Книгу со временем окружает застывшая область «толкований», особенно когда крайние колебания мнений уже угасают и толкования приходят в равновесие. В сущности, сейчас я пытаюсь усомниться в правомочности общих мнений. Но я не надеюсь, что повлияю на привычное восприятие «Доктора Фаустуса».

Считается, что «Доктор Фаустус», между прочим, повествует о судьбе немцев в нашем столетии, основываясь на их глубоком прошлом. Кажется, так думал и автор: об этом свидетельствуют некоторые места текста, слова писем и, наконец, сама «немецкость» тематического рисунка.

Тот, кто пользуется парадигмой мифа, молча принимает определенные принципы,

¹ Сущее не следует умножать помимо крайней необходимости (лат.)

например такой: «все, что есть в произведении, принципиально не ново», «это уже бывало». Миф, естественно, выделяет сильнее всего *genus proximum*¹ событий и сглаживает их *differentiam specifica*². Не все повторяется в истории, но этого мало, и наши знания о событиях не всегда одинаковы (и о движениях планет, и об обществе, надо полагать, мы знаем больше, чем знали древние римляне).

«Доктор Фаустус» напоминает, что человек подвергся и подвергается соблазну темных сил — своего «демона». Разумеется, с этим стоит согласиться. Сам прием олицетворения злых сил в прищельце из ада можно считать фигуральным, не буквальным. Но это еще не касается основного вопроса; мы же спрашиваем, можно ли сводить целостные явления больших, социальных масштабов к событиям единичным, хотя и указующим на свой мифический прообраз. Если наложить однократное событие на структурно адекватный ему «мифический прототип», оно, не теряя доподлинности и автономности, обретет семантический избыток (я имею в виду наложение сына и матери на «Сына и Мать», стремящегося к чему-то — на Прометея или Улисса, выбирающего между добром и злом — на Фауста, и т. д.). Но одно дело дать «методологическое согласие» на то, чтобы писатель подерживал модель единичных судеб их мифическим соответствием, Адриана Леверкюна — Фаустом, и совсем другое — согласиться, что данная, конкретная взаимосвязь, как «матрица отношений», моделирует падение Германии. «Доктор Фаустус» — из тех книг, которые можно толковать самым разным образом и толкования брать из самых разных культурных сфер. Одни из них коснутся роли художника и искусства в современном мире, другие — антиномии «красоты и истины» или «этики и эстетики» и т. д. Перечислять можно долго. Но мы не будем заниматься здесь всеми этими связями с культурой; для точности мы даже скажем, что роман мог быть построен эмпирически «правильно» (то есть можно одобрить фаустовский миф как матрицу некоего «падения нации»), а литературно, художественно быть неприемлемым. Выбор рациональных предпосылок еще не предвещает удачи. Но мы считаем, что отношение

здесь асимметрично: исходя из эмпирически фальшивых предпосылок, нельзя добиться художественной правды, потому что она не может противостоять правде обыкновенной.

Между верностью любой точной схеме и творческим успехом — гигантское расстояние, и его надо пройти. Но повторяю: обо всем этом мы умолчим. Мы только спросим: можно ли фаустовский миф считать аналогом определенного, конкретного этапа истории народа? И ответим: нельзя.

На первый взгляд может показаться, что такие суждения настолько же категоричны, насколько и бесосновательны. Читатель может сказать: если судить не по внешности, а только по сути дела, между выбором Фауста и выбором выбравших фашизм существует сходство, как и всегда, когда люди стоят между добром и злом. Но категория сходства часто обманывает; если растягивать ее без конца, в ней уместится все: амeba — модель человека, оба живые организмы, атом — гомолог общественного существа, оба подчиняются статистическим закономерностям множеств. Все это пустые трюизмы, они верны — но что с того? Если так рассуждать, можно договориться до «нет ничего нового под солнцем», «все уже было», «все повторяется». Отсюда, в сущности, и убежденность во вневременном постоянстве мифов — формул, упорядочивающих явления всех времен. Но так, как выбирал Фауст, выбирает, быть может, Робинзон Крузо, а не едок хлеба, с головой погруженный в общество, который теряет столько индивидуальной ответственности или совести, сколько «весит» его окружение. Как бы ни была бессмысленна, дешева и алогична доктрина гитлеризма, немцы, которые осуществили ее, оказались отличными прагматиками; они успешно привели к тому, что жертвы в созданных ситуациях стали палачами своих собратьев. В этом вопросе нет согласия; особенно спорят те, кто ничего не видел сам. Типичный пример — полемика, которую вел интеллигентный американский критик Норман Подгорец с автором книги «Eichmann or the Banality of Evil»¹ Ханной Арендт. Он обвинил ее в клевете на жертвы гитлеризма — он имел в виду евреев, которые в рамках созданных немцами организаций типа «Юденрат» или «Ордунгсдинст» помогали ликвидировать своих соотечественников, то есть соглаша-

¹ Родовое сходство (лат.).

² Отличительную особенность (лат.).

¹ «Эйхман, или Пошлость зла» (англ.).

лись выдать людей определенных категорий ценой спасения остального гетто и сами совершали отбор. Американский критик старается перенести эту ситуацию на почву «нормальных» условий, сопоставляет ее с политикой уступок, которую практиковали западные государства в период Мюнхена. Он не хочет принять во внимание, что Эйхман (как образец) был довольно средней личностью, а не гигантом изуверства, как рисовал его обвинитель Гидеон Хаузер. Поскольку он вел себя как чудовище, говорит Подгорец, он им и был; как же иначе? Для того, кто так рассуждает и верит, что иначе быть не может, «Доктор Фаустус» и впрямь отвечает на вопрос о диком падении германского народа. Такая точка зрения находит себе пищу в целом ряде наблюдений «общественно-нормальной» ситуации: садистами, бескорыстными убийцами, как правило, оказываются извращенцы, психически ненормальные люди, а это вроде бы доказывает, что возникновение тоталитаризма однозначно с приходом таких дегенератов к неограниченной власти. Подобные суждения теоретически обосновывал Кречмер, который писал, что в спокойные времена психопаты находятся во власти психиатров, а во времена смутные психиатры попадают под их власть. Эта доктрина предопределения по сути дела — наивный, благородный оптимизм. По ней выходит, что легче легкого не допускать явлений гипа фашизма — это просто санитарная проблема, связанная с психиатрической профилактикой, и если бы в Германии тридцатых годов удалось поместить в лечебницу всех извращенцев, гитлеризм никогда бы не возник. Это, в сущности, можно выполнить: ведь чисто генетически процент ненормальных людей в каждой биологической популяции практически постоянен и никогда не бывает выше доли процента.

Увы, действительность гораздо хуже. Назначая на соответствующие посты в «юденратах» и «орднунгслинстах» евреев, немецкие извращенцы не призывали на помощь извращенцев еврейских. При обсуждении таких дел приходится отложить в сторону психопатологию. Проблема сводится к другому: действуя умело и твердо и обладая средствами насилия, можно переделать совершенно средних, обыкновенных людей в чудовищ, во всяком случае практически. Это даже не вопрос «голового террора» — не

менее существен здесь фактор соответствующего переименования социальных явлений. Согласно гитлеровской доктрине, славяне и евреи только с виду были людьми, а по сути своей относились к категории, названной *Untermenschen*. Если достаточно широко и долго применять такую терминологию, можно дойти до ситуации, в которой Гиммлер, выступая перед своими эсэсовцами, совершенно чистосердечно подчеркивал героичность задачи (убийства целых народов), которая выпала им на долю. Он славил их именно за то, за то им сочувствовал, за то их ценил, что они смогли себя превозмочь, сумели преодолеть чисто биологический рефлекс сочувствия жертвам и выполняли ужасную, но весьма нужную работу массовых казней. Нет, не так выступают дегенераты перед дегенератами. Мир значений был перевернут: позиции добра и зла, честности и бесчестия, добродетели и греха поменялись местами. И если даже садисты-психопаты в эсэсовских войсках составляли больший процент, чем в других, менее специализированных немецких частях или в армиях других народов, разница эта ничего не решала. Как можно проглядеть столь очевидные вещи? Мы сейчас считаем, современные христиане считают, что поступки, которые совершали крестоносцы, были — или хотя бы бывали — дурными, греховными, что иноверцев убивать нельзя, однако мы никак не думаем, что участники крестовых походов набирались из кандидатов в сумасшедшие дома. Очень часто истинные мотивы переименовывают в написанные на знаменах лозунги; общественный нажим — в директиву. Марксизм иногда называли своего рода «экономическим психоанализом», потому что он показал, как трансформируются классовые интересы в различные течения и социальные доктрины.

Все это сыграло роль в возникновении фашизма, и роль эта, в сущности, хорошо показана. Тогда дело дошло до такого по-вального переименования понятий, что, когда в Баварии один молодой крестьянин оказался в 1942 году вступить в армию и заявил, что считает эту организацию преступной, его, а не психопатов, сочли — причем все, абсолютно все — ненормальной личностью. Близкие, родители, жена, тюремный капеллан просили его, объясняли, умоляли отказаться от своего безумия, за которое он в конце концов поплатился головой. А когда после войны к епископу этой епархии

обратился молодой американский монах, который подробно исследовал историю казненного, и наметил, что стоило бы подумать о причислении его к лику святых, епископ этот зашелся от возмущения: предполагаемого святого он считал изменником. Трудно поверить, чтобы даже немецкий епископ через несколько лет после войны был буквальным поклонником доктрины, провозглашенной в «Майн кампф» и «Мифе XX столетия» Розенберга. Может быть, он действовал согласно принципу «right or wrong — my country»¹. Это показывает нам, как резко изменяется перспектива оценок в зависимости от выбора системы ценностей. Да, казненный действительно был ненормальным человеком — ненормальным немцем — в том простом смысле, что его ничто не могло остановить и он высказал свою правду, не думая о гибельных последствиях. Так ли ведет себя человек средний, обыкновенный, как говорится — нормальный? Мы можем счесть его «анормальным» со знаком плюса, своего рода «гением нравственности» — пусть так, но все равно его надо поместить вне нормы своего времени.

Мы не собираемся здесь анализировать феномен, названный фашизмом. Мы только коснулись его проблематики. Но даже это показывает нам, что картина явлений, которые вызвали падение немецкого народа, заменена в «Докторе Фаустусе» четкой, детерминистской структурой мифа как элементарного выбора между добром и злом при полной невозможности (о ней и помыслить нельзя!) относительности этих полюсов. На деле же существует социальная техника нарушения их мнимой ненарушимости, например — их можно переплести с мыслью о новой иерархии ценностей (скажем, такой, где Нация, Кровь, Земля, Государство суть высшие, абсолютные инстанции, которыми можно и даже нужно верить любые единые человеческие ситуации). Ведь изобрела же пропаганда Геббельса под конец войны краткую формулу, которая уже раньше применялась, но только тогда явилась в полном виде (поначалу говорили просто: «Мы должны победить»), а потом: «Если мы их не уничтожим, они уничтожат нас», то есть поражение приравнивалось к биологической смерти немецкого народа). Идея необходимой обороны

пропагандировалась с чрезвычайным нажимом; защищая собственную жизнь, можно (вот он, источник этических правомочий) хватать всех, хвататься за все, что у тебя под рукой; так оправдываются массовые казни, тотальное уничтожение и т. д. и т. п. Кроме того, здесь действует закономерность, которую мы назовем закономерностью необратимости сделанных шагов: хотя гитлеровское движение с самого начала в своих «священных книгах» с полной ясностью выражало свои цели, оно не уточняло средств — технических средств, — которыми думало их осуществить. Это я говорю как бы для защиты — пусть частичной — немецкого народа, если еще раз нужно доказать, что он не состоял из одних чудовищ. Одно дело (быть может, и недоброе) говорить: «Мы лучше, выше, умнее, прекраснее других, мы рождены править миром», а другое — изготавливать из женских волос корабельные канаты, из тел — мыло, из костей — удобрения. Тезисы первого вида могут служить предпосылкой для народоубийственных выводов только для тех, кто смеет продумать все до конца в одиночестве. А «Доктор Фаустус» подменяет ситуацию общественного подчинения средних людей — не слишком благородных, не слишком дьявольских — ситуацией одинокого мыслителя, который мысленно семь раз отмерит и только тогда шагнет.

Общеизвестно, что ужас гитлеровских деяний в ходе войны увеличился не только количественно. Вожди третьего рейха поначалу как бы под давлением традиций воспитания, что ни говори, европейского — то выдумывали переселение евреев на какой-нибудь Мадагаскар, то собирались их ликвидировать медленно и как бы «естественно» (путем выхолащивания рентгеновскими лучами: тогда живые просто бы вымерли, не оставив потомства). Не были до конца определены и намерения по отношению к другим нациям (например, славяне с обезглавленной интеллигенцией должны были стать пролетариатом будущего всемирного рейха, причем их, быть может, пришлось бы кастрировать, если бы они оказались «слишком плодовитыми»). Поначалу планировались эксплуатация, ущемление прав, частичное уничтожение, а потом, исподволь, программы становились «последовательней». Зачем ждать естественной смерти, когда можно убить быстро? Зачем давать покоренным народам даже микро-

¹ Права или виновата, но моя страна (англ.).

скопическую автономию, если можно отобрать у них все? И так далее. Очередные шаги вытекали и из зигзагов военной конъюнктуры: обращение тирании в преступную власть, несправедливости — в массовые убийства, империалистической стратегии — в самую что ни на есть гангстерскую (с классическим «заметанием следов») во всей Восточной Европе, со сжиганием миллионов трупов, которые эксгумировались все быстрее, по мере приближения линии фронта, — неотвратимый результат того, что начиналось еще не в полном сознании предстоящего. Такое соответствующее фактам изображение совершенно не «оправдывает» гитлеровских вождей, тем более что так яснее, как ничтожны они были. Даже на великое зло сначала они не были способны — и по тупости своей, и по нехватке воображения. Но у них не было моральных тормозов, и вот когда оказалось, что определенные вещи можно — чисто технически можно — делать, они охотно на них пошли.

Дьявол фашизма был не гением, не вдохновенным творцом, а скорее идиотом зла. Он действовал, как кретин, который хватается безоружного не из коварства, а просто так, слепо, и сначала сам не знает, что ему, в сущности, делать с жертвой. Но понемногу, покусывая ее то так, то этак, он замечает, что она безоружна, что никто его не останавливает, что он может делать с ней все, и тогда уж его действия ограничены лишь его же изобретательностью... Сначала достаточно примитивная и общая программа, которая лаконично заявит, что других, более слабых надо подчинить себе. Вся «гениальность» нужна тогда лишь для того, чтобы решить, где эти слабые и чем они заслужили такое к себе отношение! На это же ответ прост: они — «не такие», как мы, это какой-то «другой вид», разумеется, худший и даже чудовищный. Если вообще существует «минимум разума», который позволит ориентироваться в мире и классифицировать его, то именно так дело и обстоит. Человек, впадающий в амок и убивающий других, перестает быть в наших глазах человеком, потому что его разум вдруг «испортился», а мы ведь потому и люди, что разумны. Тот, кто планирует операции уничтожения, нам уже кажется загадочной, потому что применяет интеллектуальные способности там, где они служить «не должны». Фашистское государство не было просто миллионнократным увеличением та-

кого чудовища, оно стало им исподволь, и разница эта очень важна. Сначала было деление на «своих» и «других»; цель — получение власти над «другими» — должна была воплощаться в конкретных операциях; и туманно-возвышенные общие места неизбежно дробились на подробности. Начало было примитивным, потом, шаг за шагом, росло, умножалось, извращалось зло, сначала чрезвычайно пошлое, — не надо особой мудрости, чтобы додуматься, что слабых можно осилить и не соблюдать ни единого пункта договора, который с ними заключаешь.

Характерно отношение фашизма к евреям Европы, и потому на их судьбе можно точно проследить этапы усовершенствования той машины, которая возникла по ходу войны. Насколько нам известно по документам, очередные решения о судьбе евреев, то есть постепенное выделение их из остального населения оккупированных стран, помещенные во все более сокращающемся пространстве гетто, сначала выборочная ликвидация, а потом и всеобщая были не осуществлением плана, установленного изначально, а потом реализованного в подробностях. Однако мы не можем избавиться от чувства, что именно всеведующее коварство, холодно предсказывающее поведение жертв, ведало этим процессом. Конечно, жертве безразлично, кто убийца — лишенный разума, слепой безумец или холодный исполнитель продуманного плана. Но познавательно это не все равно; теперь мы во многом понимаем, что в коварстве наци, обманывавших жертвы постепенностью «акций» (на время прекращая убийства, они намекали жаждающим спасенья, что те, быть может, спасены), что в этом коварстве, хотя бы изначально, было много обыкновенной нерешительности, незнания, непонимания, что же, в сущности, надо делать. Сейчас уже трудно установить, правдивы ли первые бредни гитлеровских вождей о переселении евреев или поляков на тот или иной участок оккупированных территорий или они все время маскировали этими проектами свое решение быстро, гладко и раз навсегда покончить с проблемой. Во всяком случае взаимосвязь между ходом военных событий и судьбой беззащитных наблюдается. В определенном смысле можно сказать, что, когда не хватало силы для победы на фронтах, это хватало на безоружных.

Трудность анализа в том, что попытки распознать механизм все время смешиваются с этическими и оценками поступков. Ведь достаточно сказать то, что я сказал, — и кажется, что я как-то «оправдываю» фашизм, который вроде бы «не так страшен, как его малюют». Но это недоразумение вытекает из путаницы критериев; «голая злость» еще недостаточна для осуществления чудовищного плана — нужен сам план в его «структурной» четкости, хороший план, потому что он должен справиться со сложными обстоятельствами. Мы ничуть не отрицаем зла, но мы полностью отрицаем его совершенство, мудрость, которая якобы все предвидела, оценила заранее и приняла во внимание (знаменитое «Ich habe alles voraus gesehen»¹ Гитлера ясно свидетельствует о том, что он мечтал о такой всеведущей божественной позиции, но грезы его еще не значили, что в самом центре рейха находится антибог).

Эта история подтверждала психологическую теорию, рекомендующую обучение по методу «проб и ошибок». На полигонах первых концлагерей испытывались методы, которые потом переносились дальше; рассматривались возможности убийства все более смелого и одновременно все более точного технически: ведь в чисто цифровом смысле проблематика возникающей, а не в одно мгновение установленной сатаной «Endlösung»² превращалась в именно техническую, организационную, административную проблему. Она разделилась на коллективы специалистов (по транспорту, по яду, по строительству крематориев, бункеров, бараков и т. д.), и каждый из них на бумаге, у себя под носом, видел не тела голых жертв, но эти бараки, бункеры, бочки с «циклоном» и т. д., точно так же как потом физики не держали на своих столах изображения обожженных тел, а только атомные орбиты и формулы концентрации потока нейтронов. Не только расплывалась тяжесть ответственности; рассеивалась, исчезала осязаемость самого преступления, которое циркулировало по бесчисленным инстанциям и цехам немецкого государства. Рассказывая об этом, мы хотим не оправдать, а только показать, что проблематика зла не должна сводиться к проблема-

тике единичного и замкнутого в своей единичности морального выбора.

Итак, преступная машина возникла постепенно, училась на ошибках, черпала очередные сведения из осечки палача, приспосабливалась к чисто техническим возможностям, медленно формировалась и приобретала однозначность своих приказывающих механизмов. Совершалось то, что называют сейчас процессом эскалации, а тогда вообще никак не называли. Немцы в Польше сначала подвергали арестованных (евреев или поляков) судебному преследованию; такое судопроизводство становилось все более фиктивным; приговоры выносили до процессов; наконец дело обходилось уже и без процессов — и все это вместе вытекало не из программы, которая решила сначала расшатать справедливость, а потом уж ее уничтожить, но из чистой практики, которая подказывала оккупантам, что все эти «усложнения» — просто лишняя канитель, трата сил и времени, вызванная лишь тем, что гитлеровское государство не выросло на пустом месте и не могло поэтому создать все нужное из ничего. Государство это было самоорганизующимся процессом: ведь испробовали же сначала бесчисленные «техники» геноцида, пока не решились на «оптимальную»!

Но когда видишь только конец этой запутанной дороги и не замечаешь всех ее выхляний и зигзагов (скажем еще раз: вызванных не отсутствием зла, а отсутствием знания или того расчета, для которого необходимо знание), неизбежно возникает убеждение, парализующее ум; и мы по-своему, как-то отрицательно восхищаемся, словно перед нами — совершенство сатанинской точности. Неумолимо приходит вывод, что эту машину вызвала к жизни ужасная мудрость зла. Совершенно фальшивый вывод, как мы показали. Вместо сложного процесса, который, естественно, опирался на слабость и подлость человеческую, но не был вдохновлен гениальной всеотрицающей отгадкой, «Доктор Фаустус» показывает нам гильотину, которая одним ударом разрубает гордые узел на симметричные половинки — добро и зло.

Различие это существенно только для литературы. Общественные процессы и межгосударственные или международные антагонизмы могут обрести характер игры, которая в своем течении меняет собственные правила. Местное, невинное на вид явле-

¹ Я все предвидел (нем.).

² Окончательное решение (нем.).

ние постепенно набирает новые «качества», и из такой игры нельзя заранее исключить даже геноцид. Вьетнамская война доказывает, что подобный процесс, как правило, приводит к истреблению людей даже там, где никто поначалу не собирался этого делать: когда конфликт в полном разгаре, «частные соображения» кормчих просто теряют значение. Можно сказать, что для мира было бы полезней, если бы эти кормчие отличались не столько добротой, сколько точным знанием динамического характера таких игр, как та, которая в свое время начиналась на вьетнамской земле. Проблема знания как разума, предвидящего возможные последствия, куда важнее в глобальном смысле, чем личные «моральные» качества. Для вьетнамской трагедии и для остального мира сейчас, в сущности, не важно, плохи ли президент США и его советники «изнутри» или зло пристало к ним по ходу политической и военной ситуации.

Исходные позиции процессов, которые в своих поздних стадиях вызывают уничтожение и смерть, могут отличаться друг от друга, как небо и земля. Синхрония этих процессов может быть сколь угодно страшной, диахрония — обладать столь же произвольной степенью «невинности». Если смотреть с вьетнамской точки зрения, политические кормчие США действительно мало отличаются от вождей третьего рейха, хотя совсем не чудовища начали роковую политику, но, наоборот, политика придала им черты такого сходства. Оказывается, субъективно порядочный человек, попавший на высокое, но не совсем независимое место, отличается от личности вполне безнравственной только тем, что он медленней ступает по ступеням эскалации, потому что у него «есть совесть» (или хотя бы ему так кажется).

«Порядочность» — категория, несоизмеримая с масштабами процесса. Интеллектуальные усилия, которые были вложены в поиски ницшеанских корней фашизма как продукта типично немецкой мысли, кажутся мне несколько излишними, если сопоставить их с кругом проблем. Что бы мы ни говорили, мы можем быть уверены, что никто в Пентагоне, ни один «ястреб», ни разу в жизни не брал в руки Ницше и даже не слышал о нем. Иначе говоря, до определенной конечной точки, до катастрофы нации, можно дойти от самых разных идеологий, начиная с американского прагматизма, отличаю-

щегося, казалось бы, здравым смыслом. Меняются только названия. Легче всего заявить, что люди всегда и всюду просто хотят убивать и для их черного подсознания нужен только повод. Это очень наивный и дешевый демонизм. Люди не всегда выражают в поступках свой характер; они могут ввязаться в такие перерастающие их дела, которые внешним нажимом как бы придают им «искусственный» характер. Правда, если это продолжается долго, исчезает разница между тем, у кого грязны только руки, а сердце золотое, и тем, кто череп весь насквозь. Столь пластичное существо, как человек, только до определенной степени может устоять под нажимом процесса. А у процессов есть свои закономерности, которые реализуются людьми, но не всегда и не обязательно каждым в отдельности. Это можно выразить и короче: зло производит и «дурные» системы, и системы «дурных», и только в результате оба эти вида равны.

Что же нам делать с «Доктором Фаустом»? Для нас этот вопрос сводится к тому, говорит ли судьба личности обо всем обществе. Для начала мы можем сказать, что нет никакой неизменной связи, которая бы раз и навсегда перечеркивала или устанавливала такое моделирование. Это металитературная проблема, она стоит над взаимоотношением «мифических» и «эмпирических» порядков, как и над фиктивностью персонажей или их соответствием реальному миру. Литературное произведение (как и абстрактная модель научной теории) может быть одновременно похоже и не похоже на мир. «Дьявол», выступающий в романе, может быть неправдоподобным, невозможным и точно так же может дать нам настоящее знание. В произведении могут действовать духи, а оно окажется познавательнее вернее такого, где ходят мужчины в модных костюмах и девушки в мини-юбках.

Итак, нельзя свести проблематику фашизма к индивидуальной психопатологии. В подробностях сходство кажется значительным: секретарша Гимmlера ездит в Ютландию, когда гибнет Германия, ищет какую-то старую бабу, которая якобы знает тайны рун; растут коллекции черепов, и людей убивают так, чтобы не повредить скелета; плетут канаты для подводных лодок из женских волос; идут массовые эксгумации, сжигают трупы, рассеивают черную муку по полям, применяют «научное» заморажи-

вание, удушение, насилие и стерилизацию, массовое убийство душевнобольных... Поневоле покажется, что славное государство с прекрасным культурным прошлым сошло с ума! Однако клетки тела умалишенного не могли бы вдруг броситься врассыпную, стряхнуть безумие, соединиться вновь по-лучше и бодро двинуться в прекрасное будущее; а общество — может.

Тот, кто отождествляет общество даже со значительной личностью, нарушает основные законы социологии и психологии. Фашизм творил «впечатляющие» ужасы и «зрителю снизу» казался точным и всезнающим. Такой наблюдатель мог легко приписать эти черты лицам с верхушки государственной пирамиды, наградить их дьявольски увеличенным Дурным Разумом, а отсюда — недалеко уже до того, чтобы счесть человека типа Гитлера «помазанником божьим», избранником и т. п., тем более что тот в свою очередь некоторому времени спустя сам проникается этой направленной на него верой. Но все это — проблема количества и масштабов, то есть попросту того, что «в голове не уместается». Так, на большом пароходе, который назывался «Титаником», у людей, танцевавших под музыку, не могло уместиться в голове, что такая громада, многолюдная, обслуживаемая столькими людьми, а потому совершенная и мудрая, вскоре пойдет с ними на дно. Распад этой веры, естественно, сопровождался паникой. Абсолютная вера, хоть раз нарушенная, абсолютно же исчезает. Для огромного большинства немцев гитлеровской поры бог, законодатель морали, был абстрактным существом — не то что всемогущая и вездесущая государственная машина. Трудно человеку, проникшему подобной верой, сохранять собственные мысли — тем более что этому мешает и полицейский террор.

Пренебрежение этой проблематикой отомстило «Доктору Фаустусу». Высокий мифический порядок, которым пронизан роман, заставляет нас оценивать выбор Фауста — Леверкюна исключительно в категориях альтернативы: добро — зло. А ведь можно иначе оценивать подобные, но более обычные, то есть более житейские ситуации: как сделан выбор — умно или глупо? По хладнокровному раздумью или в слепоте? В равновесии спокойствия или под гнетом страха?

Закрывая этим формальную часть рассуждений, можем спуститься в ад.

* * *

*Sunt grano salis!*¹ говорят о «чем-то демоне» или «дьяволе», как о темных силах чьей-то психики. Однако нельзя говорить о «демоне общества» или о «дьяволе Германии». А если бы кто-нибудь непременно хотел так выразиться, сперва надлежало бы выдумать, то есть сконструировать совершенно новый тип дьявола — традиционный тут не подойдет.

Мефистофель Фауста и демон фашизма диаметрально противоположны. Идея Мефистофеля обусловлена культурной традицией. Это прежде всего разумное, даже мудрое зло, которое является таким сразу: дьявол мифа не должен ничему учиться, он все знает заранее. Во-вторых, это зло «персоналистическое» — оно атакует человека как индивидуум, принимая во внимание его, именно его, свойства (например, художника, ученого или философа с такими-то и такими-то страстями, желаниями, наваждениями). В-третьих, это теологическое зло; бесконечность его пленительна, грозность трансцендентна, оно как бы антибог, бог с минусом. И, наконец, в-четвертых, это партнер в игре, жестокий, но четко соблюдающий правила. Даю полцарства тому, кто слышал о дьяволе, забирающем душу, но взамен не даю ничего — ровным счетом ничего. Гётевский черт поставляет Фаусту даже не суккуба, а нормальную, невинную девицу; да и Леверкюн получил, что хотел, а именно — те потрясающие произведения, которые Манн с таким мастерством переложил с языка музыки на язык литературы.

А «зло фашизма», во-первых, неразумно, во-вторых, не «персоналистично», в-третьих, его «антибог» — чистая бессмыслица в любом рациональном анализе, а в-четвертых — это партнер, который во время игры не держится правил, установленных им же самим. Именно в этом, как ни парадоксально, таилась сила, мощь и действенность фашизма — до поры до времени.

Представить Мефистофелем маниакальную лживую глупость, полную плоскость, мутную пошлость — значит, полностью сфальсифицировать проблему. Единственная

¹ В переносном смысле — с иронией (лат.).

«дьявольская» проблема фашизма — усиление зла, его молохоподобный рост и технизация в государственной машине. Не в силах проникнуть в суть явлений, литература, пропитанная традицией возвышения, пытается применить ее и здесь — и попадает в впросак!

В психосоциологии не важна арифметика: тот, кто убил всего лишь одного человека, не лучше в миллион раз того, кто убил миллион (а второй из них — и не хуже первого в миллион раз). Скажем, какой-нибудь американский сержант нажмет на пресловутую кнопку и пошлет на тот свет все человечество — неужели из этого следует, что «дьявол» данного сержанта самый могущественный из всех, каких носила земля? Может ли исследование этого «унтер-офицерского дьявола» дать познавательно ценные результаты, бросающие свет на гибель человечества? А может, все-таки лучше проанализировать систему глобальных отношений, при которой дело дошло до катастрофы? Из вышесказанного не вытекает, что сержант тут «ни при чем», да и другие тоже, а «инженеры преступления» третьего рейха не отвечали за свои деяния. Ответственность жива даже тогда, когда она распределена по этажам и колесам большой машины, хотя процент ее в личностях — колесиках этого аппарата нелегко установить в каждом отдельном случае. Это одна из самых трудных проблем, перед которыми поставила правосудие катастрофа фашизма. С одной стороны, любое наказание казалось ничтожным по сравнению с чудовищностью преступлений, а с другой — появлялась тенденция, психологически весьма понятная, считать наиболее ответственными наивысшие звенья аппарата, дававшие приказы, и наинизшие, непосредственных исполнителей, то есть тех, кто планировал уничтожение, и тех, у кого руки по локоть в крови. Поэтому каждый из таких «колесиков» впоследствии старался доказать, что не он был наивысшей инстанцией для данного преступления, что над ним еще было начальство или, наоборот, что он был низко, но были и пониже его. Исключение — им оказался Рудольф Гесс — только подтверждает правило. В залах суда почему-то не нашлось гигантов сатанизма, которые, видя неизбежность приговора, решились бы оправдать или защищать все, что натворили. Идеология испарилась,

обратилась в ничто, едва только разлетелась на части машина для убийства.

Застав такую катастрофу, эпика стремится свести ее к определенным «состояниям» (греха, соблазна, падения, каким должен был быть фашизм) — и изменяет своей миссии, потому что обезоруживает нас. Дьявол ушел, но бодрствует и может в любую минуту вернуться — способом, который сулят нам мифы. Запутавшись в мифическом порядке, мы попадаем в полнейшую предопределенность, становимся рабами непонятных сил. Если бы меня спросили, с чего должен писатель начать анализ такой проблематики, я бы ответил: с проблемы глупости. Когда глупцы активные находят (в русле определенных классовых антагонизмов и национальных предубеждений) отклик среди менее активных глупцов, готовых пойти за тем, «кто поведет», — может родиться зло, правда не адское, чисто человеческое, но не менее губительное.

Согласно полной полярности «Фаустуса», можно согрешить, пасть, опозориться — по любому поводу. Список охватит и человеческую слабость, и готовность погибнуть ради чего-нибудь, и жестокость нашей натуры; здесь найдешь все, кроме глупости, — в образе, который сам по себе возвышен, нет места для глупости, для напыщенной плоскости. Дьявол же фашизма — большое и страшное следствие маленьких и пошленьких причин, цепная реакция, начавшаяся с социального разложения.

«Доктор Фаустус» молчит о Германии первой половины нашего столетия. Он рассказывает возвышенную историю одного художника, которому выпало исключительное счастье пережить трагедию, испытать глубочайшее обоснованное страдание, заслуженные преступление и наказание, грех и падение во времена, в которые страдания были необоснованны, падение — безвинно, наказание — незаслуженно, а трагедия — невозможна для миллионов жителей Центральной и Восточной Европы. Я отбрасываю аллегорический смысл этого великого романа, потому что он возвышает кровавую бессмыслицу, стремится разглядеть черты — хоть адского — величия в чепухе, единственный предмет гордости которой — число жертв. И поскольку жертвам этим судьба отказала в греческой трагедии, единичной смерти, гибели во имя ценностей, которые называет и возвеличивает миф, — приходится отказать в праве на трагедию и

палачам. Они не доросли до нее. Не было в них ничего, кроме тупой, пошлой рутины зла, перечеркивающей возвышенный миф о категорическом нзлперативе.

* * *

Добрый десяток тысячелетий, что существуют цивилизации, они медленно росли и рушились; причем нормой для Запада (понятого очень широко, вместе с бассейном Средиземноморья) были цивилизации высокие, окруженные более примитивными, и они кончались после нашествия варваров. При этом происходил своеобразный обмен культурной информацией; если смотреть с птичьего полета, он выглядит как циклический процесс поочередного уничтожения и возвращения определенных верований, мифов, представляющих системы ценностей, в которых размещение и функции отдельных из них одновременно влияют на общую иерархию. Между прочим, эта система была и регулятором, удерживающим степень свободы личности на сравнительно постоянном уровне. В свою очередь это содействовало стабилизации социальных культур. В таком голковании древние верования, мифы, легенды — неизменное «ценностное ядро» целого ряда культур, технологический уровень которых был — при всех, даже значительных, различиях — довольно сходным. Циркуляция этих структур, обремененных семантикой, подтверждает их определенную «открытость», восприимчивость, способность к ассимиляции прибывающих извне парадигм, подчас вызывающих сопротивление, потому что это — гибридизация, а не пассивное наследование понятий. По такой шкале краткость периода, в котором дело дошло до цивилизационного взрыва, по сравнению с тысячелетиями культур и цивилизаций прошлого наводит многих на мысль, что в духовной жизни человечества «в принципе ничего не изменилось». Они считают, что старые мифы, призываемые в своих извечных схемах, могут по-прежнему упорядочивать совокупность человеческого опыта. Веристические возможности литературы исчерпались, и потому полезен будет возврат к испробованным веками приемам, — конечно, добавляют они, обогащенным накопленным опытом. Но копируешь ты или нет, можно что-нибудь изобразить лишь тогда, если сперва охватить его и упорядочить, ну хотя бы — просто увидеть. Когда

явления, которые надо передать, воспроизвести или схематизировать, меняются до неузнаваемости, миф ничего не даст. После Эйнштейна не возвращаются к Птоломею или вавилонской космогонии. То, что «передающий» и «принимающий» понимают, одинаково, можно переименовывать и перевоплощать — фундамент взаимопонимания гарантирует оптимальный прием, который дает наибольший выигрыш информации (не обязательно только познавательный, эмпирический). Но при полном нарушении передачи, когда одни трактовки рвутся, а другие едва маячат вдали, легче всего передать состояние полухаотической смеси, инфляцию старых ценностей, неопределенность новых — словом, ту сумятицу, которая ничуть не похожа на библейский хаос, поскольку она — не в мире, а в глазу глядящего, не умеющего в резко меняющейся среде разглядеть ее ведущие силы. Кто измеряет прошлое к современности, заблуждается: нельзя судить то, чего не понимаешь. Не все, данное нам прошлым, бессильно, однако нужны сомневающиеся искатели, а не апологеты неизменных истин.

Это совсем не значит, что мифотворческая деятельность человека окончательно угазла, а могущественная технология загоняет нас в электронный рай, из которого с треском вышиблено все иррациональное, и стерильные, очищенные от бактерий трансцендентности полчища сверкающих машин ждут нашего кивка. Ничего подобного: появляются новые, часто дешевые мифы и культы, инспирированные технологией. Но главное не в этом. Мир стал един в своих судьбах — до такой степени, что местные микропроцессы могут решить, «быть» ему или «не быть». Можно восхищаться такими книгами, как «Доктор Фаустус», но совесть разрешит это лишь тогда, когда ты хорошо поймешь, как сильно отличается от них реальный мир.

Литература не всегда вскрывала реальные связи явлений и совсем не обязана делать это в будущем. Тем не менее именно так она вела себя в последние столетия и потому добилась современного величия, столь отличного от древности. Она стала товарищем человека в его усилиях понять мир и тем самым соперничала успешно с науками — как союзница и с идеологиями — как враг, разоблачая их во имя гуманизма. Накладывая мифы на мир согласно древним заветам, мы обнаруживаем в мире порядок,

но лишь такой, какой сами в него вложили: приобретенное духовное равновесие оказывается иллюзией, бессильной перед грядущими переменами. Мы можем выбрать между изменой традиции и изменой правде; пожалуй, нам стоит выбрать правду, когда традиция не дает результатов, не помогает нам. Не буду скрывать: я хотел бы, чтобы литература и впредь выполняла познавательные функции, чтобы она не сторонилась мира, не украшала его, не клеветала, а судила его или хотя бы наблюдала за ним, как умный свидетель. Возможно, в этом я пристрастен.

* * *

В заключение стоило бы понять, не загромождена ли недоразумением эта диатриба, эта кибернетическая пушка, нацеленная на «Доктора Фаустуса». Не проваливается ли моя критика, если «Доктор Фаустус» описывает не упадок общества, а порядок идей? Его обычно считают аллегорическим осуждением фашизма, но мы обязаны судить сами, раз уж мы против автоматического, соглашательского толкования книг.

Итак, можно ли считать «Доктора Фаустуса» историко-философским романом, указывающим не на единичное явление, каким был гитлеризм, а на его духовные источники, постоянно пульсирующие в немецкой мысли?

Очень возможно, что именно так думал сам Манн. Не случайно он подставил фиктивное лицо, гениального музыканта, под реальное — Фридриха Ницше, о котором из-за этого ему пришлось молчать на протяжении всей книги: для него не осталось места. Не случайно также, что Леверкюн — композитор: Манн считал, что музыке присуще «демоническое» начало, столь свойственное якобы «немецкой душе».

В таком свете «Доктор Фаустус» оказывается особого рода экспериментом, а именно — попыткой показать катастрофу нищезанства. Само нищезанство не выделяется из духовной жизни Германии; нет, и оно в свою очередь — да еще в переложении на музыку! — должно выявить свою немецкую сущность. Как известно из выступлений и книг Манна, он — особенно во второй половине жизни — считал примерно так: хотя можно очень упрощенно говорить о «двух Германиях», альтернативно представленных элементами гуманизма и нигилизма, все-

таки скрытые следы «подозрительных» тенденций есть даже в немецком гуманизме, который тем самым немного амбивалентен. Об этом может свидетельствовать и пример самого Манна: и своей поздней публицистикой, и художественным творчеством он как бы «кааялся» в своем знаменитом сочинении времен первой мировой войны — «Размышлениях аполитичного».

И у него была чуть-чуть нечиста совесть. Но нас здесь интересуют не личные идеологические перипетии Томаса Манна и не наличие или отсутствие в немецком гуманизме тайных бацилл нигилизма, как бы спящих летаргическим сном последние века. Мы бы хотели понять одно: можно ли сопоставлять нищезанство с фашизмом так, чтобы между ними прослеживалась четкая причинная связь?

На первый взгляд кажется, что говорить о такой связи более чем можно. Писало и говорило о ней множество людей, в том числе сам Томас Манн. Конечно, число повторений еще не увеличивает степени правдоподобия. И все же что было, то было: те из фашистских бонз, кто был в состоянии взять в руки сочинения Ницше, ссылались на него как на патрона «движения».

Для начала заметим, что с точки зрения научной точности нет занятия более подозрительного, чем поиски причинных связей между историческими явлениями разного уровня, например — между явлениями «идейного» и «общественного» порядка. Очень легко, глядя назад, подогнать соответствующую идею под какие-то реальные события — то и другое было, да еще хронологически идее предшествовали события.

Как известно, термин «садизм» происходит от имени маркиза де Сада. Но это еще не значит, что до появления маркиза и его сочинений не было садизма — жестоких истязаний, которым извращенцы подвергали при удобном случае свои жертвы. В сущности, изобретатели гитлеризма могли спокойно обойтись без Ницше Тирания и геноцид были известны в истории уже тысячелетия. Инциаторы ужасающей резни армян в годы первой мировой войны уж наверняка не действовали под влиянием нищезанства. Точно так же ни Гитлер, ни Ницше не выдумывали антисемитизма.

Да и вообще с нищезанством все обстоит не так просто. Для начала — нет никакого «нищезанства». Если бы мы пожелали вдуматься в изложенную этим философом

систему взглядов, мы не нашли бы единой теории, да еще с ярко выраженной социальной программой. Существует только множество блестящих афоризмов, поражающих типично литературной, то есть в первую очередь словесной, суггестивностью, которые ослепляют нас частичной правдой, одной гранью многоликой проблемы, всей силой мятежного, пламенного и — особенно под конец творчества — безответственного красноречия. Безответственного в том смысле, что словесный текст — в представлении Ницше — был последней стоящей ступенью; всякий, кто читал или слышал хоть что-то о Ницше-человеке, не может в этом усомниться. Он был чем-то средним между писателем и философом; как известно, писатели не так и не для того пишут, чтобы их тексты воплощались в жизнь. Мне возразят, что все это не важно: тот, кто производит динамит хотя бы ради забавы, все-таки несет ответственность за результаты. Из множества обрывистых заметок, наблюдений, парадоксов, софизмов, которые оставил Ницше, я бы взялся выделить два ряда, один из которых как бы высказывается за фашистскую программу, а другой — отрицает ее. Можно говорить лишь об определенном размещении акцентов, о противопоставлении силы познающему разуму, аристократизму и элитарности. Именно поэтому, глядя назад, мы ассоциируем волей-неволей одно с другим, — и вот Ницше оказывается предшественником, даже автором парадоксов, окарикатуренных фашизмом. Но не выводите же отсюда, что философам надо запретить суждения, которые могут оказаться опасными на практике! Свеча вызывает взрыв только в пороховом погребе. В великой, часто диссонирующей симфонии человеческой мысли не хватало бы Ницше; и совершенство будущего, предсказываемого народолобцами, не в том, чтобы запрещать взгляды, противоречащие принятым. Главное, пожалуй, создать такие социальные условия, чтобы можно было говорить абсолютно все, в полной уверенности, что ни парадоксы, ни неправда не сотворят зла, поскольку нет для этого горючих материалов.

Однако можно посмотреть на ткань событий иначе — не искать причинной связи между взглядами философа и европейской трагедией, но счастье, что оба эти явления на разных плоскостях (одно — текстовой, другое — социальной) одинаково вызваны

причинами, укоренившимися в глубинах «немецкого духа». Такой подход тоже возможен, он придает «Доктору Фаустусу» несколько иное, вполне правомочное соотношение с исторической действительностью. Но и он исходит из предпосылки, с которой невозможно согласиться: тогда «немецкий дух» не меняется исторически, падение вечно и сделка с дьяволом проявляется под разными масками общественно-политических условий. При таком подходе расплывается якобы имманентная «немецкость» — и мы возвращаемся к первоисточнику, то есть к образу неизменной, по-манихейски раздвоенной природы человеческой. Можем ли мы сказать, что правомочный взгляд вытекает из предпосылки, с которой мы не согласны? Мы говорим так, потому что добрались до семантической стратосферы — до той высоты обобщений, на которой от гибких понятий остается одна лишь гибкость и все можно назвать как угодно. Иными словами, мы оказываемся лицом к лицу с банальностью, удобным вместилищем, куда каждый кладет то, что ему нравится. Каждой нации можно подогнать собственного «дьявола». Мы так далеки от конкретного катаклизма, что все преступления, все моря слез и крови для нас на одно лицо. Конечно, не у каждой из боен был «философский патрон». Но и это — вопрос перспективы. Историк философии может быть профессионально прав, когда показывает нам, как творчество одного мыслителя оплодотворяло мысль другого, как катились шары идей от Гегеля и Фихте к Шопенгауэру, к Ницше — но чернь тогда, как и спустя сто лет, лучше разбиралась в газетах, чем в Ницше, а ведь именно из люмпен-пролетариата Гитлер набирал будущих палачей Европы. Правота философа не может быть правотой социолога; одно дело — автономное государство мысли, другое — его влияние на людей, его переплетение с событиями общественной жизни.

Дискуссия становится беспредметной. «Национальный характер немцев», их «вагнеризм», пристрастие к напыщенной и тяжелой монументальности, пресловутое послушание, прусский дух — из какой же концентрации этих банальностей мы получим достаточно твердую и выносливую почву, чтобы на ней устояло здание анализа? Если Манн «Доктором Фаустусом» говорил о своем народе, само это суждение, неироничное и возвышенное (не стран-

но ли, что именно тогда его покинула ирония?), следует включить в сагу о немецком духе. Очень хорошо. А как быть с фашизмом? Говорят, и он осужден в книге. Нам это известно. «Доктору Фаустусу» уготована типичная судьба шедевра — он включает все, судит обо всем, что касается немецкого духа. И здесь лучше прекратить полемику, чтобы не выставить себя на посмешище: никакой армии доводов не поколебать апробированный шедевр. Да это и не входило в наши намерения: мы атаковали только один, да и не главный, фронт смыслов

«Фаустуса» и убедились, с какой поразительной твердостью защищается этот отличный роман, какой у него крепкий панцирь многозначности, как ловко убегает он в свое «семантическое пространство», оставаясь незвисимым и цельным. Да, роман защитил себя — как велит его парадигма, — но и проявил свое бессилие перед тем, что я назову не *genus proximum*, а *differentia specifica* нашего века.

Перевел с польского
В. Чепайтис.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Березкин. По сердечному долгу.— **Н. Мирова.** Все по той же дороге.—
И. Кунин. Из славного племени просветителей.— **В. Британишский.** «...Польша сказала мне голосом поэзии».

ПОЛИТИКА И НАУКА

Л. Баженов. Ленинский анализ революции в естествознании.— **Ан. Васильев.** Общение человека с вычислительной машиной.— **Э. Рабинович.** Философ революции.

Литература и искусство

ПО СЕРДЕЧНОМУ ДОЛГУ

Сильва Капутикян. Караваны еще в пути. Авторизованный перевод с армянского Геннадия Фиша и Маро Мазманын. «Советский писатель». М. 1969. 360 стр.

Когда в самолете Париж—Бейрут молоденькая стюардесса-арабка решила (согласно существующей, должно быть, процедуре) выяснить у Сильвы Капутикян, к кому из родственников она едет, наша путешественница не сразу нашла с ответом. Родных на ливанской земле у нее не было. Вместе с тем — и в этом она не сомневалась после недавних встреч со своими французскими одноплеменниками — о ее приезде в Ливан были многие уведомлены и многие с нетерпением и радостью ее ожидали. Как все это растолковать стюардессе, к тому же разговаривающей только по-арабски и по-турецки? «Милая!.. Напиши, что еду к матери, к отцу, к дедушке, к бабушке, к брату, к сестре, к детям, к внукам.. Пиши, не бойся неправды, все, что ни напишешь, будет верно...»

Об этом и книга Сильвы Капутикян «Караваны еще в пути». О том, как армянская советская писательница посетила несколько колоний-«гнезд» большого зарубежного армянского мира. Мира сложного, весьма неоднородного в социальном смысле, но связанного общей памятью о национальной трагедии и обстоятельствами этой трагедии

длин рассеявшегося чуть ли не по всем странам Европы, Америки, Азии.

Даже не красной — кровавой нитью проходит трагическая память и сквозь первую книгу прозы армянского лирика. Страницы о чудовищном уничтожении армян в 1915 году правителями тогдашней Турции жгут. Капутикян цитирует приказы и директивы: «Целиком истребить проживающих в Турции армян...»; «всякое должностное или частное лицо, которое воспротивится этому священному и патриотическому долгу... каким-нибудь образом попытается защищать или укрыть того или другого армянина, будет признано врагом отечества и религии и, соответственно этому, наказано».

Какая знакомая и почти возведенная в закон практиками геноцида позднейших лет формула оправдания убийств: хладнокровное и преднамеренное истребление миллионов освящено «патриотическим долгом», а неотменимо живущие или даже подразумеваемые в человеке милосердие и добро решительно отнесены к наказуемым смертью злостным проступкам против «отечества и религии»! Аскеры из младотурец-

кой партии «Единение и прогресс»» создали прецедент, и позднее им широко воспользовался Гитлер, поддержанный не только опытом своих предшественников, но и сознанием, что этот опыт вроде и был забыт. «Кто помнит сейчас, как турки истребили армян?» — спрашивал он, проектируя Майданек и Освенцим.

Чудом спасшиеся от ножей и те, кто выжил в сожженных зноем арабских пустынях, разбрелись по белу свету. Так возникло новое армянское слово «спюрк», от «спрвел» — рассеяться, расстлаться... «Караваны еще в пути» — книга о спюрге, написанная, повторяю, человеком, который недавно возвратился из этой разметававшейся по всему миру армянской страны и полон ее впечатлениями.

«Спюрк еще дымится, спюрк и сейчас еще рана, полученная в тысяча девятьсот пятнадцатом году и так и не зарубцевавшаяся», — говорит один из ее собеседников... Книга Сильвы Капутикян, пожалуй, больше всего и захватывает той терпеливой отвагой, тем чутким и бережным мужеством, с какими она, человек и поэт из Советской Армении, прикасается к ранам спюрка.

Признаться, не часто мы читали книги, которые бы столь интенсивно и в такой подкупающе открытой форме, как путевые записи Капутикян, излучали энергию доброго дела, обращенную на крайне близкие нашему восприятию, легко обозримые предметы и цели. О Капутикян никак не скажешь, что ее пребывание в мире армянского зарубежья не знало четких общественных ориентиров. Нет, она неизменно ощущала себя посланцем Советской Армении, последовательным интернационалистом, твердо усвоившим, что судьбу своего народа должно рассматривать «во всей цепи исторического развития» всех народов, всего человечества. Но это ясное знание, кто я, откуда я и что за мною, как и производное от этого знания чувство ответственности и долга, так натурально и органично сомкнулись с непыжащимся, простым интересом к спюрку, ко всем его скорбям и бедам, с первоначальным, и тоже очень естественным и простым, порывом делать добро, что было бы в высшей степени странным встретить в книге, подобной этой, насупленную кичливость, всезнающее снисхождение, затверженные слово и жест.

Самая горячая из проблем, с которыми столкнулась Капутикян, — спюрк и родина.

Тоску по родине, тяготение к ней, веру в нее Капутикян ловила в словах, читала во взорах тысяч и тысяч зарубежных сородичей. От древнего осанистого старика, который, представив гостю из Еревана сына и дочь, сказал: «Это мои дети... И внуки есть... Увезите их в Армению, увезите!..», до крохотной девчушки, распеваящей: «Если мне когда-нибудь скажут: отправляйся в путь! — с куклой в это же мгновение мы отправимся в Армению...»

Конечно же, Капутикян делала все, что в ее силах, утверждая обитателей спюрка в этой их тяге домой, на родину. И, право же, достойны всяческого удивления тот неубывающий душевный пыл, та неутомимая устремленность, с какими она — то растроганная до слез, то жарко спорящая и всегда внутренне непринужденная в любом поступке и шаге, — встречаясь и разговаривая со множеством самых разных людей, выслушивая их признания, жалобы, раздумья вслух, ни на миг не давала ослабнуть их готовности распрощаться с «зыбкой землей чужбины», с их надеждой вернуться на землю предков.

При всем этом Капутикян не «вербовщик», у которого на уме только «конечный шаг» усний — список репатриантов. Больше того, в какие-то минуты, по-новому поняв, до чего цепка власть предубеждений и привычек в иных человеческих душах, а то и попросту устав, Капутикян отодвигала в сторону взятую по доброй воле задачу убедить колеблющегося, «сломить» упряма: «Знаешь, Эдмоп, надо попросить его преосуществство, чтобы он не повторял везде — уместно это или неуместно: «Поезжайте в Армению». В конце копцов, мы, что ли, просить их должны? Шут с ними! Едут в Канаду, — и пусть едут!»

Для Сильвы Капутикян чувство родины — первый и главный признак «жизнестойкости» нашего разбросанного по свету народа, который долгой и трудной своей историей подтвердил давнюю истину, на сей раз выраженную М. Сарьяном в его вступлении к рецензируемой книге: «...никогда, ни в какие века нельзя умертвить народ, когда он не хочет умирать». И к этому чувству родины, способному «стереть... зловещую морщину изгнания, зажечь огонь в потухших глазах», то и дело апеллирует Капутикян, с ним считается,

на него уповаает, распутывая сложнейший клубок «объяснимых и необъяснимых» противоречий спюрка.

В дашнакской газете Капутикян прочитала, что она «злоупотребляет тоской по родине». «Если б дашнакская печать осыпала меня самой лютой руганью, я не была бы так оскорблена», — пишет Капутикян. Но хитро рассчитанный выпад не помешал ей, стремящейся «выпытать» все у спюрка, побывать и в некоторых «цитаделях» реакционного, буржуазно-националистического дашнакцутюна. Кое-кто из своих не одобрил этого шага Сильвы-джан. Юноша протянул ей маленькую фотографию: «Видите? Это мой отец... Его убили... Они убили... Они... А вы ходите к ним, дискутируете с ними! Читаете им стихи...» Драматические краски сгущаются, как в хорошей пьесе, без тени, однако, какого-либо предумышления: «...сегодня впервые я публично назвала имя своего отца, учителя по профессии, дашнака по партийности, умершего от холеры за три месяца до моего рождения, — Барунака Капутикяна...» Старики, обращаясь к Капутикян, называют ее не иначе, как «дочь Барунака».

К дашнакам, на их вечера и диспуты, поэтесса ходила не из праздного любопытства и даже не ради полемики с закосневшими в ненависти партийными боссами. Ради того безыменного медника из Эрзрума, который, однажды поверив «национальным идеям» дашнакцутюна, до сей поры, вот уже более полувека, никак не сбросит их наваждения со своей мятущейся одинокой души, ради того, «чтобы он очнулся от этой раздирающей сердце ярости, убедился в том, что так упорно отвергаемая им Армения — это именно его Армения, где тысячи и тысячи таких же медников, слесарей, ткачей, земледельцев возводят свою новую родину».

Постоянно чувствуя эту новую родину не только за собой, но и в самой себе, безраздельно ей принадлежа, Капутикян сказала прекрасные, как мне кажется, и очень нужные спюрку слова: «Желчная нетерпимость к другим нациям — результат убожества и бессилия. В любви армянина к своей родине много трагедийного, и это объяснимо. Но как хочется, чтобы любовь эта была спокойнее, легче, веселее...»

Представления спюрка об Армении непрерывно двоятся: то «красавица, расто-

чающая улыбки», то «пленица за решеткой». Сильве Капутикян предстояло много сделать, чтобы внушить своим слушателям во Франции и Ливане, Сирии и Египте реальный облик сегодняшней Армении: «...здоровый, сильный, выносливый рабочий в спечовке, руки которого огрубели, на волосах пыль от стройки...»

Вспоминаю стихотворение Капутикян «Зарубежным друзьям-армянам»:

За вас тревожусь я... Смотрю на вас
С сознанием ответственности строгой:
Хочу, чтобы сиянье ваших глаз
Ничто не омрачало хоть немного,
Хочу, чтоб вы среди душистых трав
Не повстречали цепкого бурьяна,
Чтоб не смутились сердцем, увидав
Хотя бы след случайного изъяна...

(Перевод Ю. Нейман)

В Бейруте, слушая, как дети-школьники запевают «Милый Ереван, весенний Ереван», Капутикян испытывает «чувство гордости, ответственности и немножечко страха». Ибо «сколько еще нужно сделать, чтобы он (Ереван.— Г. Б.) стал именно таким, каким видится сейчас этим ребятам, смешавшим сказку и быль», чтобы «высокий, не имеющий равного полет созидания» никогда не мирился с выгодными нашим недоброжелателям и врагам «недосмотрами, изъянами!»

Стихи Капутикян и ее «Караваны...» объединены духом требовательного патриотизма, особенно видного там, где поэтесса касается темы армянского зарубежья и его эволюции. Родство и в другом — в одинаково свойственной стихам и прозе Капутикян открытости ее лирического темперамента, тяготеющей к торжественно-красноречивому образу и эмоции. Там, где эта торжественность «поверяется» зрелым и сильным чувством, там, где есть развивающаяся в стихе, а не взятая заранее мысль, там поэтесса достигает многого. В стихах и прозе.

Некоторые из приведенных в «Караванах» выступлений и речей Капутикян напоминают по сжатости содержания, по роли и весу, выпадающих на каждую «единицу» образного, эмоционального смысла, короткие стихотворения в прозе.

Так, зарубежный армянский слушатель, который никогда не забывает ужасы 1915 года, сведшие с ума великого композитора Комитаса, должен был, полагая, с живейшим чувством откликнуться на

слова поэтессы о современной Армении: «Нет, армянин, даже если он захочет, бессилен отвернуть сердце от этой страны, хотя бы потому, что она вызвала из небытия озябшую комитасовскую «Весну» и сделала ее позывными своей радиостанции, возвещающими жизнь и созидание...» Этот образ — «озябшая комитасовская «Весна» — тесно связан с миром армянских переживаний и вносит в него нечто свое, поставленное в новый ряд, в новое смысловое единство.

Зато несколько перевозбужден и явно «перекошен» в сторону чисто словесного пафоса пассаж о «могущественном чудодее» Хачатуряне, повелевшем «опустить сабли перед магией танца с саблями».

Вообще нетрудно заметить, что какая-то незащищенность перед излишествами «открытого» стиля, какая-то неопределенная склонность к «роскошному», порою сентиментальному, иногда свойственные поэзии Капутикян, сохранились и здесь, в «Караванах...». Во всяком случае можно было свободно обойтись без красотостей типа «прозвучавшей когда-то тысячеустой, тысячеструнной симфонии», без «крупных слез», что «падают на радостно и торжественно протянутые мне цветы», без «иступленного гама оркестра», который «срывал с наших губ немощные, словно осенние листья, звуки...».

Проза Капутикян щедро черпает из ее красочной, эмоционально напряженной поэзии. Вместе с тем, как мне кажется, это обращение к прозе поможет Капутикян

«снять» приметную в ее творчестве некоторую неслиянность уровней: повествовательного, бытового и патетического, медитативного.

Вот строки об армянских школах: «Старые они. Основаны почти все в первые годы, когда беженцы, голодные и холодные, едва успели опустить на чужую землю свои запыленные узелки...» Существеннейшая мысль о том, как армяне упорно отстаивали свою культуру и свой язык, приближена, «согрета» прозаической, бытовой деталью: этими запыленными узелками, усталое опущенными на землю чужбины.

Не следовало в книгу, всю от начала и до конца пронизанную радостью, тоской и болью, включать нейтрально-«туристские» сведения о «фараоне четвертой династии», о пирамидах и сфинксах.

Досадно встретить в хорошей книге языковые невольности вроде модного жаргоизма: «...мне передали записку, в которой автор ее на полном серьезе выговаривал...», или же явный «канцеляризм»: «...эмоции нарастали по линии сердоболия...»

Книгой «Караваны еще в пути» Сильва Капутикян приподняла завесу над одним из «секторов» современного человеческого мира, который мы не знали или знали плохо. И сделала она это с неподдельным сердечным жаром и увлеченностью, с тем чувством причастности к народной судьбе и к судьбе отдельной, людской, которому веришь беспрекословно.

Г. БЕРЕЗКИН.

Минск.

★

ВСЕ ПО ТОЙ ЖЕ ДОРОГЕ

Владимир Орлов. После дождика в четверг. Роман. «Советский писатель». М. 1969. 375 стр.

В предисловии к роману Владимира Орлова «Соленый арбуз» И. Мотяшов рассказывает, как автор, будучи студентом факультета журналистики, во время преддипломной практики 1958 года попал на Абакано-Тайшетскую дорогу; в 1959 году «он жил со строителями месяц. Так же, как и они, выходил на работу и делал то же самое, что и они. И еще — писал, думал, запоминал... В этот год Владимир еще не раз побывал на Саянской трассе». Так родилась книга «Дорога длиною в семь сантиметров».

Но, пишет И. Мотяшов, «что-то оказалось

недосказанным». Это «что-то» властно просилось на бумагу... Так получился роман «Соленый арбуз».

По роману была сделана пьеса, был написан сценарий и снят фильм — «Таежный десант».

Но все-таки оказалось еще «что-то недосказанным», по-видимому, опять «что-то властно просилось на бумагу», и В. Орлов создал на этом же материале роман «После дождика в четверг».

Тому, кто прочел первые книги В. Орлова, здесь все знакомо: тот же пейзаж, те же люди, та же стройка. Похоже, что для

него Саянская дорога — как для поэта море: «Придается все. Лишь тебе не дано примелькаться...»

В Орлову дороги не только уже описанные им люди и места, но и детали, реплики, эпизоды.

В первой его книге рассказано, как разлившаяся во время наводнения река отрезала часть строителей от Большой земли: «Прораб Мотовилин бегал по Артемовску и искал лодочника. Артемовские старожилы качали головами. Они не сумасшедшие и не любители острых ощущений... Наконец нашлся один.

— Сто рублей в день,— сказал он.

Прораб и лодочник появляются затем в «Соленом арбузе», а потом в последнем романе.словно замороженные, уже многие годы они торгуются и «переправляются» из одной книги в другую. Только теперь, после денежной реформы, лодочник запрашивает, естественно, не сто, а «десять новнми».

Трижды рассказано о том, как на остров строителям везут с Большой земли хлеб на трелевочном тракторе. «Метрах в восьми от берега трактор остановился... Эдик выдавал хлеб, ребята уносили его на руках. По пояс в ледяной воде. По несколько буханок каждый. Несли осторожно, как снаряды». Правда, в последнем романе Эдика зовут Севкой.

Работая над первыми двумя книгами, молодой автор, возможно, различал уже очертания будущего романа, потому что и в репортаже «Дорога длиною в семь сантиметров», и в «Соленом арбузе» упоминается история с мостом, которая теперь составила сюжетную основу романа «После дождика в четверг».

В первую же ночь после того, как заболел прораб Ермаков и его увезли в больницу на другую сторону реки Сейбы, начинается наводнение. Ермаков назначил вместо себя командовать работами бригадира Павла Терехова. Теперь на плечи Терехова «взвалены хлопоты поселка, отрезанного от начальства и цивилизации». Главная задача — спасти мост, который оказался в середине широко разлившейся реки. Он под угрозой. Оказывается — это обнаружил Терехов, — ряжи моста заполнены не тяжелым бутом, а легким гравием. Винават в этом начальник строительства всей трассы — молодой, энергичный инженер Будков.

Мост (пусть временный) давал возможность сразу продвинуть глубже в тайгу

строительство всей трассы. Когда мост заканчивали, бут еще не был подвезен, и Будков распорядился сыпать «лополучный гравий, скрыв потом это от комиссии, которая принимала работу. «Сейбинский мост уже держался два года, подставлял свои отглаженные бревна шинам и гусеницам, и двигались с Большой земли машины в тайгу...»

На этот раз мост удается спасти, но кончается книга телефонным звонком из «ставки» Будкова: «...дела плохие, только что звонили проклятые гидрологи, хорошо, хоть на этот раз предупредили загадя, от расплавленной солнечной сковородки снег в горах начал таять, реки вспухают, гремят, волокут камни, наводнение, слышишь, Терехов, опять наводнение...»

Ясно, что тихих и легких дней на стройке не будет, разве что «после дождика в четверг». Покой героям Орлова и не снится.

Чаще всего мы видим или слышим их всех вместе, не различая лиц («В толпе шумели, все были возбуждены и все желали делать что-нибудь штурмовое»). Выделены, кроме Терехова, Надя Белашова, Олег Плахтин и Севка. Они выросли вместе с Тереховым в небольшом городке и приехали на стройку вслед за ним.

Личная жизнь героев так же полна драматических событий, как и производственная. Терехов любит Надю, но сначала не знает этого. Надя же знает, что любит Терехова, но замуж выходит за Олега Плахтина. Терехов наконец понимает, что не может жить без Нади. Но автор не собирается, как в старину, ставить точки над «и». Как мы не знаем, выдержит ли мост новое наводнение, так же покрыты для нас мраком неизвестности личные судьбы героев.

По замыслу автора, жизнь должна предстать перед читателем в романе неприглаженной — противоречивой и сложной. Среди строителей есть дезертиры; есть на участке Терехова девушка, которую выслали в Сибирь из большого города за аморальное поведение; начальник строительства, как мы уже знаем, допустил ошибку, даже совершил преступление. Жизнь у строителей в этих диких местах трудная.

Но читая роман, мы остаемся совершенно спокойны. Чувствуешь настойчивую волю автора: все должно кончиться хорошо. И действительно, так и происходит. Несмотря на невыносимые трудности, бегут со строй-

ки только три человека, один из них еще, может быть, и вернется. Заблудшую девушку перевоспитали, окружив теплом и вниманием. Не совсем ясно только, прав или не прав начальник строительства Будков. С одной стороны, заниматься очковтирательством вроде нехорошо, с другой стороны — мост ускорил строительство трассы. Что касается трудностей — то вся прелесть далекой стройки именно в них, они-то и поэтизируются, в них — романтика. Романтика — это лейтмотив произведений В. Орлова.

В представлении В. Орлова романтика состоит в том, чтобы строить дорогу в Саянах. Именно здесь, на Саянской трассе, жизнь «крылатая», а в других местах, очевидно, бескрылая.

В этом стоит разобраться.

Конечно, быть пионером, осваивать необжитые места — всегда привлекательно, особенно для молодежи. Но в некоторых произведениях современной литературы далекие стройки приобретают некий самодовлеющий, прямо мистический смысл. Словно они сами заключают в себе высшую цель — вне общих целей, вне связи со всем ходом жизни.

В основе чувств и мыслей героев после-революционной литературы было острое ощущение причастности каждой отдельной судьбы к общему, историческому. Мечта о голубых городах была связана с мечтой о свободной Гренаде. Когда Павел Корчагин строил железную дорогу на Боярке, то для него важна была не дорога сама по себе. Подлинная романтика рождалась из сознания того, что строительство этой дороги необходимо для защиты дела революции. Такого рода романтики нет в книге В. Орлова, ее заменяет поэзия авралов, «вахт» и нехваток.

Похоже, что если бы комсомольцы приехали на стройку с палатками и спальными мешками, если бы им сразу же пришлось работать по специальности, если бы они были тепло одеты, если бы они работали ритмично, по восемь часов в сутки, если бы вовремя завезли на стройку машины и сборные дома, — то романтики уж никакой бы не было.

Но, к торжеству автора и его героев, это не так. Еще в первой книге рассказывается, как путеукладчики стали молотобойцами. «Потом их поставили землекопами... Были бы отбойные молотки — другой разговор.

Техника еще только прибывала. А пока выручали лопаты и лом. Начальство даже удивлялось. Крепкие приехали в Курагино ребята. Отрабатывали свое днем, если надо, оставались и на ночь... ходили на работу в кепках, без валенок, жили в трудных условиях».

И в последнем романе В. Орлов поэтизирует «неожиданные, шквальные дни», когда герои его «в горячем движении... как в бою или в азартном и нервном матче», когда они работают не только днем, но и ночью «при свете спеленатых наспех факелов» или стыннут, спасая мост, в ледяной воде — «живые волноломы, покрепче бетонных».

Когда Павел Корчагин и его товарищи в нечеловеческих условиях строили свою узкоколейку, они были уверены, что в будущем строить станут совсем по-другому.

Сегодня мы уже можем и должны строить по-другому. Справедливо писал авиаконструктор Антонов: «Не приходится ли иногда нашим людям, особенно молодежи, проявлять героизм там, где при лучшей организации и более бережном отношении к человеку труда в нем не было бы безусловной необходимости?.. Почему, сражаясь с «горами, степью иль тайгой», нужно обязательно жить в землянке или в палатке? Почему мы привыкаем считать нормальным такие проявления героизма со стороны наших людей, но не считаем почему-то героизмом толковую организацию быта и работы этих людей?»

Такая постановка вопроса обнаруживает искусственность романтического пафоса В. Орлова. Автор не только поэтизирует то, что надобно осуждать, его герои даже искусственно создают трудные, «романтические» ситуации.

Вот с помощью трактора доставлен на остров хлеб, тот самый, который «но пояс в ледяной воде... несли осторожно, как снаряды». Тут же на берегу «бешеной» реки ребята едят спасенный ими хлеб. «Толстые тяжелые ломти отваливались на серую подкладку ватника. Ломти никто не брал, все смотрели на них и на неторопливые движения ножа. И только когда Терехов защелкнул нож и сказал: «Берите», потянулись руки к пахучим ломтям».

Но оказывается, что рядом в столовой есть горячая еда. И когда уж съели хлеб на берегу «бешеной» реки, Терехов сказал: «Ладно, сейчас все пойдем сушиться и в

столовую». В столовой «елн с устатку да шницели нахваливали».

Похожая, необходимая для романтики ситуация есть и в романе «Соленый арбуз». Николай Бондаренко несет на котлопункт мешок с макаронами. Ему придется идти ночью («на складе проковырялись до восьми, в восемь ушел последний автобус») многие километры, а потом ползти по льду. «Лед был тонкий, с водичкой сверху... полз метров двадцать или тридцать, пока водичка не кончилась». Добравшийся до своего котлопункта герой был голоден. Повариха увидела, как «он с жадностью грыз макароны». Она «всплеснула руками и притащила ему хлеб, масло и консервы».

Конечно, человек, привыкший здраво рассуждать, вряд ли станет совершать подобные «подвиги». Но герои Орлова как-то мало задумываются — и о том, что делается в мире (их мысли и интересы ограничены участком, на котором они работают), и о своей судьбе, о своем месте в жизни.

Надя Белашова была лучшим математиком в школе, теперь она работает в бригаде штукатуров и совершенно удовлетворена своей жизнью (не считая, конечно, невыясненных отношений с Тереховым).

В. Орлов — незаметно для себя — создает образы людей, мало размышляющих. В 1952 году, говорится в романе, арестовали Надиного отца, врача Белашова. Терехов считал тогда, что его «взяли правильно». Упоминается впоследствии, что Белашов вернулся, его реабилитировали. Но мы так и не знаем, что думает теперь об этом Терехов. Ни он, ни Надя вообще об этом не вспоминают.

Когда пришел «пятьдесят шестой, шумный и сердитый, високосный год», Олег Плахтин «все выступал на разных собраниях в техникуме, где он уже учился, голос срывал... Он жил одним — революцией — и верил искренне, что служит ей». Прошли годы, и Олег «стал терпимее, и многие его пламенные мысли казались ему теперь смешными и неверными».

Но что же за пламенные мысли были у Олега, как он служил революции, о чем он кричал на собраниях, что он думает теперь, когда «поостыл», — все это загадка для читателя, потому что мысли его так и остаются читателю неизвестны.

Когда автор хочет передать мысли своих героев, то он оказывается в трудном по-

ложении. Ему кажется, что есть в его романе люди умные и сложные, но в действительности все они — на одном уровне.

«Надо же, — думал Олег, — мать-то моя...» (Узнав, что мать любила Надиного отца.)

«Надо же! — удивлялся Чеглинцев. — Как же это Васька так поторопился!» (Обнаружив, что его дружок забыл спрятать ключ от чемодана.)

«Надо же», — удивился Терехов, услышав, что во Франции едят устриц.

«Надо же, — судорожно думал Будков, — все всплыло, докопались археологи...» (Поняв, что Терехов знает уже историю с буттом.)

Это простодушное «надо же» — безусловно авторское, как и остроты, потому что острят, и каламбурят, и цитируют все тоже одинаково, от начальника строительства Будкова до шофера Чеглинцева. Все герои остроумны всегда, во всех случаях жизни, вслух и про себя, на людях и наедине.

«Я — животное общественное... и мне одиночество действует на печень». «Бессонница — болезнь века». «Чего уж тут, оформляй бумаги. Я волком бы выгрыз бюрократизм». Это все говорит Чеглинцев. Но он не только говорит, он и думает с юмором: «То ли нервы у меня чересчур тонкие стали, то ли в мозгах извилин прибавилось».

Никто из героев за словом в карман не полезет. Рудик Островскому (это комсорг поселка) говорит, что у него оба сапога на правую ногу, он тотчас отвечает: «Наше дело правое, мы победим».

На вопрос, почему ряжи моста набиты гравием, плотник Исполнов отвечает: «А чего там должно быть?.. Пирожки с мясом?»

Лысый врач говорит про прораба Ермакова, который сбежал из больницы: «Кавказский пленник!.. Побег из неволи!»

Терехов, завидев дренажников с бригадиром Белоножкой, кричит: «Эй, Белоножка и семь гномов! Привет!» «Зимовшики Диксона встречают ледокол с теплыми валенками», — сказал Терехов, когда трелевочный трактор с хлебом приблизился к берегу. Смертельно усталый Терехов думает: «Имею я право на отдых?.. Дайте мне в руки Конституцию... Каскелен, Каракон, славят великий советский закон».

Эти стереотипные, расхожие остроты и цитаты, помимо замысла автора, подчеркивают характерную для его героев привычку не думать. А по замыслу автора должны были подчеркнуть связь героев с сегодняшним

днем: такими вот ироничными должны быть современные ребята.

(При том, что все герои романа так многословно и навязчиво острят, автор сообщает, что «они берегли слова, как скупые рыцари свое червонное имущество». Ведь современные герои должны быть не только остроумны, но и молчаливы.)

Возникает разрыв между тем, какими представляются герои романа автору и какими — читателю.

«Человек ушагал от амёбиной простоты, он все тоньше и тоньше, все сложнее и сложнее», — думает Павел Терехов. Так думает и автор.

Но по сравнению с каким человеком, возникает у читателя естественный вопрос, герои Орлова «тоньше» и «сложнее»? Если Лев Толстой с недоумением спрашивал: «Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые *pas de ch ale* давно бы должны были вытеснить?». если он не мог ответить на вопрос, откуда Наташа «умела понять все то, что было в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке», — то герой Орлова Терехов, глядя, как танцует Надя Белашова, которая «плыла, плыла через века Василисой Прекрасной и Снегурочкой, Солохой, утихомирившейся на мгновение, Купавой, завораживающей Леля», — знает, понимает уже, что хоть «ничему ее не учили, а в ге-

нах, в сложенных нуклеиновых кислот тысячи русских баб, тысячи невест, озорных и нежных, передали ей свою красоту и свое умение...»

Да! Если речь пойдет о нуклеиновых кислотах, Толстой, конечно, останется позади. Тут герои Орлова «ушагали» дальше, тут чувствуется XX век. Но хотя герои В. Орлова так современны, автор все-таки оглядывается на Толстого.

Надя Белашова замечает в своем муже (назавтра после свадьбы) мелочи, которые ее раздражают: «Когда же прекратит он пить и глотать и чмокать и ложечкой крутить сахар, я не выдержу, мне противно слышать это, и сам он противен мне, господи, до чего я дошла!» — почти совсем как Анна, когда увидела Каренина на вокзале.

Герой романа «Соленый арбуз» думает, всматриваясь в тайгу, что «бесконечная, безразличная, вечная» тайга говорит ему «молча»: «Как все это мелко, мизерно, все эти ваши переживания! Они пройдут. Есть в мире что-то настоящее, вечное, более высокое и значительное, чем они» — почти совсем как думал когда-то князь Андрей, глядя в аустерлицкое небо!

Как видим, с классиками В. Орлов обращается весьма уверенно. Он вообще пишет уверенно, он уже, можно сказать, опытный «путеекладчик». Но трижды проля одну и ту же дорогу, он лишь закрепил навыки поверхностной беллетристики и необдуманной скорописи.

Н. МИРОВА.



ИЗ СЛАВНОГО ПЛЕМЕНИ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ...

Гр. Бернандт. Александр Бенуа и музыка. «Советский композитор». М. 1969. 230 стр.

Вот уже третья книга, посвященная А. Н. Бенуа, выходит у нас за последнее время. Если вспомнить, что предшествовавшие десятилетия дали совсем немного — только наивно жеманный этюд С. Эрнста, изданный в 1921 году, — еще ощутимее станет подъем интереса к личности и творческому пути художника, казалось бы, далекого от нас, более трети века прожившего вдали от родины и умершего в Париже десять лет назад.

Для этого интереса есть серьезное основание. А. Н. Бенуа был не только даровитым и высокообразованным художником, но

и неутомимым пропагандистом и деятелем в области художественной культуры. Свой талант и свою энергию он вложил во многие начинания. Одни из этих начинаний давно уже заняли место на страницах истории — таковы знаменитые «Русские сезоны» и «Русский балет» в Париже, таково многостороннее, ярко талантливое и ярко противоречивое объединение «Мир искусства». Другие, меняя содержание и формы в новых условиях, сохранили свое жизненное значение до наших дней. Я имею в виду великое дело охраны памятников старины, восстановление в правах после многолетне-

го небрежения художественных ценностей XVIII и начала XIX века, наконец глубокий интерес к народному театру, получивший своеобразное воплощение в «Петрушке» Бенуа — Стравинского. Нет уверенности, что при отдельных больших удачах (некоторые листы из иллюстраций к «Медному всаднику», некоторые образцовые эскизы к театральным постановкам) Бенуа был особенно крупным художником. Но вне сомнений тот факт, что он был выдающейся художественной личностью. Недаром его так ценили Горький, Брюсов, Блок, Луначарский. «Будем копить искусство, а не тратить», — написал Бенуа в июле 1917 года, и эта идея собирания и сбережения искусства для широкого круга, в конечном счете для всего народа, в большой степени определила его как художника, воспевшего Версаль, Петербург, Петергоф, его работу организатора, критика, публициста, воспитателя вкуса и любви к искусству.

«У него был огромный педагогический дар, — вспоминала А. П. Остроумова-Лебедева, научившаяся у Бенуа среди многого другого безошибочно зоркому и безошибочно убедительному искусству архитектурного пейзажа. — Обыкновенно он усаживал меня за стол в своем кабинете, клал передо мною какой-либо фоллиант и предлагал мне перерачивать страницы. Стоя около, он объяснял мне и собравшимся вокруг своим друзьям достоинство, характер и особенности изображения, причем возникал живой обмен мнений. При этом я поняла, что мало «смотреть» на снимок, это всякий умеет, а надо уметь «видеть» и рассматривать его. В это умение входит восприятие и оценка форм и линий данного изображения до мельчайших его подробностей, необходимость понять смысл этого произведения, замысел художника и уловить то неуловимое, что не поддается анализу и что составляет самое существенное в настоящем произведении искусства...»

Был ли этот тонкий ценитель искусства ученым-искусствоведом? И следует ли, соответственно, класть в основу характеристики Бенуа его систему взглядов, его несколько сбивчивые и как бы домашние отношения с реализмом, западничеством, теорией «искусства для искусства»? Мне кажется, что роль таких разысканий, обвинительных, как в прежние времена, или защитительных и оправдательных, как в новых работах, не слишком велика. Самый склад мышления

Бенуа, притом очень трезвый и разумный склад мышления, далек не только от цеховой, дипломированной научности, но и от всякой сколько-нибудь отстоявшейся системы. «Не в моих принципах излагать так называемые принципы, согласно которым создается то или иное художественное произведение», — не без озорства писал Бенуа в 1923 году. Разумеется, это не беспринципность. Это известное недоверие к формулам, к негибким определениям, под которые так часто и так охотно подводится «то неуловимое, что не поддается анализу и составляет самое существенное в настоящем произведении искусства». Короче сказать, перед нами не ученый и не систематик. Бенуа — практик искусства, его знаток, его любитель, со всеми слабыми, но и со всеми сильными сторонами такого подхода. Его суждения могут быть глубокими, но могут быть и поверхностными, меткими и блестящими или наивными и устарелыми, даже обветшалыми. Но не может стать ветхим его неизменно горячее и неизменно радостное восприятие искусства, увлекающее и заражающее читателя трудов, статей и писем Бенуа. Обширные знания нигде не отяжеляют и не теснят непосредственность восприятия; вкус, отшлифованный разнообразным эстетическим опытом, не становится самоуверенным стражем порядка.

В годы махрового цветения изысканновитиеватого, многозначительно-затуманенного слога проза Бенуа выделялась прозрачной простотой. В своих печатных выступлениях он всегда тяготел к жанрам, предполагающим прямое общение с читателем: «Беседы художника», «Дневник художника», «Художественные письма». И еще одна, быть может наиболее важная, сторона дела: без намерения учить Бенуа учит тому, что он сам называл «культурой человеческого достоинства». В нее органически входит светлая, счастливая, естественная любовь к прекрасному.

Работа Гр. Бернандта открывает нам Бенуа с совсем новой стороны. Мы, разумеется, помним художника вдохновителем, либреттистом, декоратором балетов, в меньшей степени — опер. Мы с интересом узнали из недавно вышедшей книги «Александр Бенуа размышляет...», что сам он придавал музыке исключительное значение в своем развитии: «Музыка является как бы основной стихией моего отношения к искусству», «музыка способна вызывать во мне наибольшую

лее сильные эмоции и потрясения, а в моей творческой деятельности именно музыка породила наиболее счастливые идеи». Но в книге Гр. Бернандта тема музыки в жизни Бенуа и неразрывно с нею связанная тема восприятия художником близких и дорогих ему явлений в музыке впервые развернулись в связное и увлекательное — я готов сказать, в художественное — повествование.

Прочной основой для первого, весьма любопытного очерка — «Музыка в семье Бенуа» — стали воспоминания самого Бенуа; сверх изданных в Нью-Йорке на русском языке двух томов («Жизнь художника»), автор смог использовать сообщенные ему дочерью художника, А. А. Черкесовой, выписки из оставшегося в рукописи третьего тома воспоминаний. Мы мало знаем о музыкальном быте, о домашнем музицировании в России конца прошлого века, меньше, чем о музыкальном любительстве времен Глинки. Тут всякое пополнение материала дорого, а тем более такое сочное и колоритное. Читатель как бы сам входит в жизнь культурной, наследственно одаренной семьи, тесно связанной с разнородными искусствами, сам оценивает по заслугам внешне незначительную, по существу огромную роль домашней музыки в сплочении семьи и воспитании личности¹.

Работа А. Н. Бенуа в музыкальном театре затронута Гр. Бернандтом слегка и скорее в порядке обзора-напоминания. Вероятно, это правильно: задача тут вполне самостоятельная, требующая для успешного решения специальной разработки, специальных знаний и достаточного простора. При скромном объеме книги и ее популярном, отнюдь не исследовательском характере, расширение темы могло бы привести к нарушению пропорций и даже к утрате лица.

Зато центральная тема книги — Бенуа о музыке — развернута широко, хотя и здесь не перейдена нужная черта². Основным материалом послужили Бернандту дореволю-

ционные статьи Бенуа; выдержки из них пополнены некоторыми сведениями и деталями, почерпнутыми в его воспоминаниях (кроме упомянутой «Жизни художника», учтен также журнальный вариант «Воспоминаний о балете»). В статьях Бенуа о музыке и музыкальном театре — та же горячая художественная отзывчивость, что и в его откликах на явления из круга изобразительных искусств, то же, если не большее, обаяние искренности и непосредственности. И чтобы сказать всю правду — тот же, но только умноженный и сгущенный налет дилетантизма, та же, недоступная обычно профессионалу, свобода от принятых положений и привычных в данное время и в данной среде точек зрения. Вкусы Бенуа-музыканта широки. Глинка и Мусоргский, Чайковский (иные из произведений которого, например «Спящую красавицу», он «знает наизусть») и Даргомыжский «Каменного гостя», Вагнер и Римский-Корсаков для него не почтенные обитатели музыкального Олимпа, а живые собеседники. Беседа с ними волнует и вдохновляет его, наводит на глубокие размышления. Бах, Моцарт, Глюк, Глазунов, Стравинский, Обер и Делиб — все они по-разному будят в нем сочувственный восторженный отклик. Но пересказывать его статьи — задача крайне неблагодарная. Предоставим, наконец, слово Бенуа, обратив все же внимание читателя на характерный зрительный, а то и прямо театральный, динамический характер его восприятия музыки (и попросив простить неизбежные при цитировании сокращения): «Среди изъезденных морем скал, вблизи бушующей стихии, под покровом нависших свинцовых туч бывает особенно трогательно найти в заветрии лужайку с наивными ясными цветочками, с мягкой и ласковой травой... Совершенно таким же оазисом рисуется мне французская музыка и, так сказать, вся французская музыкальность среди громад немецкой, итальянской и русской музыки. Обер, Делиб, французские народные песенки — рядом с Бетховеном, Бахом, Вагнером, Глинкой и старыми итальянцами — такая же лужайка среди скал у моря. Цветочки ее малы, но они горят яркими цветами, трава ее невысокая, но она дивно пахнет, ручей, протекающий по ней, мал и бежит мелкой, детской походкой, но зато вкус его и прохлада божественны и не имеют в себе несносной горечи и соли океана. И все французская музыка не более плоская

¹ Попутно автор заполнил, хотя бы пунктиром, «большое белое пятно» в биографии С. И. Танеева — историю его отношений с М. К. Венуа-Эфрон, свояченицей Александра Бенуа и даровитой пианисткой; эти отношения, как и несчастливая их развязка, сыграли значительную роль в жизни московского композитора.

² «В сущности, это всего только первоначальный этюд к будущей монографии о художнике музыканте», — подытоживает свою работу автор.

и ничтожная, нежели музыка иных народностей. В мире бесконечно малое равно бесконечно великому, все держится, все одинаково важно, над всем и во всем господствует бог. Серебристый звон французской музыки так же подлинно божествен, как и заунывный вой, грандиозный стихийный оркестр других, более «серьезных» музыкальных школ».

А вот иная грань восприятия: «Золотой петушок» — ...это национальное, или еще лучше, народное произведение в полном смысле слова, это волшебное зеркало, в котором мы сами можем видеть себя, правда, не то в искаженном, не то в прикрашенном виде, но все же при наличии такого характера подлинности, что и сомнения не остается в том, что здесь Римский-Корсаков отразил самые существенные черты оригинала и создал памятник такого же значения, как поэмы Пушкина и Гоголя». «И вот это-то лучшее, зрелейшее и самобытнейшее, — продолжает Бенуа, — оказывается и самым сложным, вмещающим наиболее противоречивые начала, соединившиеся в одно неразрывное целое... Ни одна русская опера не вызывает во мне столько раз за время своего исполнения то странное, необъяснимое ощущение мороза по коже, как именно «шутовской» «Золотой петушок»... Впрочем, настоящее время для «Петушка»... еще не пришло. Это такое произведение, которое еще и имеет стать национальным. Произойдет же это тогда, когда и широкие массы лучше осознают себя. Но ведь после всех тех испытаний, которые принесли русским людям бедствия войны и сплошной ужас от бездарности власть имущих, нужно думать, что такое прозрение масс наступит в недалеком будущем, и вот тогда «народ» между многим другим, до сих пор для него недоступным, оценит по-должному и «Петушка»¹.

Я привел два образчика, стремясь с разных сторон представить Бенуа, пишущего о музыке, и хорошо понимая всю недостаточность этих образцов даже для самого первого знакомства. После сказанного раньше, может быть, нет нужды оговаривать субъективность суждений Бенуа-слушателя, напоминая, например, что такому ультрафранцузскому композитору, как Г. Берлиоз, может оказаться тесно на облюбованной кри-

тиком тихой лужайке. Важнее иное: на поприще чисто художественной критики у Бенуа не оказалось преемников, на поприще критики музыкальной у него таковые нашлись. «Без Бенуа невозможно до конца понять деятельность В. Г. Каратыгина и особенно Б. В. Асафьева», — справедливо указывает Бернандт. Кстати, сам Асафьев, человек едва ли не гениальной музыкально-литературной одаренности, оставил в своей книге «Русская живопись. Мысли и думы» интереснейшие воспоминания о своей дружбе с Бенуа и весьма содержательные оценки его творчества и личности.

Как уже можно судить, книгу Гр. Бернандта я считаю очень удачной. Мне даже кажется, что, с соблюдением должных пропорций и дистанций, можно говорить о наличии подлинной внутренней близости автора к предмету его изложения. Во всяком случае оно согрето не совсем привычной в искусствоведческой и музыковедческой литературе душевной теплотой; чем-то напоминает Бенуа и самая манера повествования: она радуется непринужденностью, изяществом и решительным отсутствием педантизма. Тем удивительнее, что книга успела получить резкую, странно неприязненную по тону оценку со стороны ревнителя памяти А. Н. Бенуа — известного исследователя и публикатора И. Зильберштейна¹. Кинутое на ходу обвинение в научной недобросовестности как-то плохо вяжется с реальным содержанием книги Гр. Бернандта. Казалось бы, самый жанр «первоначального этюда» (так определил характер своей работы сам автор на последней ее странице) исключает гребование рецензента привлечь обширный и, вероятно, весьма ценный материал его писем, хранящихся в различных советских архивохранилищах, а также статьи Бенуа, появившиеся в русской зарубежной прессе. Впрочем, в рецензии есть несколько полезных и интересных добавлений к отдельным страницам книги Гр. Бернандта, за что нельзя не поблагодарить строгого, но, опасаясь, лицеpriятного критика.

Имеются ли все же в этой хорошей и полезной книге недостатки? Разумеется. Есть кое-где словесные штампы, особенно приметные на фоне безукоризненно свободного

¹ Писалось в канун февральской революции.

¹ И. Зильберштейн. Исследователь знать обязан... «Литературная Россия», № 50. 12 декабря 1969 года.

и чистого языка Бенуа. Есть несколько опусков и опечаток, обидных в таком на редкость изящном, начиная с формата, и так заботливо выполненном издании. Но все это в конечном счете не столь уж важно.

Вернемся в заключение от книги к ее предмету. Был ли далекий от политики и не наделенный боевым гражданским темпераментом А. Н. Бенуа прогрессивным деяте-

лем? Да, несомненно... Он принадлежал к благородному племени просветителей. Все бесценные сокровища художественной культуры, накопленной человечеством, он копил не для себя, но неустанно, последовательно, талантливо приобщал к ним зрителей, слушателей, читателей — народ

И. КУНИН.



«...ПОЛЬША СКАЗАЛАСЬ МНЕ ГОЛОСОМ ПОЭЗИИ»

Польская лирика в переводах русских поэтов. «Художественная литература». М. 1969. 432 стр.

В польской литературе на протяжении всей ее истории многократно и подолгу господствовала лирика. Временами — почти безраздельно. Польская лирика перерастала границы чисто литературного явления. В прошлом столетии, когда романтическая поэзия Мицкевича и Словацкого была единственным отечеством поляков, сложилось типично польское представление о поэте-«пророке». Поэзия не имеет права быть только поэзией: она должна быть одновременно видением прошлого и пророчеством будущего, моральным кодексом и программой действий. Такие требования к поэзии, такое прочтение поэзии, такое отношение самих польских поэтов к своему творчеству оказались гораздо долговечнее, чем весьма долговечный польский романтизм. В годы между двумя мировыми войнами так понимали в Польше свое призвание и свои права Броневский и Ясенский, в годы второй мировой войны такое ощущение себя гласом народа позволило Яструну создать его великолепную гражданскую лирику. Даже поэты, почти не откликаясь непосредственно на текущие события польской истории, всегда слышали ход этой истории, как слышал его, например, Леопольд Стафф.

Интерес русских поэтов к польской поэзии также никогда не был узколитературным. «Что искали в польской поэзии русские поэты?» — спрашивает названием своей вступительной статьи к «Польской лирике» Борис Слуцкий. И всей статьей отвечает: «О Польше думали все думающие люди России... От декабристов Муравьевых, томившихся вместе с поляками в Сибири, до генерала Муравьева, получившего кличку «вешателя» за жестокую расправу с

польскими повстанцами, — дистанция громадного размера. На этой дистанции верстовыми столбами стоят тысячи мнений и тысячи действий русских мыслителей и деятелей». Действительно, и среди русских поэтов XIX века, переведших и пропагандировавших польскую поэзию, с одной стороны, такие «государственные мужи», как И. И. Дмитриев (сенатор) и П. А. Вяземский (товарищ министра), а с другой стороны, такие «государственные преступники», как К. Ф. Рылеев, как погибший на каторге М. Л. Михайлов, как узник Бутырской тюрьмы Г. М. Кржижановский.

Отношение русских поэтов к такому большому вопросу, как Польша, никогда не бывало безразличным или «промежуточным», хотя бывало сколь угодно сложным и противоречивым. 4 августа 1819 года Вяземский записывает: «Я часто размышлял о участи Польши, но злополучия ее всегда говорили уму моему языком политической необходимости: тут в первый раз Польша сказалась мне голосом поэзии». Не случайно именно Вяземский явился одним из первых и весьма страстных пропагандистов поэзии Мицкевича в России.

Прозаические переводы «Крымских сонетов», мастерски сделанные Вяземским, были предысторией русского Мицкевича. История же русского Мицкевича и книга «Польская лирика в переводах русских поэтов» — открывается сонетом «Плавание» в переводе Ивана Дмитриева. Стихотворный перевод Дмитриева восходит, как легко убедиться из сравнения, к прозаическому переводу Вяземского, который и принес Дмитриеву весть о новом гении. Дмитриев: «был так сильно поражен красотой сонетов, — расска-

зывает Вяземский,— что внезапно и, так сказать, невольной перевел один из них стихами». Простим же автору этого перевода-экспромта потерю сонетной формы и то, что рифмованный шестистопный ямб вдруг сменяется нерифмованным вольным ямбом. Тогдашнее понятие о точности перевода еще сильно отличалось от современного, границы между переводом, переложением, подражанием, вариацией на тему были весьма зыбкими. Зато в переводе чувствуется, что Дмитриев был по-настоящему захвачен Мицкевичем.

Мицкевичевская линия развернута в книге с максимальной полнотой: Дмитриев, Козлов, Пушкин, Бенедиктов, Фет, Майков, Аполлон Григорьев, Мей, Михайлов, Короленко («Над водным простором...» — единственный поэтический перевод в его наследии), Бальмонт, Бунин. О бунинском переводе сонета Мицкевича «Аккерманские степи» известный польский поэт Ярослав Ивашкевич (кстати, его стихи вошли в книгу в переводах Луговского и Светлова) говорил недавно как о самом лучшем поэтическом переводе, какой ему приходилось когда-либо встречать. Но и среди русских поэтов и переводчиков отношение к бунинским переводам из Мицкевича как к бесспорным давно утвердилось. Поэтому присутствие бунинских переводов в «Польской лирике» так же естественно, как присутствие пушкинского «Воеводы».

При первом чтении книги обращают на себя внимание не они, а переводы либо новые, либо достаточно хорошо забытые старые, извлеченные составителями (Б. Слуцким и Б. Стахеевым) из забвения. Привлекает внимание не бесспорный «Воевода» Пушкина, а фетовский перевод того же стихотворения Мицкевича — с его стремительным динамизмом, набирающим полную скорость уже в первой полустроке. Это не единственный случай, когда в книге даны переводы одного и того же стихотворения разными русскими поэтами. В подобной книге это весьма уместно, а поскольку большинство парных переводов — это переводы из Мицкевича, в книге появляется движение, подобие «сюжета». Фетовский эпизод в этом сюжете — один из самых впечатляющих. Переводы Фета из Мицкевича, при всей их точности, менее всего страдают буквализмом, проповедь которого привыкли связывать с именем Фета. Наоборот, все они («Свитезянка», «Дозор», «Свидание ■

лесу») отмечены истинным вдохновением, а задыхающийся амфибрахий гениального перевода «Свидания в лесу» не оставляет камня на камне от рассуждений о мнимой «монотонности» русских трехсложных силлабо-тонических размеров.

Радует в книге и присутствие в ней переводов Бенедиктова, которого в течение многих лет уже привыкли забывать в русских изданиях Мицкевича. Между тем несомненно не только «заслуги» Бенедиктова, так много сделавшего для того, чтобы Мицкевич стал своим, понятным, близким для русского читателя. Несомненно попросту поэтические достоинства его переводов. Пусть его перевод — и во включенных в книгу «Данаидах», и в оставшихся за бортом, скажем, «Развалинах замка в Балаклаве» — сильно взвинчен по сравнению с оригиналом, пусть Мицкевич «поднят» Бенедиктовым в плане патетической декламации и мелодраматичности, как «подымали» Шекспира русские провинциальные трагики той поры, — все-таки жаль, что в книге нет бенедиктовского перевода «Развалин» и «Чатырдага». Кстати сказать, крымские стихотворения самого Бенедиктова — среди них тоже есть «Чатырдаг» — одно из многочисленных доказательств существования мицкевичевской традиции в русских стихах о Крыме.

«Мицкевич был первым польским поэтом, которого увидела и услышала вся читающая Россия. Увидела, услышала и приняла в свое сердце», — пишет Б. Слуцкий. Юлиуша Словацкого узнали у нас гораздо позже. Но в этом русские поэты не виноваты: Словацкий поздно был оценен и у себя на родине, в Польше. Лишь два «юбилейных года» — 1899-й и особенно 1909-й — вознесли его на вершину посмертной славы. В России его в это время уже переводили Бальмонт и Брюсов. Но настоящий русский Словацкий создавался и продолжает создаваться уже на наших глазах. В прекрасном переводе Пастернака вошел в книгу «Кулиг» Словацкого. «Баллада паж» из пастернаковского перевода «Марин Стюарт» — один из нескольких случаев, когда составители включили в книгу лирики фрагменты крупных произведений. Везде они сделали это, на наш взгляд, мотивированно. Здесь — тоже. «Баллада паж» — самостоятельное художественное целое. Словацкий, как известно, переложил здесь знаменитую шотландскую народную балладу

«Эдвард, Эдвард», которую у нас переводили Каролина Павлова и Алексей Толстой. Пастернак создал текст, несколько сдвинутый по лексике и по мироощущению в сторону русской народной баллады («На обнове молодца кровь отца родного»).

Диапазон Словацкого настолько велик, что в творчестве поэта нашли каждый свое и подарили уже как свое русскому читателю Анна Ахматова («В альбом Марии Волзинской», «В альбом Зофье Бобровой») и Борис Слуцкий (гражданская лирика Словацкого, из которой он включил в книгу перевод «Успокоения»).

В девятисотые годы, когда слава Словацкого в Польше достигла апогея, Циприана Норвида, этого странного «романтика-неромантика», польские поэты только-только начинали открывать. Собрания сочинений Норвида и его популярность у широкого польского читателя пришли гораздо позже, они датируются нашим временем. Тем более отрадно, что среди русских переводов Норвида уже есть такие блистательные удачи, как «Памяти Бема траурная рапсодия» в переводе Д. Самойлова.

Вообще говоря, книга «Польская лирика» представляет — в своеобразной форме и под определенным углом зрения — историю русской поэзии. Польская же поэзия предстает здесь как нечто целое, польские поэты разных столетий даны здесь в их общности, в их принадлежности к поэзии Польши. Книга ни в коей мере не имела задачи знакомить с историей польской поэзии. Такая задача стояла перед вышедшей в том же издательстве в 1963 году двухтомной антологией «Польская поэзия», и сейчас, по прошествии семи лет, можно сказать, что составители антологии М. Живов и Б. Стахеев с достаточной полнотой показали тогда историю польской поэзии. Лишь немногих польских поэтов (главным образом эпохи барокко, Молодой Польши и межвоенного двадцатилетия 1918—1939 годов) можно было бы добавить к их выбору.

Составители «Польской лирики» ограничились гораздо более узким кругом имен польских поэтов. Они были правы. Но жаль, что как раз эпохи, недостаточно освещенные в антологии 1963 года, в новой книге исчезают совсем. Неравномерность освоения русскими поэтами богатств польской поэзии разных времен предстала здесь с излишней, на наш взгляд, заостренностью. Вероятно, стоило из польской лирики XVII

века дать хотя бы один самойловский перевод Вацлава Потоцкого (например, «Война людей не рождает»), из лирики XVIII века — хотя бы один перевод Елены Благининой из Адама Нарушевича (например, «Вот мое дело»). Вероятно, стоило, кроме Яна Каспровича, который вошел в переводы той же Благининой и Сергея Городецкого, включить Казимежа Тетмайера, например, в переводах Аркадия Штейнберга. В этом последнем случае не был бы обойден не только выдающийся польский поэт, но и талантливый русский поэт, точно и поэтично переводивший не только Тетмайера, но также Асныка. Впрочем, что касается русских имен — это, пожалуй, единственный упрек к составителям: в остальных случаях в книгу включены не только такие поэты, как Л. Мартынов или Д. Самойлов, издающиеся уже в серии «Мастера поэтического перевода», но и поэты, работа которых в области перевода с польского пока что не была достаточно оценена.

Назовем прежде всего Елену Благинину. Здесь можно прочесть ее переводы из Ленартовича, Конопницкой, Каспровича, Стаффа, Казимиры Иллакович. И тогда вспомнишь, что в первом томе «Сочинений» Марии Конопницкой (1959) было всего около трех десятков переводов Благининой, но казалось, что их гораздо больше, потому что именно они определяли высокий уровень и верную поэтическую тональность всего тома.

Включены в книгу и переводы другой поэтессы — Марии Петровых, причем ее переводы из Болеслава Лесьмяна явятся для читателей новинкой. Особенно хорош «Солдат» — одно из первых решений задачи, казавшейся до сих пор неразрешимой: воссоздать Лесьмяна по-русски.

Великолепный пастернаковский перевод стихотворения Лесьмяна «Сестре» уже известен читателям, а вот перевод «Свидриги и Мидриги» Сергея Городецкого для подавляющего большинства явится новым: он публиковался лишь в периодике и давно. Перевод этот, несовершенный в некоторых деталях, верно передает интонацию Лесьмяна и многие моменты его мироощущения. Городецкий, знаток славянских культур, автор книг «Ярь» и «Перун», как никто другой, должен был почувствовать «славянскую», фольклорную линию в творчестве Лесьмяна. Впрочем, Лесьмян многообразен, и будем надеяться, что первые удачи рус-

ских поэтов являются залогом того, что многообразие и неповторимость Лесьмяна откроются для русских читателей.

Среди нового в книге — самыйловский перевод «Трена» Яна Кохановского. Д. Самойлов перевел «Трен» силлабическим стихом и, вопреки утверждению Фета, что силлабический стих в русской поэзии уже невозможен, доказал обратное. Впрочем, стихом «сильно силлабизованным» переводил еще ранее Мартынов стихотворение Кохановского «К девке», есть оно и в этой книге. Удачи обоих поэтов имеют в данном случае принципиальное значение. Историки русского стиха, ломающие голову над вопросом, считали ли слогн Кантемир и Прокопович, когда сочиняли свои силлабические стихи, могут теперь обратиться к живым поэтам. Думается, что силлабический стих как в переводах, так и в оригинальной русской поэзии может иметь не только прошлое. С появлением современных, «живых» русских силлабических стихов ожил бы, кстати, и Кантемир с Прокоповичем, которых мы пока что живыми не ощущаем, упорно начиная свою поэзию с Ломоносова.

Если русский силлабический стих значительно обогащает возможности русских поэтов при воссоздании поэзии польского Ренессанса и польского барокко, то воссоз-

дание по-русски наиновойшей польской поэзии последнего пятнадцатилетия пока что во многом лимитируется недостаточной разработанностью русского свободного стиха. Правда, Марина Цветаева в своих великолепных перезодах стихотворений Юлиана Пшибоса конца тридцатых годов («Материк», «Горизонт», «Бегство» — все они, конечно, есть и в «Польской лирике») сумела дать ощущение свободного стиха, пользуясь вполне «классической», не выходящей за рамки силлабо-тонической системы комбинацией различных и разностопных русских трехсложных размеров, и это оказалось блестящим выходом, но Ружевица, но польских поэтов поколения 1955 года, но многие послевоенные вещи того же Пшибоса подобным стихом уже не переведешь.

Художник, оформлявший «Польскую лирику», проявил вкус. В составлении же книги чувствуется не только вкус, но и мысль. Поэтому книга заставит русского поэта-переводчика задуматься, что-то подскажет и ему, и даже историку русского перевода. Она позволяет по-настоящему оценить и удельный вес искусства поэтического перевода в развитии русской поэзии и степень увлеченности русских поэтов Польшей.

В. БРИТАНИШКИЙ.

★

Политика и наука

ЛЕНИНСКИЙ АНАЛИЗ РЕВОЛЮЦИИ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ

Б. М. Кедров. Ленин и революция в естествознании XX века. Философия и естествознание. «Наука». М. 1969. 397 стр.

О Владимире Ильиче Ленине справедливо говорят, что он был великим ученым в революции и великим революционером в науке. И это не просто удачная фраза — это констатация факта. В. И. Ленин действительно был великим ученым, создавшим теорию и стратегию классовой борьбы, социалистической революции, он раскрыл настоящее и будущее государства, увидел общественное развитие на многие десятилетия вперед.

В. И. Ленин был и остался при этом революционером — непревзойденным первооткрывателем, идущим непроторенными путями поиска и утверждения новых, преобразующих мир идей.

Но есть еще одна область творчества В. И. Ленина, где эта черта выступает особенно ярко. В. И. Ленин был и остается самым выдающимся мыслителем XX века, предсказавшим и оценившим сущность и перспективы революции в естествознании.

Среди всех творческих идей Ленина идея единства, органической взаимосвязи научного и общественного прогресса — одна из самых значительных, последовательно проводимых.

Рецензируемая книга известного философа академика Б. М. Кедрова рассматривает содержание и сущность ленинских идей, открывающих теоретическую перспективу... революции в естествознании XX века.

Прежде всего автор с характерной для него строгостью и даже педантичностью (чего порой не хватает многим пишущим и выступающим по философским проблемам естествознания) формулирует исходные определения таких понятий, как «революция», «революционный процесс развития», применительно к естествознанию. Но исследование не сводится к поиску наиболее удачных дефиниций.

Анализируя основные тенденции и закономерности развития науки как важнейшей силы прогресса, Б. М. Кедров приходит к общему выводу: естествознание становится революционным по своему воздействию на производство, технику, образование, а его развитие в целом также приобретает революционный характер.

Далее прослеживается процесс изменений, происходящих в науке XIX—XX веков, и вводится классификация (по этапам и периодам) крупнейших преобразований в области физики, химии, биологии. Автор свободно ориентируется в множестве теорий, фактов, идей, имен, но и вместе с этим не теряет в подробностях сути.

Чем значительнее отдельные достижения (прежде всего в физике), тем острее потребность в совершенствовании общей теории, тем неизбежнее конфликт между существующей системой взглядов и новыми, диалектическими по своей сущности, выводами и взглядами современной физики.

Все эти преобразования развергиваются в реальных общественно-политических условиях, в сложившихся классовых соотношениях, когда господствующий эксплуататорский класс осознал значение научных открытий (как могучей производительной силы общества) и вместе с тем органически не может принять революционных идей науки, отвергающей устаревшее, косное, стандартное в сфере мысли и жизни.

В. И. Ленин раскрыл своеобразие современной революции в естествознании с точки зрения социальных условий ее существования.

Автор убедительно показывает тонкость ленинского различия между революцией в науке и кризисом в области мировоззрения.

В этом, собственно, методологический принцип, принцип позитивного отношения марксистов-ленинцев к науке, в отличие от их резко критических оценок идеалистиче-

ских теорий, пытающихся извратить смысл современных научных открытий.

Б. М. Кедров доказывает (именно доказывает, а не просто провозглашает), как важно не отойти от ленинского принципа, ничего ценного не растерять, «не выплеснуть с водой и ребенка». Он пишет: «...выражения: «кризис физики», «кризис естествознания» употребляются Лениным исключительно в методологическом смысле: это — показатель методологических, познавательных трудностей, возникших перед учеными в процессе революции в науке, столь бурной и столь быстрой, что она не дает времени осваиваться — постепенно и спокойно — с новыми, совершенно необычными и трудно воспринимаемыми представлениями. Следовательно, это — кризис роста науки, а не ее упадка, крушения или гибели. Поэтому он носит временный, преходящий характер и должен быть преодолен в ходе дальнейшего развития науки. Однако полное его преодоление возможно только при условии, что будут коренным образом изменены те социальные условия, которые его породили».

Автор прослеживает вплоть до современности сложную идейную борьбу на два фронта¹.

С одной стороны, В. И. Ленин последовательно проводит принцип партийности в напряженной, бескомпромиссной борьбе с идеализмом, паразитирующим на «живом теле» науки

С другой стороны, Ленин неустанно подчеркивает реальную опасность безответственного нигилизма, бездумной крикливости, поверхностно-бездоказательного отрицания «буржуазного» естествознания. (Такого в природе не бывает. Естествознание в буржуазном обществе и «буржуазное естествознание» совсем не одно и то же².)

На примерах из недавней истории (в области физики и биологии) автор решительно отвергает примитивизм и поверхностность в понимании теории относительности, кибернетики и генетики.

И еще одно принципиальной важности за-

¹ Эта принципиальная линия выходит далеко за пределы вопросов науки и имеет первостепенное значение для понимания преемственности в области культуры, искусства, литературы.

² По этому поводу Б. М. Кедров пишет: «Только путаники от Пролеткульта не понимали этого, полагая, что все, что создано при капитализме, по парггйному нам враждебно».

мечание: из ошибок отдельных (или даже многих) философов, и, кстати, естественников, вовсе не следует, что позиции марксистско-ленинской философии в целом были ошибочны. Б. М. Кедров решительно отвергает рассуждения зарубежных (и некоторых отечественных) критиков, извращающих принцип партийности советской философии, вступившей якобы в конфликт с наукой. Наоборот: наша философия идет вместе с наукой, опираясь на ее выводы против буржуазной идеологии — главного тормоза прогресса.

Научная философия становится методологической основой современного естествознания.

Жизнь подтвердила безусловную верность ленинского тезиса о том, что без союза с диалектическим материализмом естествознание не сможет выдержать натиска буржуазных идей.

Раскрывая взгляды В. И. Ленина по вопросам партийности, автор остро полемизирует с теми, кто прямо или косвенно препятствует правильному их осмыслению, практическому применению.

Книга «Ленин и революция в естествознании XX века» написана страстно, заинтересованно. Позиция автора высказывается отчетливо — Ленин был, есть и будет величайшим преобразователем науки, открывшим новые принципы общественного прогресса, составной частью которого является революционное развитие науки и техники. Только социализм создает возможность беспрепятственного поступательного движения научного познания. В свою очередь нужны

усилия и огромное напряжение, чтобы в полной мере использовать эти замечательные возможности. Нужны и сегодня решительные критические выступления против тех, кто не может (или не хочет) понять всей сложности и действительных трудностей борьбы против сил и традиций старого мира, использующего для своего самосохранения всевозможные средства, в том числе достижения науки.

Отсюда ясно, что ленинская партийность направлена и против тех, кто примитивно-бездумно игнорирует возможности научно-технического прогресса в развитых капиталистических странах. Победить старый мир — значит превзойти его во всех областях, в том числе и в области научно-технического развития.

Тем веселее и значительнее победная поступь ленинских идей, утверждающихся в напряженной битве с опытным, сильным и коварным противником. Об этом нужно помнить и сегодня!

В целом, ленинское понимание революции в естествознании включает в себя решительное отвержение старого, тормозящего прогресс и поддержку нового, прогрессивного, действительно передового.

В заключение нужно сказать, что книга Б. М. Кедрова не свободна от некоторых слабостей. Их немного, и вряд ли стоит об этом говорить специально. Важнее главное — появилось оригинальное фундаментальное исследование, вызывающее интерес и актуальностью поставленных проблем, и способом их рассмотрения.

Л. БАЖЕНОВ.

★

ОБЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА С ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ

По новым работам советских кибернетиков

Настоящий обзор не является рецензией в обычном понимании. Работы, о которых будет идти речь, имеют специальный характер, и мы не собираемся рекомендовать их для прочтения. Наша цель — в общедоступной форме сообщить о проблеме общения человека с вычислительной машиной, и в связи с этим — об уровне «интеллекта» вычислительных машин.

Норберт Винер в свое время констатировал: «...мы начали понимать, что существует определенная аналогия между цифровыми

вычислительными машинами и человеческим мозгом...» С тех пор специалисты весьма преуспели в создании «умных» машин. Наиболее наглядный и известный пример — машина, играющая в шахматы. Особенно поразительным кажется то, что машина-шахматист может учиться и постепенно повышать класс своей игры. Однако насколько легко человеку научить машину играть в шахматы и научить ее учиться? Как вообще осуществляется общение человека с машиной?

Для того чтобы заставить машину решить какую-то задачу, необходимо проделать следующую работу. Во-первых, составить правило, рецепт решения задачи — так называемый алгоритм. Алгоритм материализован в виде специального текста, обычно не очень обширного. Первоначальный класс игры машины-шахматиста и ее способность к повышению класса игры полностью определяется тем, насколько удачно составлен алгоритм. Соревнование машин-шахматистов, о котором писали в прессе, является, конечно, соревнованием составленных алгоритмов. Следующим этапом является составление программы. Программа — это исчерпывающе детализованная система команд, выполнение которых должно привести к решению задачи. Программа материализована в виде набора цифр и иных знаков (в зависимости от типа машины). Программы первых цифровых вычислительных машин (ЦВМ) состояли из единиц и нулей. Программы мало-мальски сложных задач весьма обширны. Написание программы должно осуществляться представителем новой специальности — программистом. Специальность эта пока что остается весьма дефицитной, и нередко ученым и инженерам приходится самим осваивать программирование. Написание программы — работа сама по себе чрезвычайно трудоемкая. К тому же опыт показывает, что в первой записи даже несложной программы практически невозможно избежать ошибок (в основном — описок). Эти ошибки выявляются лишь при «запуске» программы. Специалисты утверждают, что обычно чем нелепее ошибка, тем хитрее она прячется. Тем не менее после многократного пропускания программы через машину (с соответствующей затратой машинного времени) процесс отладки программы завершается.

Известно, что техника ЦВМ получила весьма большое развитие. Быстродействие ЦВМ исчисляется тысячами и миллионами операций в секунду. Поэтому составление программ является «узким местом», ограничивающим возможности использования ЦВМ. Выходом из кризисной ситуации должно явиться использование самих ЦВМ для составления программ, в более общем плане — повышение «интеллекта» ЦВМ.

Работа программиста считается трудом довольно высокой квалификации. Однако в определенных случаях она может быть стро-

го формализована. Реализация этой идеи привела к созданию алгоритмических языков. Появление алгоритмических языков — принципиально новый этап развития кибернетики. В конце пятидесятых годов значительная часть усилий по разработке алгоритмических языков была объединена в международном масштабе и завершилась созданием в 1960 году международного алгоритмического языка АЛГОЛ-60. Этот язык предназначен главным образом для задач вычислительной математики. Язык АЛГОЛ описан в специальной брошюре¹. Изучение этого языка позволяет составлять программы на АЛГОЛе, причем не только математики, но и «грамотные» физики могут это делать сами, без программиста.

При записи формул на языке АЛГОЛ не обязательно знать, на каком типе ЦВМ будет производиться решение. Однако само решение можно проводить далеко не на каждой ЦВМ, но лишь на такой, которая снабжена транслятором с АЛГОЛа. Транслятор осуществляет перевод с языка АЛГОЛ на язык машины (систему команд для машины данного типа). Транслятор материализован в виде магнитной ленты. Когда транслятор не используется, он хранится в холодильнике. Разработка транслятора — работа весьма серьезная.

Машина, снабженная транслятором с АЛГОЛа, переходит на более высокий уровень развития. Она «понимает» язык формул! При общении с машиной, «выучившей» АЛГОЛ, можно непосредственно получать решения без помощи программиста.

Наряду с АЛГОЛом были созданы и другие проблемно-ориентированные языки, например, КОБОЛ для экономики.

Алгоритмические языки получили у нас своевременную оценку. Первый русский перевод описания АЛГОЛа-60 был осуществлен Г. И. Коржухиным под редакцией А. П. Ершова и выпущен Вычислительным центром Академии наук СССР в середине 1960 года — через четыре месяца после его публикации на английском языке. В дальнейшем перевод совершенствовался, сопровождался необходимыми комментариями.

¹ Алгоритмический язык АЛГОЛ-60. Перевод с английского. Сообщение. Перевод с английского под редакцией А. П. Ершова, С. С. Лаврова, М. Р. Шура-Бура. «Мир», М. 1965.

АЛГОЛу была посвящена также специальная монография¹.

Отрадно отметить, что в научных учреждениях нашей страны выполнен ряд оригинальных и интересных работ по алгоритмическим языкам и автоматическому программированию, подробно описанных в кибернетической литературе. Назовем некоторые работы и руководителей научных направлений. В Институте прикладной математики АН СССР под руководством профессора М. Р. Шура-Бура был создан первый в стране транслятор с полного АЛГОЛа для машины М-20. В Московском экономико-статистическом институте (профессор М. А. Королев) создан специальный язык АЛГЭМ для экономико-математических задач². Новые системы автоматического программирования разработаны в Вычислительном центре Сибирского отделения Академии наук СССР (доктор физико-математических наук А. П. Ершов³). В Институте кибернетики АН УССР (академик В. М. Глушков) разработана серия малогабаритных ЦВМ «Мир», предназначенных для автоматизации инженерных расчетов в конструкторских бюро и в научно-исследовательских институтах. ЦВМ «Мир» интересны тем, что их «внутренний» язык сильно приближен к «внешнему» алгоритмическому языку. Машины серии «Мир» привлекли внимание центральных газет⁴. В том же институте создан алгоритмический язык СЛЭНГ для описания и моделирования сложных систем управления, составной частью которых является ЦВМ⁵.

Несомненно, машины, понимающие алгоритмические языки, переходят на более высокую ступень развития. И вместе с тем об-

щение человека с этими машинами, так же как и с машинами «доязыкового» периода, осуществляется в рамках повелительного наклонения. Язык приказов — это язык воздействия на животных. Поэтому можно утверждать, что в известном отношении современные ЦВМ находятся на интеллектуальном уровне дрессированных медведей и морских львов.

Конечно, машина, понимающая только язык приказов, может быстро производить весьма сложную работу. Все зависит от изоэренности программы. Создана, как уже говорилось, программа, следуя которой машина, играющая в шахматы, может учиться и постепенно повышать класс своей игры. Создаются и такие программы, с помощью которых машина может даже открыть новую теорему. О такой возможности Винер говорил в интервью для журнала «Природа» еще в 1960 году. Однако в задачах такого рода можно столкнуться с необходимостью составления невероятно сложных программ. Ожидаемые результаты могут не окупить усилий по составлению алгоритмов и программ, не говоря уже о затратах машинного времени.

Усложнение программы — это трудный путь. Существует, к счастью, и иной путь — дальнейшее повышение «интеллекта» машины. Чем определяется «интеллект» машины? В первую очередь языком, который доступен машине, и, если интеллект понимать в чисто человеческом смысле, близостью этого языка к языку человека.

Алгоритмические языки, о которых мы только что говорили, ориентированы на специальные понятия — вычислительной математики, экономики и т. п. Эти языки несравненно беднее человеческого языка, так как каждый из них выражает сугубо специальные понятия. Для дальнейшего повышения «интеллекта» машин нужно создать для них новый язык, который должен быть, подобно развитым естественным языкам, ориентирован на описание любых бытовых понятий. Такой язык может быть назван метаязыком (или «сверхалгоритмическим»). Он действительно будет являться метаязыком по отношению к АЛГОЛу-60, АЛГЭМу, КОБОЛу и другим проблемно-ориентированным языкам. И вот такой метаязык, по принципу построения близкий к естественным языкам, создан недавно в Институте прикладной математики АН СССР

¹ С. С. Лавров. Универсальный язык программирования (АЛГОЛ-60). «Наука». М. 1964.

² Теория и практика проектирования систем обработки экономической информации. Сборник трудов. Под редакцией М. А. Королева. Том II, Московский экономико-статистический институт. М. 1968.

³ А. П. Ершов. Алгоритмические языки программирования. «Вестник Академии наук СССР», № 3, 1968.

⁴ «Электронный инженер» («Правда», 8 ноября 1969 года); «Большой интеллект» малой ЭВМ («Известия», 8 декабря 1969 года).

⁵ В. М. Глушков, Л. Н. Калинин, Т. П. Марьянович, В. М. Москаленко, М. А. Сахнюк. СЛЭНГ — система программирования для моделирования дискретных систем. Институт кибернетики АН УССР. Киев, 1969.

(руководитель—доктор физико-математических наук В. Ф. Турчин¹).

Метаязык должен отражать общие закономерности естественных языков. Следовательно, первым шагом при создании метаязыка должно было явиться установление некоторых общих закономерностей естественных языков. Первый метаязык по необходимости должен быть чрезвычайно упрощенным, он должен схватить лишь самые общие черты естественного языка. Обращаясь к естественным языкам, В. Ф. Турчин выделяет две основные закономерности. Он отмечает, что в развитом человеческом языке основную роль играет язык описания (изъявительное наклонение), а язык приказов (повелительное наклонение) играет относительно небольшую роль. Поэтому метаязык в своей основе должен быть языком изъявительного наклонения, синтаксическим языком.

В качестве второй существеннейшей черты естественного языка В. Ф. Турчин выделяет использование языком иерархии понятий. Он представляет язык в виде пирамиды, в основе которой лежат элементарные понятия, несводимые к более простым: «больно», «холодно», «камень»... В вершине пирамиды находятся сложные понятия («раскрепощение», «нонконформизм», «демилитаризация»). Понимаем ли мы эти термины? Если да, то мы не затруднимся разложить эти понятия на более простые, «вниз», вплоть до уровней, доступных для понимания любому из наших оппонентов. Итак, метаязык должен основываться на использовании иерархии понятий.

Метаязык, построенный на изложенных основах В. Ф. Турчина, назван языком РЕФАЛ². В Институте прикладной математики АН СССР создан также транслятор с РЕФАЛа для машины БЭСМ-6. На языке РЕФАЛ ей сообщается не набор приказов, но набор предложений — различных соотношений, формул, правил. Машина имеет возможность вести рассуждение типа «что есть что». Используя заданные соотношения, машина анализирует предложенный

ей материал, разъясняет его, проводя работу, вполне сходную с деятельностью человека, например при анализе каких-то текстов. В основе этой деятельности лежит использование иерархии понятий. Таким образом, РЕФАЛ — простейшая формализация естественного языка. РЕФАЛ схватывает чрезвычайно общие, но в то же время важнейшие черты языка и, следовательно, человеческого мышления. Вследствие этого РЕФАЛ оказывается чрезвычайно полезным для изучения и моделирования мыслительных процессов. Существует возможность естественного внедрения в язык РЕФАЛ различных специализированных языков.

Поскольку машина, работающая на РЕФАЛе, моделирует языковую деятельность человека, общение человека с такой машиной осуществляется более «человеческим» способом и становится более удобным для человека.

Машина, «выучившая» РЕФАЛ, то есть снабженная РЕФАЛ-транслятором (лучше всего, если бы это была специальная РЕФАЛ-машина, но таких машин пока нет), легко выполняет работы, ранее трудно доступные для ее менее образованных собратьев, — выводит новые формулы, доказывает теоремы и др.¹

Недавним крупным событием в кибернетике явилось создание международного алгоритмического языка «второго поколения» АЛГОЛ-68. Работа по созданию языка координировалась ИФИП — международной организацией по обработке информации. От Советского Союза в этой работе принимал участие член-корреспондент АН СССР С. С. Лавров. Описание АЛГОЛа-68 вышло у нас на русском и английском языках в конце 1969 — начале 1970 года.

Широкое развитие языков для общения человека с вычислительной машиной, в том числе языков, моделирующих мыслительные процессы, знаменует собой новый шаг в повышении «интеллекта» кибернетических устройств.

Ан. ВАСИЛЬЕВ.

Ленинград.

¹ В. Ф. Турчин. Метаалгоритмический язык. «Кибернетика», № 4, 1968.

² В. Ф. Турчин. Алгоритмический язык рекурсивных функций (РЕФАЛ). Институт прикладной математики АН СССР. М. 1968.

¹ В. Ф. Турчин, В. И. Сердобольский. Язык РЕФАЛ и его использование для преобразования алгебраических выражений. «Кибернетика», № 3, 1969.

ФИЛОСОФ РЕВОЛЮЦИИ

Ж.-Ж. Руссо. Тракаты. «Наука». М. 1969. 704 стр.

Наследие Жан-Жака Руссо разнообразно. «Юлия, или Новая Элоиза» и «Исповедь» открыли новые направления в литературе. Теории воспитания посвящен «Эмиль». Сборник «Тракаты», выпущенный сейчас издательством «Наука», содержит, как сказано в предисловии, «все главные социально-политические сочинения Руссо, представляющие наибольший теоретический интерес».

В качестве приложения в состав книги включены две большие и интересные статьи: В. С. Алексеева-Попова «О социальных и политических идеях Жан-Жака Руссо» и Ю. М. Лотмана «Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века». В этих статьях показано, какое огромное влияние оказали взгляды Руссо на Великую французскую революцию, на европейскую, в частности русскую, мысль.

Среди философов французского Просвещения Руссо принадлежит особое место. Его политические взгляды явились как бы итогом исканий этих философов, а многие из поднятых им вопросов и сегодня не утратили своей остроты.

Первое серьезное сочинение Руссо — Рассуждение на тему: «Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» Сегодня, в последней трети XX века, мы, пусть в иной формулировке, с волнением решаем тот же вопрос. Мы — свидетели такого научного и технического прогресса, какого французские просветители представить себе не могли. Кажется, нет ничего невозможного для нас: наука освобождает время, обеспечивает материальные условия существования. Но становится ли человечество нравственнее, счастливее в результате всего этого?

И вот, задумавшись над этим, мы открываем Рассуждение Руссо, написанное более двухсот лет назад, когда основы современного научно-технического прогресса только закладывались и его размах невозможно было предвидеть.

Руссо отрицательно отвечает на свой вопрос: «Добродетель исчезла по мере того, как их (наук и искусств.— Э. Р.) сияние поднималось все выше над нашим горизонтом, и то же явление наблюдалось во все времена и повсеместно».

Страстно желая оптимистического ответа,

мы легко заметим, что вся сила первого сочинения Руссо в эмоциональности, художественности, а не в логической убедительности. Его исторические аналогии поверхностны и часто построены на легенде. По примеру древних он убежден, что когда-то был золотой век человечества, но науки и искусства виновны в изгнании человека из рая. При анализе исторического материала Руссо допускает распространенную логическую ошибку: «после этого — значит по причине этого». «Возьмите Грецию, некогда населенную героями, которые дважды одолели Азию, один раз у Трои, а другой — у собственных своих очагов,— пишет он.— Рождающаяся литература не внесла еще испорченности в сердца ее обитателей; но развитие искусств, разложение нравов и иго македонца последовали непосредственно одно за другим; и Греция по-прежнему ученая, по-прежнему сладострастная и по-прежнему порабощенная в результате происходивших в ней переворотов получала лишь новых правителей. Все красноречие Демосфена никак не могло оживить организм, обесслепленный роскошью и искусствами».

Мы заметим также, что Руссо в своих рассуждениях не только не знает мерил нравственного прогресса, но даже не ставит вопрос о таком мериле. Значительно позже он попытается написать сочинение «О счастье народа» (его отрывки приведены в сборнике) и поймет, что без критерия счастья ему не обойтись, однако и тогда не сможет найти этот критерий. А пока он иногда невольно пользуется таким мерилем благополучия государства, как его военное могущество, что также не может вызвать наших симпатий. Рим Руссо решительно предпочитает Греции, а Спарту — Афинам.

Но можно ли отсюда сделать вывод, что Руссо не прав и его мнение можно не принимать всерьез? В том-то и дело, что мы не можем успокоиться на таком решении. Мы видим только, что категорический отрицательный ответ на вопрос о нравственном прогрессе в результате развития наук и искусств неубедителен. Однако и после чтения Рассуждения становится совершенно ясно, что желаемый положительный, оптимистический ответ обосновать не легче. Во всяком случае ясно, что возрождение и развитие наук, искусств, техники само по

себе не обеспечивает нравственного и социального прогресса.

Те изменения в жизни общества и отдельных людей, к которым приводит научно-технический прогресс, могут зависеть от того, в чьих руках находится техника, кому, каким целям она служит в первую очередь. Руссо не вполне понимал это, но он был первым, кто указал на противоречивость цивилизации. В то же время он отмечал, что, поскольку ход истории необратим и науки и искусства уже существуют, надо стремиться поставить их на службу добродетели.

Следующее известное сочинение Руссо, которое Энгельс считал образцом диалектики— «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми»,— отличается теми же чертами: чувством, блестящим стилем и мало правдоподобной, но остроумно и наглядно изложенной философией истории. Руссо настолько ярко живописует прелести естественного состояния дикаря, когда люди были сильны, здоровы, миролюбивы и сама природа заботилась об их пропитании, что становится понятным остроумное замечание Вольтера: «Когда читаешь ваше сочинение, хочется ходить на четвереньках; но так как я уже шестьдесят лет тому назад утратил эту привычку, то чувствую, что, к сожалению, никак не могу вернуться к ней и предоставляю это «естество» людям, которые скорее достойны его, нежели мы с вами».

Ценность второго Рассуждения Руссо— в страстном выступлении против неравенства, считавшегося его современниками естественным состоянием человека. Руссо утвердил мысль, что естественным состоянием является свобода, утраченная человеком при переходе в гражданское состояние. Так от ранних сочинений Руссо перекидывается мост к его главному политическому сочинению— «Общественному договору».

«Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах,—повторяет Руссо в начале основную мысль Рассуждения о неравенстве.—...Как совершилась эта перемена? Не знаю. Что может придать ей законность? Полагаю, что этот вопрос я смогу разрешить». Руссо ищет основания свободного государства в соглашении между людьми и хочет найти «такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всюю общию слабую личность и имущество каждого из членов ассоциации, и благодаря

которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде».

Основой общественного соглашения у Руссо является принцип общей воли, обеспечивающий народный суверенитет. Издавать и отменять законы имеет право только Народ, или Суверен. Законы могут быть любыми, «по Политический организм или суверен, который обязан своим существованием лишь святости Договора, ни в коем случае не может брать на себя таких обязательств, даже по отношению к другим, которые сколько-нибудь противоречили бы этому первоначальному акту, как, например, отчуждение какой-либо части самого себя или подчинение себя другому суверену».

Однако программа конкретного государственного устройства Руссо не удалась. Он путается между демократией и аристократическим правлением, допускает даже монархию по договору, связывает форму правления с климатом и размером государства. «Деспотизм пригоден для жарких стран, варварство— для холодных»,— пишет он. Принцип нераздельности общей воли Руссо никак не может примирить с выборами, от которых то вовсе отказывается, то считает, что выбирать должны мудрейшие; еще в одном месте он нелепым утверждением, что в демократическом государстве «все равны как по своим нравам, так и по своим дарованиям, как по принципам своим, так и по состоянию своему», обосновывает выборы по жребию, за которые еще Сократ справедливо порицал афинскую демократию.

Но в книге Руссо все же проглядывают некоторые черты, характерные для буржуазной демократии. Так, например, он предсказывает многопартийную систему. «Когда в достаточной мере осведомленный народ выносит решение,— пишет он,— то, если граждане не вступают между собою ни в какие сношения, из множества незначительных различий вытекает всегда общая воля и решение всякий раз оказывается правильным. Если же отдельные группы граждан образуют ассоциации, то принятие правильного решения затрудняется, поскольку каждая ассоциация обладает внутренней дисциплиной, в связи с чем голосующих фактически оказывается «не столько же, сколько людей, но лишь столько, сколько ассоциаций... Наконец, когда одна из этих ассоциаций настолько ве-

лика, что берет верх над всеми остальными, в результате получится уже не сумма незначительных расхождений, но одно-единственное расхождение. Тогда нет уже больше общей воли, и мнение, которое берет верх, есть уже не что иное, как мнение частное». Поэтому Руссо считает важным, чтобы в любом случае «каждый гражданин высказывал только свое собственное мнение», в крайнем случае число ассоциаций должно быть большим. Только тогда возможна правильная информация, «дабы народ никогда не ошибался».

Руссо предвидит возможность захвата власти отдельными группами людей, правительством или государем, который с целью сохранения и расширения своей власти может «препятствовать, под предлогом сохранения общественного спокойствия, созыву собраний, предназначенных для восстановления доброго порядка; таким образом, он пользуется молчанием, нарушению которого препятствует, и беспорядками, которые вызывает, чтобы истолковать в свою пользу мнение тех, кого страх заставляет молчать, и чтобы наказать тех, кто осмеливается говорить.. Именно таким легким способом все Правительства мира, раз облеченные публичной силой, рано или поздно присваивают себе верховную власть».

Гарантией от этого захвата власти Руссо считает закон, по которому для созыва периодических собраний не требуется никаких формальностей и препятствие правительством или государем созыву такого собрания рассматривается как узурпация ими власти. Радищева, воспринявший многие идеи Руссо, пошел еще дальше: он считает гарантией от захвата власти правительством право и постоянную готовность народа к вооруженному выступлению.

Каковы цели периодических собраний, о которых говорит Руссо?

«Открытие этих собраний, которые имеют целью лишь поддержание общественного договора,— пишет он,— всегда должно производиться посредством двух предложений, которые нельзя никогда опускать и которые ставятся на голосование в отдельности.

Первое: Угодно ли суверену сохранить настоящую форму Правления.

Второе: Угодно ли народу оставить управление в руках тех, на кого оно в настоящее время возложено».

Помимо этого, вопрос о форме Правления, по Руссо, должен заново решаться в каждом поколении: отцы не вправе выбирать ее для детей. Каждый гражданин «может отречься от Государства, членом которого он является, и вновь возратить себе естественную свободу и свое имущество, если покинет страну».

Таковы основы отношений между гражданами и правительством.

Учение Руссо явилось как бы итогом и вершиной французской социальной философии XVIII века, оно вобрало в себя все ее достижения и слабости. Для этой философии характерны некоторые особенности, которые легко проследить на сочинениях Руссо. Более очевиден ее классовый буржуазный характер. Созданная мыслителями, высказавшими немало материалистических идей, она в области социальной остается идеалистической. Все надежды Дидро, Монтескье, Вольтер, Руссо возлагали на просвещенное государство, которое возникнет на основе разработанного ими законодательства, то есть на основе идей. Руссо, правда, уже догадывался о важности экономики в решении социальных проблем (см., например, в рецензируемом сборнике его статью «О политической экономии», написанную для Энциклопедии), но и он в «Общественном договоре» исходит из первенствующей роли законодательства. Исходным пунктом домарксистских социальных учений является какая-то одна решающая идея, панацея. Для Руссо такой панацеей был принцип общей воли.

Руссо какой-то подсознательной гениальностью сумел выразить идеи, которые носились в воздухе, но до сих пор никем не были выражены, так что многие современники, читая его, вероятно, говорили. «Но ведь я давно думал так же!» Спокойный, уверенный в себе Вольтер, гораздо более глубокий ум, не смог создать стройной политической теории для третьего сословия, он не сумел разорубить гордиев узел противоречий такой теории. Мятающийся, с сильным комплексом неполноценности, Руссо чутьем понял, что нужно, и создал учебник политического действия, вполне пригодный в качестве прописи в определенном, недолгий, момент буржуазной революции. С противоречиями Руссо справился именно потому, что он их часто попросту не замечал. Он, вероятно, уди-

вился бы, если бы ему показали, что почти к каждому важному утверждению можно подобрать в его же сочинениях контрутверждение. Идеи равенства у него легко уживаются с защитой права собственности и с подчиненным положением женщины.

«Общественный договор» — книга скорее революции, чем мирного периода, для которого предназначал ее автор. Причиной этого является как ее слабость в области конкретного государственного устройства, так и ее противоречивость, сочетающаяся тем не менее с ясностью лозунгов и высокой пропагандистской ценностью изложенных в ней идей. Исходные политические принципы Руссо оказались отчасти осуществимыми, но они привели совсем не к тем результатам, на которые он надеялся. «Государство разума,— общественный договор Руссо,— писал Энгельс,— оказалось и могло оказаться на практике только буржуазной демократической республикой».

Связь Великой французской революции с учением Руссо несомненна. Мы не будем утверждать, что именно его учение и вообще философия Просвещения вызвали революцию, но эта философия явилась ответом на социальный заказ времени и подготовила идейное обоснование для грядущей революции. На прямую связь революции с идеями Просвещения указывал Гюго: «Благодаря той прозрачности, которая свойственна революциям и которая за причинами позволяет видеть их следствия и за первым планом второй, мы видим позади Дидро — Дантона, за Руссо — Робеспьера, за Вольтером — Мирабо. Первые произвели последних».

Все противоречия учения Руссо отразились в ходе французской революции. В вопросе о понятии свободы эти противоречия проявились, пожалуй, наиболее отчетливо.

Учение Руссо было направлено к свободе, и свобода была целью революции. Несвободный народ может мечтать о свободе, не зная точно, что это такое. Французскому народу еще предстояло выстрадать свое понятие о свободе. Для Руссо свобода — это возможность «подчиняться закону, который ты сам для себя установил». Статьи его договора: «Полное отчуждение каждого из членов ассоциации со всеми его правами в пользу всей общины... если каждый отдает себя всецело, то создаются условия, равные для всех...» Следовательно, не свобода является условием равенства, а, наоборот, понятия равенства и свободы фактически

совпадают. Равное и безраздельное подчинение общей воле, Государству, согласно Руссо, и есть свобода. Логическое развитие этой ложной идеи приводит к казуистическому выводу: «Если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то... его силою принудят быть свободным» (разрядка моя.— Э. Р.). И далее: «Итак, гражданину уже не приходится судить об опасности, которой Закону угодно его подвергнуть, и когда государь говорит ему: «Государству необходимо, чтобы ты умер», — то он должен умереть, потому что только при этом условии он жил до сих пор в безопасности и потому что его жизнь не только благоденствие природы, но и дар, полученный им на определенных условиях от Государства... Всякий преступник, посягающий на законы общественного состояния, становится по причине своих преступлений мятежником и предателем отечества; он... ведет против него войну... В таком случае по праву войны побежденного можно убить». И это пишет Руссо, который лишь несколькими страницами ранее, обрушиваясь за ту же мысль на Гроция, заявлял, что «война не дает победителю никакого права истреблять побежденных людей!» Так нечеткое понимание Руссо свободы фактически привело его к теоретическому обоснованию террора.

Нельзя сказать, что Руссо не понимал, что такое террор и к чему он ведет. В статье «О политической экономии» можно найти контрутверждение к только что приведенной цитате из «Общественного договора»:

«Если нам скажут, что справедливо, чтобы один погиб ради всех, я восхищусь таким изречением в устах достойного и добродетельного патриота, который обрекает себя на смерть добровольно и подчиняясь долгу ради спасения своей страны. Но если под этим понимают, что Правительству дозволено принести в жертву невинного ради безопасности многих, то я нахожу, что этот принцип — один из самых отвратительных, какие когда-либо изобретала тирания; самый ложный из всех, какие можно выдвигать; самый опасный из всех, какие можно принять, и наиболее открыто противоречащий основным законам общества... Мысленно оторгните от народа одного индивидуума за другим, а затем заставьте сторонников этого принципа получше объяснить, что они понимают под **О р г а н и з м о м Г о с у д а р с т в а**, и вы увидите, что, в конце кон-

цов, они сведут Государство к небольшому числу людей, которые не суть народ, но служители народа и которые, обязавшись особою клятвою погибнуть сами ради его безопасности, пытаются этим доказать, что он должен погибать во имя их безопасности... Только свободные народы знают, что сто́ит человек».

Конечно, Руссо не виноват в том, что это глубоко верное гуманистическое высказывание оказалось практически менее важным, чем первое. «Общественный договор» — логическая концепция нового государства, вполне приспособленная для реальной политики. Необходимость репрессий там последовательно вытекает из установленных Руссо отношений между человеком и государством, из неопределенности понятия о свободе, из фетишизации народовластия и тезиса о непогрешимости народа. Правильны или неправильны эти предпосылки, но они фактически были приняты якобинцами и обеспечили им популярность и победу. Недаром Энгельс отмечал, что «Общественный договор Руссо нашел свое осуществление во время террора...». В начале революции «Общественный договор» был у всех на руках, его читали вслух под открытым небом. Что же касается второго высказывания, то эти слова, взятые из не основного, менее популярного сочинения, продиктованы общей позицией гуманиста, предвидящего моральные результаты террора; политической последовательности, а стало быть, и пропагандистской ценности в период революции в этих словах нет.

Руссо понимал, что законы сами по себе недостаточны для создания прочного и свободного общества, и потому огромное значение придавал воспитанию нравственных начал в гражданине. Помимо главного педагогического сочинения «Эмил» (не включенного в сборник), Руссо и в других местах много пишет о воспитании. В «Соображениях об образе правления в Польше» он говорит: «Национальное воспитание — это достояние лишь свободных людей... В двадцать лет поляк не должен быть иным человеком; он должен быть поляком». Он должен знать все об истории, географии, законах, экономике своей страны, обо всех ее героях. В этом трактате, написанном че-

рез двадцать два года после Рассуждения о науках и искусствах, содержится любопытное высказывание и о литературе, совершенно противоположное приведенной выше цитате о Греции из первого Рассуждения: «Стихи Гомера, которые читали грекам на торжественных собраниях не в тесных залах, с подмостков и за плату, но под открытым небом и перед всей нацией; трагедии Эсхила, Софокла и Эврипида, которые часто перед ними представляли... вот что, постоянно зажигаемая в гражданах дух соревнования и стремление к славе, делало их мужество и добродетели столь неколебимыми, что сегодня мы не можем себе это даже представить, людям новых времен не дано даже вообразить себе нечто подобное».

Как видим, Руссо теперь допускает искусство, но лишь в пропагандистских и воспитательных целях; эстетическая и философская ценность древнегреческой литературы и здесь ускользнула от него. Этим, видимо, объясняются некоторые крайности его теории национального воспитания. Ведь любая великая культура, национальная по происхождению, в то же время имеет общечеловеческое значение. Изучение культуры дает наибольшие возможности для совмещения национального и интернационального начал в воспитании. Сопоставляя Руссо и Вольтера, Гюго говорил: «В Руссо преобладает начало гражданское, в Вольтере — мировое. Можно сказать, что в плодотворный восемнадцатый век Руссо олицетворяет Народ; Вольтер, еще более широкий дух, олицетворяет Человека».

Подведем итоги. Можно по-разному относиться к ответам, которые дает Руссо на поставленные им вопросы. Но ясно одно: вопросы он сгавить умел и среди них трудно найти неактуальный. В течение всего XIX века к Руссо обращались мыслители разных стран, выделяя то одну, то другую группу его сочинений. К сборнику «Трактаты» приложены выписки, сделанные молодым Марксом из «Общественного договора» в 1843 году. Руссо боготворили такие разные люди, как Н. Г. Чернышевский и Л. Н. Толстой. И сегодня мы продолжаем читать его, брать из него, полемизировать с ним.

Э. РАБИНОВИЧ.



КОРОТКО О КНИГАХ



СТЕПАН АНИКИН. На Чардыме. Сборник рассказов. Составитель сборника, автор статьи и примечаний А. С. Аникина. Приволжское книжное издательство. Саратов. 1969. 208 стр.

«Из его деревенских вещей можно собрать интересную книгу», — писал об С. Аникине К. Федин. И вот она перед нами, книга рассказов видного политического деятеля, руководившего трудовой группой в I Государственной думе, «мужицкого» депутата, профессионального революционера, педагога, крестьянина, мордвина по рождению. С. В. Аникин (1868—1919) пришел в литературу в канун революции 1905 года как талантливый и энергичный выразитель крестьянских освободительных настроений. Его первое произведение появилось в 1903 году, а в новом варианте — в декабре 1905 года. Это рассказ о сельских парнях, уходивших из своих семей в новую жизнь, «чтоб за правду стоять», и убежденных в том, что «силой добывать надо, правду-то...» («Своей дорогой»).

В рассказах С. Аникина мы наблюдаем и взлет крестьянского движения, мощно потрясшего вековой деревенский уклад, и усмирение бунтующего народного моря, и силу и слабость «лапотной республики» в борьбе с самодержавно-помещичьим строем, и повседневный труд мужика, и строй его души в ее крепкой слитности с природой. В годы реакции, наперекор пессимизму многих писателей, Аникин верил в конечную победу народа. В 1910 году он подготовил к печати сборник своих «Деревенских рассказов». Один из критиков вскоре писал о них: «Сдержанной верой в то, что деревня еще заговорит, полны рассказы Степана Аникина». Эту веру легко ощутить во всем его творчестве, длившемся свыше десяти лет.

Книга, изданная теперь на родине писателя, — первое после Октября собрание его произведений. Открывает ее рассказ, привлекающий яркой образностью, художнической наблюдательностью. В нем поэзия и трагизм: сверкающая богатством красок природа — и слитая с нею душа сироты-калеки, рвущаяся к широкому, вольному счастью. Емелька Косолапы — мальчик на мельнице; пиики да затрецины, издевки, бабье жаление: «Куды денешься, миленький? Терпеть надо...» А он не стерпел, вступился за себя с жуткой и радостной дерз-

остью... «Так надо... так надо...» — шуршат строгие ночные кусты на Чардыме. «Так!.. Так!.. Так надо...» — долбит неумный дерагач. (Природа у Аникина — не пейзаж, а персонаж драматический.)

От долготерпения к стихийным взрывам протеста и далее к сознательной борьбе — такова магистральная тема Аникина, хорошо представленная в сборнике. Покорно тащатся по размытым дождями дорогам в поисках работы и хлеба полунищие «собственники», чьи дети вымирают в голодные годы («Жить надо!»). Но вот перед земским начальником бушует сельский сход: «Жрать нечего!.. А-а-а! Жрать!!!» И бледнеет выхолненный барин-начальник, чужая мятежную силу толпы, скованной отчаянием («Бунт»). Закрытием кабака, созданием библиотеки и боевой дружины ответило село Лапотное на царский манифест в октябре 1905 года. К весне село усмирили, но зверски избитый молодой активист, заключенный в «холодную», шепчет учителю о зарытом на гумне оружии и патронах: «Скажи ребятам... им пригодятся...» Он жарко верит, что «придет... республика... тогда уж навеки удержится» («Гараська-диктатор»).

Источник силы народа Аникин видел в его труде. Пахарь, поднимающий пласты чернозема, словно вступает в мощный союз с «духом земли», с «духом жизни», который «крепит в человеке силу борьбы, родит веру в свое благополучье». В таком плодотворном союзе — нравственное превосходство мужика над барином и залог лучшего будущего крестьянства. Это коренное убеждение писателя определило идейно-художественное своеобразие его произведений. К сожалению, в сборник не включены очерки Аникина и его повесть «Безземельный»: они помогли бы полнее представить себе особенности его социально-философских позиций.

Вдохновением земледельческого труда дышат рассказы «Молотьба» и «Плодная осень». Последний — удачная концовка книги. Любовно живописует автор осеннюю «черноземную жизнь» урожайного года: «...чудятся в ней: ночью — тайна, утром — сила, вечером — грусть. А во всем и всегда безудержная бодрость, надежда на то хорошее, чему никогда не будет конца».

Н. Любзвич.

ТЕНЬ ДЕРЕВЬЕВ. Стихи зарубежных поэтов в переводе Ильи Эренбурга. «Прогресс». М. 1969. 304 стр.

Илья Эренбург говорил о поэтах, чьи стихи «держатся на ритме и на загадочном сплетении слов», что они трудно или вовсе непереводаемы. «Они не показывают, они как бы ворожат», — писал он. И все же в его переводческом наследии немало стихов поэтов такого типа. В еще далеко не совершенных стихах молодого переводчика они дышат, говорят живыми голосами. Это в самом деле завораживает. Начинаешь безотчетно твердить какого-нибудь Тристиана Дерета:

Моя надежда ясная,
Как жук, упала на спину.

Ты показалась вдалеке
С забавным зонтиком в руке;

Ты жука коснулась кончиком
Тоненького зонтика.

Зажужжав внезапно, жук
Тихо закружил вокруг...

И ведь знаешь, что недорого цена этой камерной эксцентрики. А все-таки твердится...

Способность проникать в душу (а не только в технологию) автора и умение сказать на другом языке то, что диктует чужая душа, Эренбург сохранял всю жизнь. Он стал переводить испанцев, которые совсем не похожи на французов. Одна из ранних, но больших его удач — перевод стихов поэта XV века Хорхе Манрике. Две строфы из этой замечательной работы Эренбург процитировал в воспоминаниях «Люди, годы, жизнь»; полностью перевод не печатался с 1918 года.

Стихи эти так и напоминают мрачноватых и непроницаемых кавалеров в черном на старинных испанских портретах. Их отличает стальной лаконизм и аскетическая простота. И все-таки они тоже неотделимы от «загадочного сплетения слов», тоже захватывают своим чуть монотонным ритмом, тоже папеты живым голосом — глуховатым, надменным и печальным.

Что, кажется, может быть жестче и безличней французской баллады на русском языке? Три строфы и «посылка» с заданным порядком, с однотипными рифмами, с непреклонным рефреном. Но под рукой Эренбурга баллада Вийона стала нервной, подвижной, заразной. «Вийон — не памятник, не реликвия, не одна из вех истории. Минутами он мне кажется современником, несмотря на диковинную орфографию старофранцузского языка, несмотря на архаизм баллад и рондо», — писал Эренбург. Такого Вийона он нам оставил по-русски.

К последним переводческим работам Эренбурга, выполненным во всеоружии поэтической зрелости, относятся циклы сонетов дю Белле и французских народных песен. Сонеты дю Белле в переводах Эренбурга поражают непринужденностью. Ино-

гда они напоминают стихи самого Эренбурга:

Трубач трубит. Несет знаменщик знамя.
Кругом деревни сожжены дотла...

Это как читата из его испанского цикла. Песня — пробный камень лирических возможностей переводчика. Французские народные песни в переводах Эренбурга навряд ли можно спеть по-русски, но зато легко представить себе, как их пели и поют французы:

«Скажи, что с тобою, Пернетта?
Может быть, ты больна,
Может быть, ты, Пернетта,
В кого-нибудь влюблена?»

Отвечает Пернетта тихо:
«Я болезни в себе не найду.
Но бежит за ниткой нитка,
А я все сижу и жду».

Два протяжных голоса — высокий и низкий, захолустье, яблоневые сады, белые чепцы, скука, вечер — все за этими двумя долгими строфами.

Переводы Ильи Эренбурга никогда не отличались внешним блеском, виртуозным решением трудных мест, многообещающими новациями. В них есть какая-то интимная небрежность, которая может шокировать людей с затверженными представлениями о «форме». Но как хорошо, что эти переводы продуманно и бережно собраны вместе.

В. Портнов.

Баку.

★

В. П. ЗЕНКОВИЧ. В дальнем синем море. «Мысль». М. 1969. 264 стр.

Есть научно-популярные книги, которые можно назвать в полной мере художественными аналогами научных монографий. Строгость обоснования научных идей в таких книгах нередко лишь несколько ниже, чем в специальной работе. Но текст освобожден от множества вспомогательных рассуждений и технических подробностей. Кроме того, форма изложения такова, что она вызывает у читателя живые эмоции, заставляет его участвовать вместе с автором в перипетиях исследования. Такие книги оставляют чувство удовлетворения у читателей — все равно, обладают они специальными знаниями в данной области или впервые знакомятся с ней.

Хорошим примером этого рода научно-популярного творчества служит последняя книга В. П. Зенковича. Ее автор — видный советский ученый, лауреат Ленинской и Государственной премий, основатель отечественной школы исследователей берегов моря, интереснейшей географической зоны, в которой активно взаимодействуют водная и каменная оболочки нашей планеты.

Изучение береговой зоны имеет громадный теоретический и практический интерес. На берегах морей и океанов проживают многие миллионы людей, на условия жизни которых в той или иной степени влияет

своеобразная обстановка побережий. Строить на берегах города и порты, прокладывая на дне моря трубопроводы, морские каналы, использовать минеральные ресурсы береговой зоны можно, лишь установив закономерности ее развития. Для геологической науки в этих закономерностях — ключ к разрешению вопроса о происхождении многих месторождений полезных ископаемых. Вот почему наука о берегах в последние десятилетия бурно развивается. И очень важно, что творцы этой науки стали и ее первыми популяризаторами.

Новая книга В. П. Зенковича рассказывает о пятидесятилетней морской экспедиции на острове Куба, в которой два советских ученых (автор и его ученик и сотрудник А. Ионин) вместе с кубинскими товарищами из недавно организованного там Института океанологии проводили совместные исследования морских берегов. События излагаются в хронологическом порядке, месяц за месяцем. В этом своеобразном путевом дневнике описание природы Кубы и ее берегов, научные обобщения перемежаются с бытовыми зарисовками, рассказами о необычных событиях и приключениях.

В. П. Зенкович одинаково красочно описывает и природные явления, и человеческие характеры. О людях он рассказывает всегда благожелательно, с некоторой долей мягкого, доброго юмора.

«В дальнем синем море» не является для автора первой пробой пера в научно-популярном творчестве. В числе более чем трехсот книг и статей В. П. Зенковича шесть книг и шестьдесят статей относятся к этому жанру. Среди них широко известные научно-популярные книги: «Берега Черного и Азовского морей», «На рубежах земли и моря», «Белая полоса», брошюры «Морской берег», «Морское дно» и другие.

Можно не сомневаться, что новая книга В. П. Зенковича, как и прежние его научно-популярные книги, заинтересует многих читателей — любителей природы.

Л. Розовский,

*доктор геолого-минералогических наук,
профессор.*

Одесса.



С. ЛЬВОВ. Эхо в веках. «Книга». М. 1969. 155 стр.

Это книга о забытых и полузабытых литературных именах и памятниках. Пять небольших эссе охватывают литературу разных стран и веков. В очерке «От вагантов до Вийона» автор рассказывает о странствующих певцах и жонглерах средневековья — вагантах. Пройдя по редким архивным следам вагантов, он рисует полную лишений и опасностей картину жизни крамольных антиклерикальных певцов. Не в королевских дворцах и не на рыцарских пирах звучали лютни вагантов — их деко-

рациями были улицы и площади средневековых городов, а аудиторией — крестьяне или уличное разнолюдь. В сжатом, фрагментарном очерке лишь вскользь дается оценка их творчества. Автора больше занимает социальная психология Архиппиды, Рютбефа, Вийона — первых певцов народной юдоли.

Сколько книг написано на тему легенды о Фаусте? В примечании к очерку «Окрылившийся, как орел, или Фауст впервые...» С. Львов называет цифру — более 14 тысяч томов. Очерк посвящен предтече книжного вавилона Фаустинианы — первой книге о докторе Фаусте, которая была издана во Франкфурте-на-Майне в 1587 году. В нем критически осмыслен интересный историко-биографический материал о подлинном докторе Фаусте. С. Львов находит верный ключ для понимания общественной позиции автора книги: «Чувствуется, что ему самому в глубине души, пожалуй, нравится такой смелый характер. Но вслух он спешит осудить его за мятежное неспокойство». С. Львов рассказывает о долгом пути записанной «робким автором» народной легенды до ее встречи с великим Гёте, увидевшим в ней первоначальные зерна и очистившим и проращившим их в своем бессмертном творении.

Архивные поиски нередко вознаграждают искателей уникальными открытиями. Возьмем на себя смелость сказать, что имя Дона Хуана Ван Галена для широкого круга читателей звучит впервые в очерке С. Львова «Забытый рыцарь». Однако жизнь и воспоминания «забытого рыцаря» заслуживают серьезного внимания историков и книголюбов. Участник войны с Наполеоном, участник Трафальгарской битвы, один из руководителей испанских республиканцев, участник ермоловских походов на Кавказе, герой и вождь бельгийской революции 1830 года, он оставил несколько книг воспоминаний. Мемуары революционера содержат еще недостаточно изученные сообщения о декабристах, Грибоедове, братьях Тургеневых, Ермолове и других исторических лицах. По свидетельству С. Львова, мемуары испанского генерала освещают важные мгновения предреволюционных и революционных ситуаций в Испании, России, Франции, Бельгии.

Особняком по отношению к основному направлению книги написан очерк «И нет покоя поэту...». Это рассказ о печальной судьбе первого памятника Г. Гейне скульптора Гассельрийса. «Но какова бы ни была судьба мраморного монумента, — говорит автор, — в наших сердцах навсегда останутся строки революционной хроники: «Последним желанием Александра Ульянова — старшего брата Ленина — был том стихов Гейне».

В день рождения «Тила Уленшпигеля» родились бельгийская литература и сознание нации, говорил Р. Роллан. Детище Шарля де Костера постигла характерная для такого рода книг судьба — первое издание не дошло до народа, автор был забыт

и умер в нищете. В очерке о писателе немало интересных биографических штрихов. Очерки С. Львова объединяют единый замысел — показать причину столь сложных судеб некоторых произведений на пути к печатной машине, к широкому читательским массам. «Можно с уверенностью сказать, — делает он вывод, — что долгое эхо в веках всегда было суждено лишь тем книгам, художественным, мемуарным, научным, которые отвечали большим духовным запросам читателя, вызвали у него гамму сильных общественных чувств и социальных размышлений».

Библиографические примечания к очеркам не докупают привычной для них сухостью и содержат дополнительный материал, а подчас и уникальные сведения по теме. Книга, несомненно, одно из удачных пересечений беллетристики и литературоведения.

В. Шаронов.

г. Кузнецк, Пензенская область.



МИХ. П. ЧЕХОВ. Свирель. Повести. Рассказы. Очерки. «Московский рабочий». М. 1969. 400 стр.

Младший из Чеховых, Михаил Павлович (1865—1936), известен сегодня главным образом как биограф своего брата: в изучении жизни и творчества великого писателя книга «Вокруг Чехова» до сих пор остается своеобразным первоисточником, вдохнувшим в сухой перечень фактов реальную конкретность живой жизни.

Между тем сам Михаил Чехов был способным беллетристом. В свое время одна из его книг получила даже премию Академии наук — так называемый Почетный отзыв имени А. С. Пушкина.

Михаил Чехов начал писать в то сложное время, когда изголодавшаяся «по любви к человеку» литература мучительно искала формы для выражения «новых настроений», что медленно, но властно захватывали общее сознание. Все разочарования и сомнения, характерные для «конца века», и смутные надежды, с которыми люди встречали следующее столетие, нужно было как-то осмыслить, облечь в форму позитивных поисков и ответов.

В рассказах и повестях молодого литератора явственно ощущается это начавшееся движение мысли. Правда, узда литературной традиции, да и вся неприглядная нагота жизни, что открылась ему в годы, проведенные после окончания университета в провинции, крепко держали молодого беллетриста в рамках строгого, объективного бытописательства. «Изображая русскую жизнь в ряде выхваченных из нее сцен... — писал о нем известный юрист и литератор А. Ф. Кони, — автор не мог... не натолкнуться на ее печальные стороны, на отсутствие нравственных устоев, на неуважение к чужой личности и труду, на смутное понятие о долге, на расплывчатую и

безразличную, а потому и бесплодную обороту, и все это нашло отражение в его рассказах». Действительно, бесконечные истории о сливающихся чиновниках, крестьянках, «проданных» в кормилицы, о безгласных сельских полах — рабах и жертвах абсурдных законов, о мечтательном юноше, разыгрывающем с вдохновенным лицом дуэты и в конце концов превращающемся в безжалостного к людям карьериста, — все, о чем писал Михаил Чехов, было точной, почти очерковой фиксацией жизни, что шла вокруг.

И все же писатель прежде всего искал для себя и своих героев ту «точку опоры», которая и в этой страшной, томящей бездуховности могла помочь человеку не терять себя до конца. Так, в плотный бытовой материал его прозы врываются вдруг наивные сентенции, зовущие к другой жизни и вселяющие веру в ее возможность. «Какие бы выводы ни делала статистика с ее законами больших чисел, они не положат оружия, не покораются судьбе и будут работать, добиваться, жить... И пока на свете существует надежда, хотя бы маленький ее луч — на земле не будет места predetermined, року, закону большого числа».

Михаил Чехов не стал большим писателем. Когда сегодня читаешь книгу его рассказов и повестей, она поначалу даже разочаровывает. Наталкиваешься, к примеру, на строки о том, как Федосья «прислушивалась... к доносившимся из столовой разговорам и смеху хозяев и гостей, и ей казалось странным, как это люди могут так долго сидеть за едой, так весело смеяться и так много есть и пить» — и явственно слышишь в них интонацию автора «Дома с мезонином». Вероятно, не будь М. Чехов «братом своего брата», не была бы переиздана сегодня эта книга. И все же неверно видеть в ней только такой «прикладной» к биографии великого писателя смысл. Жизнь литературы составляют не только первые ее имена, но и, по выражению А. П. Чехова, «маленькие чины». И рассказы и повести М. Чехова, какими бы непритязательными ни казались они сейчас по сравнению с «Мужиками» или «Архиереем», делают для нас в чем-то более живой и конкретной одну из страниц тех нелегких поисков правды, которые ведет литература и пафос которых никогда не может стать безразличен.

И. Гитович.



ЭРИХ РАКВИЦ. Чужеземные тропы, незнакомые моря. «Молодая гвардия». М. 1969. 525 стр.

Царь Соломон послал свой корабль в страну Офир, и тот привез ему золота 420 талантов, много эбена и драгоценных камней. Корабельщики царя Соломона были финикийцами. За тысячу лет до греков этот морской народ купцов и пиратов освоил Средиземное море, проник в Атлантику и

установил связь со всеми частями света, знаковыми древнему миру. По поручению фараона Нехо финикийская экспедиция за три года обогнула Африку и вернулась через Гибралтар в Мемфис — столицу фараона.

Хитроумный грек Пифей из Массилии, известный своими плаваниями в Океан, разгадавший тайну морских приливов, был послан советом города на Север, на поиски олова и янтаря. По древнему торговому пути Пифей прошел страну кельтов (современную Францию), объехал Британию, побывал в загадочной стране Туле — самой северной земле, известной античному миру, — и благополучно вернулся на родину. Его секретный доклад, погребенный в тайном архиве Массилии, лишь через триста лет обнаружили римляне. Сведения, привезенные этим первым полярным исследователем, были так разительно новы для современников, что долгое время его считали лгуном.

Это лишь два эпизода из книги Эриха Раквитца (популярного автора литературы для молодежи), разошедшейся в ГДР моментально. И это не удивительно. Книга Раквитца — увлекательный географический репортаж «через века и страны» о том, как раздвигались границы человеческого познания, как ценой подвигов и жертв, мужества и самоотверженности рассеивался мрак заблуждений и Земля раскрывала свои сокровенные тайны. Пятьсот страниц текста включают эпизоды из всех веков — от палеолита до наших дней. Древнейшие походы египтян; Геродот — первый странник, описавший свои впечатления; Александр, открывший в военных походах неизвестные цивилизации Востока; Нерон, пославший своих центурионов к истокам Нила...

Увлекательны страницы, рассказывающие о плаваниях викингов в Гренландию и Винланд.

Специальный раздел книги посвящен исследователям Африки. Среди них — Рене Кайе-фанатик, не знавший на избранном пути преград, нищий мечтатель с энергией титана, увидевший «царицу пустыни» — мистический Тимбукту, легендарную столицу Сахары, — и первый живым возвратившийся оттуда... Но едва ли не самая захватывающая глава книги — покорение Арктики и Антарктики. Ледяные объятия Севера стоили жизни многим исследователям. Поэтому так волнуют героические этапы штурма «крыши мира»: русские исследования северного побережья Сибири; экспедиция Нансена на «Фраме», разрешившая загадку центральной части Ледовитого океана; бросок Роберта Пири, впервые поднявшего ледяное забрало полюса; подвиг Чкалова и его товарищей — перелет через полюс в Америку; советские исследования в Арктике. Не менее драматичны страницы антарктической эпопеи: первые плавания китобоев и охотников на тюленей; суровая робинзонада Отто Норденшельда; трагическое соревнование Амундсена и Скотта в достижении ими Южного полюса; отчаянно смелый полет Ричарда Бэрда; и, наконец, современное планомерное наступление на континент, начавшееся в рамках Международного геофизического года и позволившее сделать решающие успехи в изучении Антарктики.

Книга Эриха Раквитца — блестящая попытка единым взглядом проследить историю познания человечеством своей планеты — несомненно завоеует сердца читателей.

Е. Третьяков.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Очередные задачи Советской власти. 144 стр. Цена 18 к.

Л. И. Брежнев. Дело Ленина живет и побеждает. Доклад на совместном торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР 21 апреля 1970 г., посвященном столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 64 стр. Цена 6 к.

Л. И. Брежнев. Молодым — строить коммунизм. Сборник докладов и речей. 399 стр. Цена 69 к.

Владимир Ильич Ленин. Биография. Изд. 4-е. 720 стр. Цена 1 р. 81 к.

Обращение Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза к рабочим и работницам, к крестьянам и крестьянкам, советской интеллигенции, воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота, но всем гражданам великой Страны Советов. 16 мая 1970 г. 24 стр. Цена 3 к.

З. Фазин. Товарищ Серго. Очерк. Страница большой жизни. 127 стр. Цена 19 к.

«МЫСЛЬ»

Н. Веселов и К. Лебедев. Контроль и проверка исполнения в деятельности партийных организаций. 60 стр. Цена 8 к.

Из истории Коминтерна. Сборник статей под редакцией Б. М. Лейбзона и К. К. Ширина. 292 стр. Цена 1 р. 24 к.

Подвиг земли богатырской. Сибирь в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Авторы М. Р. Акулов и др. 364 стр. Цена 1 р. 81 к.

Е. Тепляшина. В. И. Ленин — вождь Октябрьского вооруженного восстания. Историко-графический обзор. 59 стр. Цена 19 к.

«ЭКОНОМИКА»

П. Полозинкин. Резервные фонды и воспроизводство в колхозах. 128 стр. Цена 40 к.

Практическое пособие по экономии труда. Под общей редакцией А. С. Кудрявцева. 380 стр. Цена 66 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Барто. Найти человека. 304 стр. Цена 39 к.

Л. Бать. Незабываемые встречи. Литературные беседы. Воспоминания. 334 стр. Цена 64 к.

В. Беляев. Формула яда. Памфлеты и повесть. 271 стр. Цена 52 к.

К. Ваншенкин. Станция. Лирика. 143 стр. Цена 31 к.

Воспоминания об Иване Катаеве. Составитель М. Терентьева-Катаева. 286 стр. Цена 47 к.

Всеволод Иванов — писатель и человек. Воспоминания современников. Составитель Т. Иванова. 357 стр. Цена 71 к.

В. Козаченко. Письма из патрона. Повести. Перевод с украинского. 472 стр. Цена 96 к.

Г. Коновалов. Былинка в поле. Роман. 263 стр. Цена 55 к.

Ю. Корольков. Кио ку мицу! Роман-хроника. 655 стр. Цена 1 р. 47 к.

Э. Корпачев. Горький дым. Рассказы и повести. 220 стр. Цена 38 к.

В. Курочкин. На войне как на войне. Повести. 296 стр. Цена 69 к.

А. Маргарян. Дали. Стихи. Перевод с армянского С. Кузнецовой. 87 стр. Цена 27 к.

В. Миллюнас. Берег тот и берег этот. Рассказы. Перевод с литовского. 264 стр. Цена 32 к.

Н. Стальский. Друзья-писатели. Воспоминания. 207 стр. Цена 62 к.

Б. Укачин. Земля синего неба. Стихи. Перевод с алтайского В. Слущкого. 94 стр. Цена 32 к.

С. Щипачев. Слушаю время. Новые стихи и поэмы. 143 стр. Цена 39 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Борисов. Триста признаний в любви. Избранная лирика. Переводы с еврейского. Вступительная статья В. Рослякова. 336 стр. Цена 77 к.

Т. Гарди. Возвращение на родину. Роман. Перевод с английского, послесловие и примечание О. Холмской. 416 стр. Цена 83 к.

Т. Гарди. Тэсс из рода д'Эрбервиллей. — Джуд Незаметный. Романы. Перевод с английского. Вступительная статья М. Урнова. 783 стр. Цена 1 р. 96 к.

М. Гусейн. Утро. Роман. Перевод с азербайджанского. 752 стр. Цена 1 р. 49 к.

Ч. Диккенс. Большие надежды. Перевод с английского М. Лорне. 496 стр. Цена 92 к.

А. Зегерс. Седьмой крест. Роман. Перевод с немецкого В. Станевич. Послесловие Кристи Вольф. 384 стр. Цена 1 р. 48 к.

А. Ильченко. Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица. Перевод с украинского А. Островского и Г. Шипова. 664 стр. Цена 2 р. 45 к.

А. Исаакян. Избранное. Перевод с армянского. 319 стр. Цена 1 р. 4 к.

А. Исанович. Папоротник и огонь. Рассказы. Переводы с сербскохорватского. 176 стр. Цена 40 к.

Д. Мередит. Эгоист. Комедия для чтения. Перевод с английского Т. Литвиновой. 624 стр. Цена 1 р. 15 к.

М. Пуйманова. Жизнь против смерти. Роман. Перевод с чешского Т. Аксель и В. Чешихиной. Послесловие И. Бернштейн. 367 стр. Цена 1 р. 19 к.

Русские сказки. В обработке писателей. Вступительная статья, составление и подготовка текстов В. Аникина. 384 стр. Цена 75 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ю. Альперович. Республика чудиков, или 1000 и одна страсть. 143 стр. Цена 18 к.

А. Венцлова. Избранная лирика. 32 стр. Цена 11 к.

М. Герчик. Отдаешь навсегда. Роман. 272 стр. Цена 45 к.

И. Есенберлин. Любящие. Роман. Перевод с казахского. 191 стр. Цена 31 к.

Ю. Крепин. Старик подносит снаряды. Повести и рассказы. 224 стр. Цена 31 к.

Т. Кузюлева. Силуэт. Книга стихов. 96 стр. Цена 28 к.

К. Мазн. Мефистофель История одной карьеры. Роман. Перевод с немецкого К. Богатырева. 304 стр. Цена 1 р. 3 к.

Н. Сидоренко. Избранная лирика. 32 стр. Цена 11 к.

Э. Смеляков. Связной Ленина Стихи. 47 стр. Цена 16 к.

М. Шолохов. По велению души. Статьи, очерки, выступления и документы. Составленные и вступительная статья Ю. Лукина 398 стр. Цена 1 р. 11 к.

«ИСКУССТВО»

Дж. Вазари. Жизнеописания знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Перевод с итальянского. Том 4. 827 стр. Цена 3 р. 76 к.

Современное искусство Италии. Кино. Театр Живопись Скульптура. Архитектура (Сборник статей). 227 стр. Цена 2 р. 48 к.

Б. Успенский. Поэтика композиции. 224 стр. Цена 1 р. 2 к.

«НАУКА»

Х. Багдаш. Избранные статьи Перевод с арабского. 123 стр. Цена 45 к.

Борьба классов и современный мир. Актуальные проблемы рабочего движения стран развитого капитализма. Сборник статей. 252 стр. Цена 1 р. 2 к.

Е. Бродский. Во имя победы над фашизмом. Антифашистская борьба советских людей в гитлеровской Германии (1941—1945 гг.) 587 стр. Цена 2 р. 43 к.

Ф. Бурлацкий. Ленин, государство, политика. 326 стр. Цена 2 р. 40 к.

С. Завилов. Ленин и современная физика 71 стр. Цена 26 к.

Э. Генри. Заметки по истории современности. 430 стр. Цена 1 р. 81 к.

Ленин и национально-освободительное движение в странах Востока. Коллектив авторов. 503 стр. Цена 2 р. 19 к.

Ленинизм и борьба против буржуазной идеологии и антикоммунизма на современном этапе. 303 стр. Цена 1 р. 36 к.

Ленинизм и современные проблемы историко-философской науки. Коллектив авторов. 619 стр. Цена 2 р. 85 к.

В. Москаленко. Проблемы современного Пакистана 283 стр. Цена 1 р. 2 к.

«ПРОГРЕСС»

С. Василев. Теория отражения и художественное творчество. Перевод с болгарского. 496 стр. Цена 1 р. 87 к.

З. Ленц. Благонадежный гражданин и другие рассказы. Перевод с немецкого. 175 стр. Цена 44 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Б. Владимиров. 41-й километр. Роман. 232 стр. Цена 35 к.

П. Захарова. Радостно и больно. Стихи. Предисловие П. Железнова. 40 стр. Цена 12 к.

В. Звездаева. Человек для людей. Роман. Трудно умирать весной. Повесть. 496 стр. Цена 1 р. 8 к.

В. Касьянов. Хорошие люди. Стихи. Предисловие Я. Шведова. 39 стр. Цена 12 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Авдеенко. Вся красота человечества. 396 стр. Цена 85 к.

Ю. Галкин. Пиво на дорогу. Повесть и рассказы. 192 стр. Цена 36 к.

С. Дангулов. Двенадцать дорог на Эгль. 544 стр. Цена 1 р. 5 к.

Г. Колесников. Преддверный сад. Стихи. 88 стр. Цена 25 к.

А. Коптяева. Дар земли. Роман. 480 стр. Цена 1 р. 13 к.

Ленинский свет над Россией. Сборник очерков. 312 стр. Цена 1 р. 27 к.

Поэзия России присягает. Поэты России Ленину. Составитель А. Коваленко. 175 стр. Цена 1 р. 55 к.

В. Санин. Мы — псковские! Повесть-путешествие. 158 стр. Цена 30 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Болховитинов, Б. Колтовой и И. Лаговский. Твое свободное время. Занимательные задачи, опыты, игры. 464 стр. Цена 1 р. 6 к.

Ю. Вебер. Вторник, седьмое мая. Рассказ об одном изобретении. 269 стр. Цена 56 к.

С. Давыдов. Путаный след. Повести и рассказы. 287 стр. Цена 68 к.

Л. Исханова. Ребята из Сары Алан. Повесть 160 стр. Цена 32 к.

И. Микитенко. Гавриил Кириченко — шкляр. Повести. Перевод с украинского. 176 стр. Цена 45 к.

С. Могилевская. Повести. Вступительная статья Е. Брандиса. 448 стр. Цена 93 к.

Н. Парыгина. Я вернусь! — Неудачные канникулы. Повести. 207 стр. Цена 45 к.

А. Садовский. Мальчик с Выборгской. Повесть. 191 стр. Цена 40 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. М. Марьямов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.

Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 29/IV 1970 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 1/VII 1970 г.
 А 01077. Формат бумаги 70×108^{1/8}. 27,6 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
 Зак. 1535. Тираж 160 300 экз.

Набрано и сматрицировано в типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.
 Отпечатано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16. Зак. 3641

Цена 70 коп.

70636

14